

Истории о призраках

Истории о призраках

Эдит Уортон, Элджернон Генри Блэквуд, Эдмунд Митчелл, Персеваль Лэндон, Томас Фрэнк Хифи, Монтегю Родс Джеймс, Амелия Энн Блэнфорд Эдвардс, Эдвард Фредерик Бенсон, Генри Джеймс, Луиза Болдуин, Джозеф Шеридан Ле Фаню, Вернон Ли, Роза Малхолланд, Леонард Кип, Джозеф Конрад, Джеймс Брандер Мэтьюз, Сэйбин Бэринг-Гулд, Хью Уолпол, Джон Кендрик Бангз, Чарльз Диккенс, Чарльз Оллстон Коллинз

Аннотация
Истории о призраках
Томас Фрэнк Хифи. 1813–1873. Удивительная история о призраке
Чарльз Диккенс,. 1812–1870. Чарльз Оллстон Коллинз. 1828–1873. Судебный процесс по делу об убийстве
Роза Малхолланд. 1841–1921. Одержимая органистка из Херли-Берли

Амелия Эдвардс. 1831–1892. Саломея
Джозеф Шеридан Ле Фаню. 1814–1873. Дух Мадам Краул
Леонард Кип. 1825–1906. Духи в Грантли
1
2
3
4
5
6
Генри Джеймс. 1843–1916. Съемный дом с привидениями
Джеймс Брандер Метьюз. 1852–1929. Вздорные призраки
Вернон Ли. 1856–1935. Amour Dure. Из дневника Спиридона Трепки
Часть первая
Часть вторая
Эдмунд Митчелл. 1861–1917. Фантом озера
Джон Кендрик Бангз. 1862–1922. Кухарка-призрак из Банглтопа
1
2
3
4
Луиза Болдуин. 1845–1925. Настоящий и под-

дельный
Сэйбин Бэринг-Гулд. 1834–1924. Жан Бушон
Элджернон Блэквуд. 1869–1951. История о призраке, рассказанная одной женщиной
Персеваль Лэндон. 1868–1927. Аббатство Тернли
Эдит Уортон. 1862–1937. Потом, много позже

1
2
3
4
5

Джозеф Конрад. 1857–1924. Постоялый двор двух ведьм. Находка
Эдвард Фредерик Бенсон. 1867–1940. Искупление
Монтегю Родс Джеймс. 1862–1936. Предостережение любопытным
Хью Уолпол. 1884–1941. Миссис Лант

1
2
3

Аннотация

XIX век и начало XX – эпоха расцвета жанра страшного рассказа в литературе Старого и Нового Света. В оригинальном сборнике «Истории о призраках» мистические рассказы европейских и американских авторов о представителях потустороннего мира – призраках: ужасающие призраки и их несчастные жертвы, любовь, продолжающаяся после смерти, благородные привидения-спасители и прочие таинственные истории.

О драматичных, подчас смертельно опасных столкновениях обыденного и фантастически жуткого повествуют всемирно известные мэтры литературного мейнстрима (Генри Джеймс, Чарльз Диккенс, Джозеф Конрад), признанные мастера готической новеллистики (Джозеф Шеридан Ле Фаню, Амелия Эдвардс, Монтегю Родс Джеймс, Эдвард Фредерик Бенсон) и незаслуженно забытые ныне прозаики, такие как Эдит Уортон, Вернон Ли, Луиза Болдуин, Сэйбин Бэринг-Гулд, Персеваль Лэндон.

Истории о призраках

© Антонов С., перевод на русский язык, составление, 2024
© Брилова Л., перевод на русский язык, 2024
© Гурова И., перевод на русский язык. Наследник, 2024
© Полищук В., перевод на русский язык, 2024
© Роговская Н., перевод на русский язык, 2024
© Куренная М., перевод на русский язык, 2024
© Чарный В., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Томас Фрэнк Хифи
1813–1873
Удивительная история о призраке

Я художник. Майским утром 1858 года я, как обычно, работал в своей мастерской. В час, слишком ранний для визитов, меня навестил друг, с которым я двумя годами раньше свел знакомство в Ричмондских казармах Дублина. Он был капитаном Третьего Западно-Йоркширского полка, и оказанный мне там радушный прием, вкупе с дружескими отношениями, что сложились между нами, обязывал меня устроить гостю подобающую встречу; в результате мы до двух часов пополудни засиделись за оживленной беседой, сигарами и хересом. Неожиданно раздался звонок дверного колокольчика, и я вспомнил о сеансе, назначенном мною на это время юной натурщице с милым личиком и прелестной шейкой, демонстрацией которых она зарабатывала на жизнь. Нерасположенный работать, я уговорил девушку прийти на следующий день, пообещав, разумеется, компенсировать ей по-

терю времени. Она ушла, но минут через пять вернулась и вполголоса сообщила, что надеялась получить сегодня плату за сеанс и теперь стеснена в средствах, — словом, не мог бы я дать ей по крайней мере часть причитающейся суммы? Вопрос был легко решен, и девушка вновь удалилась. По соседству с моей улицей есть другая, с очень похожим названием, и люди, прежде у меня не бывавшие, нередко по ошибке попадают именно туда. Путь натурщицы пролегал как раз через эту улицу, и, когда девушка оказалась там, ее остановили дама и джентльмен, искавшие мое жилище. Позабыв точный адрес, они принялись расспрашивать прохожих; и таким образом через несколько минут после встречи с юной особой эта пара очутилась у меня в комнате.

Мои новые посетители были мне незнакомы. Выяснилось, что им довелось видеть одну из моих работ и они хотят заказать мне портреты всех членов своей семьи, включая детей. Их не отпугнула названная мною цена, и они попросили разрешения осмотреть мастерскую, желая выбрать стиль и размеры будущих полотен. Мой друг из Третьего Западно-Йоркширского полка с бесконечной непринужденностью и веселостью вызвался быть их гидом и пустился разглагольствовать о

достоинствах каждой картины в манере, которую я не мог бы позволить себе в силу робости, естественной для всякого художника, когда заходит речь о его работах. Посетители остались довольны осмотром и спросили, смогу ли я приехать для написания портретов в их усадьбу, расположенную в сельской местности; поскольку это не составляло для меня никакого труда, заказ был принят на предстоящую осень, с условием, что позднее я уточню письмом дату своего приезда. Договорившись обо всем, джентльмен оставил мне свою карточку, и мы расстались. Вскоре после этого мой друг тоже ушел. Через некоторое время я бросил взгляд на оставленную заказчиком визитку и был слегка обескуражен, обнаружив, что на ней значатся лишь имена мистера и миссис Киркбек, но нет адреса. Я попытался отыскать его в придворном адрес-календаре, но там не оказалось такой фамилии, и посему, кинув карточку в ящик письменного стола, я на какое-то время забыл об этом деле.

В начале осени я получил несколько заказов, для выполнения которых мне пришлось отправиться на север Англии. Где-то в конце сентября 1858 года я присутствовал на званом ужине в одном загородном доме на границе Йоркшира и

Линкольншира. Я не был знаком с этим семейством и вообще попал туда совершенно случайно. Я гостил у приятеля, жившего неподалеку, и тот пригласил меня отправиться с ним за компанию в упомянутый дом, с хозяевами которого он дружил и куда в тот самый вечер собирался на ужин. Вечеринка оказалась многолюдной, и к тому времени, когда с главными блюдами было покончено и настала пора переходить к десерту, за столом царило изрядное оживление. Должен признаться, слух у меня неважный, а иногда притупляется сверх обычного, — и в тот вечер я был глух настолько, что до меня доносился лишь неясный гул голосов, звучавших вокруг. Впрочем, в какой-то момент я все же отчетливо расслышал одно слово, хотя говоривший и сидел довольно далеко от меня, и слово это было «Киркбек». В круговерти лондонского сезона я напрочь позабыл о своих весенних посетителях, оставивших мне карточку без адреса. В этих обстоятельствах услышанное слово привлекло мое внимание и незамедлительно отозвалось у меня в памяти. При первой же возможности я осведомился у своего собеседника, не проживает ли по соседству семейство, носящее упомянутую фамилию. Он ответил, что некий мистер Киркбек живет в А., в

отдаленной части графства. На следующее утро я отправил названному джентльмену письмо, где высказал предположение, что именно он заходил весной ко мне в мастерскую и договорился со мной о работе, которую мне помешало выполнить отсутствие адреса на его карточке; к этому я добавил, что в ближайшее время, возвращаясь с севера, окажусь неподалеку от места, где он живет; в заключение я просил мистера Киркбека не утруждать себя ответом в том случае, если в письме шла речь не о нем. В качестве своего адреса я указал Йоркский почтамт. Обратившись туда через три дня, я получил письмо от мистера Киркбека, гласившее, что он чрезвычайно рад весточке от меня и что, если я навещу его по дороге, он приготовит все необходимое для предстоящей работы; мистер Киркбек также просил меня написать ему за день до предполагаемой даты приезда, дабы он не оказался занят по моем прибытии другими делами. В конце концов мы условились, что я нанесу ему визит в следующую субботу, пробуду в его доме до утра понедельника, затем разберусь с делами, требующими моего присутствия в Лондоне, после чего спустя две недели вернусь в усадьбу для выполнения заказа.

В назначенный для визита день я сразу после завтрака сел в утренний поезд, следовавший из Йорка в Лондон. Поезд делал остановку в Донкастере, а затем на узловой станции Ретфорд, где я должен был пересесть в другой, шедший через Линкольн в А. День стоял холодный, туманный, дождливый — словом, такой же неприятный, как и всякий октябрьский день в Англии. В купе никого, кроме меня, не было, но в Донкастере вошла дама. Я располагался против движения поезда, рядом с дверью, и, обнаружив, что это место предназначено для женщин, предложил его своей попутчице; но та, учтиво поблагодарив меня, отказалась и села напротив, весьма доброжелательным тоном заметив, что любит, когда ей в лицо веет свежий ветер. Следующие несколько минут пассажирка устраивалась поуютнее — расстелила на сиденье плащ, поправила подол платья и застегнула перчатки; эти легкие прихорашивания, которым женщины имеют обыкновение предаваться, располагаясь поудобнее в церкви или где-либо еще, увенчались наконец тем, что она откинула скрывавшую лицо вуаль, завернув ее поверх шляпки. Теперь я видел, что дама была молода, явно не старше двадцати двух или двадцати трех лет; и, если бы не ее довольно

высокий рост и крепкая стать, а также решительность, сквозившая в выражении ее лица, она выглядела бы еще на пару лет моложе. Полагаю, внешность ее можно отнести к контрастному типу: волосы у нее были светло-каштановые, с рыжинкой, а глаза и резко очерченные брови — почти черные. Большие глаза и строгая линия губ смотрелись особенно выразительно на фоне бледных, казавшихся прозрачными щек. В целом она была скорее миловидной, чем красивой; ее взгляд отличался приятной глубиной и гармонией, благодаря которым черты лица, пусть и не безукоризненно правильные, становились бесконечно более привлекательными, чем если бы они точно соответствовали законам симметрии.

Превеликая удача — обрести в долгой и утомительной поездке дождливым днем славного спутника, который расположен к общению и способен поддерживать интересный разговор, позволяющий забыть о расстоянии и дорожной скуке! В этом смысле мне не на что было жаловаться, ибо дама оказалась весьма приятной и красноречивой собеседницей. Удобно устроившись напротив, она попросила разрешения заглянуть в справочник Брэдшо, что был у меня при себе, но, не сумев в нем сориентироваться, ре-

шила прибегнуть к моей помощи и осведомилась, в котором часу поезд, следуя обратно из Лондона в Йорк, снова достигнет станции Ретфорд. Далее разговор перешел на общие темы, и, к некоторому моему удивлению, она завела речь о довольно своеобразных материях, которые были по определению ведомы мне лучше всего; более того, я не мог не заметить, что ее реплики, не содержавшие и толики фамильярности, оставляли вместе с тем впечатление, будто она знает меня лично или по чьим-то рассказам. В том, с каким вниманием моя собеседница слушала меня, сквозило нечто доверительное, что необычно для незнакомого человека, а ее собственные замечания временами и впрямь как будто намекали на различные обстоятельства моего прошлого. Наш разговор продолжался уже три четверти часа, когда поезд прибыл в Ретфорд, где я должен был сделать пересадку. Покидая купе, я пожелал своей попутчице хорошего дня, а она сделала легкое движение рукой в мою сторону, и, когда мы обменялись рукопожатием, сказала на прощание: «Полагаю, мы с вами еще встретимся», — на что я ответил: «Я надеюсь, мы все еще встретимся». На этом мы расстались — она направилась в Лондон, а я через Линкольншир в А. Остаток моего путеше-

ствия был пасмурным, скучным и однообразным. Отсутствие приятной беседы я пытался восполнить чтением книги, которую захватил с собой, выезжая из Йорка, и номера «Таймс», купленного в Ретфорде. Однако самая утомительная дорога рано или поздно заканчивается, и под вечер, в половине шестого, я прибыл к месту назначения. Экипаж, ожидавший меня возле станции, ожидал также и мистера Киркбека, который должен был вернуться этим же поездом, но, поскольку он не появился, стало ясно, что он прибудет спустя полчаса следующим рейсом; таким образом, я отправился в усадьбу один.

Поскольку хозяева усадьбы покамест отсутствовали, я сразу прошел в отведенную мне комнату, чтобы распаковать вещи и переодеться, а затем спустился в гостиную. На семь вечера был назначен ужин, до которого, вероятно, еще оставалось какое-то время, так как светильники не были зажжены; вместо них в гостиной горел большой камин, освещавший каждый угол, и особенно ярко — даму в черном платье, которая, облокотившись о каминную полку, грела весьма изящную ножку, поставив ее на край решетки. Она стояла спиной к двери, в которую я вошел, и в первый момент я не мог видеть ее лица, но, когда я ока-

зался посреди комнаты, дама, незамедлительно убрав ногу с решетки, приветственно обернулась ко мне, и я был глубоко изумлен, узнав в ней свою давешнюю попутчицу. Она же при виде меня не выказала ни малейшего удивления — напротив, с милым и радостным выражением, которое делает привлекательной даже самую невзрачную женщину, произнесла: «Я ведь говорила, что мы еще встретимся».

В тот момент я был настолько сбит с толку, что не мог вымолвить ни слова. Я не знал ни железнодорожной линии, ни какого-либо иного пути, которым эта дама могла бы добраться до усадьбы Киркбеков раньше меня. Я был уверен, что расстался с ней в лондонском поезде, и собственными глазами видел, как он отправляется; посему прибыть сюда она могла лишь доехав до Питерборо и затем проследовав по какой-то местной ветке в А., то есть сделав крюк в добрые девяносто миль. Когда ко мне вернулся дар речи, я сказал незнакомке, что хотел бы воспользоваться тем же способом передвижения, который избрала она.

— Это было бы весьма затруднительно, — возразила дама.

В эту минуту вошел слуга со светильниками

в руках и, обратившись ко мне, доложил, что хозяин только что вернулся и через несколько минут спустится в гостиную.

Тем временем дама принялась листать какой-то альбом и, задержав взгляд на одной из гравюр (это был портрет леди ***), попросила меня внимательно рассмотреть изображение и сказать, не нахожу ли я в нем сходства с нею.

Я уже собирался сказать ей, что я думаю, когда появились мистер и миссис Киркбек; они сердечно пожали мою руку, извиняясь за то, что не смогли меня встретить, и затем хозяин дома попросил меня сопроводить его жену к обеденному столу.

Я подал хозяйке руку и на мгновение задержался, чтобы пропустить вперед мистера Киркбека с загадочной дамой в черном, но миссис Киркбек, похоже, не поняла моего намерения, и мы не мешкая проследовали в столовую. За ужином собрались лишь мы четверо, так что места с лихвой хватило всем: хозяева расположились на противоположных концах стола, а дама в черном и я сели по разные стороны от них. За ужином велся обычный в подобных обстоятельствах разговор. Я, как подобает учтивому гостю, беседовал главным образом, если не исключительно, с хо-

зяевами дома, и не припомню, чтобы кто-то из нас троих хоть раз обратился к даме, сидевшей напротив меня. Сопоставив это с легким небрежением, проявленным к ней Киркбеками при входе в столовую, я предположил, что эта дама — гувернантка. Вместе с тем я заметил, что ужинала она с отменным аппетитом, воздав должное и мясу, и сладкому пирогу, и затем кларету; вероятно, она не успела в этот день пообедать или изрядно проголодалась во время путешествия.

Ужин закончился, дамы удалились в гостиную, и мы с мистером Киркбеком, выпив обычного в таких случаях портвейна, присоединились к ним. К тому времени, впрочем, общество стало более многолюдным: прибыли жившие по соседству родственники хозяев, а кроме того, мне были представлены дети четы Киркбек и их гувернантка мисс Хардвик. Тут я понял, что ошибся, приписав эту роль даме в черном платье. Сказав ряд комплиментов детям и несколько слов — своим новым знакомым, я снова оказался ее собеседником, и, поскольку за ужином много говорилось о портретной живописи, моя недавняя попутчица продолжила эту тему.

— Как вы полагаете, смогли бы вы написать мой портрет? — поинтересовалась она.

— Думаю, при случае смог бы, — ответил я.

— Что ж, взгляните на меня повнимательнее и скажите: сумеете ли вы спустя время вспомнить черты моего лица?

— Я уверен, что никогда их не забуду.

— Конечно, мне следовало ожидать подобного ответа; но скажите, вы уверены, что сможете запечатлеть меня по памяти?

— Ну, если это потребуется, я постараюсь; но почему бы вам не дать мне несколько сеансов?

— Нет, это невозможно, решительно невозможно. Говорят, что лицо на гравюре, которую я показывала вам перед ужином, напоминает мое; а вы как думаете?

— Мне так не кажется, — отозвался я. — У него другое выражение. Если бы вы согласились даже на один сеанс, и то было бы лучше, чем ничего.

— Нет, я не могу.

Вечер был уже довольно поздний, и в гостиную внесли свечи; сославшись на сильную усталость, дама тепло пожала мне руку и пожелала доброй ночи. Уснуть я, однако, так и не смог и до самого утра терялся в догадках, кем была моя таинственная знакомая. Я не был представлен ей, не видел, чтобы она на протяжении вечера перемолвилась с кем-либо хоть единым словом, более того, уходя,

она ни с кем, кроме меня, не простилась. Каким образом она добралась до усадьбы через всю территорию графства, оставалось непостижимой тайной. Наконец, почему она хотела, чтобы я написал ее портрет по памяти, и почему так упорно отказывалась позировать? Затруднившись ответить себе на эти вопросы, я решил забыть о них до утра, рассчитывая, что за завтраком вся эта ситуация так или иначе разъяснится.

Наступило время завтрака, однако дама в черном не появилась за столом. Трапеза завершилась, мы направились в церковь, вернулись домой к ланчу — но и эти часы, и весь дальнейший день прошли в отсутствие и самой дамы, и какого бы то ни было упоминания о ней. Из этого я заключил, что она, должно быть, родственница Киркбеков, которая рано утром уехала навестить другого члена семьи, жившего по соседству. И все же я был немало озадачен тем, что хозяева за целый день ни разу даже не вспомнили о даме в черном платье, и в конце концов, не найдя никакого повода заговорить с ними на эту тему, отправился почивать в еще большем недоумении, чем в первый вечер. Наутро я решился спросить у пришедшего слуги, как зовут даму, которая ужинала с нами вечером в субботу, и он

ответил:

— Даму, сэр? Не было никакой дамы, только миссис Киркбек, сэр.

— Я имею в виду даму в черном платье, которая сидела напротив меня.

— Вероятно, это мисс Хардвик, гувернантка, сэр.

— Нет, не мисс Хардвик — она пришла позднее.

— Никакой другой дамы я не видел, сэр.

— Ну как же! Дама, облаченная в черное платье, которая находилась в гостиной, когда я приехал, еще до того, как мистер Киркбек вернулся домой.

Слуга удивленно воззрился на меня, словно сомневаясь, в своем ли я уме, и затем, коротко повторив: «Никакой дамы я не видел, сэр», ушел.

Тайна представлялась теперь еще более непостижимой, чем прежде, — я размышлял над ней так и этак, но никакого объяснения происшедшему отыскать не сумел. Наутро в понедельник завтрак был подан раньше обычного времени, дабы я успел на первый лондонский поезд; по той же причине наш разговор за завтраком проходил в некоторой спешке и касался лишь цели моего визита в усадьбу; так что, условившись вернуть-

ся через три недели для написания портретов, я простился с хозяевами и уехал в Лондон.

Не могу не упомянуть о своем втором визите в усадьбу, во время которого мистер и миссис Киркбек недвусмысленно заверили меня в том, что никакой четвертой персоны в подразумеваемый субботний вечер за столом не было. Их воспоминания на сей счет были тем более определенными, что в тот день они обсуждали, не стоит ли пригласить на ужин мисс Хардвик, гувернантку, и решили этого не делать; равным образом они не смогли назвать в кругу своих знакомых никакой другой дамы, которая подходила бы под мое описание.

Прошло еще несколько недель. Близилось Рождество. Однажды, когда короткий зимний день клонился к закату, я сидел за столом и писал письма, которые собирался отправить с вечерней почтой. Я располагался спиной к двустворчатой двери, что вела в комнату, где мои посетители обычно ожидают приема. Я уже несколько минут занимался письмами, когда, не будучи потревожен каким-либо звуком или движением, вдруг осознал, что некто проник через упомянутую дверь и теперь стоит подле меня. Обернувшись, я увидел перед собой даму, которую пару месяцев

назад встретил в поезде. Вероятно, у меня был несколько удивленный вид, ибо после обычного приветствия она произнесла: «Простите, что потревожила вас. Вы, должно быть, не слышали, как я вошла». Ее манера говорить стала более тихой и мягкой, чем прежде, но в голосе не звучало затаенной печали и тем паче скорби. Незнакомка переменилась, и характер этой перемены напоминал преображение умной и темпераментной юной леди в спокойную и рассудительную девушку, которая уже обручена или недавно стала замужней женщиной и матерью семейства. Она спросила, не пробовал ли я писать ее портрет. Мне пришлось признаться, что нет. Мой ответ сильно огорчил ее, поскольку, как выяснилось, она хотела приобрести этот портрет для своего отца. У гостьи была при себе гравюра (портрет леди М. А.), которая, как полагала дама, сможет помочь мне. Гравюра напоминала ту, о которой незнакомка спрашивала моего мнения в Линкольншире; по ее словам, все находили в этом портрете разительное сходство с нею самой, и она выразила желание оставить его мне. Затем гостья, порывисто коснувшись моей руки, сказала, что будет мне необыкновенно признательна, если я напишу ее портрет, и, помнится, добавила:

«Как много от этого зависит!» Видя, насколько это для нее важно, я взял свой альбом для зарисовок и в слабом вечернем свете начал делать беглый карандашный набросок. Заметив это, она, как ни странно, не стала мне позировать, а, напротив, отвернулась и принялась рассматривать развешанные по стенам картины, переходя от одной к другой так, что я мог лишь мельком увидеть ее черты. Таким образом мне удалось сделать два торопливых, но весьма выразительных наброска; меркнущий свет не позволил мне продолжать, и я закрыл альбом, а моя гостья собралась уходить. На сей раз вместо обычного «До свидания» она произнесла многозначительное «Прощайте!» и, говоря это, не пожала, а крепко стиснула мою руку. Я проводил ее до двери, и, переступив порог, дама не скрылась, а как будто растворилась в темноте. Впрочем, я счел этот эффект плодом собственного воображения.

Я незамедлительно позвал служанку и спросил, почему она не доложила о приходе посетительницы. Она стала уверять меня, что никого не впускала и что визитер, кто бы это ни был, должно быть, проник в дом полчаса назад, когда она на минутку отлучилась в лавку напротив, оставив входную дверь открытой.

Вскоре после этого случая мне поступил заказ из одного частного дома в Лестершире, расположенного неподалеку от Босуорт-филд. Я выехал из Лондона в пятницу, а неделей раньше отправил товарным поездом несколько холстов, слишком больших, чтобы везти их самому, и полагал, что к моменту моего прибытия посылка окажется в доме заказчика и мне не придется ее ожидать, понапрасну тратя время. Однако, добравшись до места назначения, я обнаружил, что о посылке никто слыхом не слыхивал, а, обратившись на станцию, выяснил, что ящик, по описанию похожий на мой, был отправлен в Лестер, где, вероятно, теперь и находится. Был вечер пятницы, почта уже не работала, так что я до утра понедельника оказался лишен возможности отправить в Лестер письмо, к тому же тамошняя камера хранения багажа в выходные наверняка была закрыта; вследствие этого стечения обстоятельств я не мог надеяться на возвращение груза раньше вторника или среды. Потеря трех дней была бы для меня довольно ощутимой, и, дабы избежать ее, я договорился с хозяином дома, что отлучусь на это неожиданно высвободившееся время в Южный Стаффордшир и улажу там одно дело, которым планировал заняться после выполнения

заказа и перед возвращением в Лондон. Заказчик охотно согласился на мой отъезд, и я поспешил на станцию Аттерстоун железнодорожной ветки Трент-Вэлли. Сверившись с Брэдшо, я выяснил, что мой путь лежит через Личфилд, где нужно будет пересесть в поезд, следующий до Стаффорда. Я успел как раз к отходу экспресса, прибывавшего к восьми вечера в Личфилд, откуда, судя по расписанию, десятью минутами позже отправлялся стаффордский поезд, которым я и намеревался ехать дальше. Посему у меня не было никаких причин сомневаться в том, что к концу дня я доберусь до пункта назначения; однако в Личфилде мои планы оказались полностью расстроены. Поезд прибыл вовремя, я вышел из вагона и стоял на платформе, ожидая, когда подгонят другой состав, следу-ющий в нужном мне направлении. Однако неожиданно выяснилось, что две железнодорожные ветки, о которых идет речь, хотя и сходятся в Личфилде, не сообщаются между собой: станция Личфилд-Трент-Вэлли находится на одном конце городка, а станция Личфилд-Саут-Стаффордшир — на другом. Выяснилось также, что добраться до последней и притом не опоздать на вечерний поезд до Стаффорда никоим образом невозможно; более того, в этот самый момент

упомянутый поезд проходил прямо подо мной по подземному туннелю, и конечно, нечего было и думать о том, чтобы достигнуть станции, расположенной в противоположной части городка, где состав задерживался всего на пару минут. Мне, стало быть, не оставалось ничего иного, как заночевать в близлежащей гостинице под названием «Лебедь». Надо сказать, что к провинциальным гостиницам я испытываю особую неприязнь. Я никогда не заказываю в подобных местах ужин и скорее лягу спать голодным, чем стану есть то, что могут там предложить. Книг в заведениях такого рода не бывает, а сообщения в местных газетах меня не интересуют. Номер «Таймс», что был у меня при себе, я прочел целиком еще в дороге. Со случайным соседом едва ли получится поговорить по душам. Покоряясь обстоятельствам, я обычно заказываю себе чай с какой-нибудь снедью и, когда с этой нехитрой трапезой покончено, сажусь писать письма.

Я впервые очутился в Личфилде и, пока ожидал чая, подумал вдруг, что за последние полгода дважды по разным поводам собирался побывать в этом городе: один раз — чтобы исполнить небольшое поручение своего давнего знакомого, который здесь проживал, а другой — чтобы раз-

узнать подробности одного эпизода из детства доктора Джонсона, необходимые для написания задуманной мною картины. В обоих случаях, однако, мне пришлось изменить свои планы и отложить приезд на неопределенный срок из-за иных, более срочных дел. «Как странно! — сказал я себе. — Теперь я волею обстоятельств оказался в Личфилде, хотя перед этим дважды намеревался приехать сюда и оба раза безуспешно». Выпив чаю, я подумал: а почему бы не написать моему знакомому, который, помнится, несколько лет назад проживал на Соборной площади, и не попросить его зайти ко мне на часок-другой? Приняв решение, я вызвал горничную и спросил, не знает ли она в Личфилде некоего мистера Лута.

— Знаю, сэр, — последовал ответ.

— Он живет на Соборной площади?

— Да, сэр.

— Могу я через вас передать ему записку?

— Конечно, сэр.

Я набросал короткую записку, в которой сообщил, где нахожусь, и спросил, не хочет ли он провести час или два за разговором о былых деньках со старым знакомым. Послание мое унесли, и минут через двадцать благообразный господин средних лет вошел ко мне в номер. Держа в руке

мою записку, посетитель сказал, что, вероятно, она адресована ему по ошибке, так как имени отправителя он никогда прежде не слышал. Тотчас увидев, что этот господин — не тот, кому я адресовал свое сообщение, я извинился и осведомился, не знает ли он в Личфилде другого человека по фамилии Лут. Ответ был отрицательный.

— Но нет сомнений, — настаивал я, — что мой приятель дал мне правильный адрес, поскольку я неоднократно писал ему туда и мои письма доходили. Он добропорядочный молодой человек, унаследовал имение от своего дядюшки, погибшего в результате несчастного случая во время охоты на лис, и около двух лет назад женился на особе по фамилии Фэрбэрн.

— Так вы говорите о мистере Клайне, — степенно ответствовал незнакомец. — Он действительно проживал на Соборной площади, но некоторое время назад сменил квартиру.

— Боже мой, конечно! — воскликнул я, с удивлением осознав, что незнакомец прав. — Не понимаю, как так получилось, что я указал в записке не его, а вашу фамилию. Я искренне прошу простить меня. Мое обращение к вам и то, что я невольно угадал ваше имя, — самый странный и необъяснимый поступок из всех, что я когда-либо

совершал. Еще раз прошу прощения.

— Не стоит извиняться, — спокойно ответил он. — Дело в том, что вы именно тот человек, которого я сильнее всего хотел увидеть. Вы ведь художник, и я хочу, чтобы вы написали портрет моей дочери; посему не могли бы вы отправиться ко мне прямо сейчас?

Я был немало удивлен тем, что он меня знает, а также совершенно неожиданным оборотом, который приняла вся эта история, и воспринял его предложение без особого энтузиазма. Поэтому я объяснил посетителю, в какой ситуации оказался, и добавил, что в моем распоряжении есть лишь два ближайших дня. Он, однако, принялся настойчиво уговаривать меня, и в конце концов я согласился сделать все, что можно успеть за пару дней, и, собрав свои вещи и необходимые для работы материалы, последовал за ним к нему домой. Дорогой он не проронил ни слова, но эта неразговорчивость, казалось, была лишь продолжением того молчаливого спокойствия, с которым он вел себя в гостинице. Когда мы пришли, он представил меня своей дочери Марии, после чего удалился. Мария Лут была славной и бесспорно хорошенькой девочкой лет пятнадцати; впрочем, в ее манере держаться сквозила

недетская уверенность в себе, даже известная зрелость, которая обыкновенно отличает девушек, рано лишившихся материнской опеки и поэтому — или же по каким-то иным причинам — вынужденных полагаться в жизни на собственные силы.

Мария явно не подозревала о цели моего прихода и знала лишь, что я останусь в их доме на ночь; поэтому она, извинившись, отлучилась на несколько минут, чтобы отдать прислуге необходимые распоряжения насчет моей комнаты. Воротившись, она сказала, что ее отец нынче вечером уже не появится — он нездоров и лег почивать, но она полагает, что я смогу увидеть его завтра. Также она выразила надежду, что я буду чувствовать себя как дома, и просила позвонить, если мне что-нибудь понадобится. Сама девочка оставалась в гостиной, но в случае, если мне захочется покурить или чем-нибудь угоститься, готова была сопроводить меня в комнату экономки и побыть там со мной возле очага в ожидании доктора, который должен был вот-вот прийти и тоже мог к нам присоединиться. Я с готовностью принял это предложение и, хотя не курил и не был голоден, проследовал в комнату экономки и сел у камина, а следом за мной явилась и юная

хозяйка дома. Ее оживленная речь отличалась редкой для этого возраста рассудительностью; не выказывая чрезмерного любопытства и не задавая прямых вопросов, Мария ненавязчиво дала мне понять, что желает знать, какое дело привело меня к ним в дом. Я объяснил девочке, что мистер Лут просил меня написать ее портрет либо портрет ее сестры, если таковая существует.

Услышав такой ответ, она на минуту умолкла и задумалась, а затем как будто в одно мгновение осознала смысл моих слов. Мария рассказала мне, что ее единственная сестра, в которой отец души не чаял, умерла около четырех месяцев назад и что он до сих пор так и не оправился от потрясения. Он часто говорил, что больше всего на свете желал бы иметь портрет покойной; в сущности, он жил одной лишь мыслью об этом портрете, и младшая дочь надеялась, что, если его мечта тем или иным образом осуществится, это может оказать благотворное влияние на его здоровье. Тут девочка запнулась, умолкла и внезапно разрыдалась. Через некоторое время, чуть успокоившись, она продолжила: «Ни к чему скрывать от вас то, что вы и сами неизбежно вскоре поймете. Папа не в себе — он пребывает в этом состоянии с того дня, как похоронили дорогую Каролину. Он стал

жертвой пуга-ющего бреда — говорит, что видит ее повсюду. Доктор боится делать какие-либо прогнозы, он посоветовал спрятать от отца все опасные предметы вроде ножей и бритв. Нынче вечером папе пришлось удалиться к себе, поскольку он едва ли смог бы должным образом поддерживать беседу с вами, и боюсь, что завтра будет то же самое; но если вы сможете задержаться у нас до воскресенья, я, пожалуй, сумею помочь вам воплотить его мечту».

Я спросил у Марии, есть ли в доме фотография, рисунок или какое-нибудь другое изображение Каролины Лут, от которого я мог бы отправляться при создании ее портрета. Такого изображения не имелось, но на вопрос, сумеет ли она подробно описать черты покойной сестры, девочка отвечала утвердительно и, кроме того, вспомнила о запечатлевшей очень похожее лицо гравюре, которая, впрочем, куда-то запропала. Я заметил, что при столь неблагоприятных обстоятельствах, в отсутствие каких-либо исходных образцов, вряд ли можно ожидать, что моя работа будет иметь желаемый результат. Прежде мне случалось портретировать в подобных условиях, однако успех этих попыток во многом зависел от силы памяти и описательного дара тех, на чьи расска-

зы я полагался; иногда мне удавалось добиться некоторого сходства, но чаще всего меня ждала неудача.

Тем временем пришел доктор. Я его не видел, но со слов Марии понял, что он наказал ей не оставлять пациента без присмотра вплоть до своего следующего визита, ожидавшегося утром. Видя подобное положение дел и серьезную озабоченность юной хозяйки, я отправился спать. Наутро я узнал, что ее отец чувствует себя гораздо лучше; едва пробудившись, он сразу спросил, нахожусь ли я по-прежнему в доме, а во время завтрака велел передать мне, что предвкушает скорейшее начало работы над портретом и очень рассчитывает увидеться со мной в течение дня.

После завтрака я не мешкая приступил к делу, руководствуясь тем словесным описанием, что дала мне Мария. Я предпринимал одну попытку за другой, но без видимого успеха и даже без какого-либо намека на успех. По словам девочки, черты лица каждая в отдельности походили на оригинал, однако выражение оставалось чужим. Я усердно трудился бóльшую часть дня, и тем не менее результат не становился лучше. Дабы устранить дефекты рисунка, я прибегал к различным ухищрениям — и раз за разом слышал: не

похоже. Я старался изо всех сил и, по правде говоря, порядком притомился, что не ускользнуло от внимания юной хозяйки, которая горячо поблагодарила меня за живой интерес к работе и отнесла неудачу целиком на счет несовершенства своего рассказа. Она также сильно досадовала на то, что гравюра с изображением дамы, очень похожей на ее сестру, три недели назад куда-то исчезла из ее альбома. Это было тем огорчительнее, что упомянутая гравюра, по заверению Марии, оказалась бы для меня огромным подспорьем. Я спросил, знает ли она, чей это был портрет, так как, возможно, не составило бы труда отыскать его в Лондоне. Портрет леди М. А., ответила девочка. Едва было произнесено это имя, образ моей попутчицы тотчас всплыл у меня в памяти. Наверху в моем саквояже лежал альбом для зарисовок, и по счастливой случайности в нем сохранились и та самая гравюра, и два карандашных наброска, которые я сделал незадолго до Рождества у себя в мастерской. Я поспешно принес их и показал Марии Лут. С мгновение она смотрела на рисунки, после чего перевела изумленный взгляд на меня и произнесла медленно и как будто испуганно: «Откуда это у вас?» — а затем торопливо, не дожидаясь моего ответа, добавила: «Позвольте мне

немедленно показать их папе». Отсутствовала она около десяти минут, а вернулась уже вместе с отцом. Не удостоив меня приветствием, он воскликнул совершенно иным, чем прежде, тоном: «Все это время я был прав! Это вас я видел с ней, и на этих рисунках изображена она и никто другой. Они для меня дороже всего на свете, кроме разве что вот этого милого дитяти!» Его дочь в свою очередь заверила меня, что привезенная мной гравюра идентична той, которая пропала у нее три недели назад; в доказательство этого Мария показала мне следы клея на обратной стороне портрета леди М. А., и их очертания в точности совпали с оставшимися на пустой странице ее альбома.

С той минуты, как мистер Лут увидел рисунки в моем альбоме, его душевное расстройство словно рукой сняло. Мне не позволили ничего менять в этих карандашных набросках из опасения, что я могу их ухудшить, но они были взяты за образец для портрета маслом, который я тотчас принялся писать; отец Марии сидел подле меня много часов, направляя мою руку и ведя со мной живую и рассудительную беседу. Он избегал прямых упоминаний о своих галлюцинациях, но неоднократно заговаривал о том, каким образом

мне удалось сделать исходные наброски. Вечером пришел доктор, который, превознеся до небес примененный им метод лечения, объявил, что пациент несомненно и, можно думать, необратимо пошел на поправку.

Следующим днем было воскресенье, и мы все вместе отправились в церковь. Мистер Лут оказался там впервые с момента своей утраты. Во время прогулки со мной после ланча он снова завел речь о набросках и после некоторого колебания заговорил более откровенно:

— Ваше письмо ко мне из личфилдской гостиницы — одно из тех необъяснимых обстоятельств, которым, полагаю, невозможно найти разгадку. Я, однако же, узнал вас, как только увидел: окружающие считали, что мой ум расстроен, а речь бессвязна, — на самом же деле я был очевидцем явлений, которые оставались незримыми для остальных. С неколебимой уверенностью могу утверждать, что после смерти моей дорогой дочери я много раз ясно видел ее — впрочем, сразу после похорон чаще, чем теперь. Среди этих случаев мне особенно отчетливо запомнился один, когда она сидела в купе поезда и разговаривала с господином напротив; лица этого господина я не мог разглядеть, так как сам словно бы находился

позади него. В следующий раз я увидел Каролину за обеденным столом, в обществе людей, одним из которых, бесспорно, были вы; чуть позже она предстала мне во время продолжительного разговора с вами посреди многолюдной вечеринки. В тот день, как мне потом передали, со мной случился один из самых длительных и жестоких припадков. Позднее я видел дочь, стоявшую подле вас, когда вы что-то писали или рисовали. После этого она еще раз являлась мне, но вас я снова увидел уже наяву, в гостиничном номере.

Работа над портретом продолжалась весь следующий день, и во вторник лицо девушки было написано; мне пора было уезжать, поэтому я забрал картину с собой и закончил ее уже в Лондоне.

С того времени я много раз встречался с мистером Лутом; его здоровью теперь ничто не угрожает, он держится и говорит бодро, насколько это возможно для человека, который несколькими годами ранее пережил столь тяжкую утрату.

Портрет ныне висит в его спальне, вместе с той самой гравюрой и двумя карандашными набросками, и внизу холста виднеется надпись: *~~«Каролина Лут в возрасте 22 лет. 13 сентября 1858 года»~~*.

1861

Чарльз Диккенс, 1812–1870
Чарльз Оллстон Коллинз 1828–1873
Судебный процесс по делу об убийстве

Я всегда замечал, что даже у людей весьма умных и образованных редко хватает мужества рассказывать о странных психологических явлениях, имевших место в их жизни. Обычно человек боится, что такой его рассказ не найдет отклика во внутреннем опыте слушателя и вызовет лишь смех или недоверие. Правдивый путешественник, которому доведется увидеть чудище вроде сказочного морского змея, не колеблясь, сообщит об этом; но тот же самый путешественник вряд ли легко решится упомянуть о каком-нибудь своем странном предчувствии, необъяснимом порыве, игре воображения, видении (как это называют), пророческом сне или другом подобном же духовном феномене. Именно подобной сдержанности я приписываю то обстоятельство, что эта область окутана для нас таким туманом неопределенно-

сти. Мы охотно говорим о фактах окружающего нас внешнего мира, но о своих переживаниях, не поддающихся рациональному объяснению, предпочитаем умалчивать. Вот почему обо всем этом нам известно недопустимо мало.

Рассказ мой не имеет целью ни выдвигать какую-либо новую теорию, ни опровергать или поддерживать уже существующие. Мне хорошо известен случай с берлинским книготорговцем, я внимательно изучил историю жены королевского астронома, сообщаемую сэром Дэвидом Брюстером, и я знаю все подробности того, как призрак являлся одной даме, с которой я хорошо знаком. Пожалуй, следует упомянуть, что дама эта не состояла со мной ни в каком родстве — даже самом дальнем. Если бы я этого не оговорил, часть того, что мне пришлось пережить, могла бы получить неправильное истолкование. Но только часть. Мой случай не может быть объяснен какой-либо странной наследственностью, и ни прежде, ни после со мной ничего подобного не происходило.

Несколько лет тому назад (неважно, сколько именно) в Англии было совершено убийство, наделавшее много шума. Нам и так приходится слишком много слышать об убийцах, по мере того

как они один за другим получают право на этот зловещий титул, и если бы я мог, то с радостью похоронил бы все воспоминания об этом бесчувственном негодяе, подобно тому как тело его похоронено в Ньюгейте. Поэтому я сознательно опускаю все указания на личность преступника.

Когда убийство было обнаружено, против человека, впоследствии за него осужденного, не было никаких подозрений, впрочем, вернее будет сказать (в своем рассказе я хочу излагать факты с предельной точностью), что об этих подозрениях нигде не упоминалось. Газеты ничего о нем не говорили, и, следовательно, в них не могли тогда появиться его описания. Это обстоятельство необходимо иметь в виду.

Газету, содержавшую первое сообщение об этом убийстве, я раскрыл за завтраком, и оно показалось мне настолько интересным, что я прочел его с глубочайшим вниманием. А затем дважды перечитал. Там сообщалось, что все произошло в спальне, и, когда я положил газету, меня вдруг толкнуло… захлестнуло… понесло… не знаю, как описать это ощущение, у меня нет для него слов, и я увидел, как эта спальня проплыла через мою комнату, словно картина, каким-то чудом написанная на струящейся поверхности реки.

Она промелькнула почти мгновенно, но была поразительно четкой — настолько четкой, что я с большим облегчением заметил отсутствие трупа на кровати.

И это необъяснимое ощущение охватило меня не среди каких-либо романтических развалин, а в доме на Пикадилли, неподалеку от угла Сент-Джеймс-стрит. Никогда прежде мне не случалось испытывать чего-либо подобного. По телу у меня пробежала странная дрожь, и кресло, в котором я сидел, немного повернулось (следует, впрочем, помнить, что кресла на колесиках вообще легко сдвигаются с места). Затем я встал, подошел к одному из окон (в комнате их два, а сама комната расположена на третьем этаже) и, стараясь отвлечься, устремил взгляд на Пикадилли. Было солнечное утро, и улица казалась оживленной и веселой. Дул сильный ветер. Пока я смотрел, порыв ветра подхватил в Грин-парке сухие листья и закружил их спиралью над мостовой. Когда спираль рассыпалась и листья разлетелись, я увидел на противоположном тротуаре двух мужчин, двигавшихся с запада на восток. Они шли друг за другом. Первый то и дело оглядывался через плечо. Второй следовал за ним шагах в тридцати, угрожающе подняв руку.

Сначала меня поразила странная неуместность такого жеста на столь людной улице, но затем я был еще больше удивлен, заметив, что никто не обращает на него ни малейшего внимания. Оба этих человека шли сквозь толпу так, словно на их пути никого не было, и ни один из встречных, насколько я мог судить, не уступал им дороги, не задевал их, не глядел им вслед. Проходя под моими окнами, оба они посмотрели на меня. Я хорошо разглядел их лица и почувствовал, что отныне всегда смогу их узнать. Однако они вовсе не показались мне примечательными — только у человека, шедшего впереди, был необычайно угрюмый вид, а лицо его преследователя напоминало цветом плохо очищенный воск.

Я холостяк; вся моя прислуга состоит из лакея и его жены. Я служу в банке и от души желал бы, чтобы мои обязанности в качестве управляющего отделением были и в самом деле столь необременительны, как это принято считать. Из-за них я был вынужден этой осенью остаться в Лондоне, хотя мне настоятельно требовалось переменить обстановку. Болен я не был, но не был и здоров. Пусть мой читатель сам по мере сил представит себе угнетавшее меня чувство безразличия, порожденное однообразием жизни и «некоторым

расстройством пищеварения». Мой весьма знаменитый врач заверил меня, что состояние моего здоровья вполне исчерпывается этим диагнозом, который я цитирую по его письму, присланному им в ответ на мою просьбу дать свое заключение, не болен ли я.

По мере того как выяснялись обстоятельства этого убийства, оно начинало все больше и больше интересовать публику — но не меня, ибо, несмотря на всеобщее возбуждение, я предпочитал знать о нем по возможности меньше. Однако мне было известно, что против предполагаемого убийцы выдвинуто обвинение в предумышленном убийстве и что он заключен в Ньюгейт, где и ожидает суда. Мне было известно также, что его процесс перенесен на следующую сессию Центрального уголовного суда, ибо общее предубеждение против преступника было слишком велико, а времени для подготовки защиты оставалось недостаточно. Возможно, я слышал также (хотя далеко в этом не уверен), когда именно должна была начаться эта сессия.

Моя гостиная, спальня и гардеробная расположены на одном этаже. В последнюю можно войти только через спальню. Правда, прежде она сообщалась с лестницей, но поперек этой двери

уже несколько лет назад были проложены трубы к ванной. Дверь в связи с этими переделками была наглухо заколочена и затянута холстом.

Как-то поздно вечером я стоял в спальне, отдавая последние распоряжения слуге. Лицо мое было обращено к единственной двери, через которую можно попасть в гардеробную, и дверь эта была закрыта. Слуга стоял к ней спиной. Разговаривая с ним, я вдруг заметил, что дверь приоткрылась и из нее выглянул какой-то человек, настойчиво и таинственно поманивший меня к себе. Это был второй из двух мужчин, которых я видел на Пикадилли, — тот, чье лицо напоминало цветом плохо очищенный воск.

Поманив меня, он попятился и закрыл за собой дверь. Ровно через столько секунд, сколько мне потребовалось, чтобы пересечь спальню, я распахнул дверь гардеробной и заглянул туда. В руке я держал зажженную свечу. У меня не было внутреннего убеждения, что я увижу в гардеробной моего неожиданного посетителя, и действительно — его там не оказалось.

Понимая, что мой слуга должен быть удивлен моим поведением, я повернулся к нему и спросил:

— Деррик, можете ли вы поверить, что, нахо-

дясь в здравом уме и твердой памяти, я решил, будто вижу… — Тут я прикоснулся рукой к его груди, и он, содрогнувшись, слабым голосом произнес:

— О господи, сэр! Как же — мертвеца, который манил вас за собой.

Я совершенно твердо убежден, что Джон Деррик, в течение двадцати с лишком лет бывший моим доверенным и преданным слугой, не видел ничего этого, пока я не дотронулся до его груди. Но когда я коснулся его, в нем произошла разительная перемена, которая могла объясняться только тем, что он каким-то оккультным путем воспринял от меня этот образ.

Я попросил Джона Деррика принести коньяку, дал ему рюмку и сам был рад выпить глоток. О том, что я видел этого мертвеца до нынешнего вечера, я не обмолвился ему ни словом. Обдумывая все случившееся, я пришел к твердому убеждению, что никогда прежде не видел этого лица, кроме единственного раза — тогда на Пикадилли. И вспоминая его выражение, когда человек повернулся к моему окну, я заключил, что в первом случае он стремился запечатлеть свои черты в моей памяти, а во втором хотел убедиться, смогу ли я его сразу узнать.

Ночь я провел беспокойно, хотя испытывал необъяснимую уверенность, что образ этот больше пока не явится. Днем я впал в тяжелую дремоту и был разбужен Джоном Дерриком, державшим в руке какую-то бумагу.

Оказалось, что из-за этой бумаги мой слуга и доставивший ее посыльный поспорили у дверей. Меня вызывали присяжным на ближайшую сессию Центрального уголовного суда в Олд-Бейли. Я впервые назначался присяжным в подобный суд, что хорошо было известно Джону Деррику. Он считал — я и по сей день не знаю, был ли он в этом прав или нет, — что людей моего положения присяжными для подобных процессов не назначают, и сперва отказался принять повестку. Посыльный отнесся к этому с полным равнодушием. Он сказал, что ему все равно, явлюсь я в суд или нет; он доставил повестку, а как я поступлю, его не касается.

Дня два я пребывал в нерешительности — явиться ли в суд или оставить вызов без внимания. Я не испытывал никакого таинственного влияния; у меня не было никакой необъяснимой потребности сделать тот или иной выбор. Я убежден в этом так же твердо, как и во всех остальных приводимых здесь мною фактах. В конце концов,

я решил пойти в суд, чтобы как-то нарушить однообразное течение моей жизни.

Было сырое и холодное ноябрьское утро. Густой бурый туман окутывал Пикадилли, а к востоку от Темпл-Бара он казался почти черным и даже зловещим. Коридоры и лестницы Олд-Бейли были ярко освещены газом, так же как и залы заседаний. Если память мне не изменяет, до того как пристав провел меня в Старый суд и я увидел заполнившую его публику, я еще не знал, что в этот день начинается процесс вышеупомянутого убийцы. Если память мне не изменяет, то, когда пристав с трудом прокладывал мне дорогу сквозь толпу, я еще не знал, в какой из двух судов был вызван. Однако я не берусь утверждать это с полной уверенностью, так как оба этих факта вызывают у меня некоторые сомнения.

Я прошел к местам, отведенным для вызванных присяжных, сел и начал оглядывать зал сквозь туманный сумрак Мне запомнилась черная мгла, висевшая за окном, словно грязный занавес, и приглушенный стук колес по соломе и стружкам, которыми была устлана мостовая, гул голосов собравшихся снаружи людей, в котором иногда можно было различить пронзительный свист, особенно громкую песню или оклик.

Вскоре вошли судьи — их было двое — и заняли свои места. Шум в зале сменился жуткой тишиной. Было приказано ввести убийцу. Он вошел в зал. И в то же мгновение я узнал его — это был первый из двух мужчин, которые прошли по Пикадилли.

Если бы моя фамилия была названа именно в эту минуту, вряд ли я сумел бы ответить членораздельно. Но она стояла в списке шестой или седьмой, и к этому времени я уже достаточно пришел в себя, чтобы откликнуться: «Здесь!» Но вот что примечательно: когда я прошел в ложу присяжных, подсудимый, до тех пор следивший за этой процедурой внимательно, но без всякой тревоги, вдруг выказал величайшее волнение и подозвал своего адвоката. Намерение подсудимого дать мне отвод было настолько видно, что секретарь перестал читать фамилии присяжных, и все ждали, пока адвокат, опершись о барьер, шептался со своим клиентом; затем он отрицательно покачал головой. Впоследствии я узнал от него, что подсудимый в страшном испуге потребовал: «Во что бы то ни стало дайте отвод этому человеку!» Но поскольку он не мог привести никакой причины, которая оправдывала бы его требование, и даже признался, что никогда не

слышал моей фамилии, пока секретарь не назвал ее и я не встал, просьба его выполнена не была.

Вследствие того что мне не хотелось бы воскрешать память об этом злодее, а также вследствие того, что подробное изложение длинного процесса не является необходимым для моего рассказа, я из всех происшествий, случившихся за те десять суток, пока мы, присяжные, пребывали вместе, изложу лишь те, которые непосредственно связаны с описываемым мною странным феноменом. Именно этим феноменом, а не судьбой убийцы хочу я заинтересовать читателя. Цель моя — сообщить о нем, а не написать страничку для «Ньюгейтского календаря».

Меня избрали старшиной присяжных. На второй день процесса после двух часов опроса свидетелей (я слышал, как били церковные часы) я случайно бросил взгляд на остальных присяжных и вдруг заметил, что никак не могу их сосчитать. Сколько я их ни пересчитывал, каждый раз один оказывался лишним.

Наклонившись к своему соседу, я шепнул ему:

— Окажите мне услугу, пересчитайте нас.

Просьба моя его удивила, но он все же обернулся и начал считать.

— Как же так, — сказал он внезапно, — ведь нас

тринад… Впрочем, что за нелепость. Нет-нет. Нас двенадцать.

Сколько раз я ни пересчитывал в этот день присяжных, результат был один и тот же: кто-то из нас все время оказывался лишним, хотя в ложе сидели только мы. Среди нас не было чужой видимой фигуры, присутствие которой объяснило бы эту странность, и все же предчувствие подсказывало мне, какая фигура вскоре должна была появиться.

Присяжных поместили в Лондонской гостинице. Мы спали все вместе в одном большом зале, и с нами постоянно находился судебный пристав, под присягой обязавшийся строго блюсти наше уединение. Я не вижу оснований скрывать его настоящее имя. Он был умен, весьма любезен и обязателен и (как я был рад узнать) пользовался большим уважением в Сити. У него было приятное лицо, зоркие глаза, завидные черные бакенбарды и красивый звучный голос. Звали его мистер Харкер.

Когда вечером мы расходились по нашим двенадцати постелям, кровать мистера Харкера ставилась поперек двери. В ночь на третий день, не чувствуя желания спать и заметив, что мистер Харкер сидит у себя на кровати, я подошел к нему,

присел рядом п предложил ему понюшку табаку. Мистер Харкер, потянувшись к табакерке, задел мою руку — тут же по его телу пробежала странная дрожь, и он сказал:

— Кто это там?!

Проследив направление взгляда мистера Харкера, я в глубине комнаты снова увидел фигуру, которую ожидал увидеть, — второго из двух мужчин, шедших по Пикадилли. Я встал и шагнул к нему, но потом остановился и посмотрел на мистера Харкера. Тот рассмеялся и шутливо сказал:

— Мне было показалось, что у нас появился тринадцатый присяжный, которому негде лечь. Но теперь я вижу, что меня обманул лунный свет.

Ничего не объясняя мистеру Харкеру, я пригласил его прогуляться со мной по комнате, а сам следил за тем, что делал наш незваный гость. Он по очереди останавливайся у изголовья каждого из остальных одиннадцати присяжных, причем неизменно приближался к ним с правой стороны кровати, а удаляясь, проходил в ногах соседней. Судя по повороту его головы, можно было предположить, что он лишь задумчиво смотрит на этих мирно спящих людей. Ни на меня, ни на мою кровать, которая стояла рядом с кроватью мистера Харкера, он не обратил ни малейшего внимания.

Потом он покинул комнату через высокое окно, поднявшись по лунному лучу, как по воздушным ступеням.

На следующее утро за завтраком выяснилось, что все, кроме меня и мистера Харкера, видели во сне убитого.

Теперь я уже не сомневался, что второй человек, который шел по Пикадилли, был убитый (если можно так назвать призрак), уверенность моя не могла бы стать глубже, даже если бы я услышал подтверждение тому из его собственных уст. Однако я получил и такое свидетельство, и притом совершенно неожиданным для меня образом.

На пятый день процесса, когда допрос свидетелей обвинения близился к концу, в качестве улики была представлена миниатюра, изображавшая убитого, — в день убийства она исчезла из его спальни, а затем была найдена в месте, где, как показали свидетели, убийцу видели с лопатой в руке. После того как ее опознал допрашиваемый свидетель, она была вручена судье, который затем передал ее для ознакомления присяжным. Едва облаченный в черную мантию служитель суда приблизился ко мне, держа ее и руке, от толпы зрителей отделился второй муж-

чина, шедший в тот день по Пикадилли, властно выхватил у него миниатюру и сам вложил ее в мою руку, сказав тихо и беззвучно — еще до того, как я успел открыть медальон с миниатюрой: «Я был тогда моложе, и лицо мое не было обескровлено»; точно так же он передал миниатюру моему соседу, которому я ее протянул, и следующему присяжному, и следу-ющему, и следующему, пока она не обошла всех и не вернулась ко мне. Никто из них, однако, не заметил его вмешательства.

За столом и когда нас запирали на ночь под охраной мистера Харкера, мы имели обыкновение обсуждать то, что услышали в суде. В этот пятый день, когда допрос свидетелей обвинения закончился и все доказательства преступления были нам предъявлены, мы, разумеется, говорили о деле с особым одушевлением и интересом. Среди нас находился некий член церковного совета — ни до, ни после мне не случалось встречать такого тупоголового болвана, — который нелепейшим образом оспаривал самые очевидные улики, опираясь на поддержку двух угодливых прихлебателей из того же прихода; вся троица проживала в округе, где свирепствовала гнилая лихорадка, и их самих следовало бы привлечь к суду за пятьсот убийств. Когда эти упрямые ту-

пицы особенно вошли в раж — дело близилось к полуночи и кое-кто из нас уже готовился лечь, — я снова увидел убитого. Он с мрачным видом стоял позади них и манил меня к себе. Едва я приблизился к ним и вмешался в разговор, как он исчез. Это было началом его постоянных появлений в зале, где мы помещались. Стоило нескольким присяжным заговорить о процессе, как я замечал среди них убитого. И стоило им прийти к неблагоприятным для него заключениям, как он грозно и властно подзывал меня к себе.

Следует заметить, что до пятого дня процесса, когда была предъявлена миниатюра, я ни разу не видел призрак в суде. Но теперь, после того как начался допрос свидетелей защиты, произошли три перемены. Сначала я расскажу о двух первых вместе. Призрак теперь постоянно находился в зале суда, но обращался он уже не ко мне, а к выступающему свидетелю или адвокату. Вот, например: горло убитого было перерезано, и адвокат в своей вступительной речи высказал предположение, что он сделал это сам.

В то же мгновение призрак, чье горло было располосовано самым страшным образом (до той поры оно оставалось скрытым), возник около адвоката и принялся водить под подбородком

то ребром правой ладони, то ребром левой, неопровержимо доказывая ему, что нанести себе подобную рану невозможно ни той, ни другой рукой. Еще пример. Свидетельница защиты показала, что обвиняемый — человек редкостной душевной доброты. В ту же секунду перед ней очутился призрак и, глядя ей прямо в глаза, вытянутыми пальцами простертой руки указал на злобную физиономию обвиняемого.

Но более всего меня поразила третья перемена, о которой я сейчас расскажу. Я не пытаюсь как-либо объяснить ее и ограничусь лишь точным изложением фактов. Хотя те, к кому обращался призрак, не замечали его, однако стоило ему к ним приблизиться, как они содрогались и на их лицах отражалось смятение. Казалось, он, подчиняясь законам, чье действие простиралось на всех, кроме меня, не мог показаться другим людям — и, тем не менее, таинственно, невидимо и неслышимо подчинял себе их сознание.

Когда адвокат выдвинул гипотезу о самоубийстве, а призрак встал около этого высокоученого юриста и принялся устрашающе водить руками по своему перерезанному горлу, тот совершенно явным образом запнулся, на несколько секунд потерял нить своих хитроумных рассуждений,

вытер платком вспотевший лоб и побелел, как полотно. А когда призрак встал перед свидетельницей защиты, нет никакого сомнения, что она обратила свой взор туда, куда он указывал пальцем, и некоторое время смущенно и обеспокоенно глядела на лицо обвиняемого. Достаточно будет привести еще два примера. На восьмой день процесса, после небольшого перерыва, который устраивался вскоре после полудня для отдыха и еды, я вместе с остальными присяжными вернулся в зал за несколько минут до появления судей. Стоя в ложе и обводя глазами публику, я решил было, что призрака здесь нет, как вдруг увидел его на галерее — он наклонялся через плечо какой-то почтенной дамы, словно хотел проверить, заняли уже судьи свои места или нет. И тотчас же дама вскрикнула, лишилась чувств, и ее вынесли из зала. Такой же случай произошел с многоопытным, проницательным и терпеливым судьей, который вел процесс. Когда разбирательство закончилось и он разложил свои бумаги, готовясь к заключительной речи, убитый вошел сквозь судейскую дверь, приблизился к креслу его чести и с живейшим интересом заглянул через его плечо в записи, которые тог листал. Лицо его чести исказилось, рука замерла, по телу

пробежала странная, столь хорошо знакомая мне дрожь, и он нетвердым голосом произнес:

— Я на несколько минут умолкну, господа. Здесь очень душно… — И смог продолжать лишь после того, как выпил стакан воды.

На протяжении последних шести монотонных дней этого нескончаемого десятидневного разбирательства — все те же судьи в креслах, все тот же убийца на скамье подсудимых, все те же адвокаты за столом, все тот же тон вопросов и ответов, гулко отдающихся под потолком, все тот же скрип судейского пера, все те же приставы, снующие взад и вперед, все те же лампы, зажигаемые в один и тот же час, если их не приходилось зажигать еще с раннего утра, все тот же туманный занавес за огромными окнами, когда день был туманным, все тот же шум и шорох дождя, когда день выпадал дождливый, все те же следы тюремщиков и обвиняемого утро за утром все на тех же опилках, все те же ключи, отпирающие и запирающие все те же тяжелые двери, — на протяжении этих мучительно однообразных дней, когда мне казалось, что я стал старшиной присяжных много столетий назад, а Пикадилли существовала во времена Вавилона, убитый ни на мгновение не утрачивал для меня четкости

очертаний, и я видел его столь же ясно, как и всех, кто меня окружал. Должен также упомянуть, что призрак, которого я именую «убитым», ни разу, насколько я мог заметить, не посмотрел на убийцу. Снова и снова я с удивлением спрашивав себя — почему? Но он так ни разу и не посмотрел на него.

На меня он тоже не глядел с той самой минуты, как подал мне миниатюру, и почти до самого конца процесса. Вечером последнего дня, без семи десять, мы удалились на совещание. Тупоумный член церковного совета и два его прихлебателя причинили нам столько хлопот, что мы были вынуждены дважды возвращаться в зал и просить судью повторить некоторые из его выводов. Девятеро из нас нисколько не сомневались в точности этих выводов, как, вероятно, и все, кто присутствовал в суде, но пустоголовый триумвират, только и выискивавший, к чему бы придраться, оспаривал их именно по этой причине. В конце концов, мы настояли на своем, и в десять минут первого присяжные вошли в зал для оглашения своего вердикта.

Убитый стоял рядом с судьей как раз напротив ложи присяжных. Когда я занял свое место, он устремил на мое лицо внимательнейший взгляд;

казалось, он остался доволен и начал медленно закрываться в серое покрывало, которое до той поры висело у него на руке. Когда я произнес: «Виновен», покрывало съежилось, затем все исчезло, и это место опустело.

На обычный вопрос судьи, может ли осужденный сказать что-нибудь в свое оправдание, прежде чем ему будет вынесен смертный приговор, убийца произнес несколько невнятных фраз, которые газеты, вышедшие на следующий день, описали как «бессвязное бормотанье, означавшее, по-видимому, что он подвергает сомнению беспристрастность суда, поскольку старшина присяжных был предубежден против него». В действительности же он сделал следующее примечательное заявление:

— Ваша честь, я понял, что обречен, едва старшина присяжных вошел в ложу. Ваша честь, я знал, что он меня не пощадит, потому что накануне моего ареста он каким-то образом очутился ночью рядом с моей постелью, разбудил меня и накинул мне на шею петлю.

1865

Роза Малхолланд
1841–1921
Одержимая органистка из Херли-Берли

Над деревушкой Херли-Берли пронеслась гроза. Каждая дверь была заперта, каждая собака спряталась в свою конуру, а каждая сточная канава и колея после прошедшего потопа обратилась в бурливую реку. В миле от деревни, у большого господского дома, перекликались грачи, спеша поведать друг другу, какого страху они натерпелись; молодые олени в парке робко высовывали головы из-за деревьев; старуха, обитавшая в сторожке, поднялась с колен и теперь ставила молитвенник обратно на полку; розы в полном июльском расцвете клонили к земле пышные короны, отяжелевшие от влаги, в то время как другие, сраженные дождем, лежали, румяным венчиком вниз, на садовой тропинке, где Бесс, горничная мистрис Херли, подберет их поутру, когда, как заведено в доме, отправится собирать розовые лепестки, дабы составить из них ароматическое саше для хозяйских покоев. Ряды белых

лилий, только сегодня успевших раскрыться во всей красе под лучами солнца, валялись в слякотной грязи. Слезы катились по янтарным щечкам слив, что росли на южной стене. Ни одна пчела не показывалась из ульев, хотя воздух был так благоуханен, что выманил бы наружу и ленивейшего из трутней. Небо за купами дубов на взгорье все еще хмурилось, но уже запорхали птицы вокруг плюща, оплетавшего дом Херли из Херли-Берли.

Гроза, о которой идет речь, разразилась более полувека назад, и потому мы должны помнить, что мистрис Херли, которая теперь, когда стихли громы и молнии, отважилась выбраться из-за кресла своего супруга, была наряжена по моде того времени. Бросая пугливые взоры в сторону окна, она уселась за стол перед супругом, бульоткой для кипятка и пончиками. Нам легко вообразить ее чепец тонкого кружева с персиковыми лентами, оборку на подоле ее батистового платья, почти доходящего до щиколоток, чулки с вышивкой «часами», розетки на ее туфлях, но куда сложнее представить себе сиреневый перелив ее кротких глаз, атласную кожу, еще сохранившую нежную свежесть, хотя и тронутую морщинками, и бледные, милые, надутые губки,

которым время и печаль придали нечто ангельское, но так и не сумели разрушить их красоту. Сам сквайр обликом был столь же суров, сколь нежна его жена: ее кожа была бела, его — загорела и обветрена, ее волосы лежали гладко, его — топорщились седой щетиной; годы пропахали на его лице глубокие борозды; сквайр, человек холерического склада, обычно вел себя шумно и бесцеремонно, однако с недавних пор глаза его потускнели, громкий голос стал глуше, а походка утратила бодрость. Он часто взглядывал на жену, а она на него. Она была невысока ростом, а он лишь на голову выше. Невзирая на различия, они были ладной парой. Жена двигалась резко и нервно, но говорила нежным голосом и смотрела кроткими глазами; речи и взгляд мужа казались грубоватыми, но в повороте головы сквозило благородство. Теперь они подходили друг другу не в пример лучше, чем когда-либо в прошлом, в расцвете юной страсти. Печаль сблизила супругов и придала им известное сходство. В последние годы жена только и делала, что восклицала: «Хватит тиранить моего сына», а муж твердил: «Ты ему слишком потакаешь, избалуешь вконец». Но теперь не стало божка, на которого прежде были обращены их взоры, и супруги отныне лучше

видели друг друга.

Комната, где они сидели, представляла собой уютную старомодную гостиную, с тонконогими, как пауки, предметами обстановки. На сообразных местах располагались спинет и гитара, а подле них были в изобилии сложены переписанные ноты; пол устлан ковром с темно-коричневыми венками на бледно-голубом фоне; голубые стены с желобчатой, как внутренность ракушки, штукатуркой, мебель в потускневшей позолоте. В оконной нише красовалась внушительная ваза, полная роз, сквозь открытое окно из сада веяли восхитительные ароматы, и птицы щебетали совсем близко, устраиваясь на ночлег в пышном плюще, а порой слышалась торопливая скороговорка дождевых капель, которые сеялись на землю, когда мокрую ветвь теребил ветер. Бульотка для кипятка на столе была серебряная, старинной работы, а чайная посуда — тонкого фарфора. Ничто в гостиной не было предназначено нежить тело, но все утонченно услаждало глаз.

Над Херли-Берли воцарилась тишина, которую нарушали одни лишь грачи. В продолжение целого месяца всякая живая тварь томилась от жары, теперь же, в согласии с Природой, мирно

и молчаливо впивала благодать освеженного грозою воздуха. Хозяин и хозяйка Херли-Берли разделяли настроение, в которое погрузилась округа, и за чаем были неразговорчивы.

— Веришь ли, — заговорила наконец мистрис Херли, — когда я услыхала первый раскат грома, то подумала, что это… это…

Она осеклась, губы ее задрожали, и персиковые ленты кружевного чепца взволнованно заколыхались.

— Тьфу! — воскликнул старый сквайр, и чашка его задребезжала о блюдце. — Обо всем этом давно пора позабыть. Уже три месяца, как ничего не слыхать.

В этот самый миг до слуха супругов донесся грохот. Хозяйка дома, дрожа, вскочила и стиснула руки, а тем временем струйка воды из бульотки затопила чайный поднос.

— Чепуха, моя дорогая, — произнес сквайр, — это всего лишь стук колес. Кто бы мог приехать?

— В самом деле, кто? — пробормотала его супруга и уселась обратно, вся трепеща от волнения.

На пороге возникла та самая собирательница розовых лепестков, хорошенькая Бесс, в вихре голубых ленточек.

— Мадам, прибыла дама, говорит, что ее ожи-

дают. Попросила показать отведенные ей покои, и я устроила ее в комнате, которую приготовили для мисс Калдервуд. Она кланяется вам, мадам, и обещает спуститься через минуту-другую.

Сквайр воззрился на супругу, а она на него.

— Тут какая-то ошибка, — пробормотала хозяйка дома. — Должно быть, гостья ехала к Калдервудам или Грейнджам. Какое необычайное происшествие.

Не успела она договорить, как дверь вновь отворилась и в гостиную вошла незнакомка — хрупкое создание, барышня или дама, сказать было затруднительно, но облаченная в скромное платье черного шелка и в белой муслиновой пелерине на узких плечиках. Волосы гостьи были зачесаны высоко на макушку, и лишь на низкий лоб свисала челка, не достававшая до бровей. Смуглое худощавое лицо, глаза черные, удлиненные, обведены темными кругами, губы полные, нежные, но печально опущенные; нос и подбородок ничем не выделялись. Вся она была: голова, глаза и губы.

Гостья скорым шагом пересекла комнату, сделала реверанс посреди гостиной и, приблизившись к столу, с мягким итальянским выговором объявила:

— Сэр, мадам, я прибыла. Я явилась играть на вашем органе.

— На нашем органе? — Мистрис Херли так и ахнула.

— На нашем органе? — Сквайр оторопел.

— Да, на органе, — повторила крошечная незнакомка и перебрала пальчиками по спинке стула, как если бы нащупывала клавиши. — Не далее как на прошлой неделе прекрасный собой синьор, ваш сын, переступил порог моего домика, где я жила и давала уроки музыки с тех пор, как скончались мой англичанин-батюшка и итальянка-матушка и мои братья и сестры, оставив меня совсем одну.

Тут гостья прекратила барабанить по спинке стула и по-детски, обеими руками, утерла с ресниц две крупных слезы. Но в следующее мгновение пальцы снова забегали по стулу, словно гостья могла говорить лишь при условии, что они выбивают свою неустанную дробь.

— Благородный синьор, ваш сын, — продолжала маленькая гостья, доверчиво взглядывая то на хозяина, то на хозяйку и ярко заалевшись всем своим смуглым личиком, — часто навещал меня, неизменно по вечерам, когда мой скромный кабинет заливало золотыми лучами вечернее

солнце и музыка переполняла мое сердце, и я вкладывала в игру всю свою душу. Вот тогда-то он обыкновенно и приходил и говорил мне: «Поторопись, малютка Лиза, играй лучше, как можно лучше. У меня для тебя в скором времени будет много работы». Иногда он восклицал «Brava!»[1], а иногда «Eccellentissima!»[2], но как-то вечером на прошлой неделе он пришел ко мне и сказал: «Довольно. Обещаешься ли ты исполнить мою просьбу, какова бы она ни была?»

Гостья потупила черные глаза и продолжала:

— И тогда я сказала: «Да», а он сказал: «Отныне ты моя нареченная», и я сказала: «Да», и он велел: «Собери же свои ноты, малютка Лиза, и поезжай в Англию к моим родителям-англичанам. У них в доме есть орган, на котором надо играть. Если они откажут тебе, скажи, что ты моя посланница, и тогда они согласятся. Ты должна играть весь день и подниматься в ночи и играть всю ночь. Ты должна играть без отдыха, не ведая устали. Ты моя нареченная, и ты поклялась исполнить для меня это поручение». И я спросила: «Синьор, увижу ли я вас там, в Англии?» И он ответил: «Да, ты

---

[1] Примечания: 1
Молодец! *(ит.).*

[2] Примечания: 2
Превосходно! *(ит.).*

увидишь меня». Тогда я сказала: «Я сдержу свою клятву, синьор». И вот, сэр, мадам, я прибыла.

Чужеземный мягкий говор умолк, пальцы замерли на спинке стула, и маленькая незнакомка смущенно подняла глаза на слушателей, а те сидели бледные от волнения.

— Вас обманули. Вы совершили ошибку, — сказали оба в один голос.

— Наш сын… — начала мистрис Херли, но губы ее дернулись, голос надломился, и она жалобно взглянула на супруга.

— Наш сын, — отвечал сквайр, с трудом подавляя дрожь в голосе, — наш сын давно мертв.

— О нет, о нет, — возразила маленькая иностранка. — Если вы полагали, будто он умер, возрадуйтесь, дорогие хозяева. Он жив; он цел и невредим, он в добром здравии и хорош собой. Не далее как один, два, три, четыре, пять (она отсчитала на пальцах) дней тому назад он стоял передо мной.

— Тут какая-то поразительная ошибка, какое-то немыслимое совпадение! — воскликнули хозяин и хозяйка Херли-Берли.

— Отведем ее в галерею, — прошелестела мать сына, который оказался и живым, и мертвым. — Еще довольно света, чтобы посмотреть на

картины. Она не узнает его по портрету.

В смятении муж с женой повели странную гостью в длинный сумрачный покой в западном крыле дома, где последние отблески света, все еще лившиеся с тускнеющего неба, слабо озаряли фамильные портреты.

— Вне всякого сомнения, с виду он примерно таков, — провозгласил сквайр, указывая на портрет белокурого молодого мужчины с кротким лицом, своего брата, пропавшего в морском плавании.

Однако Лиза покачала головой и на цыпочках беззвучно двинулась от полотна к полотну, вглядываясь в изображения и каждый раз беспокойно отворачиваясь. Но наконец слабый вскрик восторга огласил темную галерею.

— Ах, вот же он! Взгляните, вот он, благородный синьор, прекрасный синьор, хотя здесь он написан вполовину не таким прекрасным, каким был пять дней тому назад, когда беседовал с бедной малюткой Лизой! Дорогие сэр и мадам, теперь вы удовлетворены, так отведите же меня к вашему органу, чтобы я немедля приступила к исполнению клятвы, данной вашему сыну.

Хозяйка Херли-Берли со всей силы вцепилась в руку мужа.

— Сколько вам лет, милая? — слабым голосом

спросила она.

— Восемнадцать, — нетерпеливо отвечала гостья, а сама уже спешила прочь из галереи.

— А мой сын мертв вот уже двадцать лет! — воскликнула несчастная мать и в обмороке поникла на грудь супруга.

Очнувшись, она приказала:

— Немедля закладывайте карету. Я отвезу нашу гостью к Маргарет Калдервуд, а та поведает ей всю историю. Маргарет заставит ее одуматься. Нет, не будем откладывать до завтра, я не смогу дождаться завтрашнего дня, слишком долго ждать. Мы должны ехать сейчас же.

Юная синьора решила, что старая хозяйка сошла с ума, но покорно закуталась в плащ и уселась рядом с хозяйкой Херли-Берли в фамильную карету Херли. Лик луны, заглянувшей в окно кареты, которая катила вперед да вперед, вряд ли был бледнее лица супруги сквайра, чьи померкшие глаза не отрывались от лунного диска, исполненные тревоги и тоски столь сильных, что не оставалось места ни для слез, ни для слов. Синьора Лиза в своем уголке кареты тоже не сводила глаз с луны, но ее черный взор сиял страстными мечтами.

Когда возница остановил карету Херли подле

владения Калдервудов, от их крыльца как раз отъехала другая карета. То возвратилась домой со званого ужина Маргарет Калдервуд. Великолепная, пышно наряженная, стояла она на пороге, величественная дама в коричневом бархате, и бриллианты на ее груди сверкали в лунном свете, обливавшем весь дом от крыши до фундамента. Мистрис Херли со стоном пала в ее распростертые объятия, и хозяйка увлекла стареющую подругу внутрь дома в своих сильных руках, словно вела малое дитя. Малютка Лиза, всеми позабытая, уселась на крыльце и мечтательно любовалась луной, выстукивая воображаемые сонаты по порогу.

Сумрачная, едва озаренная лунными лучами комната, куда увлекла свою подругу Маргарет Калдервуд, огласилась рыданиями и всхлипами. После долгой беседы Маргарет устроила скорбящую подругу в тихом уголке, а сама вышла поглядеть на маленькую смуглянку-чужеземку, которая незваной и нежеланной гостьей явилась из-за морей с диковинной и безумной весточкой от покойного.

Маленькая гостья последовала за высокой хозяйкой вверх по парадной лестнице прекрасного особняка Калдервудов в просторный покой, где

горела лампа, освещая роскошную обстановку дома, отделанного куда богаче и дороже, чем Херли-Берли — что заметила бы Лиза, пожелай она оглядеться. Сам же покой, куда ввели гостью, красноречиво свидетельствовал, что здесь располагается святилище дамы, которая в своей жизни наибольшее значение придает уму и вкусу. Однако синьора Лиза не заметила ничего, кроме кусочка сухого печенья, лежавшего на блюде.

— Можно мне кусочек? — с жаром попросила она. — Я так давно не ела. Я проголодалась.

Маргарет Калдервуд окинула юную гостью матерински печальным взором, отвела челку со лба маленькой синьоры и поцеловала ее. Лиза, воззрившись на нее в изумлении, ответила на ласку пылким поцелуем. Ее привели в восторг прекрасные белые плечи хозяйки, и ее лик Мадонны, и белокурые косы. Но, когда подали кушанья, синьора Лиза накинулась на угощение.

— О, как вкусно! Дома я в жизни такого не пробовала, — поблагодарила девушка.

А Маргарет Калдервуд тихонько пробормотала самой себе: «По крайности, телесно она здорова».

— А теперь, Лиза, — предложила хозяйка, — поди сюда и поведай мне всю эту историю о родовитом синьоре, который отправил тебя в

Англию сыграть на органе.

Лиза мягкими шажками встала за стул, и глаза ее снова принялись блуждать, а пальчики постукивать, и она слово в слово повторила свой рассказ, как излагала его в Херли-Берли.

Когда она умолкла, Маргарет Калдервуд со встревоженным видом принялась мерить шагами комнату. Лиза следила за ней как завороженная, и, когда хозяйка объявила: «Сейчас я поведаю историю, которая имеет к тебе самое прямое отношение», гостья послушно сложила свои неутомимые руки и приготовилась слушать.

— Итак, Лиза, двадцать лет тому назад у мистера и миссис Херли был сын. Красавец собой, точно как на портрете в галерее, и с рождения наделен блестящими талантами. Отец с матерью его боготворили, и все знакомые не могли не любить. В те времена я была счастливой барышней двадцати лет. Я осталась сиротой, и миссис Херли, подруга моей матушки, заменила мне родную мать. Я была окружена дружеской любовью и заботой, и к тому же очень богата; но сама я ценила поклонение и богатства — а на мою долю и того и другого выпало весьма щедро, — ровно в той степени, в которой они чего-то стоили в глазах Льюиса Херли. Мы с ним обручились, и я любила

его всем сердцем.

Однако, как ни ласкали его друзья и возлюбленная, как ни гордились им родители, это не уберегло Льюиса от зла, и он пошел по дурной дорожке и все более и более погрязал в пороках, пока даже те, кто любил его более остальных, не отчаялись дожидаться, что он одумается и раскается. Вся в слезах, я, пока еще не поздно, возносила горячие молитвы за спасение его души, если не ради его несчастной матери, то ради себя. Каков же был мой ужас, когда я обнаружила, что более не властна над Льюисом и слова мои более его не трогают; он разлюбил меня. Я твердила себе, что на него нашло помрачение рассудка, которое рано или поздно минует, и продолжала надеяться. Наконец мать Льюиса воспретила мне видеться с ним.

После этих слов Маргарет Калдервуд на некоторое время умолкла и погрузилась в горестные размышления, но затем продолжила свой рассказ:

— Льюис и шайка его приятелей провозгласили себя «Клубом дьявола» и завели дурной обычай учинять в округе всевозможные скверные каверзы и проказы. Они устраивали полночные пляски на кладбищенских могилах; похищали

беспомощных стариков и детей и мучили их, притворяясь, будто хоронят своих жертв заживо; они выкапывали покойников из могил и рассаживали на осквернённых надгробиях, будто бы для шутейной пирушки. Как-то раз на деревенское кладбище пришла весьма печальная погребальная процессия. Покойного внесли в церковь и читали над ним панихиду. Больше всех скорбел престарелый отец умершего: он рыдал, стоя у гроба. В самый разгар траурной церемонии церковный орган вдруг бойко заиграл кощунственную мелодию и раздался пронзительный хор пьяных голосов. У толпы прихожан вырвался возмущенный стон, священник побледнел и захлопнул молитвенник, а старик-отец покойного поднялся на ступени алтаря и, воздев дрожащие руки, выкрикнул страшное проклятие: «Да будет проклят Льюис Херли на веки вечные, и будь проклят орган, на котором он играл, и онеметь этому органу навсегда, если только не коснутся клавиш осквернившие его руки! И пусть играют они и играют, пока не обессилеют и не окостенеют в смертной истоме!» Проклятие возымело действие, ибо с того самого дня церковный орган онемел и стоял в молчании, если только на нем не играл Льюис Херли.

Из чистой бравады он велел, чтобы орган перевезли из церкви в дом его отца и поставили в том покое, где орган стоит и поныне. Из той же бравады Льюис играл на нем ежедневно. Но с каждым разом он проводил за органом все больше и больше времени, пока не стал просиживать по целым дням. Мы долго дивились этой прихоти, ибо ничем другим не могли объяснить поведение Льюиса, и бедная мать благодарила Господа, что тот обратил сердце грешника к занятию, уберегавшему его от пороков. Я первой заподозрила, что Льюис не по своей воле долгими часами до изнеможения молотит по клавишам органа, в то время как приятели, соучастники былых буйств, всеми силами стараются отвлечь его. Обыкновенно Льюис запирался в покое, где стоял орган, на ключ, но однажды я спряталась там за занавесями и увидела, как он в муках извивается на сиденье, и услышала, как стонет он, пытаясь оторвать руки от клавиш, а их упорно притягивает обратно, точно иглу к магниту. Вскоре стало яснее ясного, что Льюис прикован к органу, словно невольник на цепи; но что удерживало его в заточении, безумие или же сверхъестественная сила, вызванная проклятием оскорбленного старца, — того мы не ведали. Настало время, когда органные раскаты

будили нас уже и по ночам, прерывая наш сон. Теперь Льюис изнемогал за органом денно и нощно, не ведая сна и покоя, не заботясь об утолении голода. Лицо его осунулось и обросло длинной бородой, глаза вылезали из орбит, он исхудал, а пальцы его скрючились, точно птичьи когти. Когда Льюис склонялся над орудием своей пытки, из груди несчастного вырывались жалобные стоны. Никто, кроме меня и его матери, не осмеливался приближаться к нему. Она, несчастная, хрупкая женщина, напрасно пыталась вложить какую-нибудь пищу или влить вина в его губы, пока истертые пальцы продолжали свою пляску по клавишам; но он лишь скрежетал зубами в ответ и извергал брань, и мать в ужасе отступалась от сына и удалялась молиться. Но вот наступил последний страшный час, и мы нашли рядом с органом на полу лишь скорченный труп.

С того самого часа орган умолк навсегда и не отзывался ни на одно прикосновение. Многие не желали верить этой истории и упорно пытались извлечь из органа звуки, но тщетно. Однако же, когда зал опустел и стоял запертый, всеми заброшенный, мы услышали, как оттуда, проникая сквозь стены, громче прежнего доносятся хорошо знакомые нам могучие раскаты органа. День и

ночь гремел орган, как и раньше. Казалось, проклятие, павшее на голову грешника, все еще не утратило своей силы, хотя его измученное тело иссохло в непомерных стараниях избыть свою участь. Теперь даже мать умершего боялась приближаться к той комнате. Шли годы, а проклятие вечно звучащей музыки так и владело домом. Слуги отказывались в нем оставаться, посетители обходили его стороной. Сквайр и его супруга уехали прочь на долгие годы, но затем возвратились; вновь уехали и вновь возвратились, однако обнаружили, что чудовищные звуки не умолкают ни на минуту, терзая их слух и сердце. Наконец, несколько месяцев тому назад, удалось отыскать некоего праведника, который на много дней заперся в проклятом покое, и молился там, и сражался с нечистой силой. Когда же он вышел и удалился, нестерпимые звуки смолкли, и более органа никто не слышал. С тех пор в доме наступил покой. И вот теперь, Лиза, твое странное появление и твои речи заставляют нас подумать, что ты пала жертвой нечистого и запуталась в его сетях. Одумайся и укройся под защитой Господа, и тогда ты убережешься от сил зла, которые овладевают тобой все сильнее. Послушайся…

Маргарет Калдервуд повернулась к углу, где,

как она полагала, сидела и внимала ее истории гостья. Маленькая синьорина глубоко спала, раскинув на коленях руки, словно и во сне перебирала клавиши органа.

Маргарет по-матерински прижала смуглое нежное личико к своей груди и поцеловала вспухшие жилки на висках, дивясь и тревожась.

«Мы спасем тебя от страшной участи!» — прошептала она и отнесла девушку в постель.

Поутру Лиза исчезла. Маргарет Калдервуд поднялась спозаранку и обнаружила, что комната гостьи пуста.

«Она такая дикарка, — подумала хозяйка, — с нее станется вскочить ни свет ни заря и отправиться слушать жаворонков!» И она пустилась на поиски юной синьорины. Маргарет искала ее по лугам, по окрестному парку, заглядывала за живые изгороди… Мистрис Херли выглянула в окно малой столовой, где сидела за завтраком, и увидела, как Маргарет, статная и прекрасная, в белом утреннем пеньюаре, унизанном каплями росы, шествует по садовой аллее меж розовых кустов, а на ее обычно спокойном лице темнеет тень тревоги. Поиски были напрасны. Чужеземная гостья пропала без следа.

После завтрака предприняли новую попытку

отыскать беглянку, но тщетно, так что к вечеру обе дамы вернулись в Херли-Берли, а там их встретили переполох и всеобщая паника. Сам хозяин дома заперся у себя в кабинете и заткнул уши. Бледные от страха слуги жались и перешептывались по углам. А одержимый демоном орган гремел и ярился, как встарь, и раскаты его разносились по всему дому.

Маргарет Калдервуд поспешила в проклятый покой и, конечно же, нашла там Лизу. Гостья сидела на высоком стуле перед органом и, раскачиваясь всей своей хрупкой фигуркой, колотила по клавишам, а вечернее солнце золотило ее безумную голову. О, что за сладкие неземные звуки извлекала девушка из стенающего сердца органа — бурные мелодии, которые то взлетали в восторженную высоту, то падали в траурные глубины. Она переходила от Мендельсона к Моцарту, от Моцарта к Бетховену. Вначале Маргарет застыла, околдованная завораживающей красотой музыки, но вскоре пришла в чувство, обхватила музыкантшу и силой повлекла прочь из органной комнаты. Однако Лиза на следующий же день возвратилась туда, и на сей раз увести ее с поста было куда труднее. День за днем она просиживала за органом и все больше бледнела

и худела, и все отчужденнее и страннее делалось ее лицо.

— Я так стараюсь, — говорила маленькая синьорина, обращаясь к миссис Херли. — Синьор, доволен ли мной ваш сын? Попросите его, пусть явится самолично и скажет мне, доволен ли он.

Мистрис Херли расхворалась и слегла в постель. Сквайр бранился на незваную гостью, заморскую обузу, и спешно куда-то уехал. Маргарет Калдервуд была единственной свидетельницей той участи, которая постигла маленькую органистку. Проклятие органа пало на Лизу; орган пел под ее пальцами, и руки ее были ему послушны.

Наконец Лиза взволнованно сообщила, что ей было явление отважного синьора, который хвалил ее за труды, но понуждал стараться еще сильнее. После этого Лиза прекратила всякие сношения с живыми. Снова и снова Маргарет Калдервуд, обвив хрупкое тельце, уносила Лизу прочь из проклятой комнаты и замыкала дверь на ключ. Но сколько бы она ни запирала органную и ни прятала ключ, все ее усилия были напрасны. На другой день дверь снова оказывалась отперта и Лиза трудилась на своем посту.

Однажды ночью, пробудившись от знакомых стонов и раскатов органа, Маргарет торопливо

оделась и поспешила в проклятую комнату. Лунный свет проникал в коридоры и на лестницы Херли-Берли, и лучи его падали на мраморный бюст покойного Льюиса Херли, стоявший в нише над дверью в гостиную его матушки. Органная комната была залита лунным сиянием, и когда Маргарет вошла в проклятую дверь, то увидела, что зеленоватые лучи луны мешаются с иным светом, тусклым и мертвенно-бледным, который словно бы окутывал некую мрачную тень возле органа, напоминавшую человеческую фигуру. Свет этот фантастическим контуром обрисовывал хрупкую фигурку Лизы, которая уже не раскачивалась туда-сюда, а корчилась, будто в агонии. Орган изрыгал беспорядочные, корявые звуки, точно пальцы органистки били по клавишам наугад. В промежутках между прерывистыми аккордами из груди Лизы вырывались надрывные стоны, и темная фигура с угрожающими жестами склонялась над девушкой. Вся дрожа от ужаса перед потусторонней силой, но несгибаемая в своем упорстве, Маргарет Калдервуд прокралась внутрь органной и окунулась в зловещее сияние, заполнявшее комнату. Поначалу оно словно вспыхнуло ярче и совсем было ослепило ее, едва не лишив рассудка, но она усилием воли

совладала с собой, подняла глаза и увидела лицо Лизы, искаженное гримасой мучительного страдания, а совсем рядом — угрожающе склоненного над ней Льюиса Херли! Маргарет захлестнула волна ужаса, но и тут она не утратила самообладания. Обвив сильными руками несчастную девушку, Маргарет поволокла ее прочь от лучей потустороннего света, которые тотчас стали гаснуть и потухли. Маргарет отнесла девушку в свою постель, где Лиза и лежала в изнеможении, истощив все силы, горестно лепеча о жестоком безжалостном синьоре, который не желал видеть, что она старалась как могла. Бедные измученные ручки Лизы судорожно барабанили по одеялу, словно девушка все еще пыталась исполнить свое губительное обещание.

Маргарет Калдервуд обтерла мокрой тряпицей ее горящий лоб и положила свежие цветы ей на подушку. Она распахнула ставни и открыла окна, впустив в спальню свежий утренний воздух и солнечный свет, и, взглянув на светлевшее небо, которое сулило ясный погожий день, и на поля, покрытые росой, и на темную зелень дальних лесов, над которыми еще стелился сиреневый туман, Маргарет вознесла молитву, прося Господа указать ей, как наконец развеять проклятие. Она

помолилась за Лизу, а затем, решив, что девушка задремала, выскользнула из комнаты. Маргарет не сомневалась, что заперла за собой дверь.

Бледная, решительная, Маргарет сошла вниз и, ни с кем не посоветовавшись, послала в деревню за каменщиком. Затем она уселась у изголовья мистрис Херли и объяснила той, что надлежит сделать. Потом вернулась к Лизе, но, не услышав ни звука и решив, что девушка все еще спит, вновь спустилась вниз. Она убедилась, что каменщик прибыл и уже взялся за дело и закладывает органную комнату кирпичами. Работал он проворно, и в самом скором времени органная была крепко и надежно замурована камнем и известкой.

Дождавшись, пока последний камень будет положен в кладку, Маргарет Калдервуд вновь отправилась к дверям комнаты, где спала Лиза, и убедилась в том, что там все тихо. Тогда она вернулась к изголовью миссис Херли. День уже клонился к вечеру, когда Маргарет наконец зашла в свою комнату, чтобы проверить, хорошо ли спится Лизе. Но постель оказалась пуста, а в комнате не было ни души. Лиза исчезла.

Начались поиски. Искали по всему дому, в саду, в окрестных угодьях, в полях и лугах. Лизы и

след простыл. Маргарет Калдервуд приказала заложить карету и отправилась в Калдервуд проверить, не занесло ли туда маленькую гостью; затем велела она гнать в деревню, потом объехала все селения по соседству и везде справлялась о Лизе, а сама гадала, куда же та подевалась. Ослабелая, изнеможенная, хрупкая как былинка, Лиза едва стояла на ногах, так не могла же она далеко уйти?

Два дня длились напрасные поиски, а потом Маргарет возвратилась в Херли-Берли усталая и опечаленная. Вечер был прохладный, и она сидела у очага, закутавшись в шаль, и тут вошла горничная Бесс, всхлипывая и утираясь муслиновым фартучком.

— Не могли бы вы замолвить словечко перед мистрис Херли, мэм? — попросила она. — Я к ней привязана всей душой, и у меня сердце разрывается, как подумаю, что надо уезжать, да только орган опять взялся за прежнее, и я сама не своя со страху, а потому остаться никак не могу.

— Кто слышал орган и когда? — Маргарет Калдервуд встрепенулась и поднялась.

— О, мэм, я своими ушами его слышала, в ту самую ночь, как вы уехали — в ту ночь, как дверь замуровали!

— А с тех пор он больше не играл?

— Нет, мэм, — поразмыслив, отвечала Бесс, — с тех пор не играл. Но чу! Слышите, мэм? Уж не он ли это снова?

— Нет, — сказала Маргарет Калдервуд, — это шумит ветер.

Но сама она, бледная как смерть, стремглав помчалась к проклятой комнате и приложила ухо к свежей каменной кладке, к еще сырой извести. Молчание. Она не услышала ничего, лишь однообразные вздохи ветра в ветвях. Тогда Маргарет налегла на каменную кладку своим белоснежным плечом, и стала ногтями царапать известку, и закричала, чтобы позвали каменщика.

Была уже полночь, но каменщик поднялся с постели и поспешил обратно в Херли-Берли. Бледная женщина стояла и наблюдала за ним, пока он не разобрал кладку, которую возвел три дня назад, а слуги теснились и перешептывались поодаль, гадая, что же случится дальше.

А дальше случилось вот что: когда замурованную дверь отперли, каменщик вошел внутрь, освещая себе путь, а за ним — Маргарет Калдервуд и другие. У подножия органа темнел на полу какой-то холмик. При виде его свидетели застонали. То была малютка Лиза, мертвее мертвого!

Когда мистрис Херли смогла встать с постели, сквайр с женой уехали во Францию, где и прожили до самой смерти. Херли-Берли многие годы простоял запертый и всеми покинутый. Недавно поместье перешло к новому владельцу. Орган разобрали и вытащили вон, а комнату, где он стоял, отделали под спальню с самым пышным и богатым убранством. Но в спальне той никто не ночует дважды.

А Маргарет Калдервуд, всю седую и вмиг постаревшую, на другой же день положили в могилу.

1866

Амелия Эдвардс
1831–1892
Саломея

Несколько лет тому назад — сколько именно, значения не имеет — я, Харкорт Блант, путешествовал на пару с моим товарищем Ковентри Тернером и однажды на ступенях гостиницы услышал от него торжественное признание: он снова влюблен.

— Уверяю тебя, Блант, — сказал мой спутник, — такой красавицы я в жизни не видывал, она бесподобна!

Я расхохотался.

— Дружище, — ответил я, — в который уж раз встречаешь ты бесподобную красавицу!

— Так-то оно так, но я впервые говорю положа руку на сердце.

— Да ведь в который уж раз ты говоришь положа руку на сердце! Вспомни хотя бы дочку трактирщика в Кельне.

— Хорошенькая горничная, да только такую как ни муштруй, в приличном обществе показать нельзя.

— А красавица американка в Интерлакене?

— Не спорю, но…

— А Bella Marchesa[3] на балу у князя Торлони?

— Ни одна из них не сравнится с моей царственной венецианкой. Прогуляешься со мной по Мерчерии, убедишься сам. Отсюда в гондоле до площади Святого Марка рукой подать, доберемся за четверть часа.

Я согласился, и всю дорогу он расписывал мне свою новую пассию. Она еврейка — дайте срок, и он ее обратит. Отец ее держит лавку в Мерчерии — так что с того? Он торгует только дорогим восточным товаром и богат как Ротшильд. Что же до возможных осложнений в связи с его, Тернера, собственными видами на будущее — неужто он станет колебаться из-за эдакого вздора? Чего стоят эти «виды», когда на другой чаше весов счастие всей его жизни? К тому же он не тщеславен. Членство в парламенте его не прельщает. И если дядюшка — сэр Джеффри — не отпишет ему ни гроша, так что же? У него есть свои, пусть скромные, средства, уж их-то ни одна живая душа не отнимет, а чего более можно желать по здравом рассуждении?..

---

[3] Примечания: 3
Прекрасная маркиза (*ит.*)

Я слушал, улыбался да помалкивал. Слишком хорошо я знал Ковентри Тернера, чтобы придавать малейшее значение его словам и поступкам в делах такого свойства. Влюбляться до самозабвения было для него в порядке вещей. Мы дружили с детских лет; и с тех пор как он безо всякой надежды на взаимность увлекся молодой особой из кондитерской лавки в Харроу, не припомню, чтобы сердце его бывало свободно более чем несколько недель кряду. За пять месяцев нашего совместного путешествия он прошел все изнурительные этапы целых трех grandes passions[4]; и несколькими неделями раньше покинув Рим с разбитым вдребезги сердцем, склеить которое не представлялось возможным ни при каких обстоятельствах, он теперь, повинуясь естественному ходу событий, вполне воспрянул, чтобы снова влюбиться.

Мы сошли на берег возле Святого Марка. В то утро, почти в середине апреля, ровно десять лет назад, на небе не было ни облачка. Дворец дожей ослепительно сверкал под жаркими лучами солнца; тут и там гондольеры, сбившись в кучки, обсуждали праздношатающихся; под арками

---

[4] Примечания: 4
Великие страсти (*фр.*)

Пьяцетты бойко шла торговля апельсинами; за уличными столиками приветливых кафе уже расположились фланеры, наслаждаясь мороженым и утренней сигаретой. Прямо перед собором Святого Марка играл австрийский военный оркестр — портупеи, пряжки, усы, белоснежные мундиры; и через всю площадь протянулась сонная тень огромной колокольни.

За низким сводчатым проходом, ведущим к Мерчерии, мы окунулись в прохладный лабиринт узких, извилистых, живописных улочек, куда не заглядывает солнце, где не услышишь скрипа колес и не увидишь вьючное животное; где что ни дом, то лавка, снизу доверху набитая товаром, словно на восточном базаре; где балконы стоящих друг против друга домов почти сходятся у тебя над головой, разделенные узкой щелкой знойного неба; и где три человека уже не разойдутся. Кое-как протискиваясь сквозь разношерстную толпу, которая без умолку трещит, торгуется, покупает, продает и пребывает в бесконечном колыхании, мы дошли наконец до лавки с восточными товарами. На уличном прилавке только и было что стеклянные банки с приправами да неопрятные россыпи дешевых побрякушек; зато внутри лавка, на вид темная и

тесная, ломилась от восточных сокровищ. Целые сундуки восхитительных украшений, вышивок, кистей и бахромы из массивной золотой и серебряной канители, драгоценные снадобья и душистые травы, изысканные филигранные безделицы, подлинные чудеса резьбы по кости, сандалу и янтарю, усыпанные каменьями ятаганы, сверкавшие «алмазами и перлами»[5], парадные турецкие сабли, тюки кашемировых шалей, китайского шелка, индийского муслина, кисеи и тому подобного заполняли каждый дюйм пространства от пола до потолка, оставляя свободным лишь узкий проход от двери к прилавку и еще более узкую тропку к жилым комнатам в глубине.

Мы вошли. Молодая женщина, расположившаяся с книгой на низкой скамейке за прилавком, отложила книгу в сторону и медленно поднялась. Она была во всем черном. Затрудняюсь подробно описать, что это был за наряд. Знаю только, что одежды ниспадали до пола свободными, пышными складками, и лишь у шеи и на запястьях проглядывала узкая полоска тончайшего батиста; но даже столь изящное и необычное платье не

---

[5] Примечания: 5
Пер. Арк. Штейнберга.

задержало моего внимания — до такой степени пленила меня ее красота.

Да, она и впрямь была прекрасна — прекрасна сверх всяких моих ожиданий. Ковентри Тернер, при всем своем воодушевлении, не сумел воздать ей по заслугам. Он расточал похвалы ее глазам — огромным, лучистым, печальным глазам, — прозрачной бледности, точеным чертам лица; но ни словом не обмолвился о том естественном достоинстве, совершенном благородстве и утонченности, которые сквозили в каждом ее взгляде, в каждом жесте. Мой приятель попросил дозволения снова взглянуть на браслет, приглянувшийся ему накануне. Горделиво, величаво, не проронив ни слова, она отперла ящик и положила вещицу на прилавок. Он спросил, нельзя ли поднести браслет поближе к свету. Она наклонила голову, и только. Меня не оставляло чувство, будто нам прислуживает юная императрица.

Тернер прошел с браслетом к двери и сделал вид, что внимательно его разглядывает. Две золотые цепочки, через равные промежутки соединенные узорной деталью в форме бобового зерна с ярким кораллом и брильянтами. Вернувшись к прилавку, он спросил у меня совета: понравится ли браслет его сестре, которой он

обещал привезти сувенир из Венеции?

— Вещица прелестная, — ответил я, — но сувенир из Венеции должен быть изготовлен в Венеции. Это же, полагаю, турецкая работа.

Прекрасная еврейка подняла на меня взгляд. Мы говорили по-английски; она, однако, все поняла и холодно уточнила:

— E Greco, signore[6].

В ту же минуту из какой-то темной конторы в глубине неожиданно вышел седой бородатый старик — все подмечающий Шейлок с карандашом за ухом.

— Иди в дом, Саломея… иди, дитя мое, — поспешно сказал он. — Я сам обслужу этих господ.

Она лишь на мгновение встретилась с ним взглядом и молча пошла прочь, скрывшись в сумраке задней комнаты.

Больше мы ее не видели. Мы еще немного потянули время, праздно переходя от одного ларца с украшениями к другому, но наши надежды не оправдались. В конце концов Тернер купил свой браслет, мы снова оказались на узких улочках и вскоре вернулись на яркий свет главной венецианской площади.

---

[6] Примечания: 6
Греческая, синьор (*ит.*)

— Ну как, — выдохнул он, ия, — что скажешь?

— Хороша!

— Красивей, чем ты думал?

— Стократ. Но…

— Чем скорее ты выбросишь ее из головы, тем лучше! — закончил он за меня.

Он, конечно, принялся клясться и божиться, что никогда не выбросит ее из головы, никогда не сможет забыть. Он и слышать не хочет о том, что их разделяет, знать не желает никаких возражений и не верит ни в какие препоны. То, что прекрасная Саломея не только не ведает о его страсти и не интересуется его персоной, но и понятия не имеет, кто он и что он, почиталось сущими пустяками, не стоящими даже упоминания в его перечне возможных осложнений. Уразумев, что он безнадежно глух к доводам рассудка, я умолк.

Не прошло, однако ж, и недели, как все было кончено.

— Скажи-ка, Блант, — произнес он как-то утром, приблизившись к моему столику в кофейне гостиницы, где я устроился с намерением ответить на целую кипу писем из дому, — не двинуться ли нам завтра поутру в Триест? Ну полно, не смотри на меня так… ты ведь меня знаешь. Я болван,

что возмечтал, будто она полюбит меня, меня — незнакомца, чужестранца, христианина!.. Но все равно мне ужасно не по себе и… и хочется бежать отсюда за тысячу миль!

Мы вместе поехали в Афины и там распрощались — Тернер держал путь в Англию, а я на Восток. Мои странствия продолжались много месяцев. Сперва я направился в Египет и Святую землю, потом присоединился к экспедиции на берега Евфрата, и вот наконец, после года беспрерывной восточной эпопеи, примерно в середине апреля вновь очутился в Триесте. Здесь я обнаружил заветную связку писем, встречу с которой предвкушал тем острее, чем меньше недель до нее оставалось; среди прочих оказалось там и письмо от Ковентри Тернера. На сей раз он был не просто смертельно влюблен, но намеревался вскоре связать себя брачными узами. Письмо изобиловало подобающими случаю восторгами и заверениями. Автор его был счастливейшим из смертных; его суженая — прекраснейшей и приятнейшей из женщин; будущее рисовалось чистым раем; прошлое — печальной чередой заблуждений. Что же до любви, то он, разумеется, дотоле ее по-настоящему не знал.

А как же прекрасная Саломея?

Ни слова о ней, ни единого слова во всем письме! Он забыл о ней так основательно, словно ее никогда и не было. А ведь как безумно он был влюблен и как безумно страдал всего какой-то «годик» тому назад! Так-то… Хотя, с другой стороны, «годик» уж минул — а кто из мало-мальски знавших Ковентри Тернера мог надеяться, что он припомнит свою la plus grande des grandes passions[7] по прошествии вполовину меньшего срока?

Переночевав в Триесте, я на следующий день отправился в Венецию. Не знаю почему, из головы у меня не шел Тернер с его любовными похождениями. Мне вспомнилась Мерчерия — как мы с ним вдвоем туда наведались. Я не мог отделаться от образа красавицы еврейки. Все так же ли она прекрасна? Все так же ли сидит с книгой за прилавком, и за спиной у нее таинственный сумрак и вокруг тюки драгоценных тканей и горы украшений?

Неодолимая сила гнала меня вновь пройти по Мерчерии и еще хотя бы раз увидеть Саломею. И я поехал. Утром меня задержали дела, и на место я попал только часам к трем-четырем. Кру-

---

[7] Примечания: 7
Величайшая из великих страстей (*фр.*)

гом было многолюдно. Я шел по достопамятной улице, высматривая темную лавчонку с неказистым прилавком снаружи… но все напрасно. Когда я забрел так далеко, что впереди она, как мне казалось, быть уже не могла, я двинулся в обратный путь.

Внимательно оглядывая дом за домом, я дошел до сводчатого прохода на улицу, но лавки как не бывало. Напрашивалось единственно возможное объяснение — я все-таки рано повернул назад, и я решил повторить попытку и шел, пока не достиг развилки. Тут я остановился, поскольку твердо знал, что это место я не проходил.

Совершенно очевидно, что старик еврей не держал больше свою прежнюю лавку на Мерчерии и что шансы установить его нынешнее местопребывание ничтожны. Навести справки у нового хозяина я не мог, потому что не в силах был распознать нужный мне дом. Я не мог, как ни старался, припомнить, чем торговали по соседству. Имени старика — и того я не знал. Уверившись в тщетности дальнейших усилий, я оставил поиски и утешал себя мыслями, что мое сердце тоже не камень — и может, для моего спокойствия лучше не видеть снова прекрасную Саломею. Мне суждено было, однако, увидеть ее

— и притом довольно скоро.

Год утомительных, сверх даже обычного, восточных странствий вызвал во мне настоятельную потребность в отдыхе, и я решил позволить себе провести месяц на этюдах в Венеции и окрестностях, прежде чем поворотиться лицом к родным пределам. Поскольку первейшая задача рисовальщика с натуры — это выбор точки обзора и поскольку более удобного средства передвижения, чем венецианская гондола, не изобретено, все первые дни моего пребывания в городе прошли в бесконечных водных прогулках: то я исследовал всевозможные каналы — большие и маленькие, то делал вылазки в направлении Мурано, то объезжал острова, что находятся за Кастелло Сан-Пьетро, попутно делая зарисовки несметного числа живописных видов и выкуривая несметное число сигарет. Кажется, на четвертый или на пятый день такой необременительной работы мой гондольер предложил отвезти меня подальше, на Лидо. До заката оставалось еще часа два, а до великолепного песчаного берега было не больше трех-четырех миль, так что я согласился, и лодка, взяв новый курс, заскользила прочь от Венеции, с каждым взмахом весла удаляясь от нее все дальше. Постепенно

смутная полоска на горизонте приблизилась, выросла над безмятежной гладью Лагуны, открыв взору свой зазубренный контур, потом проступили холмы, разделенные участками бурого песка, вкрапления сухой травы и зарослей кустарника — все выглядело так, словно мы приблизились к краю неведомой и неприютной пустыни, которая для всякого странника означает конец пути. Мой гондольер направил лодку прямо туда, где из воды у берега торчало несколько шестов, указывавших место причала, и там не без труда, поскольку был отлив, развернул гондолу. Я сошел на берег. С первого шага я очутился среди могил.

— E'l cimeterio giudaico, signore, — пояснил мой гондольер, коснувшись рукой шляпы.

Еврейское кладбище! «Гетто» мертвецов! Я припомнил, что когда-то читал, а может быть, от кого-то слышал, что венецианских евреев, в смерти, как и в жизни, не допущенных до соседства с господствовавшими над ними христианами, с незапамятных времен хоронили на этом пустынном берегу. Я наклонился к могильному камню у моих ног. То был всего лишь обломок, поросший желтым лишайником, разъеденный соленым морским воздухом. Я перешел к следующему, потом к другому. Иные почти полностью скрылись

из виду, опутанные сорной травой и колючками; некоторые наполовину ушли в песок; от третьих снаружи торчал только угол. Тут и там еще можно было разобрать имя, дату, фрагмент геральдической резьбы, часть еврейской надписи — все больше или меньше оббито, наполовину стерто.

Бродя среди могил и дюн, с каждым шагом поднимаясь в гору и миновав на пути три или четыре зеркально-неподвижных, поросших жидким тростником озерца, я незаметно для себя оказался в центральной, самой высокой части Лидо, откуда на все четыре стороны мне открылся ничем не заслоненный вид. По одну руку лежала широкая, безмолвная Лагуна, ограниченная Венецией и Евганейскими холмами; по другую, подкрадываясь ленивыми длинными складками и бесшумно наползая на бескрайний берег, раскинулось синее полотно Адриатики. Какой-то старик, собиравший раковины на морском берегу, и далекая гондола в Лагуне — вот и все признаки жизни на мили вокруг.

Стоя на гребне этого узкого водораздела, озирая сразу оба водных пространства и наблюдая, как вступает в свои права роскошный закат, я впал в одно из тех умонастроений, когда реальное и нереальное сменяют друг друга с прихотливо-

стью сновидения. Мне вспомнилось, как некогда Гете набрел здесь на свою «позвоночную» теорию черепа… как Байрон, из-за хромоты избегавший пеших прогулок, держал на Лидо лошадей и ежедневно ездил здесь верхом… как Шелли, любивший дикую уединенность этого места, описал его в «Юлиане и Маддало» — не здесь ли он слышал удары колокола, звонившего в сумасшедшем доме на острове Сан-Джорджо?.. Я спрашивал себя, случалось ли бывать здесь Тициану — хотя бы раз покинул он свой мрачный дом на том конце Венеции, чтобы воочию увидеть пурпур и золото этих небес в час заката… бродил ли здесь Отелло с Дездемоной… не здесь ли похоронен Шейлок — и Лия, которую он любил, «когда был еще холостым»?..

И вот посреди этих грез я вдруг наткнулся на еще одно еврейское кладбище.

Еще одно — а может, это была далеко отстоящая часть все того же, первого? Нет, определенно иное, по времени более позднее. Сравнительно ухоженное. И памятники новее. Даты, которые мне удалось расшифровать на обветшалых могилах внизу, сплошь относились к четырнадцатому-пятнадцатому векам; здешние надписи указывали на совсем недавнее прошлое.

Я сделал несколько шагов. Возле одной могилы наклонился переписать в блокнот удивившее меня итальянское двустишие… у подножия другой — сорвать цветок незабудки… с третьей убрать заползшую на нее ветку ежевики… и только тут я заметил, что всего ярдах в десяти от меня у могилы сидит женщина.

Я был настолько убежден, что вокруг нет ни единой живой души, и настолько ошарашен, что в первый момент почти уверил себя, будто и она тоже «создана из сновидений»[8]. Все ее одеяние с головы до пят свидетельствовало о глубоком трауре; лицо было обращено в сторону от меня навстречу закату; щека покоилась в ладони. Могила, возле которой она сидела, была, судя по всему, свежей. Редкая поросль вокруг примята, мраморный камень в изголовье не простоял, кажется, и недели под солнцем, дождем и ветром.

Пребывая в уверенности, что женщина меня не видит, я ненадолго задержал на ней свой взгляд. Что-то неуловимое в ее грациозной скорбной позе, в наклоне головы, в складках собольего манто приковало мое внимание. Молода ли она? Мне подумалось, что да. Оплакивает ли она му-

---

[8] Примечания: 8
Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

жа?.. возлюбленного?.. родителя?.. Я взглянул на могильный камень. Он был покрыт еврейскими письменами; так что, даже подойдя ближе, я все равно ничего не сумел бы разобрать.

Но я чувствовал, что не вправе оставаться здесь, праздно глядя на ее горе, беспардонно нарушая ее уединение. Я бесшумно двинулся прочь. И тогда она обернулась.

Это была Саломея.

Саломея — бледная, изможденная, как после глубокого и опустошающего душу горя, но еще более прекрасная, если такое можно вообразить. Прекрасная еще более одухотворенной красотой, чем прежде: эти запавшие щеки, эти непередаваемо лучистые и строгие глаза… пока я глядел в них, мое сердце, кажется, перестало биться. Мгновение я медлил, не то мечтая, не то надеясь, что во взоре ее мелькнет узнавание; потом, не смея дольше смотреть и задерживаться подле нее, отвернулся. Отойдя на достаточно почтительное расстояние, чтобы не казаться невежливым, я остановился и поглядел назад долгим взглядом. Она приняла прежнюю позу и смотрела в сторону Венеции и заката. Неподвижная, словно камень, возле которого сидела.

Закат был великолепен. Последний отблеск

погас на куполах и башнях Венеции; западные вершины из розовых сделались лиловыми, из золотых серыми; вмиг стала видимой едва заметная пелена тумана над поверхностью Лагуны, и над головой зажглась трепещущая первая звезда. Я все ждал и вглядывался, пока тени не сгустились так, что вдалеке уже нельзя было ничего различить. Туда ли я смотрел? Все там же ли она? Все в той же позе? Ушла ли? Я не мог сказать. Чем больше я всматривался, тем больше сомневался. Потом, опасаясь сбиться с пути в надвигавшейся темноте, я быстро пошел вниз к берегу, прямиком к тому месту, где пристала лодка.

Мой гондольер сладко спал, положив под голову подушку и прикрывшись краем коврика. Я спросил, не видал ли он, пока меня не было, чтобы от Лидо отчалила лодка. Он потер глаза и встрепенулся, очнувшись ото сна.

— Per Bacco, signore[9], уснул я, — сказал он виновато, — ничего не видал.

— А не заметил ты где-нибудь неподалеку другой лодки, когда мы причалили?

— Ни одной, signore.

Он рассмеялся и замотал головой.

---

[9] Примечания: 9
Ну и ну, синьор (*um.*).

— Consolatevi, signore[10], — сказал он лукаво, — ваша дама приедет завтра.

Но заметив, что я не настроен шутить, он коснулся рукой шляпы и, пробормотав: «Scusate, signore»[11], занял свое место на корме в ожидании моих распоряжений. Я велел ему везти меня в гостиницу, после чего, мечтательно откинувшись назад в тесной и темной каюте, скрестил на груди руки, закрыл глаза и стал думать о Саломее. Как же она красива! Красивее, чем я запомнил ее с той первой встречи на Мерчерии! Как могло случиться, что тогда я так мало восхитился ею? Где были мои глаза — или она и впрямь стала еще прекрасней? И в каком печальном, странном месте довелось нам свидеться! Чью могилу она навещала? Отца, должно быть? Да, несомненно. Когда я видел его, он был старик и жить ему по законам естества оставалось немного. Он умер — вот почему я напрасно бродил по Мерчерии, разыскивая его лавку. Он умер. Лавку сдали другому хозяину. Его добро распродано и рассеяно. А как же Саломея — осталась совсем одна? И нет у нее ни матери? ни брата?.. ни любимого? Разве

---

[10] Примечания: 10
Не беспокойтесь, синьор (*ит.*).

[11] Примечания: 11
Виноват, синьор (*ит.).*

застыло бы в ее глазах выражение такой несказанной тоски, если бы на земле осталась хоть одна близкая ей и дорогая душа? И я подумал о Ковентри Тернере, о его скорой женитьбе. Любил ли он ее, любил ли по-настоящему? Едва ли. «Кто любит, тот не позабудет», — поется в старинной песне; но он забыл, словно прошлое — не более чем сон. И все же, пока он был влюблен, он не кривил душой — всем готов был рискнуть ради нее, если бы она позволила. Ну конечно, если бы… только она не позволила! Тут я припомнил, что он так и не посвятил меня в перипетии своего романа. Сама ли она его отвергла или он просил ее руки у старика отца?.. Получил ли он отставку только потому, что он христианин? Мне в голову не приходило расспрашивать его, покуда мы были вместе, но теперь я отдал бы лучшего гунтера из моей конюшни, лишь бы узнать об этом деле все до мельчайших подробностей.

С головой уйдя в размышления, снова и снова вороша одно и то же, гадая, помнит ли она меня, бедна ли она, действительно ли она совсем одна на свете, давно ли умер ее отец, — гадая о множестве подобных вещей, я почти не замечал, как остаются позади миля за милей водной глади и как вокруг меня смыкается ночь. Меж тем один

вопрос возвращался ко мне настойчивее других: как вновь увидеть ее?

Я прибыл в гостиницу; отужинал за табльдотом; вышел на улицу, наведался в мою любимую кофейню на площади; заглянул на полчаса в театр «Фениче», где прослушал один акт чрезвычайно жалкой оперы; вернулся домой в беспокойстве и смятении, без малейшего желания лечь в постель; и час за часом сидя перед камином в спальне, терзал себя все тем же неотвязным вопросом: как вновь увидеть ее?

Вконец утомившись, я уснул в кресле, и, когда проснулся, за окном уже ярко светило солнце.

Я вскочил на ноги. Мне все стало понятно. Догадка озарила меня, как солнечный луч за окном. Всего только и нужно, что снова отправиться на кладбище, скопировать надпись на могиле старика отца, попросить моего ученого друга, падуанского профессора Николаи, перевести ее, и тогда, располагая именами и датами, легко разрешить остальное.

Не прошло и часа, как я снова был на пути к Лидо.

Обычным притиранием я перевел на бумагу все, что было высечено на камне. Это самый быстрый метод — и самый надежный; ведь как

я слыхал, в еврейском все зависит от наклона черточек в буквах, и я боялся довериться своей неопытной в таком занятии руке. Осуществив задуманное, я тотчас поспешил назад, написал профессору и отправил ему письмо вместе с копией-притиркой дневным поездом.

Профессор не славился расторопностью; вернее, наоборот, он славился своей выдающейся медлительностью; он жил словно в полудреме, не слишком себя утруждая, весь погруженный в свое любимое востоковедение. От любого другого корреспондента ответ мог бы прийти уже назавтра; но от падуанского профессора Николаи раньше чем дня через два или три ждать было нечего. А до той поры что же? До той поры можно осматривать дворцы и церкви, делать зарисовки, развозить рекомендательные письма. Во всяком случае, проявлять нетерпение ничему бы не помогло.

И все ж я был в нетерпении — настолько, что не мог ни рисовать, ни читать, ни просто усидеть на месте хотя бы десять минут. Охваченный неукротимым беспокойством, я блуждал из галереи в галерею, из дворца во дворец, из церкви в церковь. Даже в гондоле я чувствовал себя будто в тюрьме. Меня словно что-то побуждало к бес-

прерывному движению и действию; и все равно первый день тянулся бесконечно.

Следующий был и того хуже. Забрезжила вероятность — не более — ответа из Падуи, и это окончательно лишило меня покоя. С восьми до четырех я караулил каждую доставку почты и, ничего не дождавшись, пошел прогуляться до переправы возле Святого Марка, где меня окликнул мой знакомец гондольер.

Он поднес руку к шляпе и выжидательно посмотрел на меня.

— Куда прикажете, signore? — прервал он затянувшееся молчание.

— На Лидо.

Искушение было слишком велико, и я поддался ему; но поддался против своего же здравого суждения. Я понимал, что мне не следует возвращаться снова и снова. Я решил, что не поеду больше. И вот поехал.

По пути я убеждал себя, что еду только для рекогносцировки. Резонно допустить, что Саломея может оказаться на том же месте примерно в тот же час, как и раньше; и в этом случае мы сумеем нагнать ее гондолу в море или обнаружить на приколе у берега. Как бы то ни было, я твердо решил, что сам на берег не сойду. Но, миновав

Кастелло Сан-Пьетро, мы более не встретили ни одной гондолы, как ни одной не увидели и вблизи острова. Вечерело, солнце клонилось к закату; во всей Лагуне и на всем Лидо кроме нас никого не было.

Гондольер причалил там же, где прежде, и пришвартовал гондолу у того же шеста. Для него само собой разумелось, что я сойду на берег; и я сошел. Впрочем, Саломеи на острове быть не могло, а значит, меня нельзя было обвинить в навязчивости. Можно пойти в направлении кладбища и постараться, если она все-таки там, с ней не встретиться, а держаться подальше от того места, где я ее увидел. Так я переменил еще одно свое решение и стал подниматься к вершине Лидо. Вновь мне встретились на пути соленые озерца с тростником; вновь я стоял, озирая море слева и Лагуну справа и между ними — нескончаемые, на мили растянувшиеся песчаные отмели. А вот и новое кладбище. Стоя наверху, я видел его всё как на ладони. Мог даже различить могильный камень, с которого снял копию за день до того. Кругом ни единой живой души. Я был здесь, судя по всему, в полнейшем одиночестве, как Енох Арден на своем необитаемом острове.

Потом я двинулся вперед — чуть ближе, еще

чуть ближе — и в итоге, вопреки всем своим твердым решениям, оказался на том самом месте, у той самой могилы, к которой я запретил себе под любым предлогом приближаться.

Солнце как раз садилось — точнее село, скрывшись за грядой золотистых по краям облаков, и залило багрянцем землю, море и небо. В этот самый час я давеча и увидал ее. На этом самом месте она и сидела. На могиле тут и там пробивались жиденькие стебельки. Должно быть, ее платье касалось их… ее платье — а может, ее рука. Я сорвал одну травинку и бережно уложил ее между страницами блокнота.

Наконец я повернулся, чтобы уйти, — и встретился с ней лицом к лицу!

Она была ярдах в шести и шла прямо на меня. Голова чуть наклонена, руки сцеплены впереди, глаза устремлены в землю. Поза смиренного самоуничижения. Вздрогнув от неожиданности, едва сознавая, что делаю, я в полном замешательстве снял шляпу и отступил в сторону, чтобы дать ей пройти.

Саломея подняла глаза, словно в нерешительности… замерла на месте… как-то странно посмотрела на меня и, более не взглянув, прошла к могиле отца и села точно так же, как прежде.

Я отвернулся. Я все на свете отдал бы, лишь бы заговорить с ней, но не посмел, и теперь случай был упущен. А мог ведь, мог заговорить! Она посмотрела на меня… посмотрела с таким странным и жалостным выражением во взоре… смотрела долго — можно было сосчитать до пяти… Я мог с ней заговорить, безусловно мог! А теперь… да что там! теперь уже нельзя. Она погрузилась в прежнее меланхоличное раздумье, подперев рукой щеку. Мысли ее витали где-то далеко. Она и думать забыла о моем присутствии.

Я пошел к берегу, вконец расстроенный и растревоженный. Пока смеркалось, я курсировал вдоль побережья Лидо, высматривая ее гондолу, — в надежде увидеть хотя бы, как она отплывает, и, быть может, последовать за ней по воде. Но сумерки быстро сгустились, сменившись темнотой, и мне пришлось сдаться, так и не увидев ни ее самой, ни каких-либо следов ее пребывания на острове.

Лежа без сна в ту ночь, я беспокойно метался в постели и думал о событиях последних дней, снова и снова возвращаясь к тому долгому, упорному, исполненному скорби взгляду, который так поразил меня на кладбище. Чем больше я о нем думал, тем сильнее росло во мне чувство,

что в этом взгляде сокрыт был тайный смысл, который я, в тогдашнем моем смятении, не сумел разгадать. Поистине странный взгляд — взывающий к помощи или состраданию, сродни немой мольбе в глазах больного животного. Возможно ли это? Хотя что же тут невозможного?.. Оставшись одна в целом мире, без единого, может статься, мужчины в семье, она оказалась теперь в тяжелом положении и не знает, к кому кинуться за поддержкой… Да, такое вполне возможно. Не исключено даже, что у нее мелькнуло инстинктивное ощущение, будто она может мне довериться. Ах, если бы она и впрямь доверилась мне…

Я надеялся получить долгожданное письмо из Падуи с утренней почтой; но и утро и день прошли, а письма все не было. Ближе к вечеру я уже снова плыл к Лидо; на этот раз с осознанной целью — заговорить с Саломеей. Сойдя на берег, я прямиком направился на кладбище. День выдался пасмурный. Лагуна и небо были одного свинцового цвета, над Венецией повис туман.

Едва взойдя на верхний кряж, я увидал ее. Она медленно блуждала среди могил, величавая, подобно царственной тени. Сам не знаю отчего, я наперед был уверен, что застану ее там; сейчас

же, по какой-то неведомой мне причине, я был столь же уверен, что она ожидает меня.

Дрожа от волнения и все же страшась той минуты, когда она обнаружит мое присутствие, я поспешил туда, к ней, и каждый мой бесшумный шаг впечатывался в рыхлый песок. Еще несколько мгновений, и я поравняюсь с ней, заговорю, услышу музыку ее голоса — музыку, которую я так хорошо помнил, хотя с тех пор, как я ее слышал, минул целый год. Но как мне обратиться к ней? Что сказать? Я не знал. Времени на раздумья не было. Оставалось только идти вперед, чтобы футах в десяти от ее влачащихся по земле одежд замереть и, когда она ко мне обернется, обнажить перед нею голову, как перед царственной особой.

На мгновение Саломея застыла и посмотрела на меня точно так же, как накануне вечером. С той же тайной скорбью во взоре, с тем же, нет, с еще более ясно читаемым выражением мольбы. Однако она ждала, что я заговорю первый.

Я заговорил. Не помню точно, что я сказал; сбивчиво пробормотал извинения, упомянул, что в свое время имел честь повстречаться с ней, давно, много месяцев назад; но, попытавшись сказать больше — выразить словами, как бла-

годарен и горд был бы я, если бы мог оказать ей любую услугу, хоть скромную, хоть самую обременительную, — я вдруг лишился дара речи.

Не в силах вымолвить ни слова, я поднял глаза и увидел, что она по-прежнему неотрывно смотрит на меня.

— Вы христианин, — сказала она.

При первом звуке ее голоса меня проняла дрожь. Это был тот же голос — отчетливый, мелодичный, тихий, немногим громче шепота — и в то же время не тот. В его музыке звучала меланхолия и, если воспользоваться словом, которое все равно не передает того, что я имею в виду, — какая-то нездешность, достигшая моего слуха, как жалобная нота в песне осеннего ветра.

Я с поклоном подтвердил, что она не ошиблась, я точно христианин.

Она указала на камень, с которого я снял копию.

— Здесь покоится христианская душа, — промолвила она, — погребенная без христианской молитвы… по еврейскому обряду… на еврейском кладбище. Согласится ли незнакомец отдать дань почтения усопшей душе?

— Синьоре довольно сказать лишь слово, — заверил я, — и все, чего она желает, будет испол-

нено.

— Прочтите молитву над этой могилой, начертайте на камне крест.

— Слушаюсь.

Она молча поблагодарила меня, слегка склонив голову, поплотнее запахнула на себе верхний покров и отошла на возвышение поодаль. Иной надобности во мне у нее не было. У меня не осталось повода задерживаться долее, никакого основания продолжать беседу, никакой причины находиться здесь еще одну лишнюю минуту. И я оставил ее одну, ни разу не обернувшись, пока не достиг последней точки, откуда, как я знал, смог бы увидеть ее. Но когда я повернулся, чтобы кинуть на нее прощальный взгляд, она уже исчезла.

Я решился заговорить с Саломеей, и вот результат. Более диковинной беседы поистине невозможно вообразить! Я не сказал ничего из того, что намеревался сказать, и не узнал ничего, что так жаждал узнать. В том, что касалось обстоятельств ее жизни, ее нынешнего местопребывания, даже ее полного имени, я не продвинулся ни на шаг. И все же мне, наверное, не следовало роптать. Она почтила меня доверием, поручила мне дело в известном смысле сложное и значительное.

Мне оставалось только исполнить это поручение скрупулезно и безотлагательно. После чего я вправе был бы надеяться занять скромное место в ее памяти и — почему бы и нет? — заслужить ее уважение.

Но прежний вопрос оставался неразрешенным — чья это могила? Я с самого начала так уверил себя в единственно возможном ответе, что даже теперь не мог представить, кто еще, как не ее отец, там похоронен. Однако допустить, что он тайно принял христианство?.. Немыслимо! Тогда чья же это могила? Ее возлюбленного… христианина? Увы, не исключено. А вдруг ее сестры?.. Если верно первое или второе, то более чем вероятно, что Саломея и сама обратилась. Но времени строить догадки у меня не было. Следовало действовать, притом без промедления.

Я поспешил назад в Венецию — так быстро, как мой гондольер способен был меня доставить; и пока мы плыли, я дал себе обещание исполнить все желания Саломеи прежде, чем она снова придет поклониться могиле. Немедленно разыскать священника, который согласился бы на заре отправиться со мной на Лидо и там совершить хотя бы неполную заупокойную службу, и одновременно нанять каменщика, чтобы высечь

крест, — исполнить все это до того, как она или кто-то другой завтра придет на могилу: такую цель я себе поставил. И от этой цели не намерен был отступать, хотя мне пришлось переворошить всю Венецию, прежде чем я смог со спокойной совестью опустить голову на подушку.

Священник сыскался без труда. Это был молодой человек, снимавший комнаты в той же гостинице и на том же этаже, что и я. Я каждый день встречал его за табльдотом и раз-другой перемолвился с ним словечком в читальне. Он был родом с севера, из сельской местности, незадолго до того рукоположен, безукоризненно вежлив и готов услужить. Он охотно обещал мне исполнить все, что требуется, и мы условились на следующее утро встретиться за завтраком в шесть, с тем чтобы в восемь быть уже на кладбище.

Зато найти каменщика оказалось совсем непросто; но я подошел к делу обстоятельно. Для начала я воспользовался венецианской адресной книгой и составил список нужных имен и адресов; затем нанял гондолу a due remi[12] и пустился в поисковую экспедицию.

Однако ночная экспедиция по водной паутине

---

[12] Примечания: 12
С двумя веслам (*лат.*)

венецианских канальчиков в удаленной от центра части города — предприятие непростое и небезопасное. Узкие, извилистые, густонаселенные, сплошь и рядом перегороженные баржами с сеном, бревнами или снедью, часто вовсе не освещенные и до того друг на друга похожие, что несведущему в венецианской топографии нечего и надеяться отличить один от другого, эти мелкие каналы ставят в тупик даже гондольеров — иными словами, для всех, кроме их обитателей, это сущая terra incognita[13].

И все же мне удалось разыскать три адреса из своего списка. В первом месте мне сказали, что мастер, которого я спрашиваю, всю неделю работает где-то неподалеку от Мурано и до субботнего вечера здесь не появится. Во втором и третьем я застал нужных мне людей дома за ужином в кругу семьи после трудового дня, но ни тот, ни другой не согласились исполнить мою просьбу. Один, пошептавшись с сыном, нехотя отказался. Другой без обиняков заявил мне, что боится и что едва ли в Венеции среди каменщиков найдется смельчак, который отважится на такое дело.

Евреи, объяснил он, богаты и влиятельны;

---

[13] Примечания: 13
Неизвестная земля (*лат.*)

прошли времена, когда этот народ притесняли; прошли времена, даже здесь, в Венеции, когда над ними можно было безнаказанно глумиться. Высечь христианский крест на еврейском надгробии посреди еврейского кладбища — это «вроде как святотатство» и уж точно против закона, так что виновного по головке не погладят. Его слова звучали правдоподобно; и, учитывая, что мои гребцы нетвердо знали дорогу и что местные каналы темны, как катакомбы, я уговорил каменщика продать мне небольшой деревянный молоток-киянку и пару резцов, дабы совершить святотатство собственными руками.

С учетом этой небольшой поправки в моих планах на следующее утро я исполнил все, что задумал. Мой новый знакомый позавтракал со мной, сопроводил меня на Лидо, прочитал те фрагменты заупокойной, какие счел сообразными случаю, и с тем отбыл по своим делам в Венецию, оставив меня наедине с моими трудами. Потрудиться пришлось изрядно. Должно быть, опытный мастер управился бы за полчаса; но я впервые практиковался в ремесле камнереза, и хотя задача была самая незатейливая — вырезать на камне более или менее правдоподобный латинский крест длиною примерно два с полови-

ной дюйма как можно ближе к основанию камня, так чтобы при желании его легко было присыпать небольшой горкой песка, — я бился над ней чуть ли не четыре часа. Пока я трудился, хмурое серое утро сделалось еще мрачнее и серее; от Адриатики поднимался густой туман, а завывания ветра своими низкими руладами напоминали отголоски далекого реквиема. Несколько раз я вздрагивал от неожиданности — мне чудилась тихо скользнувшая тень… шорох одежды… горестный вздох. Но нет. Я всякий раз обманывался, и виной тому были только туман да вой ветра. Кроме меня на острове не было ни души.

Когда наконец я вернулся в гостиницу, время подошло к двум. Портье в холле вручил мне письмо. Одного взгляда на конверт, надписанный ужасным корявым почерком, было достаточно, чтобы понять: письмо из Падуи. Я быстро прошел в свою комнату, вскрыл конверт и прочел следующее:

Caro signore![14]

[14] Примечания: 14
Достопочтенный синьор (*um.*)

Скопированную Вами надпись нельзя назвать ни древней, ни сколько-нибудь необыкновенной, вопреки, вероятно, Вашим ожиданиям. Altro[15] – она совсем недавняя. Говорится в ней только о том, что некая Саломея, единственное и возлюбленное дитя некоего Исаака да Коста, скончалась прошлой осенью восемнадцатого октября в возрасте двадцати одного года и что вышеозначенный Исаак да Коста воздвиг сей камень в память о ее добродетелях и о своем безутешном горе. Примите, caro signore, мои заверения в искреннем почтении.

Николо Николаи Падуя, 27 апреля 1857 года

Письмо выпало из моей руки. Мне казалось, я прочел его, не поняв ни слова. Я поднял письмо с пола и перечитал еще раз, слово за словом; потом сел, встал, прошелся туда-сюда по комнате, чувствуя, что голова у меня идет кругом.

Может ли быть такое совпадение — две Саломеи?.. или же произошла какая-то чудовищная

---

[15] Примечания: 15
Напротив (*um.*).

ошибка?

Я растерялся; что делать? Идти на Мерчерию и искать по всей округе кого-нибудь по имени да Коста? Или разыскивать книгу записей рождений и смертей обитателей еврейского квартала? А может, лучше наведаться к главному раввину и расспросить его, кто была эта вторая Саломея и в каком родстве она состояла с той Саломеей, которую знал я? Я счел, что последний путь самый верный. Адрес главного раввина раздобыть оказалось несложно. Он жил в старинном доме на Джудекке, где я и застал его — сурового, степенного старика с черной седеющей бородой по пояс.

Я представился и коротко изложил ему суть дела, объяснив, что пришел спросить, не сможет ли он сообщить мне что-либо о покойной Саломее да Коста, которая умерла восемнадцатого октября прошлой осенью и похоронена на Лидо.

Рабби ответил, что, без сомнения, может сообщить любые интересующие меня сведения, поскольку лично был знаком с этой молодой особой и близко дружит с ее отцом.

— Не скажете ли, — спросил я, — была у нее подруга или родственница с тем же именем — Саломея?

Рабби покачал головой.

— Нет, не думаю, — сказал он. — Не припомню другой девицы с таким именем.

— Прошу меня простить, но мне известно, что была и другая, — возразил я. — Когда я в прошлый раз был в Венеции, ровно год назад, на Мерчерии жила некая Саломея, необычайная красавица.

— Саломея да Коста была очень хороша собой, — заметил рабби, — и жила с отцом на Мерчерии. После ее смерти он перебрался ближе к Риальто.

— Отец той Саломеи, о которой я упомянул, торговал восточными товарами, — уточнил я.

— Исаак да Коста торгует восточными товарами, — отозвался старик терпеливо. — Мы говорим, сын мой, об одних и тех же людях.

— Не может быть!

Он снова покачал головой.

— Но она жива! — воскликнул я, приходя в сильнейшее волнение. — Жива! Я видел ее. Я с ней говорил. Не далее как вчера вечером.

— Увы, — сказал он участливо, — это какое-то видение. Той, о ком вы толкуете, нет среди живых.

— Я видел ее не далее как вчера вечером, — повторил я.

— И где, вам кажется, вы ее видели?

— На Лидо.

— На Лидо?

— Она говорила со мной! Я слышал ее голос… слышал так же отчетливо, как слышу сейчас свой собственный.

Рабби задумчиво погладил бороду и посмотрел на меня.

— Так вам кажется, что вы слышали ее голос! — удивился он. — Странно, странно. Что же она сказала?

Я уже открыл рот, чтобы ответить, но осекся — внезапная догадка пронзила меня… я задрожал с головы до ног.

— Нет ли… нет ли у вас причин полагать, что она умерла христианкой? — запинаясь, проговорил я.

Старик обомлел, и краска сошла с его лица.

— Причин… у меня… какой странный вопрос, — пробормотал он. — Почему вы спрашиваете?

— Да или нет? — исступленно вскричал я. — Да или нет?

Он насупился, опустил глаза, помолчал в нерешительности.

— Допустим, — сказал он спустя секунду-другую, — допустим, я слышал что-то в этом роде. Может статься, в ее душу закралось тайное сомнение. Но она ни в коем случае не исповедовала

христианство открыто.

«…Погребенная без христианской молитвы… по еврейскому обряду… на еврейском кладбище!» — повторил я про себя.

— Но я не могу взять в толк, как это могло дойти до вас, — продолжал тем временем рабби. — Об этом знали только ее отец и я.

— Сэр, — торжественно произнес я, — теперь мне известно, что Саломея да Коста мертва. Я трижды видел ее дух, посещавший то место, где…

Голос мой прервался, я не мог этого выговорить.

— В третий раз, — начал я снова, — вчера вечером, на закате дня. Нимало не усомнившись, что… что вижу ее во плоти, я заговорил с ней. Она мне ответила. Она… она сама сказала мне это.

Рабби закрыл лицо руками и некоторое время стоял, погруженный в раздумья.

— Молодой человек, — сказал он наконец, — рассказ ваш звучит странно, и то, что вы приводите в его подтверждение, не менее странно. Возможно, все так, как вы говорите; возможно, вы просто грезили наяву… не знаю.

Он не знал, но я… ах! я знал, слишком хорошо знал! Теперь я понял, почему Саломея явилась мне как видение неземной красоты… Понял

это выражение немой мольбы в ее глазах… эту странную нездешность в ее голосе. Несчастная ее душа не могла найти упокоения среди праха соплеменников, «неприкаянная и непомазанная», «погребенная без христианской молитвы». А теперь… неужели все кончено? И больше я никогда ее не увижу?

Никогда, увы, никогда! Сколько месяцев я на закате бродил по Лидо, пока весна сменялась летом, а лето осенью; сколько раз я год за годом в одно и то же время возвращался в Венецию, пока оставался во мне хотя бы крошечный след безумной надежды; и сколько бы лет ни прошло с тех пор, сердце мое ни разу не дрогнуло, пульс не участился от любви к земной женщине… Но это всё подробности, в которые я не хочу здесь входить. Довольно того, что я неусыпно стерег и преданно ждал Саломею и что ее благословенный дух так и не явился мне более. Я жду и поныне, хотя увидеть ее не рассчитываю. Теперь я знаю, что встречусь с нею не здесь.

1867

Джозеф Шеридан Ле Фаню
1814–1873
Дух Мадам Краул

Нынче я уже старуха, а к тому дню, когда меня привезли в Эпплуэйл-Хаус, мне не сравнялось еще и четырнадцати. Моя тетка служила там экономкой, и в Лекскхо прислали лошадь с коляской, чтобы отвезти меня и мой сундучок в Эпплуэйл.

Мне сделалось немножечко боязно еще по дороге в Лекскхо, а стоило мне увидеть коляску и лошадь, как тут же захотелось обратно к маме, в Хейзелден. Когда я влезала в «возок» (так мы называли коляску), слезы у меня потекли ручьем, и старый Джон Малбери, который правил лошадью, купил мне в утешение — добрая душа — несколько яблок в «Золотом льве» и еще сказал, что в большом доме есть пирог с корицей, и чай, и свиные отбивные — все это стоит горячее у тетушки в комнате и ждет меня не дождется. Ночь была лунная, красивая; я ела яблоки и выглядывала в окошко возка.

Стыд и срам, когда джентльмены стращают маленькую глупышку, какой я тогда была. Иной

раз мне сдается, что они надо мной смеялись. Их сидело двое в почтовой карете позади меня. И они давай меня расспрашивать (а ночь уже настала, и взошла луна), куда это я еду. Я и рассказала им, что собираюсь прислуживать госпоже Арабелле Краул в Эпплуэйл-Хаус, под Лексхо.

— А, ну тогда долго ты там не задержишься! — говорит один из них.

И я удивленно на него вылупилась, желая спросить: «Это еще почему?»; я ведь докладывала им, куда еду, с умным видом и задравши нос.

— Дело вот в чем… — продолжает джентльмен, — но только ты ни за что на свете никому об этом не говори, лишь поглядывай за ней да примечай, дело в том, что в нее вселился дьявол; она и сама больше чем наполовину дух. У тебя Библия есть?

— Да, сэр, — говорю. (Потому что матушка сунула мне в сундучок маленькую Библию, и я знала, что книга там; между прочим, она и сейчас у меня в шкафу, хотя буквы в ней чересчур маленькие для моих старых глаз.)

Когда я при словах «Да, сэр» на него взглянула, то он как будто бы подморгнул своему приятелю, но, может, мне и почудилось.

— Хорошо, — говорит джентльмен, — не за-

бывай класть ее на ночь под подушку, и тогда старуха до тебя не доберется.

Какой тут на меня напал страх, вообразите сами! Мне хотелось многое у него выспросить про старую леди, но я слишком робела, а они с приятелем стали толковать про свое, и сошла я в Лексхо, как я уже рассказывала, не зная, что и думать. Когда мы въехали в темную аллею, душа у меня ушла в пятки. Деревья там росли густые-прегустые, большущие и почти такие же старые, как дом, и четверо человек стояли, держась за вытянутые руки, а одежды кое на ком из них — кот наплакал.

Я высунулась из окошка и вытянула шею, чтобы получше рассмотреть большой дом, и сама не заметила, как мы очутились у крыльца.

Дом этот просторный, черно-белый, со здоровенными черными балками наискосок и стоймя; его белые, как простыни, фронтоны смотрели прямо на луну, и на фасад падали тени двух-трех деревьев — такие четкие, что можно было сосчитать каждый листочек, и на всей передней части дома одно лишь окно большого холла сверкало множеством фигурных стеклышек, а на все остальные окна были по-старинному навешены наружные ставни, заколоченные крест-накрест;

это потому, что в доме, кроме старой хозяйки, жили еще всего трое или четверо слуг и больше половины комнат пустовало.

Как подумала я, что вот и кончилась поездка, что стою я уже перед господским домом и где-то поблизости тетка, которой я никогда не видела, а с ней и хозяйка, мадам Краул, незнакомая, но уже такая страшная, и сердце у меня перевернулось.

Тетушка поцеловала меня в холле и повела к себе. Была она высокая и худая, лицо бледное, глаза черные, на длинных тонких руках черные митенки. Ей шел шестой десяток, и слов зря она не тратила, но каждое ее слово было закон. Жаловаться не на что, но женщина она была строгая, и сдается мне: приходись я ей племянницей по сестре, а не по брату, она была бы со мной ласковее. Правда, что сейчас об этом говорить!

Сквайр — звали его мистер Чивни Краул и был он внуком мадам Краул — заявлялся туда раза два или три в год — только присмотреть, чтобы старую леди обихаживали как полагается. За все время я видела его в Эпплуэйл-Хаус всего лишь дважды.

И, несмотря ни на что, уход за ней был хороший, и благодарить за это нужно мою тетушку и миссис Уайверн, горничную, — они долг свой

знали и служили на совесть.

Миссис Уайверн (обращаясь к ней, тетушка говорила «Мэг Уайверн», а мне про нее — «миссис Уайверн») была женщина пятидесяти лет, толстая и веселая, солидная что ростом, что обхватом, никогда не сердилась и ходила черепашьим шагом. Жалованье она получала хорошее, но тратиться не очень любила; тонкое белье она держала под замком и носила обычно хлопковую саржу шоколадного цвета с рисунком из красных, желтых и зеленых веточек и горошин, и служило это платье на удивление долго.

Она ни разу мне ничего не подарила — ни на медный грош, — но была добра и всегда смеялась, за чаем болтала без умолку одно и то же; когда она видела, что я приуныла или растерялась, она развлекала меня шутками и историями, и мне кажется, я любила ее больше, чем тетушку, — ведь дети падки до забав и сказок, а тетушка хотя и сделала мне много добра, но все же кое в чем бывала строга и вечно молчала.

Тетушка отвела меня к себе в спальню, чтобы я немного отдохнула, пока она будет готовить чай. Но прежде она похлопала меня по плечу и сказала, что я высокая девочка для своих лет и здорово вымахала, и спросила, умею ли я шить и

вышивать, и, вглядевшись мне в лицо, сказала, что я похожа на своего отца, ее брата, который умер и погребен, и она надеется, что я добрая христианка, не то что он, и умею вести себя как подобает.

И я подумала, что, с тех пор как я вошла к ней в комнату, впервые слышу от нее недобрые слова.

А когда я перешла из спальни в комнату экономки, такую уютную, сплошь в дубовых панелях, в камине вовсю полыхали угли, и торф, и поленья — всё вместе, а на столе стоял чай, и горячие пирожки, и мясо, от которого поднимался дымок; там же сидела миссис Уайверн, толстая и веселая, и рот у нее не закрывался — за час она успевала сказать больше слов, чем тетушка за год.

Я еще пила чай, когда тетушка поднялась наверх проведать мадам Краул.

— Она пошла взглянуть, не задремала ли старая Джудит Сквейлз, — молвила миссис Уайверн. — Джудит сидит с мадам Краул, когда мы с миссис Шаттерз (так звали мою тетушку) обе отлучаемся. Со старой леди хлопот не оберешься. Тебе придется смотреть в оба, а то она или свалится в огонь, или выпадет из окошка. Она вся как на иголках, даром что старуха.

— А сколько ей лет, мэм? — спросила я.

— Девяносто три года сравнялось, и еще восемь месяцев, — говорит миссис Уайверн со смехом. — И не расспрашивай о ней при тетушке… имей в виду; довольно с тебя того, что сама увидишь, вот и все.

— А что мне придется для нее делать — будьте добры, мэм? — спрашиваю.

— Для старой леди? Это тебе объяснит твоя тетя, миссис Шаттерз, но я так понимаю, что тебе придется сидеть с шитьем у нее в комнате и следить, как бы со старой леди чего-нибудь не приключилось и чтобы она забавлялась своими вещичками за столом; еще нужно будет, если она пожелает, приносить ей еду или питье и смотреть, чтобы чего не стряслось, и звонить в колокольчик, если она закапризничает.

— Она глухая, мэм?

— Нет, она и слышит, и видит на три аршина под землей, но она совсем того и не в ладах с памятью; ей что Джек Истребитель Великанов или Матушка Паратуфель, что королевский двор или государственные дела — все едино.

— А почему, мэм, ушла та девочка, которая нанялась в пятницу? Тетя писала моей матушке, что ей пришлось уйти.

— Да, она ушла.

— А почему? — повторила я.

— Миссис Шаттерз она не устроила, так я понимаю, — отвечала миссис Уайверн. — Не знаю. Болтай поменьше, твоя тетя не выносит болтливых детей.

— Пожалуйста, мэм, скажите, как здоровье у старой леди?

— Ну, об этом спросить можно. Давеча немного раскисла, но на этой неделе ей получше; верно, до ста лет дотянет. Тсс! Вот и тетя твоя идет по коридору.

Вошла тетушка и начала говорить с миссис Уайверн, я же, привыкнув немного и освоившись, стала ходить туда-сюда по комнате и рассматривать вещи. На буфете стояли красивые старинные безделушки из фарфора, на стене висели картины; прямо в стенной панели я увидела открытую дверцу, а за ней — старинный кожаный камзол, и такой чудной: с ремешками и пряжками и с рукавами длиной с кроватный столбик.

— Что ты там делаешь, детка? — вдруг строго спросила тетушка, когда мне казалось, что она обо мне и думать забыла. — Что это у тебя в руках?

— Это, мэм? — Я оборотилась, не выпуская камзола. — Знать не знаю, мэм, что это такое.

Бледное тетино лицо раскраснелось, а глаза

засверкали от злости, и я подумала, что, если бы нас не разделяло несколько шагов, она бы дала мне оплеуху. Но она только встряхнула меня за плечо, вырвала камзол у меня из рук, сказала: «Никогда не смей в этом доме трогать то, что тебе не принадлежит!», повесила камзол обратно на гвоздь, захлопнула дверцу и заперла ее на ключ.

Миссис Уайверн тем временем как ни в чем не бывало сидела в кресле и смеялась, всплескивая руками и слегка раскачиваясь, — как всегда, когда дурачилась.

У меня на глазах от обиды выступили слезы, и миссис Уайверн (которая тоже прослезилась, но от смеха) сделала знак тетке. «Ну-ну, девочка не хотела ничего дурного… иди ко мне, детка. Это всего-навсего тепа для недотепы; и не задавай лишних вопросов, чтобы нам не приходилось врать. Сядь-ка сюда и выпей кружку пива, а потом ступай в постель, ты устала с дороги».

Моя комната была наверху, по соседству со спальней старой леди, где стояли рядом кровати ее и миссис Уайверн, а я должна была откликаться на зов, если что-нибудь понадобится.

Старая леди в тот вечер была снова не в себе — еще с середины дня. На нее находил, бывало, сердитый стих. То, случалось, она не дает себя

одеть, то раздеть. В былые дни, говорили, она была раскрасавицей. Но ни в Эпплуэйле, ни поблизости некому было уже помнить пору ее расцвета. А наряжаться она любила до ужаса; толстых шелков, тугого атласа, бархата, кружев и прочего добра у нее хватило бы на семь лавок. Все ее платья были немодные и смешные, но стоили целое состояние.

Ну ладно, отправилась я в постель. Я долго лежала без сна, потому что все вокруг было мне в новинку; опять же и чай, сдается, разбудоражил меня с непривычки: раньше я пила его только по праздникам. В соседней комнате заговорила миссис Уайверн, и я поднесла ладошку к уху и стала прислушиваться, но голоса мадам Краул так и не различила — она, наверное, все время молчала.

Ухаживали за ней со всем старанием. Слуги в Эпплуэйле знали, что, когда она умрет, их всех до одного рассчитают, а работа здесь была немудреная и жалованье хорошее.

Доктор приходил к старой леди дважды в неделю, и, уж будьте уверены, что он велел, то слуги исполняли в точности. И каждый раз он повторял одно: нипочем ей не перечить, а, наоборот, ублажать и во всем потакать.

И вот она пролежала одетая всю ночь и следую-

щий день и не пожелала рта раскрыть, а я с утра до вечера сидела за шитьем у себя в комнате, только спускалась пообедать.

Я не прочь была поглядеть на старую леди и даже послушать, что она скажет, но ничего не получилось; что она здесь, что где-нибудь в Ланноне — никакой разницы.

После обеда тетушка послала меня на часок прогуляться. Я была рада вернуться обратно: деревья росли вокруг такие большие, везде было темно и пусто, небо затянуло тучами, я ходила одна, вспоминала дом и лила слезы. В тот вечер я сидела при свечах у себя, дверь в комнату мадам Краул была открыта, и за старой леди присматривала моя тетушка. И тут я в первый раз услышала, как мне кажется, голос старой леди.

Это были какие-то диковинные звуки — уж не знаю, с чем их и сравнить, то ли с чириканьем, то ли с мычанием, — но очень тоненькие и тихие.

Я вовсю навострила слух. Но ни слова было не разобрать. И тетка моя ответила:

— Нечистый никому ничего не сделает, если только Господь не попустит.

Тогда тот же чудной голос из кровати произнес еще несколько слов — я не уразумела, каких.

И тетушка опять ответила:

— Пусть себе строят рожи, мэм, и говорят, что им вздумается; если Господь Бог за нас, кто нас тронет?

Я слушала, вытянув шею и затаив дыхание, но больше ни слова и ни звука из спальни не донеслось. Прошло минут двадцать, я сидела за столом и рассматривала картинки в старых баснях Эзопа, и тут у входа что-то задвигалось; я подняла голову и увидела, что в дверь, делая знаки рукой, заглядывает тетушка.

— Тсс! — произнесла она чуть слышно, подошла на цыпочках и прошептала: — Слава Богу, она наконец заснула; сиди тихо, как мышка, я сойду вниз выпить чашку чая и живо вернусь вместе с миссис Уайверн — она будет спать в комнате мадам, а ты, когда мы поднимемся, ступай бегом вниз, в мою комнату: Джудит принесет тебе туда ужин.

С этими словами она ушла.

Я, как прежде, смотрела книжку с картинками и временами прислушивалась, но не различала не то что шороха, но даже дыхания, и, чтобы было не так боязно одной в большой комнате, принялась шепотом разговаривать с картинками и сама с собой.

Под конец я поднялась и стала обходить ком-

нату, все осматривать и заглядывать туда-сюда — вы ведь понимаете, мне нужно было чем-нибудь развлечься. А потом? Потом я сунула нос в спальню мадам Краул.

Это оказалась просторная комната; большущая кровать со столбиками была плотно завешена цветастым пологом, который спускался складками от самого потолка до пола. Там стояло зеркало — таких громадных я еще не видывала, — и все было залито светом. Я насчитала двадцать две восковые свечи, и все горели. Так уж ей взбрело в голову, а перечить мадам Краул никто не осмеливался.

У двери я прислушалась и осмотрелась, разинув рот. Когда же не уловила ни звука дыхания, ни шевеления занавесок, я набралась духу, вошла на цыпочках и снова осмотрелась. Потом я полюбовалась на себя в зеркало, и наконец мне пришла в голову мысль: «А почему бы не поглядеть на старую леди в постели?»

Если бы вы могли хоть немного себе представить, до чего мне хотелось увидеть госпожу Краул, вы бы решили, что я совсем сбрендила. И я подумала, что если не воспользуюсь случаем, то второго такого, может, не будет еще много дней.

Ну вот, мои хорошие, подошла я к постели,

укрытой за пологом, и тут едва не струхнула. Но собралась с духом и просунула меж плотных занавесок сперва палец, а потом и руку. Я немного помедлила, но все было тихо, как в могиле. И я потихонечку сдвинула полог, а за ним и вправду оказалась та самая знаменитая госпожа Краул из Эпплуэйл-Хаус, вытянувшаяся, как раскрашенная леди с надгробия, которое я видела в церкви в Лекхсо. Мадам Краул лежала наряженная и разукрашенная. Ничего подобного вы никогда не видели. Ну и картина это была, скажу я вам: атлас и шелка, алое и зеленое, золото и цветные кружева! На макушке — громадный пудреный парик, в половину ее роста, и — бог мой! — морщин-морщин… не пересчитать, безобразная шея вся набелена, щеки в румянах, мышиные брови (миссис Уайверн их подрисовывала); она лежала такая важная и застывшая, в шелковых чулках со стрелками, а каблуки у нее на туфлях были пальцев в девять, не меньше. Боже ты мой, нос у нее был тонкий и крючковатый, из-под век виднелись белки. Она, бывало, так вот нарядившись, взяв в руки веер и засунув за корсаж букет, стояла перед зеркалом, хихикала и пускала слюни. Ее сморщенные ручки были вытянуты вдоль боков, и таких длинных заостренных ногтей я ни у кого

не встречала. Мода, что ли, была когда-то у знати на такие ногти?

Думаю, от такого зрелища и вы бы порядком напугались. Я была не в силах ни выпустить полога, ни сдвинуться с места, ни оторвать от нее взгляда; у меня аж сердце перестало биться. И тут она открывает глаза, садится, поворачивается и со стуком ставит свои каблучищи на пол, а сама сверлит меня большущими, словно бы стеклянными глазами, морщинистые губы зло усмехаются, и видны длинные фальшивые зубы.

Что там покойник — покойник дело обыкновенное, а вот страшнее этого мне ничего не доводилось видеть. Она указывала рукой прямо на меня, а спина у нее была круглая от старости. И мадам Краул говорит:

— Ах ты, чертенок! Ты почему сказала, что я убила этого мальчишку? Я защекочу тебя до смерти!

Тут бы мне развернуться и давай бог ноги, но я не могла отвести от нее глаз, и мне оставалось только пятиться как можно быстрее, а она наступала со стуком, как автомат, тянула пальцы к моему горлу и все время делала языком как будто «зизз-зизз-зизз».

Я все пятилась, торопясь изо всех сил, а ее паль-

цам оставалось до моего горла всего несколько дюймов, и мне казалось, что тронь она меня — и я решусь ума.

Отступая, я забралась прямо в угол и завопила, как резаная; в ту же минуту моя тетушка громко закричала в дверях, и старая леди обернулась к ней, а я, пробежав без остановки всю комнату, изо всех сил припустила вниз по задней лестнице.

Добравшись до комнаты экономки, я, само собой, залилась слезами. Миссис Уайверн смеялась до упаду, когда я рассказала ей, что произошло. Но, услышав слова старой леди, она переменила тон.

— Повтори-ка снова, — попросила она.

И я повторила:

— «Ах ты, чертенок! Ты почему сказала, что я убила этого мальчишку? Я защекочу тебя до смерти!»

— А ты говорила, что она убила мальчишку? — спрашивает миссис Уайверн.

— Нет, мэм, — отвечаю.

С тех пор, когда тетушка и миссис Уайверн обе отлучались, со мной наверху всегда сидела Джудит. Я бы лучше выпрыгнула в окошко, чем осталась одна с мадам Краул.

Спустя неделю (если я правильно припоми-

наю), когда мы с миссис Уайверн были вдвоем, она рассказала мне кое-что новое о мадам Краул.

Когда та была молода и очень красива (полных семь десятков лет назад), она вышла замуж за сквайра Краула из Эпплуэйла. Мистер Краул был вдовец с девятилетним сыном.

Как-то утром мальчик исчез, и ни слуху о нем, ни духу. Куда он ушел, никому было невдомек. Ему давали чересчур много воли, и он, бывало, то отправится завтракать к леснику в сторожку, а потом к кроличьим садкам и домой не показывается до вечера, то весь день пробудет на озере, купается, ловит рыбу и катается на лодке. И вот никто знать не знал, что с ним приключилось, только у озера, под кустом боярышника (который до сих пор там растет), нашли его шляпу, и все решили, что мальчуган утонул во время купания. И все имение досталось по наследству ребенку от второго брака — сыну этой самой мадам Краул, которая жила и жила уже целую вечность. А когда я стала служить в Эпплуэйле, хозяином уже был его сын, внук старой леди, сквайр Чивни Краул.

Давно, когда еще тети моей здесь не было, в народе ходили всякие толки; люди говаривали, будто мачеха кое-что знает, но помалкивает. И еще, что она опутала своего мужа, старого сквай-

ра, чарами и льстивыми речами. А мальчика больше никто не встречал, и со временем все о нем позабыли.

Сейчас я собираюсь рассказать о том, что видела собственными глазами.

Со дня моего приезда прошло меньше полугода, была зима, и у старой леди началась хворь, которая свела ее в могилу.

Доктор боялся, что у нее будет припадок бешенства, как пятнадцать лет назад, когда на нее пришлось много раз надевать смирительную рубашку, — это был тот самый кожаный камзол, который я нашла в стенном шкафу в тетиной комнате.

Однако этого не случилось. Она чахла, сохла, слабела и хандрила, этак потихоньку, но за день или два до конца все переменилось: она стала вести себя неспокойно, и порой как закричит, словно бы разбойник приставил ей нож к горлу, и выберется из кровати; сил, чтобы идти или стоять, у нее не было, и она свалится на пол, прикроет лицо своими сморщенными руками и истошным голосом молит о пощаде.

Я, само собой, в комнату к ней не ходила, а заберусь, бывало, в свою постель и дрожу от страха, пока мадам Краул вопит, ползает по полу на ко-

ленях и выкрикивает слова, от каких уши вянут.

Моя тетушка, и миссис Уайверн, и Джудит Сквейлз, и одна женщина из Лексхо не отходили от нее ни на шаг. Под конец у мадам Краул сделались судороги, которые ее и доконали.

Его преподобие пастор читал у постели молитвы, но мадам Краул с ним не молилась. По мне, иного и ожидать не стоило, и все же хорошего в этом было мало, и вот наконец она отошла, и все осталось позади; старую госпожу Краул обрядили в саван и уложили в гроб, а сквайру Чивни отправили письмо. Но он был в отлучке во Франции, ждать его надо было долго, и его преподобие с доктором решили, что откладывать похороны больше не годится, и, кроме них двоих, моей тетушки и всех нас, прочих слуг из Эпплуэйла, на похороны никто и не явился. Старую леди из Эпплуэйла положили в склеп под церковью в Лексхо, а мы продолжали жить в большом доме, пока не приедет сквайр, не распорядится насчет нас и не даст, кому пожелает, расчета.

Мне отвели другую комнату; между нею и спальней госпожи Краул было еще две двери, а это дело приключилось в ночь перед прибытием в Эпплуэйл сквайра Чивни.

Моя новая комната была большая, квадратная,

обшитая дубовыми панелями, но мебели в ней не было, кроме кровати без полога, стула и стола, так что комната выглядела совсем пустой. А большое зеркало, в котором старая леди любовалась собой с головы до пят, ставшее теперь ненужным, вынесли и прислонили к стене в моей нынешней комнате, потому что, когда старую леди укладывали в гроб — оно и понятно, — многие вещи в спальне пришлось сдвинуть с мест.

В тот день донеслась весть, что сквайр на следующее утро будет в Эпплуэйле; я ничего против не имела, я ведь ждала, что меня, как пить дать, отправят обратно домой, к матушке. И я была рада-радешенька и думала о доме и сестре Джэнет, о киске, поросенке и дворняге Триммере и обо всех остальных и так разволновалась, что не могла заснуть. Пробило полночь, а я не спала, и в комнате была темень, хоть глаз выколи. Я лежала спиной к двери, лицом к противоположной стене.

Ну вот, не минуло и четверти часа после полуночи, как стена передо мною осветилась словно бы отблеском пожара и вверх-вниз по балкам и дубовым панелям заплясали тени от кровати, и стула, и моего платья, которое висело на стене; я быстро оглянулась через плечо — посмотреть, что горит.

И что же — Господи помилуй! — я увидела? Вылитую хозяйку. Старая покойница была выряжена в атлас и бархат, ненатурально улыбалась, глаза, как плошки, а рожа — ни дать ни взять, сам дьявол. От ног ее кверху подымалось красное пламя, словно у нее загорелся подол. Она ступала прямо ко мне, согнув свои старые, сморщенные руки, будто собиралась вонзить в меня когти. Я не могла пошевельнуться, но она прошла мимо, а меня обдало холодным воздухом; я увидела, как она остановилась у стены в алькове (так моя тетушка называла нишу, где в старые времена стояла парадная кровать) около открытой дверцы и начала там что-то ощупью искать. Я и не знала раньше об этой двери. Старуха развернулась ко мне всем телом, как флюгер, и ухмыльнулась; тут же в комнате сделалось темно, и оказалось, что я стою у дальнего конца постели — сама не знаю, как я там очутилась; ко мне наконец вернулась речь, и я завопила во всю мочь, пустилась бегом по галерее и напугала миссис Уайверн до полусмерти, чуть не сорвав с петель дверь ее спальни.

Само собой, в ту ночь я не сомкнула глаз, а едва рассвело, со всех ног побежала вниз, к тете.

Я думала, тетушка станет ругать меня или вы-

шучивать, но нет: она все время сжимала мою руку и пристально глядела мне в лицо, а потом сказала, чтобы я не боялась, и спросила:

— А не было у призрака в руках ключа?

— Был, — ответила я, припомнив, — такой большой, с чудной медной ручкой.

— Погоди минутку. — Тетушка выпустила мою руку и открыла буфет. — Вроде этого?

Бросив на меня странный взгляд, она вынула и показала мне один из ключей.

— Он самый, — выпалила я тут же.

— Ты уверена? — спросила тетушка, вертя ключ.

— Да.

Увидев ключ, я почувствовала, что вот-вот упаду замертво.

— Ну хорошо, детка, — сказала тетушка задумчиво, положила ключ на место и заперла комод. — Сегодня до полудня сюда прибудет сам сквайр, и ты должна будешь ему все это рассказать. Я, наверное, скоро возьму расчет, и поэтому тебе лучше сегодня же уехать домой, а я подыщу тебе другое место, как только смогу.

Такие слова, само собой, пришлись мне как нельзя больше по сердцу.

Тетушка упаковала мои вещи и три фунта жа-

лованья, чтобы я отвезла их домой, и в тот же день в Эпплуэйл приехал сквайр Краул — красивый мужчина лет тридцати. Я с ним виделась уже во второй раз, но разговаривала в первый.

Они переговорили с тетушкой в комнате экономки — о чем, не знаю. Я немного робела, потому что сквайр считался в Лексхо большим человеком, и не подходила, покуда меня не позвали. И сквайр с улыбкой сказал:

— Что это там тебе привиделось, малышка? Это, наверное, был сон; ты ведь знаешь — духов, домовых и других таких вещей на свете не бывает. Но, так или иначе, все же сядь, милая, и расскажи все с начала и до конца.

Когда я выложила все, он ненадолго задумался и говорит тетушке:

— Эту комнату я довольно хорошо помню. Во времена старого сэра Оливера хромой Уиндел говорил мне, что в нише слева есть дверь — именно в том углу, где, как приснилось девочке, рылась моя бабушка. Ему перевалило уже за восемьдесят, когда он мне об этом рассказывал, а я был ребенком. Двадцать лет минуло с тех пор. Там давным-давно хранили столовое серебро и фамильные драгоценности, пока не устроили сейф в комнате с гобеленами; по словам Уиндела,

у ключа была медная ручка, а вы говорите, что нашли такой же ключ на дне сундука, где бабушка держала свои старые веера. Правда, будет забавно, если мы найдем в нише забытые ложки или бриллианты? Пойдем-ка наверх, моя милая, покажешь нам это место.

Стоило мне переступить порог жуткой комнаты, душа моя ушла в пятки, и я крепко схватилась за тетину руку; я показала им обоим, как старая леди прошла мимо меня, и где она остановилась, и где мне привиделась открытая дверца.

У стены стоял старый пустой шкаф, а когда его отодвинули, на стенной панели и в самом деле нашлись следы дверцы; ее замочную скважину когда-то забили деревом и сровняли рубанком, а щели заделали замазкой под цвет дуба, и, если бы не торчавшие немного дверные петли, никто бы не догадался, что за шкафом была дверь.

— Ага! — сказал сквайр с чудной улыбкой. — Похоже, это оно.

За считаные минуты из замочной скважины маленьким долотом и молотком выбили затычку. Ключ, и верно, подошел; со странным поворотом и протяжным скрипом язык замка сдвинулся, и сквайр распахнул дверцу.

Внутри была другая дверца, еще диковинней

первой, но без запора, и открылась она совсем легко. За ней мы увидели узкий просвет, отделанный кирпичом, с кирпичным полом и сводом; было ли там что-нибудь, мы не разглядели из-за темноты.

Тетушка зажгла свечу и подала сквайру, и тот ступил внутрь.

Тетя, стоя на цыпочках, заглядывала ему через плечо, а мне совсем ничего не было видно.

— Ха-ха! — произнес сквайр, отпрянув. — Что это? Дайте-ка мне кочергу… живо! — велел он тете.

Когда она пошла к очагу, я заглянула под руку сквайру и увидела в дальнем конце дыры то ли обезьяну, то ли чучело, сидящее на сундуке, а может, старуху — самую что ни на есть сморщенную и высохшую.

— Бог мой! — вскрикнула тетушка, когда, вложив сквайру в руку кочергу, посмотрела через его плечо и заметила эту жуть. — Осторожно, сэр, что же вы делаете? Отойдите и закройте дверь!

Но вместо этого сквайр тихонечко шагнул вперед, нацелив кочергу, как меч, и ткнул чучело; оно, свалившись, рассыпалось, и осталась только кучка костей и трухи, которая почти вся бы уместилась в шляпу.

Это были детские кости, а все остальное от толчка обратилось в прах. Некоторое время сквайр с тетушкой молчали, а сквайр перевернул череп, лежавший на полу.

Я хоть и была ребенком, но все же знала в точности, о чем они думают.

— Дохлая кошка! — сказал сквайр, выходя и задувая свечу, и захлопнул дверцу. — Мы с вами, миссис Шаттерз, пойдем назад и пороемся потом на полках. Прежде всего мне нужно обсудить с вами кое-что другое, а эта девчушка пусть, как вы сказали, отправляется домой. Жалованье она получила, а еще я должен сделать ей подарок, — сказал он, похлопывая меня по плечу.

И он дал мне целый фунт, а через час я поехала в Лекскхо, а оттуда — почтовой каретой домой и не могла нарадоваться, что вернулась; и — слава Тебе, Господи, — дух мадам Краул ни разу с тех пор не являлся мне ни наяву, ни во сне. Но когда я стала взрослой, моя тетушка как-то провела сутки у меня в Литтлхэме; она рассказала, что, конечно же, это был маленький мальчик, которого так давно искали; мерзкая старая ведьма заперла его и бросила умирать в темной дыре, где никто не слышал его криков, мольбы и стука, а его шляпу кинула у воды, чтобы люди подумали,

будто он утонул. Платье мальчика от первого же касания рассыпалось в пыль в той самой дыре, где нашли кости. Но зато осталась пригоршня гагатовых пуговиц и нож с зеленой рукояткой, а еще две монетки по пенни, которые, наверное, лежали в карманах у бедного мальчугана, когда он попался в ловушку и в последний раз видел свет. А среди бумаг сквайра нашлось объявление, которое напечатали, когда мальчик пропал, — старый сквайр думал, что он, быть может, убежал или его украли цыгане; там упоминались среди примет нож с зеленой рукояткой и пуговицы из гагата. Вот и все, что я хотела рассказать про старую госпожу Краул из Эпплуэйл-Хаус.

1870

Леонард Кип
1825–1906
Духи в Грантли

1

Лондонский дилижанс высадил меня у сторожки Грантли-Грейнджа, и остальной путь я по старой привычке проделал пешком. Рождественское утро выдалось на редкость погожим, прошагать милю по ухоженной аллее ничего не стоило, я охотно согласился бы и на более длительную прогулку. Легкий снежок больше походил на снежную пыль, но его хватило, чтобы преобразить окрестность: бурый дерн оделся изысканным, жемчужной белизны покрывалом, сухие листья хрустели под ногами, могучие дубы на светлом фоне выглядели еще древней и величавей и весь парк необычайно повеселел.

Когда я подходил к самому дому, церковные часы пробили полдень, и тут же все колокола завели веселый рождественский перезвон. Вверх-вниз, туда-сюда, то обрывок мелодии, то снова сбивчивая многоголосица; отдельные ноты, двойные, тройные созвучия и далее все, что способен выдать удачный подбор колоколов, — словом, трезвон самый залихватский. С минуты на минуту я ожидал, что мне навстречу поспешит мой дядя Рутвен. Ведь я знал, как он любит колокола;

когда затевались звоны, он, чтобы лучше слышать, подсаживался обычно к открытому окну. И как мне сквозь безлиственные кроны хорошо виден дом, так и дядя Рутвен тут же меня заметит в окошко. Я даже на миг огорчился, когда ко мне никто не вышел и даже никто не встретил в дверях, так что пришлось войти без доклада. Через главный холл я направился в библиотеку.

В центре комнаты стоял дядя Рутвен: голова запрокинута, взгляд сверлит стену напротив, одна рука поднята на уровень лица, вторая — заведена за спину, лицо выражает твердую решимость. И видом, и позой он походил на статую античного «Дискобола». Похоже, я и застал его за метанием: чуть погодя он подобрал в другом конце комнаты валявшуюся на полу толстую книжку и вернул на стол.

— «Анатомия Меланхолии», — хихикнув, пояснил он мне. — До сих пор никто не мог похвастаться, что целиком проникся этой книгой, — а, Джеффри? Хотя все мы, конечно, когда-никогда приобщались к ней понемногу. Попала прямо в грудь и выпала между лопаток — прошла как сквозь летний туман. Исчез, голубчик, понял намек: пора и честь знать.

— Кто, дядя Рутвен? — спросил я.

— Дух, понятное дело.

Тут я слегка растерялся. Да, мне уже приходила в голову мысль, что библиотека Грантли-Грейнджа — самое подходящее место для привидений. Резные дубовые панели, потемневшие от времени, прослужили уже четыре века. Верх стен был затянут испанской кожей в причудливых штампованных узорах. Глубокий и широкий камин был так глубок и широк, что тлевшие в нем большие поленья выглядели как обычные сучья. Окна с громоздкими средниками помещались в нишах, и свет в них проходил приглушенный тенями. Столы, стулья и высокие книжные шкафы, рельефные и до того массивные, что они казались приросшими к месту, были изготовлены как будто для племени гигантов. С потолка свисали необычные лампы, гротескные канделябры на стенах освещали в основном внутреннюю поверхность своих тяжелых металлических абажуров. Над каминной полкой и рядом с дверями висели темные от старости картины; Сальватор Роза под слоем вековой грязи представлял собой мешанину разнообразных теней с редкими вкраплениями поблекших пятен света. По обе стороны от него — восемь-десять портретов: гофрированные воротники, винно-красные

ткани, доспехи; лица на покрытых трещинами и источенных жучком картинах были почти неразличимы, но по костюмам можно было судить о том, какие направления деятельности по собственной воле или нехотя выбирали себе в свое время и их прототипы. Да, это была угрюмая старая библиотека, где изобиловали трещины, которые бесполезно заделывать, паутина, с которой бессмысленно бороться, сквозняки, неизвестно откуда проникающие; где по стенам вечно плясали не подвластные никаким разумным законам тени. Само собой, временами думалось, что зал этот предназначался отнюдь не для людского удобства, но для шабашей ведьм или пиров привидений; когда на тусклом золоте узора, украшавшего испанскую кожу, несмело вспыхивал случайный солнечный луч, в моей голове рождались самые странные фантазии. Но, в конце концов, это были всего лишь праздные мысли, и я никак не ожидал, что воочию увижу здесь выходца с того света.

— Дух, вы говорите? — изумленно повторил я.

— Ну да, дух. Не пропускает ни одного Рождества, и уже много лет. Стоит зазвонить колоколам — и он тут как тут, словно они его разбудили. Если бы ты прежде проводил у нас рождественские

праздники, ты бы, верно, его видел. Думает, он здесь свой и имеет все права. Сперва я немного пугался, но потом привык и отношусь спокойно. Люблю только показать, что я в доме хозяин, а призрак — он покладистый, вроде не обижается. Я вот ругнусь на него, а потом всегда маюсь раскаяньем. Но ты меня знаешь, Джеффри, чего я не переношу, так это нахальства. Кому это понравится: какой-то дух разгуливает по дому, словно он тут собственник, а ты у него в гостях? Погуляет-погуляет и исчезнет, и ничего такого важного не скажет.

Слушая, как непринужденно дядя Рутвен рассуждает о сверхъестественных явлениях, я вытаращил глаза.

— Но вы ведь и не даете ему возможности? — Я перевел взгляд на книгу, лежавшую на столе.

— Пожалуй, ты прав, Джеффри… не даю. Наверно, прояви я терпенье, чего-нибудь путного от него бы дождался. Но как раз терпенья мне и не хватает, а тут каждое Рождество одно и то же — как не вспылить? Вот и кидаю в него книгой, а потом совесть мучит. Не очень-то гостеприимный я получаюсь хозяин. С другой стороны — год за годом не оставляет в покое, и, сколько их еще бродит по дому, одному богу известно. Да, Джеф-

фри, еще один есть точно. Сам я его не видел, но видел Биджерз, дворецкий, и он говорит, они оба похожи как две капли воды. Дам я слабину, а они вдруг явятся толпами — каково будет тогда жить в доме? Но довольно об этом. Ты, наверно, хочешь посмотреть свою комнату. Это Южный эркер, рядом с площадкой третьего этажа. Биджерз отнесет твой чемодан. Кстати, жаль, Лилиан еще не вернулась с континента. С ней бы тебе было интересней, чем со мной. Но я буду стараться, Джеффри. Ланч, как обычно, в час.

Сопровождаемый Биджерзом, я проследовал наверх, к Южному эркеру. Это была большая комната на южной стороне дома с просторным восьмиугольным окном-фонарем и с мебелью еще древней и массивней, чем в библиотеке, если такое возможно. Кроватный занавес из гобеленовой ткани, выцветший, с причудливым рисунком, я бы отнес к временам крестовых походов. Шкаф для одежды поражал своими размерами и основательностью; можно было подумать, что в прежние беспокойные времена хозяева дома, впутавшись в неприятности, находили там безопасное убежище. Прочие предметы обстановки были ему под стать, и все они придавали мрачный вид комнате, которая при иных

условиях выглядела бы вполне жизнерадостно. Не спасала дело и тусклая картина, с большим тщанием изображавшая погребальную урну и плакучую иву, а в придачу — многочисленное, облаченное в траур семейство, которое шествовало парами по извилистой тропе к могиле, чтобы, обступив ее, предаться стенаниям. Пока я почтительно рассматривал это произведение искусства, в окно при каждом порыве ветра упорно стучались кривые ветки старого сучковатого тиса. От всего этого мне совсем взгрустнулось и, так же как в библиотеке, пришли мысли о привидениях. Помня свои недавние переживания и не желая заново обременять свой ум странными фантазиями, я постарался от них отделаться, и вскоре мне это действительно удалось. Я даже сумел относительно легко и нефальшиво напеть вполголоса оперную застольную песнь. Но тут, повернув случайно голову, я увидел странную фигуру, которая стояла в изножье кровати и не сводила с меня глаз, с выражением, впрочем, вполне дружелюбным.

Это был приятный молодой человек едва ли старше двадцати двух лет, вида отнюдь не бесплотного и не расплывчатого, а очень даже живого. Если бы не слова дяди и если бы знать

объяснение, как в комнату мог незаметно проникнуть посторонний, мне не пришло бы и мысли о сверхъ-естественном вмешательстве. Манеры у красавчика были аристократические, наряд — пурпурный кафтан с прорезью и вышивкой по всей длине рукава, изящная шпажка на боку, шляпа с пером в руке — самый изысканный. Волосы падали длинными локонами на широкий кружевной воротник, бородка была закручена на конце, как и крохотные, подвернутые вверх усики. Лицо, доброе и кроткое, любезно улыбалось, выказывая самые дружеские чувства.

— Безмерно счастлив свести с вами знакомство, — заметил он, играя золотым кружевом на рукоятке рапиры. — Особенно потому, что за время болезни меня мало кто навещал. Пожалуй, кроме дворецкого, в последнее время не было никого, да и тот как будто новый. Его поставил на должность еще один чужак, который, непонятно на каком основании, здесь распоряжается. Как только поправлюсь, я со всем этим разберусь.

— Вы говорите, вам нездоровилось?

— Да, дурнота, непонятная бессонница, а все из-за комка в груди, за который я должен благодарить Гарольда, моего братца. Если бы не эта история, я бы вас познакомил. Но я вас спра-

шиваю: после случившегося могу ли я оказать ему подобную честь? Стоит ли вообще с ним общаться? Если бы здесь присутствовала кузина Беатрис…

Тут в дверь постучали, и призрак, отшатнувшись немного в сторону, начал тускнеть и постепенно — сначала ноги, потом туловище и, наконец, лицо — весь истаял в воздухе. Он уже не заслонял собой резное изножье кровати; не осталось совсем ничего, что напоминало бы о странном визитере. Открыв дверь, я увидел только Биджерза, дворецкого.

— Ланч готов, мастер Джеффри, — сказал он. — Рыбы сегодня не будет, Западный дилижанс не прибыл, но грибы просто исключительные. Слышал мимоходом, как вы беседовали с духом — не с нижним духом сэра Рутвена, а с верхним. Сэр Рутвен встречал только нижнего, а я обоих. Этого видел на прошлое Рождество, примерно в то же время. Беседой он меня, правда, не удостоил: кто я, всего лишь дворецкий. Они очень друг на друга похожи, мастер Джеффри. На обед подадут оленью ногу — очень рекомендую, да и почки тоже заслуживают внимания.

2

В оставшееся время моего визита не произошло ничего, что стоило бы упомянуть. Рождественские праздники прошли как обычно, на следующее утро я вернулся в Лондон, и вскоре история с духами стала изглаживаться из моей памяти. Вначале, разумеется, я не мог думать ни о чем другом. Но мне помнилось, как хладнокровно воспринимал происходящее дядя Рутвен; я и сам начал склоняться к более трезвому подходу и задумался: что, если наиболее странные подробности являются не чем иным, как плодом моего воображения? В конце концов я пришел к выводу, что никакого духа не было, я просто видел сон.

Тем более я был занят по горло, и времени на праздное любопытство и досужие размышления совсем не оставалось. Первые восемь месяцев я прилежно готовился к карьере адвоката, а затем старательно забывал все выученное, сопровождая в прогулках по Лондону кузину Лилиан. Она вернулась из поездки по континенту и, прежде чем отправиться в Грейндж, на некоторое время остановилась с отцом в Лондоне. Приятный долг опекать Лилиан достался в основном мне: сэр

Рутвен охотно освободил себя от этой докуки. Я был по уши влюблен в кузину, однако ни за что на свете не признался бы в этом преждевременно, чтобы Лилиан не стала мною помыкать. В конце концов мы, разумеется, рассорились. Это произошло накануне отъезда сэра Рутвена и Лилиан домой, и она, известив меня, что отправляется дилижансом в 10:45, строго-настрого наказала, чтобы я ни в коем случае не вздумал ее провожать. Мне это показалось добрым знаком, и я тут же поспешил к дилижансу. Как обычно бывает в таких случаях, мне не повезло, я опоздал, но невезенье обернулось удачей. Лилиан, поняв дело так, что я не настроен в скором времени мириться, начала раскаиваться в своем поведении.

Незадолго до Рождества сэр Рутвен, как обычно, пригласил меня в Грейндж. К его письму была приложена надушенная записка от Лилиан, где было сказано, что она охотно уехала бы на Рождество с тетей Элинор, но это невозможно и посему она остается дома, однако, если я явлюсь в Грейндж прежде, чем она куда-нибудь отбудет, она сочтет это положительным оскорблением. Записка очень меня воодушевила, я счел, что дела мои неплохи, тут же упаковал сундук и рождественским утром сел на первый дилижанс

и отправился в Грантли-Грейндж.

И снова при выходе из дилижанса я был встречен колокольным звоном, и снова ко мне никто не вышел, и я поспешил в библиотеку засвидетельствовать свое почтение дяде Рутвену, которого рассчитывал застать на привычном месте у камина. Да, он был в библиотеке, однако не сидел, а стоял. Стоя рядом с креслом, он отвешивал самый сердечный поклон кому-то, кто находился в дальнем конце комнаты. Переведя взгляд туда, я заметил молодого человека в придворном платье двухсотлетней давности; приложив руку к сердцу, он с еще большей старомодной любезностью и приветливостью возвращал дядюшке поклон. Ни на мгновение я не усомнился, что вижу «нижнего» духа. В самом деле, он был почти неотличим от духа «верхнего». Тот же возраст, то же радостное и благорасположенное выражение лица. Густые локоны, падавшие на воротник, остроконечная бородка, бархатный, с разрезами, костюм, кружева, золотые кисточки, узкая рапира с изысканной отделкой. Заметные различия сводились к более темному цвету лица и волос, а также яркому, винно-красному цвету платья. Душа радовалась при взгляде на это взаимное приветствие, столь оно было сердечным и

церемонным: дядя приседал до тех пор, пока не стукнулся о стоявший сзади стол, дух в ответном поклоне задел кончиком ножен Сальватора Розу, добавив к следам жучков свежую царапину.

— Видишь, Джеффри, — шепнул дядюшка, изготавливаясь к новому поклону, — он явился снова, минута в минуту. Тогда же, когда и в прошлом году, словно его разбудили колокола. Помнится, ты предположил, что я, наверное, повадился слишком резко его обрывать. Будем же на сей раз осмотрительны и выслушаем его историю с начала до конца. — Он обратился к призраку: — Счастлив снова вас видеть, любезный сэр.

— Я счастлив не менее и даже более, — отозвался дух. — И я знаю, что мой брат Артур, услышав о вашем прибытии, радовался бы точно так же. Впрочем, от кого ему услышать? После того как он дурно со мной обошелся, — собственно говоря, возвел на меня поклеп, — было бы ниже моего достоинства приближаться к нему даже для того, чтобы сообщить такую новость. Придется поэтому приветствовать вас единолично.

— Нет, ты только послушай! — пробормотал дядя Рутвен, краснея от гнева. — Я старался изо всех сил, но возможно ли обмениваться любезностями с тем, кто вообразил, будто я у него в

гостях? Я обращаюсь с ним так радушно, как только могу, а в результате он, глянь, позволяет себе покровительственный тон.

Случилось так, что, тронутый теплым дядюшкиным приветствием, призрак немного переместился нам навстречу и оказался между нами и окном. От перемены места переменилась удивительным образом и его наружность. Красивое, располагающее лицо обернулось странной путаницей линий, черты закрыло паутиной борозд и морщин, и что они выражают — было не понять. Впрочем, через миг прежняя картина вернулась на место. Призрак отодвинулся от окна, лицо его вновь сделалось четким, в нем высветились любезность, утонченность и ум. Тайна объяснилась лишь впоследствии. А в ту минуту странное зрелище мелькнуло так быстро, что казалось излишним выяснять причины происшедшего. В память мне врезалась только одна деталь: красная линия поперек его шеи, словно бы след насилия. Даже когда дух посторонился, она не изгладилась, пока на нее падал прямой солнечный свет.

— Будь здесь кузина Беатрис, — заметил дух далее, — она, конечно, тоже была бы счастлива вас принять. Но где она теперь? Я не видел ее

уже несколько дней. Как вы думаете, возможно ли, что братец Артур, мало того что оскорбил меня необоснованным подозрением, но еще и настроил против меня кузину? Если это так, пока жив, ни за что…

— Ты только послушай! Пока он жив! Молча выносить подобный бред? — крикнул дядя Рутвен. — Ну что, Джеффри, видишь теперь, что надо положить этому конец?

С этими словами дядюшка, как в предыдущее Рождество, схватил большую книгу и мстительно швырнул в незнакомца. Если раньше у меня возникали сомнения относительно его нематериальной природы, теперь их не осталось. Сколь бы плотным и непрозрачным ни казался призрак, том, попав ему в живот, свободно пролетел насквозь и шлепнулся на пол с той стороны, сама же фигура не претерпела ни малейшего ущерба, за исключением только мелькнувшей на лице тени неудовольствия, что при таком грубом приеме было вполне понятно. Осознав как будто, что ему не рады, призрак поблек и исчез.

— «Цицерон» Миддлтона на сей раз, — заметил дядя, утирая лицо и рассматривая орудие, которое только что с успехом использовал. — Переварил, как и прошлогодний том. Если так пойдет дело,

освоит в конце концов всю мою библиотеку. Ничего не попишешь, Джеффри. Ты видел, я старался быть вежливым. Но когда какой-то призрак изображает из себя владельца дома и к тому же разговаривает так, будто он живой, кто устоит перед искушением заткнуть ему рот? Ну ладно, Джеффри, готовься к ланчу. Южный эркер, как в прошлом году.

Поскольку комната была та же и все катилось по прежней колее, я ожидал новой встречи с духом в пурпурном платье. И понятно, поднимался по лестнице не без некоторых опасений. Одно дело, когда тебе является дух с самого начала улыбающийся и дружелюбно настроенный, и совсем другое — когда ты намеренно пересекаешь дорогу духу, у которого, быть может, настроение сейчас не из лучших и он решит досадить тебе при помощи каких-нибудь сверхъестественных средств. Переодеваясь, я все время ждал появления духа и нервно оглядывался. Но так уж заведено, что самые, казалось бы, верные ожидания оправдываются редко; никто меня не потревожил, и я, переодевшись, радостно и спокойно отправился в столовую.

У порога гостиной я услышал легкий шелест шелков, вошел и застал там кузину Лилиан: она

уже была одета к ланчу и теперь охорашивалась у камина. После того, что произошло в Лондоне, она, разумеется, изобразила надменный реверанс и обратилась ко мне по фамилии, словно к чужаку, представленному ей только вчера; я, конечно же, ответил поклоном, каким Рэли впервые приветствовал королеву Елизавету. Слегка подняв брови в знак того, что удивлена моим вторжением, Лилиан заметила, что сэр Рутвен как будто находится в библиотеке. Я сказал, что уже видел сэра Рутвена и нашел его полностью поглощенным беседой с духом. Поскольку день сегодня как будто приемный и могут явиться другие посетители, я решил пока что его не тревожить, а с ее разрешения остаться здесь.

Благополучно покончив с преамбулой, мы перешли к обмену колкостями; иные приходилось импровизировать, однако большая часть, заготовленная много ранее, хранилась в запасе как раз для подобного случая. Обмен снарядами не приносил большого ущерба, каждый из нас оставался недосягаем в своей крепости, меж тем мы постепенно успокоились и дело пошло к примирению. Насколько бы растянулся этот процесс при обычных обстоятельствах, не знаю, но внезапно Лилиан словно что-то подтолкнуло.

Схватив меня за руку, она, как встарь, обратилась ко мне просто по имени. Я обернулся: ее взгляд, удивленный, но не то чтобы особенно испуганный, был устремлен в противоположный конец комнаты.

— Смотри, Джеффри! — прошептала она. — Верхний дух! Как его сюда занесло?

3

Обернувшись, я заметил наконец духа в пурпурном бархатном костюме, склонявшегося до самого пола в столь смиренном поклоне, что гневаться на него было невозможно, хотя объяснение все же требовалось.

— Позвольте, любезный сэр, — заговорил я, — такое вторжение…

— Я, разумеется, должен извиниться. — Последовал новый поклон. — Этим утром я немного опоздал к Южному эркеру. Проходя по коридору, я заметил здесь даму. Решив, что это кузина Беатрис, я вошел. Вижу, это была ошибка. Прошлой ночью я без конца ворочался, не давал покоя комок в груди; плохой сон, расстроенные нервы — вот я и обознался. Всему виной, наверное, возмутительный поступок братца Гарольда. А теперь мне остается только извиниться за вторжение и уйти.

— Задержитесь ненадолго, — попросил я. — Это моя кузина мисс Лилиан, она нисколько вас не боится и простит вам этот небольшой промах. И… и мне нужно многое вам сказать.

Собственно, я опасался, что вижу духа в по-

следний раз, а мне из милосердия следовало просветить его относительно его истинного положения. Поистине печально было наблюдать юного призрака, миловидного и приветливого, который не первый уже век разгуливает, считая себя живым, и я решил: будет благим деянием исправить его ошибку. Как нарочно, в тот же миг мне подвернулось убедительное доказательство. Собираясь удалиться, призрак сделал шажок в сторону; как в прошлый раз его собрат, он оказался между мною и окном, и схожим образом его черты накрыла сеть борозд и морщин. Но поскольку в такой позе он задержался немного дольше, чем другой призрак, мне скоро открылась его тайна. Удивительное явление: яркий солнечный свет пронизывал призрака насквозь, голова при этом делалась прозрачной. Не такой прозрачной, как стекло, а скорее матовой, как фарфоровая пластина, которую держат против света: мутная, она все же пропускает свет и на ней отчетливо проступают темные трещины и дефекты. Подобным же образом свет преобразил голову нашего гостя; она сделалась полупрозрачной, вроде облачка или тумана, и во всех направлениях ее пересекали прямые и кривые линии различной толщины. Вначале мне показалось,

что под сплетением линий черты лица исчезли совсем и их можно видеть только в профиль, но вскоре я убедился, что это не так. Они оставались на месте: блестящие глаза, нежный рот, красивой формы ухо. При известном усилии их общие контуры все еще можно было различить. Просто на них наложилось множество других линий, проступивших из глубины черепа. Но и эти, другие линии оказалось возможным проследить. Широкая искривленная борозда обозначала контур долей головного мозга. Я видел границы глазного яблока под орбитой глаза, видел тонкие нити, связывающие глаз с мозгом. Видел барабанную перепонку, мелкие косточки уха, четко обозначенные извилистые ходы между носом и ухом. Нёбо, глотку — до самого того места, где начинался нарядный кружевной воротник. Короче говоря, под яркими солнечными лучами голова молодого человека уподобилась современным медицинским моделям из воска, в которых точно воспроизведены на полагающихся местах все детали скелета; более того, в отличие от любой рукотворной модели, эту голову можно было изучать во всех подробностях, не разнимая.

— Как долго, — начал я, сдвигаясь чуть в сторону, чтобы видеть духа на фоне стены, а не окна

(я рассчитал точно: призрак вернул себе человеческий облик, черты обозначились с обычной четкостью, лишние линии и дуги исчезли), — как долго вы хвораете и плохо спите по ночам из-за боли в груди?

— Неделю, пожалуй, или даже больше.

— Простите, тут вы — да и тот, другой — чуточку промахнулись в хронологии. Тот небольшой эпизод, который, по-вашему, длится всего лишь несколько дней, в действительности растянулся более чем на два столетия. Вас постигло такое состояние ума, когда невозможен правильный счет времени. Почему подобное произошло, у меня не спрашивайте. Тем не менее печальные факты таковы, что ваши блуждания продлились уже два века, и неизвестно, кончатся ли они вообще. В доказательство я могу сослаться на ваш костюм, сшитый по моде времен Карла II, меж тем как наступил уже тридцать восьмой год правления королевы Виктории.

Я примолк, рассчитывая, что дух пожелает задать какой-нибудь вопрос. Но он растерянно молчал, и я продолжил:

— И вы опять заблуждаетесь, полагая, что полученное вами телесное повреждение всего лишь нарушило ваш сон. Нет, вы умерли и, разумеется,

были должным образом похоронены. Соответственно, сейчас вы не человек, а всего лишь призрак. Должно быть, вам неприятно это слышать, но рано или поздно пришлось бы узнать. В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы быть благовоспитанным, добропорядочным духом. В качестве такового вам позволено показываться каждое Рождество, но лишь на несколько минут, после чего вы, без сомнения, возвращаетесь к себе в могилу. Там, как я предполагаю, вы дремлете до следующего Рождества — у вас ведь, похоже, нет ясного представления о том, где вы находитесь. По крайней мере, вам уютно и привольно, чего не скажешь о многих прочих духах. Даже отец Гамлета вроде бы претерпевал мучения, при том что, если верить свидетельствам, он был, не в пример своему брату, очень достойным человеком. Вы мне не верите? Тогда, в качестве доказательства, встаньте, пожалуйста, перед окном — прямо под солнечные лучи. А теперь, позвольте, я подержу для вас зеркало. Вглядитесь в отражение — видите, вы просвечиваете насквозь? По-моему, это самое надежное доказательство того, что человек благополучно перешел в разряд духов. Вот видны ходы у вас в ухе, завитки мозга, яремная вена. А вот эту линию не примите за нерв или иную де-

таль анатомии — это трещина в стекле. Если вам захочется потом из любопытства изучить свою внутреннюю анатомию основательней, советую воспользоваться новым, хорошим зеркалом. Ну, вы еще сомневаетесь относительно своего нынешнего состояния?

— Увы, какие уж тут сомнения, — простонал дух. — Но что же мне делать?

— Занятий множество. Я думаю вот что: как человеку не следует вести праздную жизнь, так и у духов должны быть свои обязанности. Едва ли в незримом мире хозяйство организовано так, чтобы духи зря прожигали жизнь, а вернее, существование. Будь я духом, уж я бы постарался приискать себе какое-нибудь достойное применение. Наверное, нашел бы способ приносить пользу миру, мной покинутому. Предположим, вы поставите себе задачу удержать в памяти хоть что-нибудь касающееся вашего пребывания в незримом мире: к какому разряду вы отнесены, куда посланы и прочее подобное, и через мое посредство время от времени делились бы этими сведениями с человечеством. Не кажется ли вам, что это было бы благое деяние, что все живущие на земле были бы вам бесконечно благодарны?

Дух молча помотал головой. Очевидно, благо-

дарность всех живущих на земле не особенно его прельщала.

— Или же, — продолжал я (меня осенила новая идея, особенно мне понравившаяся, поскольку я в последнее время увлекался юридическими аспектами медицины), — или же вы могли бы внести немалый вклад в изучение анатомии и патологоанатомии. В печати сообщалось о человеке, имевшем в боку отверстие, через которое можно было наблюдать за процессами пищеварения, что принесло большую пользу медицинской науке. Нужно ли говорить, что ваш случай бесконечно интереснее и куда перспективней с практической точки зрения? Не особенно рискуя ошибиться, предположу, что тело у вас такое же прозрачное, как голова, и только одежда мешает наблюдать за функционированием ваших внутренних органов. Разоблачившись, вы запросто могли бы при ярком солнечном свете демонстрировать работу сердца, легких и желудка. Давая ежедневные сеансы, вы обогатили бы науку новыми открытиями. В вашем организме, несомненно, заключен некий тонкий, призрачный, едва уловимый флюид, аналогичный человеческой крови, и медики могли бы изучать его циркуляцию. Во врачебной науке

имеются неразрешенные вопросы, касающиеся некоторых органов и сосудов: действительно ли человеческий организм в них нуждается, или это рудименты, в процессе развития утратившие свое значение. С вашей помощью эти вопросы могли бы быть разрешены. Собственно…

Захваченный размахом своих предположений, я отвлекся от призрака и сквозь полуприкрытые веки созерцал потолок, но тут Лилиан, тихонько дернув меня за рукав, скосила глаза на нашего гостя, и я понял, что пора обратить на него внимание. Он неподвижно стоял у окна, однако любезной мины у него на лице как не бывало: по нему разливался теперь румянец злобной ярости, омрачившей все его черты. Я, естественно, смолк, он резко повернулся ко мне.

— Вы все сказали? — Дух разразился старомодным богохульством времен династии Стюартов. — Ваше оскорбительное предложение на том заканчивается? Хорошо ли вы поразмыслили, прежде чем додуматься до того, что сэр Артур Грантли, придворный короля Карла, не найдет себе более достойного занятия, чем иллюстрировать собой теории всевозможных горе-лекарей и шарлатанов?

Извергнув еще одно кощунственное ругатель-

ство, дух наполовину вытянул из ножен тонкую рапиру, злобным, мощным толчком отправил ее обратно, выскочил за порог и исчез. Из коридора донеслись топот и еще пара-тройка диковинных устаревших ругательств.

4

Мы с Лилиан обменялись взглядами, полными немого удивления. Колокол позвал на ланч, мы все так же молча двинулись в столовую.

— Возможно ли, — начал я, когда мы вошли в следующую комнату, — что этот человек, которого мы принимали за скромного домочадца, на самом деле являлся главой семьи? И твоим, Лилиан, предком?

— Папа должен знать. Спросим его за ланчем.

И вот, когда старый джентльмен взялся за вино, орехи и изюм (до этой минуты он всегда занимался исключительно обедом и не любил, чтобы его отвлекали), Лилиан спросила:

— А был ли такой сэр Артур Грантли, папа?

— Дай подумать, — пробормотал дядя Рутвен. — Да, был, два столетия назад. Теперь припоминаю. Их было два брата-близнеца; старший наследовал поместье и титул, младший получил звание капитана королевской гвардии. Можно было ожидать, что ровесники, связанные столь тесными узами родства, будут жить душа в душу, но случилось иначе. Они рассорились, один брат убил другого и был за это повешен.

— А сохранились ли какие-нибудь записи, дядя Рутвен?

— Разве что в «Государственных процессах». Я туда никогда не заглядывал. Ни в «Берке», ни в «Дебретте» ссылок нет. Из этих весьма полезных сборников можно узнать только, что Гарольд Грантли умер в возрасте двадцати двух лет; причина умолчания, вероятно, — забота о семейной чести, хотя по прошествии стольких лет едва ли это необходимо. Нет лучшего средства очистить фамильный герб, чем время. Неприятно, конечно, когда клеймо убийцы лежит на твоем отце или деде, но если речь идет о событиях двухвековой давности — кого это волнует? Иначе лихо бы пришлось всем до единой королевским фамилиям. Возьмем ее величество всемилостивейшую королеву Викторию — разве есть свидетельства, что ее хоть сколько-нибудь заботят подозрения, омрачающие память королевы Марии Шотландской? Да лучше иметь предков с дурной славой, чем без всякой славы. Ну, обнаружит кто-нибудь, что на одной из ветвей его фамильного древа устроился Гай Фокс, — станет ли это для него ударом? В любом случае это пустячное убийство в роду Грантли нас не должно огорчать: прямая линия наследования тогда прервалась, майорат достал-

ся нам как представителям побочной ветви.

Исчерпав свое знание предмета, дядя Рутвен вновь взялся за стакан и далее повел речь о выращивании репы. Но мы с Лилиан этим не удовольствовались, после ланча ускользнули в библиотеку и сняли с верхней полки один из пыльных, ветхих от старости томов «Государственных процессов». Книгу, похоже, годами не снимали с полки, но мы, зная, при каком монархе произошел интересующий нас случай, за считаные минуты отыскали процесс «Rex Grantley». Книга была очень тяжелая, и мы сначала расположились у стола. Но там было слишком высоко, мы сели рядышком на софу, раскрыли книгу на коленях и стали вместе читать. Признаюсь, мне такое чтение понравилось. Лилиан пришлось склонить голову, ее локоны задевали мое плечо, теплое дыхание обвевало щеку. Чтобы поддержать Лилиан (как-никак, на коленях половина тяжеленного тома), я обвил ее за талию, а она так углубилась в рассказ об убийстве, что как будто ничего не заметила. В литературе нередко встречаются такие эпизоды: молодой человек и девица сидят подобным же образом и читают одну на двоих книгу. Обычно это бывает томик поэзии или, на худой конец, увлекательный ро-

ман. Вопрос состоит в том, часто ли случается, чтобы молодая леди и ее поклонник увлеченно знакомились с историей убийства, совершенного одним из представителей ее семейства, и не чувствовали при этом ничего, кроме интереса к сюжету, как если бы главную роль в повествовании играли какой-нибудь Джек Шеппард или Оливер Твист. Но, как верно заметил дядя Рутвен, уж очень это было давно.

Из отчета в «Государственных процессах» следовало, что Артур и Гарольд Грантли были близнецы и им сравнялось по двадцать два года. Как говорил дядя Рутвен, Артур был старший и ему достались титул и поместье, Гарольд же получил офицерский чин в дворцовой гвардии. Естественно, братья много времени проводили вместе и все думали, что они очень друг к другу привязаны. Случались, разумеется, и небольшие размолвки, но вплоть до убийства никто не замечал, чтобы между ними пробежала черная кошка. Беда произошла в один из рождественских дней, около полудня. Гарольд взял отпуск, чтобы навестить в Грейндже брата; после раннего обеда (гостей в доме не было, и некоторыми формальностями и церемониями братья пренебрегли) оба сидели за столом, беседовали, ели ломбардские

орехи и пили вино. Возможно, они и выпили лишнего, однако не настолько, чтобы уж очень опьянеть. Вино разве что слегка разогнало кровь, но, как оказалось, это и привело к несчастью, лучше уж им было упиться до бесчувствия. Сэр Артур воспользовался случаем показать брату ценное фамильное наследие, известное как большой ланкастерский бриллиант и доставшееся их семье от боковой ланкастерской ветви. В лихую годину Кромвеля бриллиант прятали в тайнике, и только теперь извлекли на свет божий. Можно предположить, что сэр Артур, неравнодушный к их кузине Беатрис и желавший на ней жениться, объявил, что подарит ей семейную драгоценность, Гарольд же (он и сам был влюблен в Беатрис и не менее брата надеялся на взаимность) стал возражать, разгорелась ссора. Как бы то ни было, в доме слышали, как они громко спорили, неожиданно Гарольд позвал на помощь, прибежавшие домочадцы увидели, что его брат лежит на спине бездыханный, с явственными следами насилия на шее. Рассказ Гарольда сводился к тому, что сэр Артур внезапно откинулся на спинку кресла и стал задыхаться, словно его хватил удар. С другой стороны, выдвигались аргументы, что крепкие молодые люди не мрут

на каждом шагу от внезапного припадка, что на трупе заметны следы удушения, что между братьями произошла размолвка (этого не отрицал и Гарольд), что они были соперниками в любви (само по себе достаточный повод для ненависти и ссоры) и — более того — что Гарольд, как претендент на наследство, был заинтересован в смерти брата. Опять же, бриллиант исчез. Если бы смерть была естественной, драгоценность никуда бы не делась, но она была главным поводом к ссоре, а потому убийца решил уничтожить улику, выбросив ее, по всей вероятности, в озеро. Словом, все ополчились на оставшегося в живых брата, добавились и политические мотивы, в наше время едва ли понятные; кое-кто из фаворитов короля рассчитывал, устранив высокопоставленного соперника, продвинуться по служебной лестнице в гвардии и сумел повлиять на монарха не в пользу подозреваемого. В общем, после многих перипетий и продолжительного судебного процесса Гарольд был признан виновным и казнен.

— Теперь, — сказал я Лилиан, — для меня прояснилось многое, чего я не понимал. Красная линия на шее нижнего духа, боль в груди у духа верхнего (не иначе как от давления извне) — все эти обстоятельства складываются в единую историю

и как нельзя лучше совпадают с судебным отчетом. Только — вот что на первый взгляд кажется странным — убитый как будто не помнит, что был убит, а убийца не помнит, что был казнен.

— В самом деле странно. Ну да не ждать же от духов большого ума!

— Это странно на первый взгляд, но стоит поразмыслить, и все встает на места. Претерпев насилие, мы часто впоследствии ничего не помним. Возьмем человека, который упал с высоты или получил удар дубинкой и потерял сознание; очнувшись, он понимает только, что с ним что-то случилось, но самого падения или удара не помнит. Почему же должно быть иначе, когда пострадавший умер? Рассмотрим обстоятельства в этом свете, и мы увидим: молодой баронет пробуждается в могиле, смутно помня о том, что на него как будто напали, о самом же убийстве даже не догадывается. Точно так же младший брат пробуждается и думает, что он живой; память о законном наказании стерлась, помнится только, что его обвиняли в насильственном преступлении, каком — неизвестно, однако он обижен и не находит себе покоя.

— В самом деле, это очень правдоподобно, — согласилась Лилиан. — Но если он все же неви-

новен?

— В это трудно поверить, слишком много фактов говорит против. Такое неразумное предположение могло прийти в голову женщине, которой хочется смыть пятно с фамильного герба.

— Тьфу на фамильный герб, — отозвалась Лилиан, изображая вытянутыми губками «тьфу». При этом она была так хороша, что я, по-прежнему поддерживая ее за талию, всерьез задумался, а не воспользоваться ли случаем, чтобы сделать предложение. Оно ведь само собой разумелось, и каждый, в том числе и сама Лилиан, со дня на день его ожидал; дело внутрисемейное, предвидели его давно, обсуждали неоднократно, так чего же медлить, почему не открыть свое сердце?

— Думаю, Лилиан, — начал я, — сейчас самое время поговорить о нашем будущем.

— Хорошо, Джеффри.

На ее щеках выступил румянец; она догадывалась, что будет дальше: последует любовное признание, составленное в самых нежных выражениях. Но что касается нежных выражений, то по крайней мере в этом я, помня недавние провинности Лилиан, решил ее разочаровать.

— Нет, — сказал я, — Гарольд не мог быть осужден безвинно, в это невозможно поверить. Так

что, Лилиан, видишь сама: ваша семейная репутация изрядно подпорчена. Тем не менее я, к несчастью, очень сильно к тебе расположен, а потому предлагаю руку и сердце. Надеюсь, этим я не нанесу себе слишком большой урон.

— Ты очень-очень добр, Джеффри, — отвечала Лилиан. — Я бесконечно благодарна тебе за такую честь. Мне кажется, каждой семье рано или поздно случается пережить какой-нибудь позор вроде смертной казни. У нас он уже позади, и я расцениваю это как величайшее везенье. А вот по вашей линии позор еще ожидается, и, судя по всему, выпадет он настоящему ее поколению. Я рада принять твое предложение — хотя бы для того, чтобы иметь законное право быть рядом и поддерживать тебя во время предстоящего испытания.

Так совершилась наша с Лилиан помолвка.

5

Предполагалось, что венчание состоится не сразу. Дядя Рутвен придерживался старомодных понятий относительно брака; прежде всего он считал, что молодой человек не имеет права жениться, пока не приобретет профессию, ибо фамильное состояние — вещь слишком ненадежная и семья не должна зависеть от превратностей судьбы. Таким образом, было решено подождать моего успешного дебюта в суде.

Он состоялся в ближайшем октябре. Мне была доверена роль третьего адвоката в процессе «Ученик благотворительной школы против церковного старосты», угроза физическим насилием. Церковный староста отодрал ученику уши за игру в шарики на надгробии, но, к несчастью, настиг его уже за чертой кладбища. Это позволило вести речь о превышении власти и предъявить иск. Тяжба тянулась без малого пять лет, пора было переходить к судебному разбирательству. В качестве свидетелей вызвали директора школы, викария, добрую половину прихожан и троих звонарей — все они явились. Дополнительно требовалось свидетельство игрушечного мастера,

который продал ученику шарики, однако получилось так, что вызов застал его в Шотландии, на смертном одре. Были назначены лица, уполномоченные отобрать у него показания. Игрушечный мастер лежал в бреду, сознание возвращалось к нему не более чем на полчаса в день, и он хотел воспользоваться этим промежутком, чтобы составить завещание. Однако судебные порученцы упорно не давали ему это сделать, требуя показаний; они сбивали мастера с толку, и он вновь начинал бредить. Процесс, разумеется, требовалось отсрочить, пока требуемое свидетельство не будет получено.

Случилось так, что старший адвокат отсутствовал и обязанность просить отсрочки легла на меня; немного опасаясь за свой голос, я все же справился с заданием. Судья сказал, что при согласии противной стороны никаких возражений не предвидится, противная сторона подтвердила свое согласие, отсрочка была дана. После этого я написал сэру Рутвену, что мой дебют в суде состоялся. Сэр Рутвен тут же откликнулся, интересуясь, появится ли в «Таймс» репортаж о моей речи. Я ответил, что этого не ожидаю, поскольку газеты, в ущерб другим важным новостям, посвящают главное внимание конфликту в Черногории. Дядя

Рутвен ответил, что в целом удовлетворен, даже если «Таймс» обо мне промолчит, и что теперь, когда я способен содержать семью вне зависимости от унаследованного состояния, свадьба может быть назначена сразу после Рождества. Мне было предложено приехать в Рождественский сочельник, мы уютно пообедаем в тесном кругу, пока не начнут съезжаться приглашенные гости.

Соответственно, я появился в Грантли-Грейндже днем двадцать четвертого и поднялся в свою комнату в сопровождении Биджерза, который не только осветил мне дорогу, но и помог распаковать багаж. При этом он с непринужденностью, свойственной старым слугам, пустился судить и рядить о последних событиях.

— Только что доставили корзину с превосходным большим лососем, мастер Джеффри, но это на завтра. Вы его оцените, когда увидите; сэр Рутвен им очень гордится. Духи с вашего прошлого приезда не показывались, — может, и вовсе ушли навсегда. Поговаривают, на следующей неделе на бракосочетание явится сам граф Килдар, но явится или не явится, а серебряный кувшин уже прислал. Может, всех духов в конце концов заперли на замок там, где их место. Элинор, тетушка мисс Лилиан, между прочим,

заткнула за пояс графа Килдара. Она, говорят, прибыть не сможет, но видели бы вы, мистер Джеффри, какие она прислала серьги с бриллиантами — с ломбардский орех величиной! Что до сегодняшнего винограда, боюсь, он кое-где тронут плесенью, зато устрицы…

— Хорошо-хорошо… спасибо, Биджерз. — Поток слов меня утомил, и Биджерз, поняв намек, сделал вид, что снимает пылинку с моего венчального фрака, и потихоньку выскользнул за порог. На самом деле я не столько устал, сколько хотел поразмыслить в одиночестве. Что-то в замечании Биджерза пробудило во мне ассоциации, но настолько смутные и неуловимые, что никаких путных выводов из них извлечь не удавалось. Бриллианты размером с ломбардский орех… бриллианты-орехи, орехи-бриллианты — эти слова связались у меня в голове в мелодию, но что из них следует? Как я ни напрягал мозг, фрагменты не укладывались в определенную картину. Ночью продолжалось то же самое: те же слова, те же звуки, та же мелодия, похожая на перестук колес поезда. Среди ночи я проснулся: меня вдруг осенило, но решение загадки показалось столь диким и невероятным, что я сразу его отбросил. Даже тогда, в полусне, в час, когда

буйные фантазии мешаются со столь же фантастическими снами, я счел эту идею сумасбродной и достойной осмеяния; вновь погружаясь в сон, я думал, что окончательно с нею расстался. Но вот я пробудился, в окне ярко светило солнце, а в памяти воскресла все та же чудная мысль. Странное дело: мыслил я уже по-дневному спокойно и здраво, наплыва буйных фантазий можно было не опасаться, а ночная идея, причудливая и призрачная, как прежде, вызывала уже не смех, а желание серьезно и тщательно ее обдумать. В конце концов, ничто не мешало проверить ее экспериментально, хотя действовать следовало втайне и осторожно, дабы не навлечь на себя насмешки, если затея провалится.

Одевшись, я на цыпочках прокрался вниз. Утро только начиналось, внизу все было тихо, только одна из горничных смахивала с мебели пыль. Поскольку все давно привыкли к моим ранним прогулкам, она лишь на миг скользнула по мне взглядом и снова взялась за дело. Через окно-дверь я вышел на голую и блеклую зимнюю лужайку. Садовник заново укутывал растения соломой, но и он лишь притронулся к шляпе и ничего не сказал. По гравиевой дорожке я обогнул террасу и достиг задворков дома, а оттуда

свернул к сосновой роще поблизости.

Посреди нее располагался семейный склеп Грантли. Вид его нисколько не омрачал настроения; это была кирпичная постройка нескольких футов в высоту, с некоторой претензией на архитектурную гармонию. Со склепом не было связано ни суеверий, ни сентиментальных воспоминаний. Собственно, на тот день там покоилось не более полутора десятков представителей семейства. Склеп был сооружен четыре века назад, и рассчитывали его приблизительно на сотню покойников, но во времена мятежа в поместье побывали солдаты Кромвеля; им не хватало пуль, и они повыбрасывали мертвых Грантли за порог, чтобы пустить в переплавку свинцовые гробы. После этого здесь нашли приют лишь два-три поколения Грантли; прочих стали хоронить на кладбище у деревенской церкви. Лет десять назад склеп понадобилось открыть, чтобы установить дату смерти одного из усопших, необходимую как доказательство в суде. Дверь, которой давно не пользовались, заупрямилась, в конце концов пришлось сломать замок. Разумеется, запоры собирались восстановить, но — опять же разумеется — не восстановили: как всякое не особенно спешное дело, его откладывали со дня на день, а

потом оно выветрилось из памяти. Незапертая дверь немного отошла, хотя ее никто больше не трогал, садовники стали прислонять к ней инструменты, потом открыли шире, чтобы прятать инструменты от дождя, и так, шаг за шагом, полупустой склеп превратился в сарай для садового инвентаря. Здание обросло виноградом, у цоколя скопились папоротники, посторонний принял бы его за обветшавший ледник.

Я толкнул дверь еще немного и заглянул внутрь. Солнце стояло низко, за деревьями, и прямые лучи сюда не проникали, но света хватало, чтобы разглядеть у самого входа груду грабель и мотыг, а также, чуть дальше, ряд ниш, предназначенных для гробов, но с давних времен пустующих. Внутри я установил, что ниши идут двойными рядами, теряясь во мраке. Я раскурил поярче сигару и, зажигая свечу за свечой, двинулся на разведку. В дальнем конце я обнаружил несколько ниш с гробами, которые находились на разных стадиях разрушения. Темная тканевая обивка истлела, кусочки ее валялись тут же и на каменном полу. Внешние деревянные вместилища кое-где уцелели, а кое-где распались на щепки. На нижнем краю некоторых ниш виднелись медные таблички с именами и датами, но

они сохранились не все. В одной из ниш помещался источенный червями гроб грубой работы, но ни имени, ни даты, ни даже следа таблички не нашлось. Я не мог не предположить, что здесь покоится несчастный Гарольд Грантли; ему по праву было предоставлено место в фамильном склепе, однако кто-то из милосердных побуждений распорядился не указывать имени, дабы злосчастная судьба покойного канула в Лету. Все более надеясь на то, что поиски достигнут цели, я зашагал дальше. Поминутно меняя свечи, внимательно читал имя за именем; чтобы разобрать под грязью старинные буквы, приходилось протирать таблички носовым платком. Гробов оставалось все меньше, надежда постепенно уступала место разочарованию. Но это продолжалось недолго; вскоре я с несказанной радостью прочел на одной из табличек: «Артур Грантли, опоч. 25 дек. 1663 в возр. 22».

Так вот он — тот, кого я искал. Я стал внимательно разглядывать все, что уцелело. Побитый молью, изгрызенный крысами покров, вставленные один в другой гробы — вот и все. На миг я забеспокоился и огляделся: что, если рядом возникнет веселое юное привидение в пурпурном бархате и кружевах — на поясе качается рапира,

и грозно спросит, с какой стати я его беспокою, но вокруг было тихо. Я пребывал наедине с собственными мыслями и намерениями, никто не собирался препятствовать мне или задавать вопросы.

Я боялся, что придется просить кого-нибудь о помощи, но зря. Все как нельзя лучше способствовало моему замыслу. Внешнее хранилище, покоробленное, источенное червями, сгнило окончательно, его можно было бы разбить на части одним ударом; свинцовый средний гроб был разъеден ржавчиной, швы распаялись и разошлись, и мне не понадобилось особых усилий, чтобы отогнуть конец крышки; внутренний гроб из красного дерева прогнил не меньше внешнего и подался так же легко. В считаные мгновения крышки всех трех гробов были вскрыты, туда можно было запросто просунуть руку.

Ненадолго я заколебался. Что, если, как иногда случается, останки не подверглись тлению и моя ладонь наткнется на твердую плоть? Справившись со страхом, я потихоньку протиснул руку внутрь — она не встретила сопротивления. Лишь тонкий слой праха на дне, едва ли достаточный, чтобы пальцем начертать на нем имя. Это было все, что осталось от веселого молодого кавалера,

двенадцатого баронета Грантли. Я начал неспешно шарить по дну, перебирая прах, пока, ближе к дальнему концу, не наткнулся на небольшой твердый предмет. Сердце екнуло от волнения. Что это? То, на что я надеялся, или уцелевший фрагмент кости? Дрожа с головы до ног, я зажал предмет большим и указательным пальцами и кинулся к двери склепа. В полусумраке у приоткрытой двери моя уверенность окрепла, а при ясном дневном свете, подставив находку под золотые солнечные лучи, я расстался с последними сомнениями: мне в руки попал давно потерянный ланкастерский бриллиант.

6

Вернувшись в дом, я промолчал о своем приключении. Мне казалось, время еще не приспело, лучше подождать до вечера. Язык не поворачивался при ослепительном свете утра повествовать о тайнах мрака, вечных снов и вскрытых гробниц. Пока сумерки не внушат слушателям соответствующего настроения, кто поверит моему рассказу?

Более того: что, если днем явится дух, разгневанный моим вторжением в гробницу, потребует бриллиант назад и, быть может, я испугаюсь его чудовищных угроз и отдам свою находку? Обычное время явления духов близилось, их можно было ждать с минуты на минуту. Дядя Рутвен уже сидел в библиотеке, поджидая своего визитера. Он был как раз настроен не особенно дружелюбно по отношению к духам и громко объявил, что не намерен, как прежде, церемониться; миролюбию его пришел конец и больше он их в доме не потерпит. А уж в эти дни особенно — сказал он; в доме готовится праздник, есть чем заняться и без них. И вот он, настороженный, уселся в большое кресло и, держа под рукой самый тяжелый том

Британской энциклопедии, приготовился сокрушить духа при первых признаках его появления, прежде чем тот промолвит хотя бы одно слово.

Но к удивлению всех домочадцев и к сугубому разочарованию сэра Рутвена (он ведь приготовился действовать и не готов был смириться с тем, что зря потерял время), духи не появились: ни наверху, ни внизу. Ровнехонько в двенадцать, как никогда весело, забили колокола; многоголосый перезвон поражал необычной четкостью и быстротой; но дядю никто не тревожил, и Британская энциклопедия лежала рядом невостребованная. Наконец день стал клониться к вечеру, прозвучал гонг к обеду и мы направились в столовую.

На следующий день мы уже должны были обедать в большой компании; утром, после Рождества в тесном кругу, ожидались первые гости, которые нарушат наше уединение, и тогда уже не придется жаловаться на скуку. Но сегодняшний день сэр Рутвен желал провести без посторонних. Нас было мало, однако все помнили про Рождество и желали достойно его отпраздновать. Куда ни посмотри, комнату украшали остролист и омела. В дальнем конце камина уютно лежало большое рождественское полено, вокруг него

весело трещали сучья поменьше, и оно старалось от них не отставать, но не всегда успешно — при его-то размерах. Пока оно с достоинством тлело, вокруг творились буйные игры, сопровождаемые громким треском и шипеньем. В трубу уплывали кольца красиво подцвеченного дыма, пламя вспыхивало языками, освещая все дальние углы и бросая красные ответы на старые поблекшие портреты; даже древний, весь в трещинах, Рембрандт, на котором никто ничего не мог различить, заиграл яркими солнечными искрами.

Стол был накрыт только для нас троих, но в честь праздника так торжественно, как на два десятка пирующих. В центре водрузили, сняв чехол из зеленого сукна, высокий ветвистый канделябр, которым пользовались лишь в особых случаях. Из мест длительной ссылки вернули антикварное серебро (сэр Рутвен успел уже забыть о его существовании), и оно, как в прежние века, приятно замерцало в неярком свете канделябра. В расставленных там и сям вазочках неназойливо благоухали цветы. В нужное время из кухни должны были принести голову кабана, чтобы мы любовались, вкушали и делали вид, что ничего лучше в жизни не пробовали. Рождественский пудинг, шепнул мне Биджерз, удался как никогда

за многие годы. Вокруг царили уют, гармония и веселье; все располагало к тому, чтобы поведать мою историю.

Возможно, не без некоторой театральности я извлек на свет ланкастерский бриллиант и положил на ладонь Лилиан. Я сказал, что не могу придумать лучшего подарка на Рождество, чем вернуть ей ценную и древнюю фамильную реликвию. В самых общих чертах я коснулся того, как реликвия была добыта, зато подробней описал ход мыслей, который привел к догадке, где она спрятана. Я объяснил, что находка позволяет по-новому взглянуть на материалы в «Государственных процессах»; она доказывает, что младший брат не виновен ни в каком убийстве: в пылу ссоры старший брат случайно проглотил бриллиант, приняв его за один из орехов из горки у тарелки (они были той же величины); этим убедительно объясняются и пятна на шее покойного, и исчезновение бриллианта, и — вероятней всего — докучный комок в груди духа, одетого в пурпурный бархат.

— Да-да, это именно так, — прервал меня негромкий голос.

Мы подняли глаза: у дальнего конца стола стояли оба призрака. Еще больше, чем прежде,

меня поразило их сходство: различался только цвет платья. Одинаковые лица, красивые и обаятельные, одинаковые любезные манеры. Все сердечные раны явно были залечены, призраки сплетали руки в ласковом братском объятии.

— Мы все слышали, — продолжил дух в красном, — и получили объяснения, до которых сами не смогли додуматься. Оба мы с братом Артуром теперь знаем, что мы мертвы, а посему не вправе впредь посещать кров, более нам не принадлежащий. Мне известно, что меня повесили, но, поскольку я был невиновен, подробности меня не занимают. В любом случае я должен уже давно покоиться в могиле. Моя семья уверилась в моей невиновности, братец Артур, как мне известно, несмотря на давешнюю перепалку, по-прежнему меня любит, так что мне до мнения посторонних?

— А я, — подхватил призрак в пурпурном, — просто не знаю, как вас благодарить за свое избавление. Ночами я лежал — теперь мне это понятно — в могиле и не мог заснуть из-за странного комка в груди. Но нынче утром, около восьми, меня внезапно отпустило; это было такое блаженство, что я проспал — впервые за долгие годы пропустил колокольный звон и не нанес в назна-

ченный час своего обычного рождественского визита. Но это всего лишь блаженство телесное, несравнимое с блаженством душевным: я ведь узнал, что братец Гарольд на самом деле не причинил мне никакого вреда. Думаю, если бы мы пришли к согласию по единственному поводу, который нас разделяет, то есть по поводу нашей общей привязанности к кузине Беатрис, мы бы…

— Пожалуй, тут я легко мог бы вас успокоить, — вмешался дядя Рутвен. — Если вы уделите мне минутку внимания, я покажу вам верный оригиналу портрет вашей кузины Беатрис в позднейшие годы.

Подняв со стола канделябр, он направил свет на одну из картин, висевших на стене. На портрет кузины Беатрис в зрелые лета. Картина была в трещинах, темная и ветхая, но лицо по странной случайности сохранилось хорошо. Это было лицо, давно утратившее свежесть и миловидность юности, но не приобретшее взамен достоинства — украшения зрелых лет. Густо загримированное и напудренное лицо ветреницы, без малейших следов приятности или доброты; сам сэр Годфри Неллер, при всем своем искусстве, не смог, не жертвуя схожестью, украсить его хотя бы искрой благородства или убрать мерзкое тщеславие, что

проглядывало в каждой черте.

— Портрет вашей кузины Беатрис на пятидесятом году жизни, — пояснил дядя Рутвен. — Замуж она не вышла, при дворе отличилась своим умением жульничать в карты.

Юноши-призраки внимательно всмотрелись в картину. Мне показалось, что их братское объятие сделалось еще теснее. Наконец они, удовлетворенные, отвернулись.

— Не думаю, что у нас когда-либо повторятся ссоры из-за кузины Беатрис, хоть мы и забываем иногда, что больше не живы. — По лицу старшего брата пробежала обаятельная улыбка. — А теперь, когда все разногласия так благополучно улажены, нам остается только проститься. Сон брата Гарольда не будет отныне тревожить мысль, что я к нему несправедлив, моему сну не станет мешать комок в груди — вероятнее всего, мы не пробудимся больше, чтобы вам докучать.

— Погодите, — вскричал дядя Рутвен. Искренне тронутый, он забыл и думать о Британской энциклопедии. — Куда же вы так скоро? Не хотите ли с нами пообедать?

Духи тем временем уже начали исчезать: как раньше, граница невидимости побежала от ног выше и добралась уже до середины туловища. Тут

она нерешительно дрогнула и двинулась вниз; призраки снова показались полностью. Словно бы подержались в раздумье за ручку двери и вернулись.

— И еще, — продолжил дядя. — Я должен извиниться за прежние грубые поступки по отношению к одному из вас.

— Все уже забыто. — Призрак в красном отвесил поклон. — Что скажешь, братец Артур, можем мы немного задержаться?

— Разве что минуту-другую, братец Гарольд, хотя бы для того, чтобы искупить невежливость по отношению к молодому джентльмену, которую я позволил себе не далее как в прошлом году.

Призраки сели за стол, и обед начался. Приятно было наблюдать их старомодную любезность: галантные наклоны головы при каждом слове, адресованном Лилиан, ловкость, с какой они, не желая привлекать к себе излишнее внимание, делали вид, будто едят и пьют. Не обладая телесностью, они на самом деле не могли ни есть, ни пить, но все время подносили ко рту полные бокалы и вилки с кушаньями и, не притронувшись, возвращали обратно. Одно удовольствие было слушать их разговор: приправленный кое-где, по моде прошлых времен, богохульством, он

тем не менее поражал живостью, остроумием, искрометным весельем. Вначале, конечно, беседой завладел дядя Рутвен с очерком позднейшей семейной истории, но далее слово перешло к духам, которые полчаса премило развлекали нас неизвестными дотоле историйками про двор Веселого Короля. Естественно, я забыл о современности и обратился мыслями к романтическому прошлому; воображение неудержимо увлекло меня в старые добрые времена Стюартов. Прозаический девятнадцатый век остался за спиной, я вмешался в веселую беззаботную толпу — король и придворные вовсю вознаграждали себя за лишения, которые претерпели в мрачный период Республики. Вокруг меня теснились, превращая прошлое в реальность, а настоящее — в изменчивый миф, Гамильтон и Нелли Гвин, де Грамон и Барбара Вильерс, Франсес Стюарт, те и другие ославленные мертвецы, поступки которых не заслуживают одобрения, но имена, овеянные романтикой, живут в истории и все еще притягивают наше любопытство. Под влиянием минуты даже портрет старой бедной шулерши Беатрис Грантли облекся как будто прежним очарованием юности; в бликах свечей и рождественского полена на нем проступили незаметные прежде

следы красоты, и в целом оно вернуло себе ту миловидность, которой прельстился в свое время, когда она случайно явилась при дворе, король Карл, — впрочем, вскоре он забыл о мимолетном флирте, вернувшись к более устойчивым привязанностям.

— Вот уж поистине веселый двор; грустно вспоминать о нем, зная, что никогда там больше не окажешься, — заключил призрак в пурпуре. — И как бы украсила его собой моя прекрасная юная родственница, — добавил он, кланяясь Лилиан, — даже кузина Беатрис с ней бы не сравнилась. И я уверен: не в пример ей, с годами ваш облик не утратит привлекательности и благородства. А чтобы оправдать мое предсказание, будьте осторожны, не повторяйте моей ошибки.

Призрак многозначительно указал на ланкастерский бриллиант, который, по странному совпадению, лежал как раз подле тарелки Лилиан в горке ломбардских орехов.

— Однако не сомневаюсь, — добавил он в куртуазной манере своего века, — эти нежные губки ни на какие промахи не способны. А бриллиант, дополненный парным, пусть лучше послужит украшением для прелестных ушек.

— Парным, вы сказали? — удивился я, задавая

себе вопрос, не проглотил ли юноша-призрак два бриллианта и не слишком ли поспешно я закончил поиск.

— Да, парным. Неужели не знаете? В самом деле? Было ведь два больших бриллианта, ланкастерский и йоркский. Благодаря союзу отпрысков этих двух враждебных партий они достались оба одному семейству, а потом, опять же через брак, перешли к Грантли. Во времена Кромвеля бриллианты, чтобы их не конфисковали, были спрятаны в разных местах, местоположение тайников для большей надежности нигде не записывали, а передавали из уст в уста. Во времена Реставрации секрет был известен мне одному. Перед смертью я, как вам хорошо известно, успел извлечь на свет божий ланкастерский бриллиант. Йоркский все еще находится в тайнике. Разрешите нам с братом преподнести его вам как наш совместный рождественский подарок. Вы найдете его в металлической шкатулочке рядом с…

И тут как раз за окном подал голос захудалый бентамский петушок. Это была жалкая, лысая птичка, с висящим крылом и кривым пальцем; из-за этих, а может и других, незаметных нам дефектов он был постоянно гоним из общества

насельников птичьего двора. Его норовили клюнуть даже курицы. Его голос, тонкий и писклявый, походил на свист неумелого школьника. И произошло это не в полночь и не на заре, а в семь часов вечера. С чего бы, казалось, уважающему себя духу повиноваться столь жалкому крику столь жалкой птицы в столь ранний час? Но, видимо, существует такое непреложное правило для всех законопослушных привидений; или, быть может, слишком это затруднительно — делить на разряды различные образчики петушиного пения. Так или иначе, при первом же хриплом писке призрак замолк и вопросительно взглянул на своего брата; тот кивнул, и оба медленно растворились в воздухе.

— Какие же они смешные, эти духи! — проговорила Лилиан. Но мне подумалось, что, глядя на ланкастерский бриллиант и прикидывая, как бы выглядели на ней оба рождественских подарка, она горько пожалела о том, что петушишка не затеял свой концерт хотя бы минутой позднее.

1875

Генри Джеймс
1843–1916
Съемный дом с привидениями

Мне шел двадцать второй год, и я только что окончил колледж. Предстояло выбрать себе занятие, и я не стал долго колебаться. В дальнейшем я — по правде, не менее решительно — отказался от своего выбора, но эти два года моей юности, при всем сумбуре и эмоциональном напряжении, оказались приятным и полезным опытом, и я никогда о них не жалел. Мне нравилась теология, и во время учебы в колледже я увлеченно изучал труды доктора Чаннинга. Это была теология благодатная и благоуханная — роза веры, заботливо освобожденная от шипов! И затем (наверняка в связи с этим моим увлечением) меня потянуло в старую Школу богословия. Из мест, где разыгрывается человеческая драма, я издавна имел на примете заднюю сцену, и мне показалось, что сыграть свою роль с успехом и снискать некоторую долю оваций (на худой конец, от самого себя) я мог бы как раз в этом уединенном: прибежище безобидной казуистики, с респектабельной пер-

спективой по одну сторону и зелеными лугами в соседстве с лесными просторами по другую. Кембридж с тех пор, на взгляд любителей лесов и полей, переменился к худшему, и упомянутая его часть лишилась значительной доли своей двойной — пасторальной и академической — безмятежности. А тогда она представляла собой нечто прекрасное и удивительное — университетскую твердыню посреди леса. Нынешнее состояние старой Школы богословия никак не связано с моей историей, и я нисколько не сомневаюсь в том, что под ее окнами по-прежнему бродят в летних сумерках юные старшекурсники, поклонники догм и доктрин, обещая себе приобщиться когда-нибудь к этому тонкому сибаритству. Что до меня, то я не был разочарован. Я поселился в квадратной комнате, просторной, но сумрачной, с глубокими оконными нишами, развесил по стенам гравюры с картин Овербека и Ари Шеффера, в углублениях по сторонам высокой каминной полки разместил, тщательно расклассифицировав, свою библиотечку и взялся за изучение Плотина и Блаженного Августина. Среди моих однокашников нашлось двое или трое неглупых людей и хороших товарищей, с которыми я иной раз бражничал у камелька; так

что благодаря увлекательному чтению, глубокомысленным беседам, умеренным возлияниям и протяженным прогулкам по сельской местности процесс моего посвящения в богословские тайны протекал не без приятности.

С одним из упомянутых приятелей я сблизился особенно тесно, и мы немало времени проводили вместе. К несчастью, из-за хронической слабости колена он вел в основном сидячую жизнь, я же любил много ходить, и потому наши привычки не вполне совпадали. В моих ежедневных прогулках мне сопутствовали обычно только трость в руке и книга в кармане. Но мне и не требовалось никакой компании, достаточно было размять ноги и подышать вольным воздухом. Должен, однако, добавить, что недостаток общения я возмещал при помощи пары очень зорких глаз. Я был в превосходных отношениях со своими глазами: они неустанно подмечали все, что случалось по дороге, и пока им было интересно, я тоже не скучал. Примечательная история, которой я собираюсь поделиться, стала мне известна как раз благодаря их наблюдательности. Окрестности нашего старинного университетского города красивы и сегодня, но тридцать лет назад они были еще красивей. В той стороне, где голубеют вдали

невысокие Уолтемские холмы, пока не повыскакивали, как грибы по осени, многочисленные картонные домишки, не было модных коттеджей, противопоставленных скромным лугам и запущенным садам, — контраст, от которого впоследствии не выиграла ни одна из составляющих пейзажа. Кривые проселки, помнится, имели вид более естественный и захолустный, а вдоль них одинокие жилища на пологих травянистых склонах, под обязательным высоким вязом с растрепанной, как пшеничный сноп, листвой, венчались натянутыми на самые уши колпаками из гонта, а никак не модными нынче французскими крышами, отчего вы сравнили бы их с морщинистыми деревенскими старухами, которым никогда не придет в голову заменить строгий родной чепец на капор без полей, тем самым нескромно выставляя на всеобщее обозрение свое почтенное чело.

Зима случилась малоснежная и притом очень холодная; дороги схватило морозом, и мне нечасто приходилось отменять из-за слякоти прогулку. Одним пасмурным декабрьским днем я прошелся до соседнего городка Медфорд и возвращался домой размеренным шагом, любуясь бледными и холодными, как обычно бывает

зимой, тонами западного небосклона — прозрачным янтарным и блеклым розовым, — благодаря которым в моем воображении возникали тронутые скептической усмешкой уста красивой женщины. Шагая в сгущавшихся сумерках, я набрел на незнакомую дорожку и подумал, что по ней, наверное, можно срезать путь. Идти оставалось три мили, а я припоздниился и был бы рад свести их к двум. Я свернул и минут через десять обратил внимание, что этой дорогой, по всем признакам, редко кто пользуется. Колеи от колес были старые, и тишина вокруг царила какая-то особенная. И все же впереди виднелся дом, а значит, сквозной проезд все же имелся. По одну сторону высился откос, а на нем рос яблоневый сад, спутанные ветки которого полосой грубого черного кружева завешивали холодный розовый закат. Вскоре я добрался до дома, и он тут же меня заинтересовал. Остановившись перед ним, я, сам не понимая, почему, стал пристально, однако не без робости в него вглядываться. Дом мало чем отличался от большей части окрестных жилищ, но определенно принадлежал к самым красивым из них. Он стоял на зеленом косогоре — рядом, как полагается, никнущий вяз, на макушке, как полагается, старый добрый гонт. Но он был очень

велик и построен — это сразу бросалось в глаза — из очень прочного, основательного дерева. И лет он простоял немало: обильно украшенные искусной резьбой по дереву двери и карнизы указывали, самое позднее, на середину прошлого века. Все это когда-то было выкрашено белой краской, но широкая спина времени так долго истирала притолоки, что природный рисунок дерева проступил наружу. За домом рос яблоневый сад — кривые деревья, все в сучках и наростах, выглядели в сумеречном освещении жалкими и больными. Ржавые, без поперечин ставни на окнах были плотно закрыты. Признаки жизни отсутствовали, дом казался совсем пустым, и все же, задержавшись рядом, я ощутил в нем нечто знакомое — услышал его речь. Я все время вспоминаю о том, как впервые увидел это серое колониальное строение, и лишний раз убеждаюсь, что первое впечатление иногда бывает сродни пророчеству, ведь, в конце концов, моя неожиданная догадка не была оправдана никакими вескими причинами.

Я отступил и перешел на другую сторону дороги. Небо, перед тем как померкнуть, озарилось красными закатными лучами, тронувшими на мгновение посеребренный временем фасад

дома. Размеренно, одно за другим, вспыхнули и заиграли причудливым светом стеклышки в веерообразном окошке над дверью. Потом закат погас, и картина сделалась еще мрачнее, чем прежде. И тут я, нимало не сомневаясь, сказал себе: «Все просто: это дом с привидениями!»

Почему-то я сразу себе поверил, и, поскольку находился снаружи, эта мысль меня позабавила. Облик дома говорил сам за себя, я нашел верное объяснение. Если бы полчаса назад мне задали по этому поводу вопрос, я, как подобает молодому человеку, который видит в сверхъестественном исключительно объект для юмора, ответил бы, что домов с привидениями не бывает. Однако, разглядывая это жилище, я понимал, что пустые вроде бы слова наполняются живым смыслом: над домом тяготела сверхъестественная тайна.

И чем дольше я смотрел, тем эта тайна делалась весомей. Я обошел дом кругом, пробуя заглянуть в щели в ставнях, с ребяческим азартом взялся за дверную ручку и осторожно попытался ее повернуть. Если бы она подалась, вошел бы я внутрь? Осмелился бы потревожить таинственную тишину за порогом? К счастью, моя храбрость не подверглась испытанию. Портал оказался на удивление стоек, и поколебать его не удалось. На-

конец я, многократно оглядываясь, пошел прочь. Идти пришлось дольше, чем я рассчитывал, но вот впереди показалась большая дорога. За поворотом обнаружился вскоре уютный, опрятный домик, из разряда тех, где привидения ни в коем случае не водятся, — жилище, не знающее зловещих тайн, а знающее только процветание и благополучие. Его стены светились в сумерках чистой белой краской; увитое виноградом крыльцо было прикрыто на зиму соломой. От дверей как раз отъезжала старая одноконная карета с двумя визитерами. Через незанавешенные окна я разглядел гостиную с горящей лампой и стол, накрытый для раннего чаепития, устроенного ради удобства гостей. Хозяйка дома проводила друзей до ворот и там задержалась, отчасти чтобы проследить за каретой, которая со скрипом покатила прочь, а отчасти чтобы бросить вопросительный взгляд на меня, в полутьме проходившего мимо. Это была молодая женщина, миловидная и энергичная, с внимательными темными глазами, и я осмелился остановиться и задать ей вопрос:

— Дом на проселочной дороге, единственный, в миле отсюда… не скажете ли, кому он принадлежит?

Женщина задержала на мне взгляд и вроде бы

слегка покраснела.

— Никто из наших по этой дороге не ходит, — бросила она.

— Но это короткий путь в Медфорд, — возразил я.

Женщина помотала головой.

— Может, короткий, а может, и нет. Так или иначе, но мы там не ходим.

Я был заинтригован. Чтобы бережливые янки пренебрегали возможностью срезать путь? Это было неспроста.

— Но вы, по крайней мере, знаете этот дом?

— Да, видела.

— И кто хозяева?

Женщина усмехнулась и перевела взгляд в сторону, словно бы подозревала, что незнакомый человек отнесет ее слова на счет деревенских суеверий.

— Думаю, те, кто там обитает.

— Но разве там кто-то живет? Все ведь закрыто.

— Неважно. Они никогда не выходят, да и с улицы никто не входит. — И моя собеседница отвернулась.

Я осторожно тронул ее за рукав.

— Вы хотите сказать, что это дом с привиде-

ниями?

Женщина отстранилась, покраснела, прижала палец к губам и поспешила обратно в дом. Занавески на окнах тут же задернулись.

Несколько дней это маленькое приключение не выходило у меня из головы, но мне не хотелось им с кем-либо делиться. Если привидений нет, то не стоит выдавать, что у меня разыгралась фантазия, а если они есть, то пусть эта чаша лакомой жути достанется мне одному. Разумеется, я решил снова пройтись тем же путем и через неделю, в последний день года, так и поступил. Я приблизился к дому с противоположного направления, но примерно в тот же час, что раньше. Темнело, небо было обложено низкими серыми облаками, завывал ветер, закручивая медленным вихрем и гоняя по голой твердой земле черные от мороза листья. Меланхолическое строение словно бы собирало вокруг себя зимний полумрак, дабы непостижимым образом в нем раствориться. И едва ли отдавал себе отчет в цели своего прихода, но смутно ощущал, что, если в этот раз ручка повернется и дверь откроется, буду обязан набраться храбрости и ступить внутрь. Кто эти таинственные жильцы, на которых намекала достойная хозяйка дома на

углу? Что местные видели или слышали — о чем потом рассказывали друг другу? Дверь все так же упорно не поддавалась, моя беспардонная возня с запором не побудила никого распахнуть одно из верхних окон или высунуть наружу загадочно-бледное лицо. Я осмелился даже взяться за ржавый молоток и раз пять стукнуть, но глухие звуки замирали, не пробудив эха. От безнаказанности становишься нахальней; не знаю, что бы я предпринял дальше, если бы в отдалении, на той же дороге, по которой я пришел, не показался одинокий пешеход. Чтобы кто-нибудь не увидел, как я слоняюсь вокруг жилья, о котором идут дурные толки, я отступил в густую тень соседних сосен, откуда мог наблюдать, оставаясь незамеченным. Путник приближался, и я понял, что он направляется прямиком к дому. Он был невысок и немолод, и внимание привлекал в первую очередь его объемистый плащ военного покроя. Опираясь на прогулочную трость, незнакомец шел медленно, затрудненной, прихрамывающей походкой, но притом весьма решительно. Свернув с дороги, он последовал вдоль едва заметной колеи и в нескольких ярдах от дома остановился. Поднял голову и окинул фасад пристальным взглядом, словно считал окна или разыскивал

какие-то приметы. Потом снял шляпу и медленно, церемонно изобразил подобие почтительного поклона. Пока незнакомец стоял с непокрытой головой, я сумел хорошо его рассмотреть. Как сказано выше, это был малорослый старик, но к нашему миру он принадлежал или потустороннему, определить было трудно. Его голова смутно напоминала портреты Эндрю Джексона. Короткие седые волосы стояли торчком, худое бледное лицо было гладко выбрито, глаза под густыми, сохранившими черноту бровями сверкали, как алмазы. По лицу, как и по плащу, в нем можно было угадать старого солдата, отставного военного в невысоком чине, но даже для такого персонажа он выглядел чересчур эксцентрично. Завершив приветствие, незнакомец подошел к двери, порылся в складках плаща, спереди гораздо более длинного, чем сзади, и извлек ключ. Неторопливо и аккуратно вставил его в замок и, вероятно, повернул. Но дверь открылась не сразу; вначале незнакомец, приникнув к ней ухом, прислушался, а после оглядел в обоих направлениях дорогу. Удовлетворенный или успокоенный, он налег своим старческим плечом на дверную филенку и толкнул. Дверь подалась — за ней открылась непроглядная темнота. На пороге незнакомец

снова остановился, снял шляпу и проделал тот же поклон. Потом вошел и тщательно закрыл за собой дверь.

Но кто же он и с какой целью явился? Он мог бы быть персонажем сказки Гофмана. Привиделся он или существует в реальности, живет в этом доме или дружен с хозяевами? Что означала в любом случае загадочная церемония, которую он проделал, и как он собирался в полном мраке передвигаться по дому? Я вышел из укрытия и стал присматриваться к окнам. В просветах между створками ставней последовательно вспыхивали огоньки. Очевидно, незнакомец зажигал всюду свет; неужели он собирается затеять вечеринку — пирушку с привидениями? Я изнывал от любопытства, но не видел способа его удовлетворить. У меня мелькнула мысль просто-напросто постучать в дверь, но такой поступок не подобал воспитанному человеку, а кроме того, мог разрушить чары, если таковые существовали. Я прошелся вдоль фасада и осторожно попробовал на прочность ставни одного окна. Это окно устояло, но со следующим мне повезло больше. Конечно, затея была рискованная: меня могли увидеть обитатели дома или (что еще хуже) я сам мог увидеть такое, что пришлось бы

раскаяться в своей дерзости. Но, как уже было сказано, меня подталкивало любопытство, а риск приятно щекотал нервы. Через просвет в ставнях я заглянул в освещенную комнату: на каминной полке горели две свечи в старинных латунных шандалах. Очевидно, это была малая гостиная; обстановка, уютная и старомодная, сохранилась с прежних времен и включала в себя стулья и диваны с холщовой обивкой, обычные столики из красного дерева и вышитые картинки в рамах на стенах. Но даже с мебелью комната имела странный, нежилой вид: столы и стулья были расставлены в строгом порядке, мелкие предметы и безделушки отсутствовали. Я видел не все и мог только догадываться, что справа находится большая двустворчатая дверь. Она явно была открыта, и через нее проникал свет из соседнего помещения. Я немного подождал, но в гостиную никто не входил.

Наконец я заметил, что на стену напротив двустворчатой двери легла большая тень; это значило, что в соседней комнате кто-то есть. Тень была длинная и причудливая, но можно было догадаться, что человек сидит боком и совершенно неподвижно. Мне показалось, что я узнаю торчащие волосы и горбатый нос старика. В его позе

наблюдалась странная скованность; он сидел и как будто что-то внимательно рассматривал. Я долго наблюдал за тенью, но она ни разу не шелохнулась. Когда мое терпение уже подходило к концу, тень стала медленно перемещаться, выросла до потолка и расплылась. Не знаю, что бы я увидел дальше, но какая-то неодолимая сила заставила меня закрыть ставни. Что это было — робость или деликатность? Не могу сказать. Тем не менее я не торопился уйти, ожидая, что мой приятель покажется опять. Я не был разочарован, старик действительно появился; выглядел он в точности как прежде и обставил свой уход тем же церемонным порядком. (Перед этим я успел заметить, что огоньки в просветах ставней потухли.) За дверью он обернулся, сдернул с себя шляпу и отвесил низкий поклон. Меня так и подмывало с ним заговорить, но я позволил ему мирно удалиться. И руководила мной, могу сказать, исключительно деликатность… запоздалая — скажете вы. Мне казалось, что он имел право осудить меня за устроенную мной слежку, хотя я со своей стороны не считал, что позволил себе лишнее, поскольку речь шла о привидениях. Я еще немного понаблюдал за тем, как старик неспешно спустился на одинокую дорогу и за-

ковылял по ней дальше. Потом я, размышляя на ходу, направился в обратную сторону. Я был не прочь последовать в отдалении за незнакомцем и узнать, что с ним будет дальше, но постеснялся, а кроме того, признаюсь, предпочел растянуть удовольствие от своего открытия — отщипывать от этого цветка лепесток за лепестком.

И я, как зачарованный, не переставал вновь и вновь втягивать в себя аромат диковинного цветка. Я снова и снова проходил мимо дома на боковой дороге, но не видел ни старика в плаще, ни других путников. Дом, казалось, избегал лишних глаз, и я не собирался никому о нем рассказывать: тайна может открыться одному следопыту, сказал я себе, но никак не двоим. В то же время я был бы благодарен за любой случайный луч света, пролившийся на это дело со стороны, но откуда его ждать, оставалось загадкой. Я думал, что наткнусь где-нибудь на старика в плаще, но дни шли, а он не показывался, и я перестал надеяться. И все же было понятно, что старик живет поблизости, иначе бы он не совершил свое паломничество пешком. Если бы пришлось добираться издалека, его наверняка привез бы какой-нибудь старинный кабриолет с большим верхом и желтыми колесами — транспортное средство такое

же гротескное и почтенное, как седок. Однажды я решил прогуляться по кладбищу Маунт-Оберн, которое в ту свою раннюю пору, в отличие от нынешней, представляло собой полный очарования лес. Кленов и берез было больше, чем ив и кипарисов, и усопшим лежалось просторно. Это был не город мертвых, а скорее деревня, и задумчивый пешеход не встречал на каждом шагу назойливые напоминания о гротескной стороне наших претензий на посмертный почет. Я собирался насладиться предвестиями весны — одним из тех теплых дней на исходе зимы, когда охваченная дремотой земля делает первый глубокий вдох, готовясь сбросить с себя оковы сна. Солнце скрывалось за дымкой, но все же грело, и из самых дальних, потаенных уголков медленно уходила стужа. Полчаса я бродил по кривым кладбищенским дорожкам и вдруг на скамье, напротив вечнозеленой изгороди с южной стороны, узрел хорошо знакомую фигуру. Хорошо знакомой я ее называю потому, что этот образ часто посещал мои воспоминания и фантазию, хотя наяву я видел его лишь однажды. Старик сидел спиной ко мне, но этот просторный плащ нельзя было ни с чем спутать. Ну вот он, наконец, тот самый посетитель дома с привидениями, и вот

она, возможность с ним заговорить! Я проделал обходной маневр и приблизился к нему спереди. Он заметил меня еще в конце аллеи и продолжил сидеть неподвижно, сложив руки на рукоятке трости и наблюдая за мной из-под черных бровей. Издали эти брови выглядели устрашающе; они были единственным, что я видел на лице старика. Но, приблизившись, я успокоился, так как сразу почувствовал, что внешность бедного старого джентльмена уж слишком эксцентрична и он не может быть так свиреп на самом деле. Эта воинственная физиономия представляла собой не более чем карикатуру. Я остановился перед ним и вежливо спросил разрешения присесть рядом, чтобы немного отдохнуть. Он ответил исполненным достоинства жестом согласия, и я опустился на скамью. Отсюда я смог скрытно его рассмотреть. Солнечным утром он выглядел не менее чудно, чем в ненадежном сумеречном освещении. Застывшие черты лица напоминали топорную резьбу по дереву. Глаза горели, нос устрашал, рот выражал непреклонность. И все же вскоре, когда старик медленно повернулся и смерил меня пристальным взглядом, я понял, что за этой зловещей маской прячется очень кроткий человек. Я даже подумал, что он был бы рад

улыбнуться, но мышцы, раз навсегда задубевшие в грозной гримасе, ему не повиновались. Мысль, что он может быть сумасшедшим, я отбросил: ровный блеск глаз не говорил о безумии. На самом деле в его лице читалась просто-напросто неизбывная грусть; возможно, мозг у него был цел, но сердце разбито. Одежда была поношенная, но чистая и аккуратная; старый синий плащ подвергался регулярной чистке уже, наверное, полвека.

Я поспешил похвалить на редкость теплую погоду; незнакомец тут же отозвался тихим мягким голосом, какой странно было слышать из этих воинственных уст:

— Очень приятное место.

— Люблю гулять по кладбищам, — подхватил я, поздравляя себя с тем, что затронул многообещающую тему.

Моя хитрость удалась — старик обернулся, уставил на меня свой горящий хмурый взгляд и ответил невесело:

— Гулять, да. Гуляйте, пока гуляется. Настанет день, когда и вам определят место на кладбище, и тогда уж придется лежать смирно.

— Совершенно верно. Однако, знаете ли, говорят, что некоторым случается гулять и после

этого.

Тут его устремленный на меня взгляд скользнул в сторону.

— Вы меня не поняли? — спросил я осторожно.

Он по-прежнему смотрел в одну точку.

— Некоторые, знаете ли, гуляют и после смерти, — пояснил я.

Наконец обернувшись, старик смерил меня еще более зловещим взглядом.

— Вы в это не верите, — сказал он просто.

— Почему вы так решили?

— Потому что вы молоды и глупы.

Это было сказано совсем не грубо и даже ласково, но тоном человека зрелого, пережившего тяжкий опыт, в сравнении с которым все другое представляется ерундой.

— Молод, это верно, — возразил я, — но не думаю, что так уж глуп. Однако, если я скажу, что не верю в привидения, большинство людей ко мне присоединится.

— Большинство людей глупцы! — воскликнул старик.

Я не стал спорить и перевел разговор на другие темы. Собеседник держался настороженно, смотрел с вызовом, отвечал односложно, и все же у меня создалось впечатление, что наше знаком-

ство стало для него некоторым событием, причем приятным. Было заметно, что он одинок и ему нечасто выпадает случай поболтать. Он пережил какие-то беды, из-за которых ушел от мира и замкнулся в себе, но струна общительности в его одряхлевшей душе не порвалась, и, по-моему, он испытал удовольствие от того, что она еще способна звучать. Наконец старик сам стал задавать вопросы и предположил, что я студент.

— Я изучаю богословие, — ответил я.

— Богословие?

— Теологию. Готовлюсь к духовному сану.

Тут взгляд старика сделался странно пытливым, после чего снова скользнул в сторону.

— Значит, есть некоторые вещи, которые вам стоит знать, — проговорил он наконец.

— Я охоч до знаний. Что вы имеете в виду?

Он словно бы не слышал вопроса, но продолжал меня изучать.

— Мне нравится ваше лицо, — проговорил он. — Похоже, вы трезвомыслящий человек.

— О, трезвее некуда! — воскликнул я, утратив на миг это самое трезвомыслие.

— Думаю, вы свободны от предубеждений, — продолжал мой собеседник.

— Значит, вы больше не считаете меня глу-

пым?

— Я остаюсь при своем мнении, когда говорю о тех, кто не верит, что души усопших могут возвращаться. Они глупцы! — Старик яростно стукнул тростью о землю.

Мгновение поколебавшись, я спросил в лоб:

— Вы видели привидений?

Похоже, он нисколько не смутился.

— Вы правы, сэр! — ответил он с подчеркнутым достоинством. — Этот вопрос для меня не голая теория. Чтобы понять, во что верить, мне не пришлось штудировать старые книги. Я знаю! Этими самыми глазами я видел усопшую душу так же близко, как вижу вас!

При этих словах зрачки его так расширились, словно он действительно видел нечто необычное. Я не мог противоречить — я готов был поверить ему.

— Это было очень страшно? — спросил я.

— Я старый солдат… Я не боюсь!

— Когда это было… и где?

По недоверчивому взгляду старика я понял, что слишком тороплю события.

— О подробностях я, с вашего разрешения, умолчу, — сказал он. — У меня нет права о них распространяться. Я нарушил молчание только

оттого, что терпеть не могу, когда об этом предмете отзываются легкомысленно. Запомните на будущее, что вы виделись с одним очень правдивым старым человеком, который заверял и клялся честью, что встречал привидение!

Решив, судя по всему, что сказано достаточно, мой собеседник встал. Вероятно, его сдерживали робость, гордость, страх быть высмеянным, воспоминания о саркастических выпадах, с которыми довелось столкнуться в прошлом; но я подозревал, что в то же время его одолевают прямо противоположные побуждения, такие как старческая словоохотливость, чувство одиночества, потребность в сочувствии и — почему бы и нет — симпатия, которую он столь любезно ко мне проявил. Было ясно, что торопить старика не следует, но я надеялся снова с ним повстречаться.

— Чтобы придать своим словам больший вес, — добавил он, — я, с вашего позволения, представлюсь. Капитан Даймонд, сэр. Состоял на военной службе.

— Было бы приятно снова с вами увидеться.

— Мне тоже, сэр! — И, воинственно — хотя и с самыми дружественными чувствами, — размахивая тростью, мой новый знакомый удалился

деревянной походкой.

Обдумав, к кому можно обратиться, я поспрашивал двоих-троих знакомых, известно ли им что-нибудь о капитане Даймонде, но они ничем мне не помогли. Под конец я стукнул себя по лбу и обозвал болваном, так как лишь сейчас вспомнил о том источнике сведений, который ни разу меня не подвел. У достойной особы, за чьим столом я регулярно обедал и чьим гостеприимством пользовались за определенную помесячную плату другие студенты, имелась сестра — особа столь же достойная и куда более словоохотливая. Означенная сестра, известная как мисс Дебора, представляла собой законченный образец того, что зовется старой девой. Будучи калекой, она никогда не выходила на улицу, а днями напролет сидела у окна, между птичьей клеткой и цветочным горшком, и вышивала какие-то мелкие штучки для белья — непонятного назначения канты и оборки. Мастерством, как меня заверили, она владела превосходно, и ее изделия высоко ценились. Неходячая и заключенная в четырех стенах, она, однако, всегда бывала в хорошем настроении, и с ее свежего круглого личика не сходила улыбка. Притом мисс Дебора отличалась острым, подвижным умом и недюжинной наблю-

дательностью, и больше всего на свете любила дружескую беседу. Лучшим подарком для нее бывали минуты, когда кто-то — а предпочтительно, думаю, юный студент-богослов — подсаживался к залитому солнцем подоконнику для «обмена мнениями». «Выкладывайте, сэр, — спрашивала она обычно, — каким очередным художеством порадовала нас библейская критика?», поскольку любила в шутку ужасаться современным рационалистическим тенденциям. Однако сила ее философии была неодолима, и, как рационалист, я уверен, она превосходила нас всех, а при желании могла бы задать такой вопрос, что смутился бы и дерзновеннейший из нашей компании. Из ее окна открывалась перспектива на весь город — или, скорее, на всю страну. Знания приходили к ней сами, пока она сидела в своем кресле-качалке, что-то напевая тихим надтреснутым голосом. Она первой узнавала новости и последней их забывала. У нее копились все городские сплетни и подробнейшие сведения о людях, которых она никогда не видела. Когда я спросил мисс Дебору, откуда она все знает, она ответила просто: «О, я наблюдаю!» «Наблюдайте внимательно, — сказала она однажды, — а где вы находитесь, не имеет значения. Хоть в темном чулане. Нужно только

с чего-нибудь начать, а дальше одно потянет за собой другое — все в мире связано. Заприте меня в темном чулане, и, понаблюдав за темнотой, я пойму, что кое-где она гуще. И потом — дайте только срок — доложу вам, где нынче собирается обедать президент Соединенных Штатов». Как-то я сказал ей комплимент: «Ваша наблюдательность остра, как ваша игла, а суждения безупречны, как стежки».

Конечно же, мисс Дебора слышала о капитане Даймонде. Было время, когда о нем болтали на каждом углу, но мало-помалу скандал, связанный с его именем, заглох.

— Что это был за скандал? — спросил я.

— Он убил свою дочь.

— Как так — убил? — воскликнул я.

— Нет, не мышьяком, не кинжалом и не пулей! Словом. А еще говорят, что у женщин язык страшнее пистолета! Он ее проклял… самым страшным проклятием… и она умерла!

— А что она сделала?

— Пустила к себе молодого человека, который ее любил и которому ее отец отказал от дома.

— Дом… ну понятно! Дом за городом, в двух или трех милях отсюда, на заброшенной дороге.

Перекусывая нитку, мисс Дебора смерила меня

пристальным взглядом.

— Что вам известно об этом доме?

— Немногое, — ответил я. — Я его видел. Но я бы хотел услышать что-нибудь от вас.

Но тут мисс Дебора, против своего обыкновения, проявила скрытность.

— Вы ведь не назвали бы меня суеверной? — спросила она.

— Вас? Да вы просто воплощение трезвого ума.

— Что ж, в каждой нитке есть гнилое место и в каждой игле — зерно ржавчины. Я бы не хотела распространяться об этом доме.

— Вы не представляете себе, как раздразнили мое любопытство!

— Понимаю и сочувствую. Но меня этот разговор выведет из равновесия.

— Что в нем может быть для вас неприятного? — спросил я.

— Неприятность случилась у одной моей подруги. — Мисс Дебора подкрепила свои слова кивком.

— А что сделала ваша подруга?

— Она выдала мне историю капитана Даймонда, которую он ей поведал под большим секретом. Он был к ней неравнодушен, потому и поделился. Но просил ее молчать и предупредил,

что, если она проговорится, с ней случится что-то ужасное.

— И что с ней случилось?

— Она умерла.

— О, все мы смертны. Ваша подруга дала ему обещание молчать?

— Она не приняла этот разговор всерьез и не поверила капитану Даймонду. Она пересказала его мне, а тремя днями позже заболела воспалением легких. А еще через месяц я, сидя на этом самом месте, шила для нее погребальный покров. С тех пор я ни словом не упоминаю эту историю.

— Она очень странная?

— Странная, но притом забавная. От нее бросает в дрожь и одновременно хочется смеяться. Но не надейтесь ее из меня вытянуть. Уверена, стоит мне проговориться — и я тут же всажу себе в палец иглу и не позднее, чем через неделю, умру от столбняка.

Я оставил мисс Дебору в покое и ушел, но с тех пор регулярно, дня через два-три, приходил после обеда и садился рядом с ее креслом-качалкой. Капитана Даймонда я больше не упоминал, сидел молча и делал ножницами надрезы на тесьме для окантовки. И вот однажды она заметила, что я плохо выгляжу. И бледен, как полотно.

— Это я умираю от любопытства, — объяснил я. — Потерял аппетит. Не обедал сегодня.

— Вспомните жену Синей Бороды!

— От меча или от голода — какая разница, от чего принять смерть!

Но мисс Дебора молчала, и, в конце концов, я с театральным вздохом встал и пошел к двери. У порога она меня окликнула и указала на стул, который я только что освободил.

— Я не так жестока, — сказала она. — Садитесь, и если нам назначено погибнуть, то, по крайней мере, погибнем вместе. — И в немногих словах она поведала мне все, что знала о тайне капитана Даймонда. — У старика был необузданный характер, дочь он любил, но свое слово считал законом. Он выбрал для нее мужа и сообщил о своей воле. Мать девушки умерла, отец с дочерью жили вдвоем. Дом он получил в приданое за миссис Даймонд; у капитана, полагаю, не было ни гроша. После свадьбы Даймонды туда переехали, и капитан завел фермерское хозяйство. У бедной девушки был возлюбленный — молодой человек с бакенбардами, из Бостона. Однажды вечером капитан, вернувшись домой, застал их вместе; юношу он схватил за шиворот, а дочь стал проклинать последними словами. Молодой человек

крикнул, что она его жена, и капитан спросил ее, правда ли это. Она ответила — нет! Разъярившись еще больше, капитан повторил свое проклятие, отрекся от дочери и велел ей идти за порог. Дочь упала в обморок, но отец продолжил бушевать, ушел и в сердцах хлопнул дверью. Через несколько часов он вернулся и обнаружил, что в доме пусто. На столе лежала записка от молодого человека, в которой тот утверждал, что капитан убил свою дочь, и, повторив, что состоит с ней в браке, заявил о своем праве самому предать земле ее останки. Тело он увез с собой в кабриолете! Капитан в ответном грозном послании написал, что не верит в смерть дочери, но, так или иначе, считает, что для него она умерла. Через неделю среди ночи ему явился ее призрак. Тогда-то, полагаю, он поверил в ее смерть. Призрак являлся несколько раз, и кончилось тем, что он поселился в доме. Старик от этого страдал, потому что гнев его остыл и сменился горем. Он решил уехать, а дом продать или сдать в аренду, но тем временем эта история вышла наружу, призрак видели и другие люди, о доме пошла дурная слава, и сбыть его с рук не получалось. Другой собственности, кроме дома и фермы, у старика не было, равно как и иных средств к существованию. Лишившись

жилья и не получая арендной платы, он делался нищим. Но призрак дочери не знал жалости, как прежде не знал жалости отец. Полгода капитан боролся, а потом сдался. Надел старый синий плащ, взял трость и приготовился покинуть дом и жить милостыней. Тогда призрак смягчился и предложил соглашение. «Оставь дом мне, — заявил дух дочери, — на нем мое клеймо. Уходи жить в другое место. Но чтобы у тебя были средства, я стану твоим съемщиком, ведь другого тебе не найти. Я сниму у тебя дом и буду вносить плату». И призрак назвал сумму. Старик согласился и с тех пор раз в три месяца приходит за деньгами!

Этот рассказ вызвал у меня смех, но, признаюсь, и испуг тоже, потому что мои собственные наблюдения в точности его подтверждали. Разве не был я свидетелем того, как старик явился за очередной выплатой; как, судя по всему, ожидал, пока призрачная квартирантка отсчитывала деньги; как плелся в темноте обратно, пряча в складках ветхого синего плаща монеты, столь странным образом полученные? Я удержал свои соображения при себе, так как решил, что продолжу наблюдать, дам истории созреть и лишь после этого с удовольствием угощу ею мисс Дебору.

— Уверены ли вы, — спросил я, — что у капи-

тана Даймонда нет других средств к существованию?

— Никаких. Ни трудится, ни прядет… дух его содержит. Ценная это собственность — дом с привидениями!

— И какой монетой расплачивается призрак?

— Добрым американским золотом и серебром. Есть только одна особенность: все монеты отчеканены в годы, предшествующие смерти девушки. Странное смешение материального и духовного!

— А щедр призрак или скуп? Велика ли арендная плата?

— Думаю, старик живет неплохо, на табак и вино ему хватает. Снимает домик у реки, вход с бокового фасада, есть палисадник. Там он проводит свои дни, ему прислуживает старая чернокожая женщина. Несколько лет назад капитан много расхаживал по городу, был узнаваемой фигурой, большинству была известна связанная с ним легенда. Но в последнее время он замкнулся в себе; сидит у камелька и ничем не интересуется. Может быть, впадает в детство. Но надеюсь, — сказала мисс Дебора в заключение, — он не утратит способность передвигаться, потому что, если не ошибаюсь, одно из условий сделки заключалось в том, что он должен сам являться

за арендной платой.

Ни одному из нас, похоже, не грозила кара за разглашение тайны; мисс Дебору я видел в последующие дни; она напевала за работой и выглядела такой же бодрой, как обычно. Сам я безбоязненно продолжал наблюдения. Я неоднократно бродил по большому кладбищу, но, к своему разочарованию, капитана Даймонда не встречал. Однако же у меня был план, который сулил удачу. Я вычислил, что регулярные походы старика за арендной платой приходились на последний день месяца. Впервые я видел его тридцать первого декабря, а следующий визит в дом с привидениями, вероятно, должен был состояться в последний день марта. Ждать оставалось недолго, и вот заветная дата наступила. Я двинулся в путь вечером, предполагая, что встреча приурочена к сумеркам. Я не ошибся. Недолгое время я слонялся вокруг дома, чувствуя, что сам подобен неупокоенному духу, и тут появился капитан. Он держался так же, как в прошлый раз, и был одет в тот же плащ. Я снова спрятался и проследил за тем, как капитан исполнил перед дверью уже знакомый мне церемониал. В просветах между ставнями загорелись один за другим огоньки, и мне вновь удалась дерзновен-

ная попытка приоткрыть то же самое окно. Снова я видел большую тень на стене, недвижную и исполненную мрачной торжественности. Но ничего другого я не разглядел. Наконец старик вышел, проделал перед домом свой фантастический селям и на шатких ногах удалился во тьму.

Спустя месяц с лишним я вновь встретил старика на кладбище Маунт-Оберн. В воздухе стоял весенний звон; щебетали, рассказывая о своих зимних странствиях, птицы, теплый западный ветер тихо шелестел в свежей листве. Старик, по-прежнему кутаясь в огромный плащ, сидел на залитой солнцем скамье. Сразу меня узнав, он кивнул с видом старого паши, отдающего приказ сделать мне секир-башку, но было заметно, что он рад нашей встрече.

— Я вас долго высматривал, — сказал я. — Нечасто вы здесь бываете.

— А чего вы хотели? — спросил старик.

— Приятно побеседовать. В прошлый раз я получил большое удовольствие.

— Вам было интересно?

— Очень!

— И вы не приняли меня за сумасшедшего?

— Сумасшедшего? Ну что вы, сэр… — запротестовал я.

— Я самый здравый человек в этой стране. Я знаю, все умалишенные так говорят, но у них обычно не бывает доказательств. А у меня есть!

— Верю, — согласился я. — Но мне любопытно, какие в этом случае возможны доказательства.

Капитан помолчал.

— Я вам расскажу. Однажды я ненамеренно совершил страшное преступление. Теперь за это расплачиваюсь. В этом смысл моей жизни. Я не собираюсь увиливать, я все понимаю и смотрю своей участи в лицо. Молить, противиться, спасаться — ни о чем таком я не мыслил. Расплата ужасна, но я с ней примирился. Я повел себя как философ!

Если бы я был католиком, то мог бы уйти в монастырь и провести остаток дней в посте и молитве. Это было бы не искуплением, а попыткой от него уклониться. Я мог бы разбить себе голову или сойти с ума. Но это не для меня. Я готов понести кару — со всеми последствиями такого решения. А они, как я уже говорил, ужасны! Это случается четыре раза в год, по определенным дням. Так продолжается два десятка лет и кончится только с моей смертью. Это моя повинность, ради нее и живу. Так я об этом думаю. По-моему, разумная позиция!

— Достойная восхищения! — воскликнул я. — Но меня переполняют и любопытство, и сочувствие.

— В первую очередь любопытство, — поддел меня собеседник.

— Ну, если бы я знал точно, что с вами стряслось, я бы испытывал большую жалость.

— Весьма признателен. Мне не нужна ваша жалость, она мне не поможет. Я вам кое-что расскажу, но не для собственного, а для вашего блага. — Надолго замолкнув, он стал оглядываться, словно опасался, как бы его не подслушали. Я изнывал от нетерпения, но он меня разочаровал. — Вы по-прежнему изучаете теологию? — спросил он.

— А как же, — ответил я с долей раздражения, которую, быть может, не сумел скрыть. — За полгода эту премудрость не освоишь.

— Полагаю, вы правы, если осваивать исключительно по книгам. Вы ведь знаете поговорку: «Опыт — лучший учитель»? Вот я в теологии поднаторел.

— Понимаю, вы учились на собственном опыте, — сочувственно кивнул я.

— Вы, конечно, читали о бессмертии души, знакомы с умствованиями на эту тему Джонатана

Эдвардса и доктора Хопкинса и решили, опираясь на источники, что теория верна. А я видел все вот этими глазами, осязал вот этими руками! — Он вскинул вверх свои стариковские кулаки и грозно ими потряс. — Такое свидетельство весомей, но как же дорого я за него заплатил! А вам лучше учиться по книгам, — наверное, так вам суждено. Вы очень хороший юноша и никогда не отяготите свою совесть преступлением.

Руководимый юношеским легкомыслием, я ответил, что и хорошему юноше, будущему доктору богословия, не чужды, как я надеюсь, человеческие страсти.

— Но у вас спокойный, доброжелательный нрав, — возразил старик. — Таков и я — сейчас! Однако в прежние времена я бывал жесток… очень жесток. Вам следует это знать. Я убил собственное дитя.

— Ваше дитя?

— Я поверг ее наземь и оставил умирать. Меня не повесили только потому, что она умерла не от моей руки. Виной всему слова — мерзкие, непростительные. Слова поступкам рознь, нами правит великий закон! Так вот, сэр, я могу утверждать, что ее душа бессмертна. Мы уговорились встречаться четыре раза в год, и это моя кара!

— Она вас не простила?

— Простила, как прощают ангелы! И именно это невозможно вынести — то, как она спокойно и ласково на меня глядит. Лучше бы она вонзила мне в сердце кинжал… О боже, боже мой! — Капитан Даймонд склонил голову на руки, сцепленные на рукояти трости.

Я был поражен и тронут. Пока он сидел в такой позе, задавать вопросы казалось неуместным. Прежде чем я решился снова заговорить, капитан медленно встал и плотнее закутался в свой старый плащ. Он не привык делиться своими бедами, и воспоминания разбередили ему душу.

— Мне пора, — сказал он. — Поплетусь восвояси.

— Может быть, мы еще встретимся, — сказал я.

— Стар я, суставы болят, слишком далеко мне сюда добираться. Приходится себя щадить. Бывает, месяц кряду только и делаю, что сижу в кресле да курю трубку. Но с вами я бы охотно увиделся. — Замолкнув, старик остановил на мне взгляд, одновременно добрый и устрашающий. — Наверное, иной раз хорошо было бы пообщаться с юной, неиспорченной душой. Новое знакомство — это всегда приобретение. Как вас зовут?

В кармане у меня лежал томик «Мыслей» Пас-

каля, где на форзаце были написаны мое имя и адрес. Я вручил книгу своему старшему другу.

— Возьмите, будьте так любезны. Я очень люблю эту книгу, и она вам кое-что обо мне расскажет.

Старик взял книгу, медленно раскрыл и ответил мне благодарной улыбкой.

— Я не большой любитель чтения, но не откажусь от подарка — первого со времени… моего несчастья. И последнего. Спасибо, сэр!

И он удалился с томиком в руке.

В последующие недели я часто представлял себе капитана одиноко сидящим в кресле с трубкой в зубах. Больше он мне на глаза не попадался. Но я надеялся на удачу, и через три месяца, в последний день июня, мне показалось, что она близка. В июне сумерки наступают поздно, и я с нетерпением ждал их. Наконец в ясную летнюю погоду я снова посетил владения капитана Даймонда. Вокруг дома все зеленело, за исключением больных деревьев в саду на задворках: серые и печальные, они выглядели точно так же, как под декабрьским небом в день, когда я их впервые увидел. Приблизившись, я понял, что опоздал, ведь я планировал встретить капитана Даймонда на подходе к дому и смело попросить разрешения

войти с ним вместе. Но он меня опередил, в окнах уже горели огоньки. Разумеется, я не захотел беспокоить старика во время встречи с призраком и стал ждать, когда он выйдет. Через некоторое время огоньки погасли, и капитан Даймонд выбрался наружу. В этот раз он не стал кланяться дому с привидениями, потому что заметил своего свободного от предубеждений юного друга, с видом скромным, но решительным, утвердившегося у крыльца. Капитан остановился, созерцая меня с грозной гримасой, которая на сей раз вполне соответствовала ситуации.

— Я знал, что вы здесь, — сказал я. — И пришел намеренно.

С растерянным видом он беспокойно оглянулся на дом.

— Простите, если я позволил себе лишнее, — добавил я, — но вы сами меня поощрили.

— Откуда вы узнали, что я буду здесь?

— Догадался. Вы рассказали мне половину истории, а я домыслил вторую половину. Я очень наблюдателен; этот дом я заметил, когда однажды проходил мимо. Мне показалось, что с ним связана какая-то тайна. Когда вы любезно поделились со мной тем, что видите духов, я заключил, что такое возможно только в этом месте.

— В уме вам не откажешь! — воскликнул старик. — А что привело вас сюда именно сегодня?

Мне пришлось немного слукавить.

— О, я часто здесь бываю. Люблю смотреть на этот дом… он меня завораживает.

Старик повернулся и тоже посмотрел.

— Снаружи ничего особенного.

Очевидно, он понятия не имел о том, какое необычное впечатление производит наружность дома, и, слыша эти слова, тем более в сумерки, у самого порога мрачного обиталища, мне легче было поверить в то, что внутри его хозяину видится что-то странное.

— Я надеялся, мне как-нибудь выпадет случай заглянуть внутрь, — проговорил я. — Думал, вдруг я вас тут встречу и вы позволите мне войти. Мне хотелось бы увидеть то, что видите вы.

Капитан казался смущенным, однако не проявлял особенного недовольства. Он тронул меня за рукав.

— А вы знаете, что я вижу?

— Как знать, если не по опыту, говоря вашими собственными словами? Опыта я и хочу. Пожалуйста, откройте дверь, и войдем вместе.

Глаза капитана, блестевшие под навесом бровей, округлились, дыхание на миг замерло, а

затем вырвалось подобием смешка, которое обратило его строгие черты в гротескную маску. И все это совершилось в полной тишине.

— Войти вместе? — простонал он. — Хотите, чтобы я вернулся туда раньше назначенного времени? Да предложи мне кто-то в тысячу раз бóльшую сумму, и то бы я не согласился. — Порывшись в складках плаща, он предъявил мне горстку монет, завязанную в угол старого шелкового платка. — Я беру только то, что мне положено по договору!

— Но, когда я впервые имел удовольствие с вами беседовать, вы сказали, что это не так уж страшно.

— Я не говорю, что это страшно… теперь. Но это чертовски неприятно!

На последнем слове старик сделал ударение, заставившее меня задуматься. Тем временем мне почудился шорох, словно бы шевельнулись ставни на одном из верхних окон. Я поднял глаза, но все было тихо. Капитан Даймонд тоже погрузился в размышления. Внезапно он повернулся к дому.

— Если вы готовы войти в одиночку, — предложил он, — то ради бога.

— Вы меня подождете?

— Да, если вы не задержитесь надолго.

— Но в доме полный мрак. При вас горел свет.

Капитан вынул из глубин плаща спички.

— Берите. На столике в холле два подсвечника со свечами. Зажгите их, возьмите в руки по подсвечнику — и вперед.

— И куда мне идти?

— Куда угодно. Положитесь на привидение — оно вас найдет.

Не стану прикидываться, будто сердце мое при этом не забилось чаще. Но, надеюсь, давая старику знак открыть дверь, я держался с достоинством. Я настроился на то, что привидение действительно имеется. Тут я уступил позиции, но убеждал себя в том, что сохранить спокойствие все же возможно, если подготовиться и не дать застигнуть себя врасплох. Капитан Даймонд повернул ключ, распахнул дверь и с глубоким поклоном впустил меня внутрь. В темноте я услышал, как за спиной захлопнулась дверь. Минуту я простоял не шевелясь и только храбро всматривался в непроницаемый мрак. Ничего не увидев и не услышав, я наконец зажег спичку. На столе обнаружилась пара медных подсвечников, заржавевших без использования. Я зажег свечи и отправился на разведку.

Передо мной высилась широкая лестница,

огражденная старинной балюстрадой с тонкой, строгого рисунка резьбой, какая часто встречается в старых домах Новой Англии. Отложив верхний этаж на потом, я прошел в комнату справа. Это была старомодная гостиная, скудно обставленная, с затхлым запахом, характерным для нежилых помещений. Подняв повыше свечи, я не увидел ничего, кроме пустых стульев и голых стен. За этой комнатой находилась та самая, в которую я заглядывал с улицы; как я и думал, их соединяла двустворчатая дверь. Здесь тоже никаких грозных призраков не наблюдалось. Я пересек холл и осмотрел комнаты с противоположной стороны дома; вдоль фасада располагалась столовая, где на большом квадратном столе скопилось столько пыли, что я мог бы написать на нем пальцем свое имя; позади была кухня с горшками и сковородками, которые уже вечность не соприкасались с огнем. Все выглядело мрачно, но не пугающе. Я вернулся в холл, приблизился к подножию лестницы и поднял выше подсвечники, чтобы, мысленно готовя себя к подъему, посмотреть, не проглянет ли что-то во тьме наверху.

Не могу описать, что я почувствовал, когда внезапно тьма ожила; казалось, она перемещается

и густеет. Медленно (я употребляю это слово, потому что в напряженном ожидании ощущал минуты, как века) она приобрела четкие очертания: большая фигура выдвинулась вперед и остановилась на вершине лестницы. Признаюсь честно, к тому времени меня охватило чувство, которому, как ни крути, надобно присвоить примитивное название «страх». Можно, конечно, прибегнув к поэтическому языку, наименовать свои ощущения Жутью, и к тому же с заглавной буквы, но это было то самое, от чего человек обращается в бегство. Я взвешивал этот страх, пока он рос, и он казался непреоборимым, потому что шел не изнутри, а снаружи и был воплощен в темном образе на верхушке лестницы. С грехом пополам я стал рассуждать — во всяком случае, попытался, как я помню. Я сказал себе: «Мне всегда представлялось, что привидения белые и прозрачные, а это тень, густая и непроницаемая». Потом напомнил себе, что это событие нерядовое, и если придется утратить разум от страха, то, пока он при мне, надо им пользоваться и ловить впечатления. Не сводя глаз с тени, я стал шаг за шагом отступать, добрался до стола и опустил на него свечи. Я сознавал, что самым правильным было бы решительно подняться по лестнице и

встретить тень лицом к лицу, но ноги словно налились свинцом. А между тем мое желание исполнилось: передо мной маячил призрак. Я попытался рассмотреть его, чтобы запомнить и без лукавства утверждать впоследствии, что не утратил самообладания. Я спрашивал себя, как долго должен наблюдать и когда смогу с честью удалиться. Все эти мысли, разумеется, молнией пронеслись у меня в голове и были прерваны, когда тень снова зашевелилась. Из темного столба высвободились две белые руки и медленно поднялись туда, где следовало быть голове. Соединившись, они прижались к предполагаемому лицу, а когда опустились, лицо выступило из мрака. Туманное, белое, странное — во всех отношениях призрачное. Мгновение глаза смотрели на меня, рука — на этот раз одна — снова поплыла вверх и помахала туда-сюда. Что-то очень чудное было в этом жесте; он словно бы обозначал негодующее «прочь» и в то же время выглядел обыденным и фамильярным.

На фамильярность со стороны потустороннего видения я никак не рассчитывал и был, можно сказать, разочарован. Прав был капитан Даймонд, сказав, что это «чертовски неприятно». Меня охватило сильнейшее желание пристойным и по

возможности изящным способом удалиться со сцены. Хотелось при этом не выказать себя трусом, и я решил, что продемонстрирую крепость духа, если загашу перед уходом свечи. Отвернувшись, я так и поступил, добрался до двери, нащупал ее в темноте и распахнул. Внешний свет, почти уже потухший, на мгновение проник в дом, позволяя разглядеть пыльную обстановку и непроницаемый черный силуэт в глубине.

Капитана Даймонда я застал на лужайке под проступившими на небе звездами; он стоял, склоняясь над своей тростью. Посмотрев на меня внимательно, но недолго, он молча отошел, чтобы запереть дверь. После этой обязанности он исполнил следующую — прежний ритуал поклонения, — а потом, не глядя на меня, заковылял восвояси.

Через несколько дней я прервал свои занятия и уехал на летние каникулы. Отсутствовал я больше месяца, и у меня было достаточно времени, чтобы осмыслить свой опыт в области сверхъестественного. Радовало то, что я не поддался позорной панике — не ударился в бегство, не рухнул без чувств, а выдержал испытание с честью. Тем не менее, отдалившись на три десятка миль от места своего подвига, я, конечно, испытал

облегчение и еще долго предпочитал темноте дневной свет. Нервы у меня были очень перевозбуждены; это я осознал особенно ясно, когда под влиянием усыпляющего морского воздуха стал постепенно успокаиваться. Окончательно придя в себя, я попытался строго рационально оценить происшедшее. Безусловно, я что-то видел, воображение тут ни при чем; но только что? Меня охватила сильнейшая досада: нужно было вести себя смелее, подойти ближе и лучше рассмотреть привидение. Но рассуждать легко, а только кто бы на моем месте осмелился на большее? Шагнуть вперед было для меня невозможно физически. Был ли этот паралич вызван действием сверхъестественной силы? Необязательно, ведь и фальшивый призрак, если в него поверишь, может творить такие же чудеса, как настоящий. Но почему этот темный фантом, махавший рукой, с такой легкостью меня убедил? Почему так глубоко проник в сознание? Безусловно, настоящий или фальшивый, это очень умный фантом. Я бы предпочел, чтобы он был настоящий. Во-первых, потому, что в таком случае я испугался не на пустом месте, а во-вторых, встреча с подлинным, удостоверенным гоблином — это то, чем в наши дни может гордиться человек довольно робкого

десятка. В результате я решил, что лучше бы оставить привидение в покое и выбросить его из мыслей. Но против моей воли в уме снова и снова возникал дразнящий вопрос. Предположим, мне явилась дочь капитана Даймонда; если это так, то я действительно имел дело с ее духом. Ну а если, кроме ее духа, было и что-то еще?

В середине сентября я вновь водворился в царстве теологических теней, но с возвращением в дом с призраками торопиться не стал.

Близился последний день месяца — срок очередного визита бедного капитана Даймонда, — но на сей раз я не был расположен его беспокоить, хотя, признаюсь, сердце мое сжималось от жалости, когда я представлял себе, как немощный старик один совершает в осенних сумерках свое тягостное паломничество. Тридцатого сентября в полдень я задремал над тяжелым томом ин-октаво, и тут в дверь тихонько постучали. Я пригласил посетителя войти, но никто не появился. Пришлось мне подняться и открыть дверь. Передо мной предстала пожилая негритянка — голова обхвачена алым тюрбаном, грудь перекрещена белой косынкой. Гостья молчала и не спускала с меня внимательных глаз, и на ее лице, как часто бывает с немолодыми представителями

черной расы, отражались сугубая серьезность и благопристойность. Я стоял, вопросительно на нее глядя, и наконец она извлекла из своего объемистого кармана маленький томик. Это были «Мысли» Паскаля, которые я подарил капитану Даймонду.

— Пожалуйста, сэр, — произнесла гостья слабым голосом, — вы узнаете эту книгу?

— А как же, там на форзаце написано мое имя.

— Ваше — не кого-то другого?

— Если вам угодно, я напишу свое имя, чтобы вы могли сравнить почерк.

Мгновение гостья молчала, а потом отозвалась с достоинством:

— Это без толку, сэр, я не умею читать. Если дадите слово, мне будет достаточно. Я от джентльмена, которому вы дали книгу. Он велел мне отнести ее вам как знак — да, как знак… так он сказал. Он лежит больной и хочет вас видеть.

— Капитан Даймонд болен? — вскричал я. — Он что, очень плох?

— Совсем плох… дышит на ладан.

Пробормотав несколько сочувственных слов, я предложил немедленно пойти к капитану, если черная посланница меня проводит. Она с почтительной готовностью согласилась, и

вскоре я следовал за ней по солнечным улицам, ощущая себя персонажем из «Тысячи и одной ночи», которого эфиопский раб ведет к потайной двери. Мы с проводницей направились к реке и остановились на спускавшейся к берегу улице, у аккуратного желтого домика. Поспешно отворив дверь, негритянка впустила меня внутрь, и очень скоро я увидел моего старого знакомца. Он лежал в темной комнате, в постели и был, судя по всему, очень слаб. Откинувшись на подушку, он неподвижно смотрел в потолок, волосы щетинились еще больше прежнего, выразительные черные глаза горели лихорадочным огнем. В скромной комнате царила безупречная чистота, говорившая о том, что моя темнокожая проводница служила хозяину верой и правдой. Капитан Даймонд, неподвижный и бледный на белой постели, напоминал статую грубой работы, какие встречаются на готических гробницах. Он глядел на меня молча; служанка меж тем удалилась и оставила нас одних.

— А, это вы, — произнес капитан наконец, — тот самый хороший юноша. Я ведь не ошибся?

— Надеюсь, нет. Согласен: я хороший юноша. Но мне очень жаль, что вы болеете. Что я могу для вас сделать?

— Я очень плох, совсем развалился, бедные старые кости так ноют! — С душераздирающим стоном он попытался повернуться ко мне.

Я стал спрашивать, чем он болеет и как долго пролежал в постели, но он едва слушал меня, ему явно не терпелось поговорить о другом. Схватив меня за рукав и притянув к себе, он поспешно шепнул:

— Вы ведь знаете, пришло мое время!

— Ну что вы, не может быть, — возразил я, ошибочно истолковав его слова. — Вы еще встанете, не сомневаюсь.

— Бог весть! Но я не о смерти, это чуть погодя. Я имел в виду, что мне пора идти в дом. Время получать арендную плату.

— И правда! Но вы не сможете пойти.

— Не смогу. Это ужасно. Я потеряю деньги. Даже если я умираю, они мне все равно нужны. Надо заплатить врачу. Нужны похороны, какие подобают приличному человеку.

— Срок — нынешний вечер? — спросил я.

— Да. На заходе солнца.

Он лежал и глядел на меня, а я на него. Внезапно я понял, почему он за мной послал. Я содрогнулся, но только в душе. С виду я был, наверное, спокоен, потому что капитан повторил тем же тоном:

— Я не могу потерять деньги. Нужно, чтобы пошел кто-то вместо меня. Я просил Белинду, но она даже слушать не хочет.

— Вы думаете, другому человеку отдадут плату?

— По крайней мере, мы можем попытаться. До сих пор я всегда приходил сам, так что не знаю. Но если вы скажете, что я очень плох, старые кости болят невыносимо, что я при смерти, то, может, она поверит. Она не допустит, чтобы я умер с голоду!

— Вы хотите, чтобы я пошел вместо вас?

— Вы там уже были однажды и знаете, что и как. Вам страшно?

Я заколебался.

— Дайте мне немного подумать, и я отвечу.

Я обвел глазами комнату, где каждый предмет обстановки говорил о благопристойной бедности. Казалось, все эти изношенные, потертые вещи безмолвно взывают к моей жалости и решимости. Между тем капитан Даймонд слабым голосом продолжал:

— Думаю, она вам поверит; вы ей понравитесь; на вас написано, что вы безобидный человек. Сто тридцать три доллара, точная сумма. Спрячьте хорошенько, не потеряйте.

— Да, — сказал я наконец, — я пойду, и, если это будет зависеть от меня, завтра к девяти вы получите свои деньги.

Капитан, похоже, испытал большое облегчение; он схватил мою руку и слабо ее пожал. Вскоре я ушел и весь остаток дня старался не думать о предстоящем вечере, но, разумеется, только о нем и думал. Не стану отрицать, мне было тревожно; собственно, я не находил себе места и то надеялся, что тайна окажется не столь глубокой, как мне представлялось, то боялся обнаружить, что она лежит на поверхности. Часы тянулись медленно, но вот завечерело, и я отправился в путь. По дороге я сделал остановку у скромного обиталища капитана Даймонда, чтобы справиться о его здоровье и спросить, не захочет ли он дать мне еще какие-то указания. Старая негритянка, с видом степенным и совершенно бесстрастным впустила меня и в ответ на расспросы доложила, что капитан совсем захирел, за день ему сделалось еще хуже.

— Вам лучше бы не задерживаться, если хотите застать его в живых, когда вернетесь, — добавила она.

Я сразу понял, что ей известно, куда и зачем я направляюсь, хотя в ее тусклых черных глазах не

зажглось ни искры, которая бы ее выдала.

— Но с чего бы капитану Даймонду умереть? — спросил я. — Да, он, кажется, очень слаб, однако мне непонятно, какой болезнью он страдает.

— Старость — вот его болезнь, — выразительно произнесла служанка.

— Но он не так уж стар. Ему лет шестьдесят семь или шестьдесят восемь, не больше.

Она помолчала.

— Он устал, измучился; невмоготу больше терпеть.

— Можно ненадолго с ним увидеться?

Служанка снова отвела меня в комнату больного. Даймонд лежал в той же позе, только с закрытыми глазами. Видно было, что он, как сказала служанка, совсем «захирел» и едва дышал. Тем не менее выяснилось, что после полудня у капитана побывал врач и заверил, что тревожиться не о чем.

— Он знать не знает, что делается, — коротко добавила Белинда.

Старик пошевелился, открыл глаза и чуть погодя узнал меня.

— Я отправляюсь, как вы знаете, — сказал я, — за вашими деньгами. Не хотите ли еще что-то сказать?

Медленно, с мучительным усилием старик приподнялся и оперся на подушки, но мне показалось, что он меня не понимает.

— В тот самый дом, — пояснил я. — К вашей дочери.

Слабой рукой он потер себе лоб и наконец выказал признаки понимания.

— А, да, — пробормотал он. — Я вам доверяю. Сто тридцать три доллара. Старыми монетами — все старыми монетами. — И уже энергичней, с просветлевшим взглядом добавил: — Будьте очень почтительны… очень учтивы. Если нет… если нет… — И его голос снова замер.

— О, ну конечно. — Я несколько принужденно улыбнулся. — Но что будет, если нет?

— Если нет, я узнаю! — мрачно заключил он, закрыл глаза и снова опустился на подушки.

Выйдя наружу, я достаточно уверенным шагом двинулся в путь. У дома я, в подражание капитану Даймонду, проделал умилостивительный поклон. Время я рассчитал так, чтобы прибыть к наступлению сумерек и сразу войти. Я повернул ключ, ступил за порог и закрыл за собой дверь. Зажег спичку и увидел на столике у входа те же два подсвечника. Зажег свечи и вошел с ними в гостиную. Там было пусто, я немного подождал,

но никто не появился. Я обошел весь нижний этаж, и нигде передо мной не возник темный образ. В конце концов, я снова вышел в холл и стал раздумывать, не подняться ли по лестнице.

Именно с лестницей была связана сцена, напугавшая меня в прошлый раз, и поэтому, приближаясь, я испытывал серьезные опасения. У подножия я помедлил, держась рукой за балюстраду и глядя вверх. Я настороженно ожидал, и, как оказалось, не зря. Медленно во мраке на верхней площадке сгустилась знакомая черная фигура. Это не была иллюзия, это была фигура, причем та же самая. Я дал ей время проявиться полностью и продолжил наблюдать. Она стояла и глядела на меня сверху, не показывая лица. Потом я решительно заговорил:

— Я пришел вместо капитана Даймонда, по его просьбе. Он очень болен и не встает с постели. Он умоляет, чтобы вы отдали плату мне; я немедленно отнесу ему деньги. — Фигура не двигалась с места и не шевелилась. — Капитан Даймонд пришел бы, но не может, — добавил я умоляюще. — Он прикован к постели.

Тут фигура медленно открыла лицо, являя мне туманную белую маску, и начала шаг за шагом спускаться по лестнице. Я инстинктивно стал

отступать в направлении большой гостиной. Не спуская глаз с привидения, я задом наперед пересек порог. В середине комнаты я остановился и поставил подсвечники. Фигура приближалась, она походила на высокую женщину в прозрачном траурном одеянии. Вблизи я обнаружил, что у нее вполне человеческое лицо, только очень бледное и печальное. Мы всматривались друг в друга, я совсем успокоился, и мною руководило лишь сильнейшее любопытство.

— Отец серьезно болен? — спросило привидение.

От голоса — нежного, дрожащего и абсолютно человеческого — я подался вперед, чувствуя, что вновь теряю спокойствие. У меня вырвался удивленный возглас, потому что вместо бесплотного духа передо мной стояла красивая женщина, дерзкая лицедейка. И тут меня подтолкнул инстинктивный, неудержимый импульс — реакция на мое прежнее легковерие: я потянулся к длинной вуали, которая окутывала ее голову, и резко дернул. Вуаль почти полностью спала, и я воззрился в упор на статную красавицу лет приблизительно тридцати пяти. С одного взгляда я оценил все целиком: длинное черное одеяние, бледное, измученное горем лицо с гримом, де-

лавшим его еще белее, ясные, блестящие глаза того же цвета, что у отца, и негодование в ответ на мою дерзость.

— Не для того, полагаю, вас послал сюда мой отец, чтобы я терпела от вас оскорбления! — крикнула она и, быстро схватив один из подсвечников, устремилась к двери. На пороге она помедлила, опять смерила меня взглядом и, вытащив из кармана кошелек, с возгласом: «Вот ваши деньги!» царственным жестом швырнула его на пол.

Колеблясь между изумлением и стыдом, я стоял на месте и наблюдал, как она выходит в холл.

Потом подобрал кошелек. И тут же раздался громкий крик и шум — что-то упало. В следующий миг, спотыкаясь, уже без подсвечника в руке, женщина вбежала обратно.

— Отец… отец! — с выпученными глазами крикнула она и кинулась ко мне.

— Ваш отец? Где?

— В холле. У подножия лестницы.

Я шагнул к двери, но женщина схватила меня за рукав.

— Он в белом, — крикнула она, — в рубашке! Это не он!

— Ваш отец дома, в постели, он тяжело болен.

Она внимательно, испытующе вглядывалась

в меня.

— При смерти?

— Надеюсь, что нет, — ответил я неуверенно.

Она застонала и закрыла лицо руками.

— О господи, я видела его призрак!

Насмерть напуганная, она продолжала цепляться за мою руку.

— Его призрак? — в изумлении повторил я.

— Это расплата за мое затянувшееся сумасбродство! — продолжала женщина.

— Ах нет, это расплата за мою бестактность… за мою грубость!

— Уведите меня отсюда, уведите! — взмолилась женщина, не выпуская мою руку. — Не туда, бога ради, только не туда! — вскричала она, когда я двинулся было к холлу и парадной двери. — Вон туда, к черному ходу.

Подхватив со стола другой подсвечник, она повела меня через соседнюю комнату в заднюю часть дома. Оттуда, из судомойни или буфетной, имелся выход в сад. Я повернул ржавый запор, и мы вышли на прохладный воздух, под звезды.

Моя спутница плотнее закуталась в свое черное одеяние и, ненадолго задумавшись, остановилась. При всем волнении я не мог не испытывать острейшего любопытства. Взбудораженная и

бледная, она в сумеречном освещении поражала своей живописной красотой.

— Все эти годы вы играли в весьма необычную игру, — проговорил я.

Она глядела исподлобья и, судя по всему, не хотела отвечать.

— А я ведь верил, когда сюда шел, — продолжал я. — В прошлый раз, три месяца назад, — помните? — вы очень меня напугали.

— Да, игра необычная, — ответила женщина наконец. — Но другого выхода не было.

— Разве он вас не простил?

— Простил, потому что считал умершей. А в жизни моей были вещи, которых он простить не мог.

Я поколебался, но все же спросил:

— А где ваш муж?

— У меня нет мужа. И никогда не было.

Жестом остановив дальнейшие расспросы, женщина быстро пошла прочь. Я вместе с ней обогнул дом и вышел на дорогу; она беспрерывно бормотала: «Это был он… он!» На дороге она остановилась и спросила, в какую мне сторону. Я указал направление, и моя спутница сказала:

— Мне в другую сторону. Вы пойдете к моему отцу?

— Прямиком, — заверил я.

— Дадите мне завтра знать, что вы там застанете?

— Охотно. Только как с вами связаться?

Женщина стала растерянно оглядываться.

— Напишите записку и положите под этот камень. — Она указала на один из лавовых камней в ограждении старого колодца. Я дал обещание, и она распрощалась. — Я знаю, куда идти. Все в порядке. Это старая история.

Быстро удаляясь во мрак в своем темном летящем одеянии, она напомнила мне фантастический образ, знакомый с нашей первой встречи. Я следил за ней, пока она не скрылась из виду, и только после этого широким шагом двинулся к городу, а там прямиком к желтому домику у реки. Я взял на себя смелость войти без стука и беспрепятственно добрался до комнаты капитана Даймонда. У двери, на низенькой скамье, сидела, сложив руки, мрачная Белинда.

— Как он? — спросил я.

— Отошел.

— Умер?

Всхлипнув, она поднялась на ноги.

— Теперь он дух — с другими наравне!

В комнате лежал старик, затихший и окоче-

невший, теперь уже навсегда. Тем же вечером я составил записку, чтобы утром положить ее под камень у колодца, но судьба не дала мне выполнить обещание. Ночью я спал плохо, что и понятно, и, не находя себе места, встал и принялся ходить по спальне. Взглянув в окно, я заметил в небе на северо-западе красное зарево. Горел какой-то дом в окрестностях, причем пожар разбушевался вовсю. Где-то там находилось место моих вечерних приключений, и, стоя у окна, я вдруг вспомнил и осознал: ту свечу, которая сопровождала наше бегство, я загасил, но был и другой подсвечник, с которым женщина выходила в холл и которую — один Бог знает где — выронила в испуге. Днем я с запиской отправился в путь и свернул у знакомого перекрестка. Дом с привидениями представлял собой кучу обгоревших балок и дымящейся золы; крышку колодца сорвали те немногие соседи, кто нашел в себе смелость для борьбы с пламенем, которое наверняка сочли дьявольским промыслом. Камни ограждения были разбросаны, истоптанная земля вокруг превратилась в жидкое месиво.

1876

Джеймс Брандер Метьюз
1852–1929
Вздорные призраки

Красавец-лайнер на всех парах рассекал тихую гладь Атлантики, с каждым часом приближаясь к американским берегам. На листках с расписанием и картой маршрута, отпечатанных пароходной компанией, рейс помещался в графе «туда», хотя почти все пассажиры плыли «обратно» — возвращались домой после заграничного летнего отдыха и считали дни до той долгожданной минуты, когда увидят наконец свет маяка на Файр-Айленде. На подветренной палубе у входа в каюту капитана, которая в дневные часы служила салоном для пассажиров первого класса, уютно устроилась небольшая компания американцев. Герцогиня (в пассажирской ведомости она значилась как миссис Мартин, но друзья и знакомые звали ее Герцогиней с Вашингтонской площади) и Бэби ван Ренсселар (младшая из двух сестер, она навсегда осталась для своей родни маленькой, хотя могла бы уже обладать правом голоса, если бы таковое распространялось на представитель-

ниц слабого пола), — так вот, Герцогиня и Бэби ван Ренсселар обсуждали приятный английский голос и не то чтобы неприятный английский акцент бравого молодого лорда, направлявшегося тем же рейсом в Америку за новыми впечатлениями. Дядюшка Ларри и Дружище Джонс затеяли спор — какое расстояние пройдет корабль за следующие сутки; каждому хотелось подбить другого на пари.

— Ставлю два к одному, что четыреста двадцать мы не одолеем, — сказал Дружище Джонс.

— Идет, — с готовностью ответил Дядюшка Ларри. — В прошлом году на пятый день мы прошли четыреста двадцать семь.

Это был семнадцатый по счету вояж Дядюшки Ларри в Европу, его тридцать четвертое трансатлантическое плавание.

— А когда вы приплыли домой? — подала голос Бэби ван Ренсселар. — Мне все равно, сколько миль мы проходим в сутки, лишь бы поскорее доплыть.

— Мы вошли в бухту в воскресенье вечером, через семь дней после отплытия из Куинстауна, и бросили якорь на рейде напротив карантинной станции в понедельник, в три часа утра.

— Надеюсь, это не повторится. Когда корабль

стоит, я совсем не могу спать.

— А я могу, только в тот раз мне спать не пришлось, — невозмутимо продолжал Дядюшка Ларри, — потому что моя каюта была первая от носа и якорный мотор тарахтел прямо у меня над головой.

— И тогда вы вышли на палубу и увидели, как над заливом восходит солнце, — подсказал ему Дружище Джонс. — Вдалеке мерцали электрические огни большого города, на востоке, над фортом Лафайет, занималась заря, бледное небо окрасилось нежным румянцем, и…

— Так вы возвращались домой вместе? — удивилась Герцогиня.

— Если кто-то тридцать четыре раза переплыл Атлантику, это еще не значит, что у него монополия на рассветы, — нашелся Дружище Джонс. — Нет, я описал свой собственный рассвет, и, смею вас заверить, картина была восхитительная.

— Я не стану мериться рассветами, но готов помериться шутками, — все так же невозмутимо заметил Дядюшка Ларри. — Ставлю шутку про мой рассвет против двух шуток про ваш.

— Вынужден признаться, что никаких шуток про рассвет я не припомню.

Дружище Джонс был честный малый и не стал

бы экспромтом придумывать шутку, лишь бы не ударить лицом в грязь.

— Значит, мой рассвет победил за явным преимуществом, — самодовольно заявил Дядюшка Ларри.

— А что за шутка? — не выдержала Бэби ван Ренсселар, поддавшись женскому любопытству, которое бессильно перед искусной провокацией.

— Извольте. Я стоял на корме, и вместе со мной были еще двое: один американский патриот и типичный бродяга-ирландец. Американский патриот вдруг возьми и брякни: дескать, в Европе такого рассвета вовек не увидишь; но ирландец не растерялся и говорит: «Оно конечно — к вам-то рассвет приходит после нас, когда нам он уже без надобности».

— Да, в чем-то он прав, — задумчиво произнес Дружище Джонс, — там у них кое-что и правда лучше, чем у нас. Хотя бы зонты.

— И наряды, — добавила Герцогиня.

— И древности, — внес свою лепту Дядюшка Ларри.

— Зато многое у нас в Америке в сто раз лучше! — возразила Бэби ван Ренсселар, еще не испорченная низкопоклонством перед дряхлеющими монархиями деспотичной старухи

Европы. — У нас полно приятных вещей, которых в Европе днем с огнем не сыскать. У нас мороженое вкуснее!

— И девушки красивее, — добавил Дружище Джонс, не глядя на нее.

— И призраки что надо, — заметил Дядюшка Ларри как ни в чем не бывало, будто речь шла о самых обычных вещах.

— Призраки? — переспросила Герцогиня.

— Призраки. Лично мне нравится это слово. Зовите их привидениями, если вам угодно, или духами. Что-что, а призраки у нас и впрямь первый сорт, тут мы кого хочешь заткнем за пояс…

— А как же чудесные истории про духов Рейна и Черного Леса, про них вы забыли? — перебила его мисс ван Ренсселар с чисто женской непоследовательностью.

— Я прекрасно помню про Рейн и Черный Лес и про всю заграничную нечисть, включая эльфов, фейри и хобгоблинов; но если мы посмотрим на простых честных призраков, то, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Ведь в чем главное отличие нашего отечественного призрака — назовем его spiritus Americanus — от обычных привидений мировой литературы? В том, что он, так сказать, созвучен американскому чув-

ству юмора. Взять хотя бы сюжеты Вашингтона Ирвинга. К примеру, «Всадник без головы». Уморительная история о призраке! А Рип ван Винкль? Помните, с каким юмором, с каким неподражаемым юмором рассказано о встрече Рипа с гоблинами-матросами из команды Гендрика Гудзона? Но нагляднее всего американский подход к мифическому и мистическому проявился в бесподобной истории о двух вздорных призраках.

— О двух вздорных призраках! — в один голос повторили за ним Герцогиня и Бэби ван Ренсселар. — Кто это такие?

— Неужели я вам про них не рассказывал? — вопросом на вопрос ответил Дядюшка Ларри, и в его глазах вспыхнул огонек радостного предвкушения.

— Он все равно расскажет, раньше или позже, так какой смысл откладывать, можем послушать и сейчас, — ворчливо предложил Дружище Джонс.

— Если вам неинтересно, могу не рассказывать.

— Ну пожалуйста, Дядюшка Ларри, расскажите! Я обожаю истории с призраками, — взмолилась Бэби ван Ренсселар.

— Давным-давно, — начал Дядюшка Ларри, —

вернее, всего несколько лет назад, в славном городе Нью-Йорке жил-был молодой американец, и звали его Дункан — Элифалет Дункан. Как и его имя, он был наполовину янки, наполовину шотландец, а по профессии, естественно, юрист, и в Нью-Йорк он подался искать удачи. Его отец-шотландец в свое время перебрался в Новый Свет, осел в Бостоне и женился на девушке из Салема. Двадцати лет от роду Элифалет Дункан потерял обоих родителей. От отца он получил в наследство изрядную сумму денег, чтобы начать самостоятельную жизнь и карьеру, а кроме того — гордость за свое шотландское происхождение. Дело в том, что шотландский род Дунканов принадлежал к титулованной знати, и хотя отец Элифалета был младшим сыном младшего сына барона, он всегда сам помнил и своему сыну наказывал не забывать про их благородную кровь. В наследство от матушки-янки Элифалет получил решительный характер и небольшой старый дом в Салеме, который принадлежал ее семье лет двести. В девичестве она носила фамилию Хичкок, а Хичкоки жили в Салеме с самого его основания. В пору знаменитого процесса над ведьмами прапрапрадед ее отца, Элифалета Хичкока, играл в городе далеко не последнюю роль. Так вот, в

старинном доме, доставшемся от матери моему другу Элифалету Дункану, обитало привидение.

— Призрак одной из тамошних ведьм, разумеется? — встрял Дружище Джонс.

— Разумеется, нет. Всех ведьм, как известно, отправили на костер. Когда и кому являлся призрак сожженного на костре? Вы про такое слыхали? — спросил Дядюшка Ларри.

— Между прочим, это веский довод в пользу кремации, — прокомментировал Дружище Джонс, уклонившись от прямого ответа.

— Да, если не любишь привидений. А я их люблю! — заявила Бэби ван Ренсселар.

— И я тоже, — поддержал ее Дядюшка Ларри. — Обожаю призраков — прямо как англичане лордов.

— Не отвлекайтесь, продолжайте свой рассказ, — распорядилась Герцогиня, властно пресекая не относящиеся к делу споры.

— В старом салемском доме водилось привидение, — подытожил Дядюшка Ларри. — И привидение особенное — во всяком случае, с весьма необычными свойствами.

— С какими? — спросила Бэби ван Ренсселар, дрожа и замирая от нетерпения.

— За ним замечали немало странностей. На-

чать с того, что оно никогда не являлось хозяину дома. Как правило, оно подкарауливало нежеланных гостей. За последние сто лет привидение отвадило от дома четырех тещ, но хозяину от него никакого беспокойства не было.

— Наверное, при жизни, то есть в бытность свою во плоти, этот призрак был кем-то из сыновей-Хичкоков, — высказал догадку Дружище Джонс, не желая довольствоваться ролью слушателя.

— Другая особенность, — не обращая на него внимания, продолжал Дядюшка Ларри, — состояла в том, что при своем первом появлении оно никогда никого не пугало. И только при повторной встрече нагоняло страху на тех, кто его видел, и какого страху! Редкий гость отваживался попытать счастья в третий раз. Едва ли не самым удивительным в этом добровольном потустороннем помощнике было отсутствие лица. По крайней мере, лица его никто не видел.

— Может быть, лицо было чем-то закрыто? — предположила Герцогиня; чем дальше, тем отчетливее она понимала, что никогда не любила историй с привидениями.

— Это так и осталось для меня загадкой. Я сам беседовал с теми, кто видел призрака, и ни один

из опрошенных ничего не мог мне рассказать про его лицо. Как ни странно, свидетели словно бы не обращали внимания на его внешность, хотя и не говорили, что лица у него не было или оно было чем-то закрыто. И только потом, пытаясь в спокойной обстановке восстановить в памяти все обстоятельства встречи с таинственным существом, они вдруг осознавали, что лица его не видели. И хоть убей не могли сказать, было ли оно закрыто, или его просто не было, или в чем вообще дело. Они знали одно: лица они не видели. Столько достоверных рассказов очевидцев, но по сей день неизвестно, было ли лицо у привидения, которое обитало в старом салемском доме, и если да, то какое.

— Страсть как интересно! — восхитилась Бэби ван Ренсселар. — А почему привидение там больше не живет?

— Я этого не говорил, — ответил Дядюшка Ларри с большим достоинством.

— Но вы сказали «обитало» в старом салемском доме, поэтому я решила, что теперь его там нет. Или есть? — не унималась юная леди.

— Погодите, всему свое время. Элифалет Дункан обычно проводил в Салеме летние каникулы, но привидение ему не докучало, ведь он был в доме

хозяин, — к его великой досаде, надо заметить, ибо ему очень хотелось своими глазами увидеть загадочного жильца, который своевольничал в его владении. Но ему это ни разу не удалось, ни разу. Он привозил в дом то одного, то другого приятеля и просил, если тому вдруг явится призрак, погромче крикнуть, а сам ложился спать в соседней комнате и нарочно держал дверь открытой; но когда он, разбуженный криком испуганного приятеля, вбегал в его спальню, никакого привидения там уже не было, и ему оставалось ни с чем возвратиться в постель и довольствоваться укоризненными вздохами: привидение считало, что Элифалет поступает некрасиво, — разве можно всеми правдами и неправдами искать знакомства, в котором тебе отказано!

Рассказчик вынужден был прерваться: Дружище Джонс встал с места, чтобы поплотнее укутать теплым пледом ноги Бэби ван Ренсселар, — на небо набежали серые тучи, и сразу похолодало, от воды потянуло сыростью.

— В одно прекрасное весеннее утро, — возобновил свой рассказ Дядюшка Ларри, — Элифалет Дункан получил сногсшибательное известие. Я уже говорил, что его семья по отцовской линии принадлежала к шотландской знати и что отец

Элифалета был младшим сыном младшего сына тамошнего барона. Судьба распорядилась так, что все братья и дядья Элифалетова батюшки умерли, не оставив наследника мужского пола, — все, за исключением старшего сына старшего сына барона, который, само собой разумеется, носил фамильный титул и звался барон Дункан из Дункана. Сногсшибательное известие, которое Элифалет Дункан получил в Нью-Йорке одним прекрасным утром, состояло в следующем: барон Дункан вместе с единственным сыном попал на яхте в черный шквал вблизи Гебридских островов, и оба, отец и сын, погибли. Таким образом, мой приятель Элифалет Дункан унаследовал титул и состояние.

— Как романтично! — оживилась Герцогиня. — Он стал бароном!

— Да, — промолвил Дядюшка Ларри, — он стал бы бароном, если бы пожелал, только он не пожелал.

— Ну и дурак! — постановил Дружище Джонс.

— Как сказать, — ответил Дядюшка Ларри, — я бы не спешил с выводами. Видите ли, Элифалет Дункан был только наполовину шотландец, а наполовину янки и смотрел на дело трезво. Он предпочитал помалкивать о своей нечаянной удаче,

пока не выяснит, насколько шотландский титул обеспечен шотландским состоянием. И вскоре дознался, что никаких денег нет: покойный лорд женился по расчету и жил исключительно на доход от приданого леди Дункан. Практичный Элифалет рассудил, что лучше быть сытым нью-йоркским юристом и жить припеваючи за счет своей адвокатской практики, чем быть голодным шотландским лордом и жить за счет титула, а попросту говоря — едва сводить концы с концами.

— Но он не отказался от титула? — уточнила Герцогиня.

— Нет, — подтвердил Дядюшка Ларри, — только об этом никто не знал, кроме меня и, может быть, еще пары близких друзей. Элифалет не такой болван, чтобы вешать на дверях табличку: «Барон Дункан из Дункана, поверенный, судебный адвокат».

— Ну ладно, а при чем тут ваше привидение? — не слишком вежливо поинтересовался Дружище Джонс.

— То привидение действительно ни при чем, зато другое очень даже при чем. Надо вам сказать, Элифалет на редкость сведущ во всем, что касается потусторонних сил. Причина, возможно, в его салемском доме с привидением, а возможно,

в его шотландских корнях. Так или иначе, он поднаторел в науке о духах и дамах в белом, о банши и боги и прочей нечисти, чьи присказки, проказы и прорицания запечатлены в анналах шотландской аристократии. Ни одно мало-мальски известное привидение в многовековой истории родовитых шотландских семейств не прошло мимо его внимания. Знал он и о некоем Дункановом призраке, который связан магическими узами с обладателем титула барона Дункана из Дункана.

— Мало ему было дома с привидением в Салеме, так за ним еще числился и родовой призрак в Шотландии? — поразилась Бэби ван Ренсселар.

— Вот именно. Но шотландский призрак был симпатичнее салемского, хотя у них с трансатлантическим собратом было кое-что общее: шотландец никогда не являлся обладателю титула, точно так же как призрак из Салема никогда не показывался на глаза хозяину дома. Дунканова призрака вообще никто не видел. Он был незримым ангелом-хранителем. Его долг состоял исключительно в том, чтобы всегда находиться в личном услужении у барона Дункана из Дункана и вовремя предупреждать его о грядущей опасности. Семейное предание хранит множество примеров необычайно развитой у Дунканов

способности предчувствовать несчастье. Кому-то из баронов хватало мудрости прислушаться к внутреннему голосу и отказаться от участия в опасном начинании, которое, конечно же, было обречено. Другие упрямились, не желали верить своему сердцу и очертя голову неслись навстречу неминуемому поражению и смерти. Но не было случая, чтобы лорд Дункан попал в беду по неведению.

— Тогда каким же образом отец и сын угодили в бурю у Гебридов? — ехидно поинтересовался Дружище Джонс.

— Их сгубило просвещение, ведь образованному человеку не пристало идти на поводу у суеверия. Сохранилось письмо лорда Дункана, которое он написал жене за несколько минут до того, как поднял парус; лорд пишет, какую жестокую внутреннюю борьбу ему довелось выдержать, чтобы пойти наперекор почти неодолимому желанию отменить выход в море. А послушайся он дружеского совета родового призрака, шотландцам не пришлось бы слать письмо на другой берег Атлантики.

— Неужели после смерти старого барона этот родовой призрак перебрался из Шотландии в Америку? — с неподдельным интересом спроси-

ла Бэби ван Ренсселар.

— Наверное, приплыл третьим классом, — ввернул Дружище Джонс, — а может быть, и в каюте?

— Это мне неизвестно, — спокойно ответил Дядюшка Ларри, — и Элифалету тоже. Поскольку никакая опасность ему не грозила и предупреждать его было не о чем, он просто не знал, на страже ли призрак. Хотя, конечно, Элифалет все время был начеку. Но доказательств призрачного присутствия у него не имелось, пока он не приехал в старый салемский дом, аккурат в канун Четвертого июля. С ним был его приятель, служивший в регулярной армии со дня обстрела форта Самтер; молодой человек полагал, что после четырехлетней заварушки на Юге (с перерывом на шестимесячный отдых в Либби) и десятка лет непрерывных стычек с индейцами на равнинах его никакими привидениями не испугаешь. Весь вечер Элифалет и его приятель-офицер сидели на крыльце, курили и обсуждали уложения военного права. Немного за полночь, когда они уже хотели разойтись по комнатам и лечь спать, в доме поднялся дикий шум. Не крик, не визг, не вой — никаким словом нельзя назвать то, что они услышали. Это было неописуемо,

непостижимо — все задрожало, затряслось, загудело, и наконец что-то словно бы вырвалось через открытое окно с протяжным душераздирающим стоном. Офицер, товарищ Элифалета, прошел испытание Холодной гаванью, но в тот миг он похолодел, как никогда в жизни. Элифалет не сомневался, что это проделки местного, салемского привидения. Следом за первым жутким звуком раздался другой — резкий, отрывистый, невыносимо пронзительный, от которого кровь еще пуще стыла в жилах. Однако что-то в этом крике показалось Элифалету странно знакомым, и он догадался: должно быть, его фамильный призрак, дух-покровитель Дунканов, подает ему знак.

— Если я правильно вас поняла, вы намекаете на то, что там оказались сразу оба призрака? — забеспокоилась Герцогиня.

— Оба, — подтвердил Дядюшка Ларри. — Один являлся принадлежностью дома и обитал там постоянно, а другой неотлучно находился при бароне Дункане — куда барон, туда и он, в Салем так в Салем. Но Элифалету некогда было размышлять — призраки снова заголосили, и не по очереди, а разом, и что-то шепнуло ему — какое-то присущее ему шестое чувство, — что призраки не нашли общего языка, не поладили, невзлюбили

друг друга, короче говоря, что они ссорятся.

— Призраки — и ссорятся! Вот это да! — простодушно восхитилась Бэби ван Ренсселар.

— То ли дело, когда призраки живут в мире и согласии, — обронил Дружище Джонс, на что Герцогиня заметила:

— Это было бы куда пристойнее.

— Вы все, конечно, знаете, — резюмировал Дядюшка Ларри, — что две световые или звуковые волны при взаимном наложении могут дать темноту или тишину. Вот и эти вздорные призраки «наложились» друг на друга. Только ни тишины, ни темноты не последовало. Какое там: едва Элифалет с приятелем-офицером вошли в дом, началось настоящее спиритуалистическое светопреставление. Бубен звенел, колокольчик тренькал, огненное банджо бренчало и летало по комнате как бешеное.

— Откуда у них взялось банджо? — недоверчиво спросил Дружище Джонс.

— Вот уж не знаю. Как-нибудь материализовалось, наверное, заодно с бубном. Вы же не думаете, что добропорядочный нью-йоркский адвокат станет держать дома склад музыкальных инструментов (хватило бы снарядить маленький бродячий оркестр!) просто на случай, если

вдруг пара призраков решит устроить ему музыкальный сюрприз? Как известно, у всякой потусторонней сущности свой пыточный музыкальный инструмент — как у всякого святого мученика свое орудие страстей. Ангелы, если меня правильно информировали, вечно играют на арфе, ну а призраки обожают банджо и бубны. Элифалету Дункану достались привидения, которые шли, вероятно, в ногу со временем и способны были, я думаю, самостоятельно обеспечить себя музыкальными инструментами. Так или иначе, той ночью, которую Элифалет Дункан с приятелем провели в старом салемском доме, инструменты у них имелись. И призраки на них играли, а еще звонили в колокольчик и непрестанно стучали тут и там. И так продолжалось всю ночь.

— Всю ночь? — ужаснулась Герцогиня.

— Всю ночь напролет, — степенно подтвердил Дядюшка Ларри, — и следующую ночь тоже. Элифалет ни на миг не сомкнул глаз, как и его приятель. На вторую ночь офицеру явилось местное привидение; на третью наведалось снова; наутро офицер собрал свои вещи и первым же поездом отбыл в Бостон. Вообще-то, жил он в Нью-Йорке, но готов был уехать хоть в Бостон,

лишь бы не встречаться больше с салемским призраком. В отличие от него Элифалет никакого страха не испытывал, отчасти потому, что сам ни разу не видел ни домового, ни титульного призрака, а отчасти потому, что с миром духов чувствовал себя по-свойски и запугать его было не так-то просто. Но после трех подряд бессонных ночей, лишившись компании приятеля, он начал терять терпение и подумал, что это уже чересчур. Хотя Элифалет по-своему любил призраков, он предпочитал их по одному, а не всех скопом. На его вкус, из двух призраков один был лишний. Коллекционировать привидения в его планы не входило. Он сам плюс один призрак — славная компания, но он плюс два призрака — увольте.

— И что же он сделал? — спросила Бэби ван Ренсселар.

— А что тут сделаешь? Он еще немного выждал в надежде, что они выдохнутся, но он выдохся первый. Понимаете, призраки привыкли спать днем, для них это в порядке вещей, но люди спят ночью, а по ночам призраки устраивали в доме тарарам. Они без конца затевали перепалки и перебранки, и стоило часам на лестнице пробить двенадцать, они и вовсе не знали удержу, какие только номера не откалывали — по всему дому

стук-перестук, колокольчики заливаются, бубен звенит, огненное банджо бренчит и летает по воздуху, но хуже всего было то, что эти двое ругались как извозчики.

— Никогда бы не подумала, что привидения сквернословят, — удивилась Герцогиня.

— А как он понял, что они ругались? Разве мог он их слышать? — с сомнением спросил Дружище Джонс.

— Верно, — похвалил его Дядюшка Ларри, — слышать их он не мог… так, чтобы разобрать слова. Только невнятное бормотание, пыхтенье да кряхтенье. Но впечатление было такое, что они ругаются почем зря. Если бы они ругались членораздельно, Элифалета это удручало бы намного меньше, потому что тогда он знал бы худшее. Но постоянно чувствовать, что воздух в доме отравлен непристойностями, оказалось выше его сил, и через неделю такой жизни он сдался, махнул рукой и уехал в Белые горы.

— Пусть выясняют отношения без него! Так, наверное, он подумал, — не выдержав, вставила Бэби ван Ренсселар.

— Нет, вовсе нет. В его отсутствие они никак не могли бы ссориться, — объяснил Дядюшка Ларри. — Дело в том, что Элифалет не мог сам уехать,

а титульного призрака оставить в доме, тогда как домовый призрак, напротив, ни при каких обстоятельствах не мог покидать дом. Поэтому, когда уехал Элифалет, с ним уехал и фамильный шотландский призрак, а местный, салемский, остался в доме. Если вас разделяют сотни миль, ссориться как-то не с руки, и в этом отношении призраки ничем не отличаются от людей.

— А дальше, что было дальше? — спросила Бэби ван Ренсселар с очаровательным нетерпением.

— А дальше случилась удивительнейшая вещь. Элифалет Дункан направился в Белые горы по железной дороге, которая идет через вершину горы Вашингтон, и в поезде встретил старого школьного приятеля (после школы они ни разу не виделись), и тот познакомил его с сестрой, а сестра была необыкновенно мила, и Дункан влюбился в нее с первого взгляда, и к тому времени, как поезд взобрался на вершину горы Вашингтон, бедняга от любви скатился в пропасть самоуничижения — он полагал, что недостоин ее, и все же мечтал ей понравиться, хотя бы чуть-чуть.

— Не вижу, что тут удивительного, — сказал Дружище Джонс, бросив взгляд на Бэби ван Ренсселар.

— Кто она, эта молодая особа? — спросила

Герцогиня, которая одно время жила в Филадельфии.

— Мисс Китти Саттон, родом из Сан-Франциско, дочь судьи Саттона, совладельца юридической фирмы «Пиксли и Саттон».

— Очень достойная семья, — благосклонно кивнула Герцогиня.

— Надеюсь, ее мать не та крикливая и беспардонная миссис Саттон, которую я лет пять назад повстречал в Саратоге во время летних каникул? — насторожился Дружище Джонс.

— Возможно, та самая, — сдержанно ответил Дядюшка Ларри.

— Старая грымза. Недаром ребята прозвали ее Мамашей Горгоной.

— Что ж, милашка Китти Саттон, в которую влюбился Элифалет Дункан, — дочь Мамаши Горгоны. Но он в глаза не видел матери — та жила где-то на Западе, в Лос-Анджелесе, Фриско или Санта-Фе, — зато вдоволь насмотрелся на дочь, пока она с братом и его женой путешествовала по Белым горам. Их троица переезжала из одной гостиницы в другую, и Дункан повсюду их сопровождал, так что трио превратилось в квартет. К концу лета он надумал сделать предложение. Подходящий случай найти было не трудно — вся

компания ежедневно отправлялась любоваться видами. Он хотел не откладывая исполнить задуманное и тем же вечером повез девушку на озеро Уиннипесоки кататься на лодке при луне. Усаживая ее в лодку, он твердо решил: теперь или никогда, и тут же у него закралось подозрение, что она прочла его мысли.

— Девушки, — изрек Дружище Джонс, — не садитесь ночью в лодку с молодым человеком, если не хотите за него выйти.

— Да, иногда лучше сразу отказать и не мучиться, — как бы между прочим заметила Бэби ван Ренсселар.

— Едва Элифалет взялся за весла, сердце у него сжалось от недоброго предчувствия. Он попробовал избавиться от наваждения, но ничего не получалось. С каждой минутой тревога росла. Не успел он раз десять взмахнуть веслами (а грести он привык быстро), как ощутил чье-то таинственное присутствие между собой и мисс Саттон.

— Не иначе призрак, он же ангел-хранитель, пытался уберечь его от женитьбы? — снова перебил рассказчика Дружище Джонс.

— Угадали, именно так, — подтвердил Дядюшка Ларри. — И Элифалет внял совету, сдержал себя и тихо-мирно доставил девушку назад в гостиницу;

предложения руки и сердца она не услышала.

— Вот дурень, — фыркнул Дружище Джонс. — Подумаешь, призрак! Если я решу сделать предложение, меня никто не остановит. — И он выразительно посмотрел на Бэби ван Ренсселар.

— На следующий день, — продолжал Дядюшка Ларри, — Элифалет проспал, и когда с опозданием спустился к завтраку, то узнал, что Саттоны утренним поездом уехали в Нью-Йорк. Он хотел немедленно мчаться вдогонку, но вновь почувствовал, как его волю сковала таинственная сила. Два дня он провел в мучительной борьбе с собой, пока наконец не собрался с духом осуществить задуманное, что бы там призрак ему ни внушал. В Нью-Йорк он прибыл уже затемно. Наспех переодевшись, он отправился в гостиницу, где остановились Саттоны, в надежде повидать хотя бы ее брата. Буквально каждый дюйм пути ему приходилось брать с боем, преодолевая яростное сопротивление ангела-хранителя, и он даже подумал, что же будет, если мисс Саттон примет его предложение. Призрак запретит ему венчаться? В гостинице ему никого увидеть не удалось, и он вернулся домой с намерением на следующий день, пораньше, снова нанести визит и покончить с этим. На следующий день около

двух часов пополудни он вышел из конторы, исполненный решимости узнать свою судьбу. Пройдя примерно пять кварталов, он с удивлением обнаружил, что дух-покровитель Дунканов больше не препятствует его матримониальным планам. Ощущение неминуемой беды, внутреннего разлада, странной раздвоенности, как если бы что-то его упорно удерживало, — все вдруг исчезло без следа. У Элифалета словно камень с души упал, и он, не чуя под собой ног, помчался в гостиницу. Мисс Саттон была одна. Он произнес заветные слова и получил ответ.

— Она, конечно, согласилась? — спросила Бэби ван Ренсселар скорее утвердительно.

— Конечно, — подтвердил Дядюшка Ларри. — И пока они, не помня себя от радости, забрасывали друг друга признаниями и заверениями, в гостиную вошел ее брат с выражением скорби на лице и телеграммой в руке. Скорбь была вызвана телеграммой из Фриско, в которой сообщалось о внезапной кончине их матушки, миссис Саттон.

— Так вот почему фамильный призрак больше не противился этому союзу? — догадался Дружище Джонс.

— Как всегда в точку. Призрак-покровитель понимал, что Мамаша Горгона — серьезная помеха

счастью Дункана, и честно предупреждал его об этом. Но как только помехи не стало, призрак тотчас дал согласие на брак.

Плотная, влажная завеса тумана опускалась все ниже, и с одного конца корабля другой был уже еле различим. Дружище Джонс заботливо поправил плед, укрывавший Бэби ван Ренсселар, и снова вернулся на место, под свое теплое покрывало.

Дядюшка Ларри ненадолго прервал рассказ, раскуривая очередную тонкую сигару, — он курил их одну за другой.

— Полагаю, лорд Дункан, — Герцогиня никогда не забывала про титулы, — после свадьбы призраков уже не видел.

— Он вообще никогда их не видел — ни до, ни после. Но они едва не расстроили его свадьбу, едва не разбили два юных сердца.

— Уж не хотите ли вы сказать, будто вашим призракам было известно о неких особых обстоятельствах или непреодолимом препятствии и потому они не могли молчать? — высказал предположение Дружище Джонс.

— Да разве может какой-то призрак, и даже два призрака, помешать девушке выйти замуж за любимого человека? — возмутилась Бэби ван

Ренсселар.

— Действительно, это кажется невероятным. — Дядюшка Ларри попытался немного согреться, два или три раза подряд пыхнув своей тонкой сигаркой. — И не менее странным, чем сам этот факт, было то, что случилось потом. Видите ли, из-за смерти матери мисс Саттон потребовала отложить свадьбу на год, и поэтому у них с Дунканом была уйма времени, чтобы рассказать друг другу о себе всё-всё. Элифалет немало узнал о ее школьных подругах, а Китти вскоре заочно познакомилась со всем его семейством. Он долго не говорил ей о титуле, поскольку не любил хвастаться. Зато в подробностях описал свой старый салемский дом. И однажды вечером, ближе к концу лета, незадолго до свадьбы, назначенной на первые дни сентября, она объявила ему, что не хочет никакого свадебного путешествия и мечтает провести медовый месяц в его старом салемском доме, в тишине и покое, вдали от всех и вся. Элифалет сперва очень обрадовался — его самого это более чем устраивало. Но потом вспомнил про призраков и схватился за голову. К этому времени он уже рассказал ей о духе-покровителе рода Дунканов, и новость о том, что у ее мужа будет в личном услужении фамильный

призрак, вызвала у нее ребяческий восторг. Но он ни словом не обмолвился о привидении в старом салемском доме. И теперь, представив себе, как она до смерти напугается, если тамошний призрак вздумает ей явиться, он понял, что проводить в Салеме медовый месяц ни в коем случае нельзя. Он честно выложил ей все как есть — как при его появлении в Салеме два призрака «накладываются» друг на друга, и устраивают тарарам, и двигают существующие предметы, и материализуют несуществующие, и вообще делают жизнь в доме невыносимой. Китти слушала его в полном молчании, и Элифалет решил, что она передумала ехать в Салем. Но он сильно ошибался.

— Как это типично для мужчины — думать, что она передумает, — обронила вслух Бэби ван Ренсселар.

— Она сказала ему, что не вынесет соседства призраков, но ни за что не выйдет замуж за труса, который перед ними пасует.

— Как это типично для девицы — быть до смешного непоследовательной, — обронил Дружище Джонс.

Тонкая сигара Дядюшки Ларри давно потухла. Он закурил следующую и продолжил:

— Элифалет пытался ее урезонить, но безуспешно. Китти стояла на своем. Она твердо решила провести медовый месяц в старом салемском доме и так же твердо решила, что не переступит его порог, пока там обитают привидения. Если Элифалет не сможет дать ей гарантий, что призрачный жилец уберется оттуда и она будет избавлена от концертов и фокусов с материализациями, то она просто-напросто откажется за него выходить. Она не потерпит, чтобы два вздорных призрака, что-то там между собой не поделивших, отравили ей медовый месяц, а свадьба может и подождать, пока он не обеспечит ей нормальные условия для жизни в доме.

— Какая, право, неразумная молодая особа, — сказала Герцогиня.

— Да, именно так и подумал Элифалет, хоть и был без памяти в нее влюблен. В глубине души он не сомневался, что сумеет ее переубедить. Однако не сумел. Она закусила удила. А если девица закусила удила, остается смириться с неизбежным. И Элифалет смирился. Он уяснил, что должен либо отказаться от нее, либо избавиться от призраков; и поскольку ее он любил, а призраками не дорожил, он вознамерился их приструнить. Характер у Элифалета всегда был решительный — он ведь

полукровка, помесь шотландца с янки, а обе породы славятся тем, что не бегут от опасности, поджав хвост. Короче говоря, он составил план действий и отправился в Салем. На прощание он поцеловал Китти, и ему показалось, что ей не хочется его отпускать, но она храбрилась, не подавала виду и даже пошла его проводить, а придя домой, целый час проплакала и потом ходила как в воду опущенная, пока на следующий день он к ней не вернулся.

— Так он сумел прогнать призраков? — спросила Бэби ван Ренсселар, сгорая от любопытства.

— Я к этому как раз и веду, — ответил Дядюшка Ларри; дойдя до кульминационного момента в повествовании, он, как и полагается опытному рассказчику, сделал долгую паузу. — Вы сами понимаете, что Элифалет взялся за тяжелое дело и охотно воспользовался бы отсрочкой, однако нужно было безотлагательно выбирать между девушкой и призраками, а потерять девушку он ни в коем случае не хотел. Он попытался придумать или припомнить какой-нибудь простой и быстрый способ разделаться с привидениями, но в голове было пусто. Хорошо бы выкурить призраков из дома, и чтобы духу их больше не было! А что, если подговорить их наделать долгов?

Тогда можно было бы напустить на них шерифа. Или пристрастить их к спиртному — призрака-дебошира с явными симптомами белой горячки можно было бы на веки вечные упечь в психушку. Увы, подобные прожекты не выдерживали критики.

— Так что он предпринял? — не выдержал Дружище Джонс. — Суд просит защиту высказываться по существу.

— Помяните мое слово, вы пожалеете о своей несдержанности, — попенял ему Дядюшка Ларри, — когда узнаете, как все обернулось.

— Как, как, Дядюшка Ларри? — взмолилась Бэби ван Ренсселар. — Не томите!

И Дядюшка Ларри вернулся к рассказу:

— Элифалет отправился в старый салемский дом, и, как только часы пробили двенадцать, вздорные призраки опять затеяли свару. Снова тут и там начался перестук, затренькали колокольчики, зазвенели бубны, забренчали летающие банджо, и весь набор манифестаций и материализаций был представлен в точности как прошлым летом. Единственное отличие, которое Элифалет сумел уловить, состояло в повышенном градусе сквернословия; разумеется, мы можем говорить лишь о самом общем впечатлении, ибо

ни единого слова как такового он не слышал. Элифалет велел себе набраться терпения и некоторое время просто слушал и наблюдал. Ни одного из призраков он, конечно же, не видел, поскольку ни тот ни другой не могли ему показаться. Наконец все это его порядком разозлило, и он решил, что пора вмешаться. Он грозно постучал по столу и попросил тишины. Убедившись, что завладел вниманием призраков, Элифалет объяснил им, как обстоит дело: он любит девушку, но не сможет на ней жениться, пока не очистит дом от привидений. Он обращается к ним как к старым друзьям, сказал он, и взывает к их чувству благодарности. Титульный призрак веками пользовался гостеприимством и покровительством рода Дунканов, а домовый призрак почти двести лет даром жил в старом салемском доме. И теперь он, Элифалет, покорнейше просит их поскорее выяснить отношения друг с другом и раз навсегда избавить его от ненужных сложностей. Он предложил им, не откладывая в долгий ящик, решить свой спор в честном поединке; кто победит, тот и останется. Элифалет заранее обо всем побеспокоился и привез с собой все, что нужно для дуэли. И он выдвинул на середину комнаты тяжелый чемодан и разложил на столе пару револьве-

ров, пару ружей, пару дуэльных шпаг и пару разбойничьих ножей. Он вызвался быть секундантом — обеих сторон сразу — и дать команду сходиться. Потом он достал из чемодана колоду карт и пузырек с ядом: если призракам претит кровопролитие, они могут сыграть в карты, и проигравший примет яд. Он с волнением ждал, что они ответят. На некоторое время воцарилось молчание. Потом он явственно почувствовал, как в одном углу комнаты все задрожало и затряслось, и тут же вспомнил, что при первом упоминании дуэли из этого угла донесся тихий звук вроде испуганного «ах», если перевести это на понятный нам язык. Интуиция подсказывала ему, что там притаился домовый дух и что он порядком напуган. В противоположном углу комнаты началось какое-то движение, как если бы титульный дух выступил вперед, всем своим видом выражая оскорбленную рыцарскую гордость. Не то чтобы Элифалет все это видел — он вообще никогда не видел призраков, — но он их прекрасно чувствовал. Еще через минуту натянутого молчания из угла, где находился фамильный призрак, послышался голос — сильный, звучный, но слегка прерывавшийся от негодования. Вот бесспорное доказательство, произнес голос, что

Элифалет слишком недолго пробыл главой своего клана и не вполне усвоил родовые правила чести, иначе он не посмел бы предположить, будто некто одной с ним крови способен обратить оружие против дамы. Элифалет возразил, что ему и в голову не приходило предлагать Дунканову духу поднять руку на женщину и все, чего он хотел, — это чтобы один призрак вступил в единоборство с другим. И тогда голос известил Элифалета, что тот, другой, — женщина.

— Что?! — От неожиданности Дружище Джонс подскочил на месте. — Уж не хотите ли вы сказать, что салемское привидение — женщина?

— Точно такой же вопрос задал Элифалет Дункан, слово в слово, — сообщил Дядюшка Ларри, — только ответ был ему уже ни к чему. Он вдруг разом вспомнил все, что знал про домового призрака, и сам понял, что титульный призрак сказал чистую правду. Он никогда не задумывался о половой принадлежности привидения, но теперь у него не оставалось ни малейших сомнений, что дух салемского дома — женщина. Едва Элифалет осмыслил это открытие, он тотчас нашел и выход из затруднительного положения. Призраков надо поженить! И тогда не будет больше никаких ссор, манифестаций и

материализаций, никаких концертов, стуков, колокольчиков, бубнов и банджо. Поначалу призраки встретили его идею в штыки. Голос из угла объявил, что Дунканов дух не собирается и никогда не собирался связывать себя брачными узами. Но Элифалет принялся жарко с ними спорить, упрашивать, убеждать и улещивать, а уж как он разливался о радостях супружеской жизни! Правда, ему пришлось признать, что он пока не представляет, как уговорить священника их обвенчать, но голос из угла вполне серьезно заверил его, что на этот счет беспокоиться нечего: в мире духов священников хоть отбавляй. И тут впервые заговорило салемское привидение — мягким грудным голосом, с каким-то диковинным, староновоанглийским выговором, который резко контрастировал с рокочущей шотландской манерой фамильного призрака. Элифалет Дункан, по всей видимости, забыл, напомнил ему женский голос, что она замужем. Но Элифалет и бровью не повел, поскольку внимательно изучил ее дело. Он сказал ей, что она заблуждается: по сути, она не замужнее привидение, а вдовствующее, поскольку ее супруга за убийство жены вздернули на виселице. Тогда Дунканов призрак обратил внимание на большую разницу в их возрасте,

ведь ему без малого четыреста пятьдесят, тогда как ей всего двести. Но Элифалет не зря выступал в суде перед присяжными — он произнес блестящую речь, убедительно и пылко уговаривая призраков сочетаться браком. Позже он пришел к заключению, что они только и ждали, чтобы их уговорили, но тогда он искренне полагал, будто перед ним стоит сложнейшая задача, и не жалея сил расписывал им преимущества своего плана.

— И он их уговорил? — спросила Бэби ван Ренсселар с обычным женским интересом к матримониальным делам.

— Уговорил, — успокоил ее Дядюшка Ларри. — Не устояв перед его красноречием, дух-покровитель Дунканов и привидение, обитавшее в старом салемском доме, согласились на помолвку. С тех пор они ему больше не докучали. Вздорные призраки остались в прошлом. И в тот самый день, когда счастливый Элифалет Дункан поджидал Китти Саттон у ограды церкви Милосердия, они тоже обвенчались, призвав на помощь знакомого призрака духовного звания. Сразу после церемонии призрак-жених и призрак-невеста отбыли в свадебное путешествие, а лорд и леди Дункан поехали на свой медовый месяц в старый салемский дом.

Дядюшка Ларри умолк. Сигарка у него опять догорела. История про двух вздорных призраков была рассказана. Маленькая компания на палубе океанского лайнера погрузилась в задумчивое молчание, пока его не нарушил свирепый рев сирены на маяке, способный пробиться сквозь самый густой туман.

1884

Вернон Ли
1856–1935
Amour Dure
Из дневника Спиридона Трепки

Часть первая

Урбания, 20 августа 1885 года

Сколько лет мечтал я побывать в Италии, воочию узреть великое Прошлое, и что же? Это — *Италия,* это — *Прошлое?..* Я чуть не плакал, да, чуть не плакал от обиды, бредя наугад по улицам Рима. В кармане лежало приглашение на прием в германском посольстве, а трое-четверо увязавшихся за мной вандалов — кто из Берлина, кто из Мюнхена — забрасывали меня полезными сведениями: где подают лучшее в Риме пиво и кислую капусту и о чем пишут в своих последних статьях господа Гримм и Моммзен.

Что со мною? Быть может, это пустой каприз? Быть может, кокетство? Разве сам я — не порождение современной северной цивилизации, а мой приезд в Италию — не следствие современного научного вандализма, благодаря которому я и получил стипендию для путешествия в награду за книгу — еще одну среди множества омерзительных книг, в коих автор выступает блестящим эрудитом и тонким критиком искусства? И разве не для того я нахожусь здесь, в Урбании, чтобы по прошествии энного количества месяцев

выпустить в свет другую подобную книгу? Эх ты, Спиридон! Да неужто ты воображаешь, жалкий ты полячишка, превратившийся в подобие немецкого педанта, доктор философии и *профессор,* автор удостоенного премии очерка о тиранах пятнадцатого столетия, — неужто воображаешь, будто, нацепив черную профессорскую мантию и набив карманы министерскими приглашениями и типографскими гранками, ты сумеешь духовно слиться с Прошлым?

Увы, все так! Но дайте же мне забыть об этом хотя бы иногда, вот как я забылся нынче утром, когда белые волы медленно тянули мой кабриолет по дороге, сперва вившейся зигзагами среди бесконечных долин, а потом медленно взбиравшейся по склонам бесконечных гор — кругом нежно алеющие серые вершины, где-то далеко внизу шумит невидимая речка, — пока наконец не доставили меня в Урбанию, забытый богом и людьми городок, с непременными башнями и крепостной стеной, который примостился высоко в отрогах Апеннинских гор. Сиджилло, Пенна, Фоссомброне, Меркателло, Монтемурло — едва возница сообщал название попавшейся на пути деревни, как в памяти всплывал рассказ о давнем сражении или коварном предатель-

стве. И когда исполинские горы скрыли от меня низкое вечернее солнце и долины погрузились в синеватую тень и туман, и только полоса тревожного пепельно-багряного зарева освещала сзади приближавшиеся городские башни и купола, и оттуда над ущельем поплыл перезвон колоколов, я совершенно приготовился к тому, что за каждым поворотом дороги может встретиться отряд всадников в старинных шлемах с козырьком и остроносых башмаках: доспехи сверкают, вымпелы трепещут на древках в лучах заката… И потом, менее двух часов назад, уже прибыв в город и пройдясь по безлюдным темным улицам — лишь кое-где, перед уличным алтарем или лотком с фруктами, тускло мерцала лампада и в черной кузне пылал красный огонь, — да, в эти минуты, проходя под стенами и башнями дворца… Ах, вот она, Италия, вот оно, Прошлое!..

21 августа

А вот вам и Настоящее! Четыре рекомендательных письма — и столько же постылых светских визитов, по часу каждый: к вице-префекту, синдику, директору архива и одному доброму человеку, которого мой друг Макс попросил предоставить мне кров…

22–27 августа

День по большей части провел в архиве — по большей части изнывая от скуки: тамошний директор потчевал меня «Комментариями» Энеа Сильвио — три четверти часа подряд, не переводя духу! От последствий сей изощренной пытки (что испытывает бывший скакун, насильно запряженный в повозку? Тому, кто способен это вообразить, ведомы чувства поляка, заделавшегося прусским профессором!) я спасаюсь долгими прогулками по городу. Собственно, городок — это пригоршня высоких черных домов на верхушке альпийского уступа; длинные узкие улочки ручьями разбегаются по склонам наподобие санных дорожек, которые мы в детстве раскатывали на горках, а в центре великолепное сооружение из красного кирпича, с башенками и толстыми крепостными стенами — дворец герцога Оттобуоно; и когда смотришь окрест из дворцовых окон, то видишь внизу бескрайнее море, гигантский водоворот, печальное кружение серых гор. Народ здесь своеобычный: смуглые, черноволосые, бородатые мужчины разъезжают, точно разбойники, верхом на косматых мулах, завернувшись в плащи с зеленой подкладкой; еще есть праздно слоняющиеся дюжие молодцы — эти ходят

пригнув голову и чем-то неуловимо напоминают живописных головорезов на фресках Синьорелли; встречаются и миловидные молодые люди с воловьим взглядом, словно сошедшие с портретов Рафаэля; и дородные женщины — этакие Мадонны или, пожалуй, святые Елизаветы — бредут вверх и вниз крутыми узкими черными проулками, постукивая деревянными башмаками, поддерживая медный кувшин на голове. С местными жителями я говорю мало — боюсь утратить свои иллюзии. На углу одной улицы, прямо напротив изящного маленького портика Франческо ди Джорджо, я увидел несуразно большую красно-синюю вывеску с изображением ангела, коронующего Элиаса Гоу, достославного изобретателя швейной машинки. Клерки из вице-префектуры, собираясь за обедом в таверне, где столуюсь и я, кричат как оглашенные, и всё на политические темы: Мингетти, Кайроли, Тунис, броненосцы и т. д. и т. п., и при этом дружно распевают куплеты из «La Fille de Mme Angot»[16] — по всей видимости, эту французскую оперетку здесь недавно давали.

Нет, увольте, вступать в разговор с местными

---

[16] Примечания: 16
«Дочь мадам Анго» (*фр.*).

жителями — слишком рискованное предприятие. За единственным, возможно, исключением в лице моего добрейшего хозяина, «синьора нотаро» Порри: он не менее учен, но куда менее охоч до нюхательного табака, чем важный директор архива (по крайней мере, чаще прохаживается щеткой по лацканам своего сюртука). Я забыл отметить (а надобно отметить ради несбыточной надежды, что когда-нибудь эти записки, точно так же, как засохшая веточка оливы или трехфитильная тосканская лампа на моем столе, помогут мне воскресить в памяти — там, в ненавистном берлинском вавилоне, — блаженные итальянские деньки) — забыл упомянуть о том, что я поселился в доме антиквара. Из моего окна видна главная улица, которая поднимается к рыночной площади, и там стоит невысокая колонна, увенчанная фигурой Меркурия, в окружении портиков и тряпичных навесов. Перегнувшись через выщербленные поливальные кувшины и кадки с душистым базиликом, гвоздикой и тагетесом, я могу углядеть краешек дворцовой башни на фоне размытого ультрамарина склонов. Своей задней стороной дом отвесно спускается в лощину, и его обитатели постоянно ходят по лестницам вверх-вниз. Странное это место — снаружи дом весь

черный, а внутри беленые комнаты, завешанные Рафаэлями, Франчами и Перуджинами (их мой хозяин снимает со стены и относит в лучшую городскую гостиницу всякий раз, как там должен появиться заезжий постоялец), заставленные старинными резными стульями, ампирными кушетками, коваными раззолоченными свадебными сундуками и всевозможными шкафами со старинным камчатным полотном и богато расшитыми алтарными покровами, отчего в доме прочно поселился запах старого ладана и тлена. И за всем этим надзирают три живущие с синьором Порри незамужние сестры: sora[17] Серафина, sora Лодовика и sora Адальджиза — три парки во плоти, даже с прялками и черными кошками.

Sor[18] Аздрубале, как все зовут моего хозяина, к тому же нотариус. Он с ностальгией вздыхает по Папской области (какой-то его родич состоял пажом при кардинале), но искренне верит, что если накрыть стол на двоих, зажечь четыре свечи, сваренные из жира мертвецов, и свершить некие ритуальные действия, которые он, увы, нетвердо знает, то в Сочельник или другой такой

---

[17] Примечания: 17
Синьора (*ит. диал.*).

[18] Примечания: 18
Синьор (*ит.*).

же колдовской вечер можно призвать святого Паскуале Байлона, и добрый святой начертит на закопченном снизу блюде выигрышные лотерейные номера, при условии, что прежде ты шлепнешь его по щекам и трижды прочтешь «Аве Мария». Главная трудность состоит в том, чтобы добыть жир усопших и успеть залепить святому пощечину, пока он не ретировался.

— Кабы не это, — уверяет sor Аздрубале, — папские власти давным-давно запретили бы лотерею… эх!

9 сентября

Впрочем, история Урбании не лишена романтического флера, хотя в трудах наших ученых педантов от романтики не осталось и следа (уж это как водится). Еще до приезда сюда мое воображение пленил странный женский образ, проступавший на безжизненных страницах истории здешних мест в изложении Гвальтерио и падре де Санктиса. Эта женщина — Медея, дочь Галеаццо Четвертого Малатесты, правителя Карпи, жена Пьерлуиджи Орсини, герцога Стимильяно, а после — Гвидальфонсо Второго, герцога Урбании, предшественника великого герцога Роберто Второго.

В биографии и характере этой необычной

женщины есть что-то и от Бьянки Капелло, и от Лукреции Борджиа. Она родилась в 1556 году и в двенадцать лет была просватана за кузена, некоего Малатесту из Римини. Ветвь эта внезапно захирела, помолвку расторгли, и годом позже девицу обручили с юношей из рода Пико, а в четырнадцать лет она с ним заочно вступила в брак. Однако и эта партия показалась недостаточно выгодной — под каким-то предлогом заочный союз был объявлен недействительным, а отец и дочь обратили благосклонный взор на следующего кандидата, герцога Стимильяно, богатого умбрийского землевладельца из рода Орсини. Однако отставленный жених, Джанфранческо Пико, так просто не сдался, кинулся искать заступничества у папы и даже рискнул похитить свою суженую, в которую был без памяти влюблен, ибо молодая особа, по свидетельству анонимного летописца, отличалась дивной красотой, веселым нравом и ласковым обхождением. Пико подкараулил девицу, когда та в паланкине возвращалась в дом отца, и увез в свой замок близ Мирандолы и там «со всем надлежащим почтением» попытался склонить ее на свою сторону и настоять на законном праве супруга. Девушке удалось бежать с помощью связанной из простыней и спущен-

ной в ров веревки, а Джанфранческо Пико был найден с ножом в груди — он принял смерть от руки мадонны Медеи да Карпи. Красивый юноша, всего восемнадцати лет от роду.

Убрав со своего пути Пико и получив разрешение папы аннулировать брак, Медея да Карпи торжественно обвенчалась с герцогом Стимильяно и уехала с ним в его владения неподалеку от Рима.

Два года спустя Пьерлуиджи Орсини был зарезан одним из своих конюхов в собственном замке под Орвието. Подозрение пало на вдову, тем более что вскоре убийца герцога тоже простился с жизнью — его прикончили двое слуг в покоях овдовевшей герцогини; однако конюх успел разболтать, что убил господина, прельстившись обещанием госпожи в награду подарить ему любовь. Обстановка накалилась, и Медее да Карпи пришлось спасаться бегством. Она устремилась в Урбанию и пала к ногам герцога Гвидальфонсо Второго, заявив, что конюха приказала убить, дабы спасти от поругания свое честное имя, которое убийца мужа злостно оклеветал, и что сама она никоим образом к смерти мужа не причастна. Бесподобная красота девятнадцатилетней вдовы сразила урбанийского герцога, и он со-

вершенно потерял голову. Притворно поверив в безвинность Медеи, он отказался выдать ее клану Орсини, родичам ее покойного супруга, и поселил беглянку в роскошных покоях в левом крыле своего дворца, отведя ей, в частности, гостиную со знаменитым камином, украшенным мраморными амурами на лазоревом фоне. Гвидальфонсо был без ума от красавицы-гостьи. Прежде человек совсем домашний и робкий, он стал публично пренебрегать своей женой, Маддаленой Варано из Камерино, с которой дотоле, несмотря на бездетность, жил в мире и согласии; теперь же он не только надменно отвергал грозные предупреждения своих советников и самого сюзерена-папы, но и дошел до прямой низости: принялся чернить репутацию жены, приписывая ей несуществующие проступки. Не в силах вынести такое обращение, герцогиня Маддалена нашла прибежище в монастыре босоногих сестер в Пезаро, где с тех пор томилась и чахла, покуда в ее урбанийском дворце хозяйничала Медея да Карпи, рассорившая герцога Гвидальфонсо и с могущественными Орсини, которые по-прежнему обвиняли Медею в убийстве Стимильяно, и с семейством Варано, родственниками безвинно пострадавшей герцогини Маддалены. Так

продолжалось до 1576 года, пока герцог Урбании, внезапно (и при весьма подозрительных обстоятельствах) овдовев, не женился на Медее да Карпи — через два дня после кончины своей несчастной супруги. В его втором браке детей также не было, однако новая жена имела такую власть над герцогом Гвидальфонсо, что он назначил своим наследником (с великим трудом добившись согласия папы) юного Бартоломео, сына Медеи и Стимильяно, которого Орсини отказывались признать родней, утверждая, будто бы ребенок рожден от Джанфранческо Пико, названого супруга Медеи, павшего от ее руки, когда она, по ее словам, защищала свою честь; таковая инвеститура на герцогство Урбании, дарованная чужаку и бастарду, возмутительным образом ущемляла законные права кардинала Роберто, младшего брата Гвидальфонсо.

В мае 1579 года герцога Гвидальфонсо постигла внезапная и таинственная смерть, причем в его последние дни Медея никого к нему не допускала из страха, как бы он на смертном одре не одумался и не восстановил брата в правах. Не теряя времени, герцогиня потребовала объявить своего сына, Бартоломео Орсини, герцогом Урбании, а себя — регентшей, и с помощью двух-

трех бессовестных молодчиков, в первую голову капитана Оливеротто да Нарни, слывшего ее возлюбленным, захватила власть в свои руки и с необычным и устрашающим рвением взялась за дело: двинулась войной на Варано и Орсини, разбив их под Сиджилло, и безжалостно устраняла со своего пути всякого, кто осмеливался усомниться в законности новых правителей Урбании. Тем временем кардинал Роберто, сложив с себя ризы и обеты, метался между Римом, Тосканой и Венецией — да что там, добрался и до императора, и до испанского короля, взывая о помощи против узурпаторов. За несколько месяцев ему удалось восстановить против герцогини-регентши весь мир. Папа торжественно объявил инвеституру в пользу Бартоломео Орсини недействительной и издал указ, провозглашавший Роберто Второго герцогом Урбании и графом Монтемурло. Великий герцог Тосканский и венецианцы негласно обещали поддержку, если Роберто сумеет добиться явного перевеса сил. Постепенно город за городом герцогство переходило к Роберто, пока Медея да Карпи не оказалась во враждебном окружении в горной цитадели Урбании, подобно скорпиону в кольце огня. (Сравнение принадлежит не мне, но Рафаэлло Гвальтерио, историографу Роберто

Второго.) Только, в отличие от скорпиона, Медея не покончила с собой. Воистину непостижимо, как ей без денег и союзников удавалось столько времени сдерживать натиск врагов; Гвальтерио относит это на счет ее роковых чар, сгубивших Пико и Стимильяно и превративших простодушного Гвидальфонсо в законченного мерзавца; чар, власть которых была такова, что все без исключения ее любовники с радостью шли за нее на смерть, даже изведав на себе ее черную неблагодарность и узрев торжество соперника. Сей колдовской дар Рафаэлло Гвальтерио открыто приписывал происках дьявола.

В конце концов, бывший кардинал Роберто достиг цели и в ноябре 1579 года с триумфом вошел в Урбанию. Вернув себе герцогство, он явил благоразумную умеренность и милосердие. Никто не был казнен по его приказу, кроме Оливеротто да Нарни; но тот сам бросился с ножом на нового герцога, едва Роберто прибыл ко дворцу. Герцогская стража заколола смутьяна на месте, и он испустил дух, напоследок крикнув: «Орсини, Орсини! Медея, Медея! Долгие лета герцогу Бартоломео!» — хотя герцогиня, по слухам, нещадно им помыкала. Маленького Бартоломео отослали в Рим к Орсини; герцогине, уважая ее

статус, позволили жить в левом крыле дворца под домашним арестом.

Рассказывают, будто бы она имела дерзость просить аудиенции у нового герцога, но он лишь покачал головой и по старой клерикальной привычке прибегнул к подходящей случаю цитате — гомеровскому стиху об Одиссее и сиренах. Примечательно, что он упорно избегал встречаться с нею и, когда однажды она тайком прокралась в его покои, стремглав кинулся вон. Несколько месяцев спустя раскрыли заговор: злоумышленники готовили убийство герцога Роберто, и все нити вели к Медее. Но схваченный молодой заговорщик, некто Маркантонио Франджипани, родом из Рима, упрямо отрицал, несмотря на зверские пытки, какую-либо ее причастность, поэтому герцог Роберто, не любивший без нужды прибегать к жестокости, ограничился тем, что переселил герцогиню из своей виллы в Сант-Эльмо, куда ее на время поместили, в городской монастырь кларисинок, где она находилась под неусыпной охраной. Казалось бы, всякая возможность дальнейших козней для Медеи закрылась, ибо она ни с кем решительно не могла встречаться. И все же Медея исхитрилась передать письмо вместе со своим портретом юноше по

имени Принцивалле дельи Орделаффи, девятнадцатилетнему отпрыску знатной романьольской семьи, который был обручен с одной из красивейших девушек Урбании. Он тотчас разорвал помолвку и вскоре попытался застрелить из кавалерийского пистолета герцога Роберто, когда тот во время пасхальной мессы в храме преклонил колени для молитвы. На сей раз герцог Роберто твердо вознамерился добыть доказательства против Медеи. Злосчастного Принцивалле дельи Орделаффи несколько дней морили голодом, потом подвергли страшным истязаниям и, наконец, приговорили к смерти. Когда с него уже готовы были содрать кожу раскаленными щипцами и разорвать на куски, привязав к лошадям за руки и за ноги, ему объявили, что он может испросить себе великой милости — немедленной смерти, — если выдаст герцогиню. В то же самое время исповедник и монахини из обители, присутствовавшие на месте казни за воротами Сан-Романо, принялись уговаривать Медею спасти несчастного, чьи душераздирающие вопли она слышала вместе со всеми, и добровольно повиниться. В ответ Медея только испросила разрешения взойти на балкон, откуда она могла бы видеть Принцивалле и где он мог бы видеть ее. Холодно

окинув взглядом открывшуюся ей сцену, она бросила изувеченному страдальцу свой кружевной платок. Полуживой юноша попросил палача вытереть ему платком рот и, поцеловав кружево, воскликнул, что Медея невинна. После чего, промучившись еще несколько часов, испустил дух. Все это было уже слишком даже для долготерпеливого герцога Роберто. Окончательно поняв, что, покуда Медея жива, его собственная жизнь всегда будет в опасности, однако не желая провоцировать скандал (все-таки натура священника время от времени давала о себе знать), он велел задушить ее прямо в монастыре и — любопытная подробность — особо настоял, чтобы приговор был приведен в исполнение женщинами (двумя детоубийцами, которым он даровал прощение), и только женщинами!

«Сего милостивого правителя, — уверяет нас дон Арканджело Цаппи в жизнеописании герцога, изданном в 1725 году, — можно укорить лишь в одном жестокосердном поступке, тем более неприглядном, что прежде, пока папа не освободил его от священных обетов, герцог Роберто носил духовный сан. Решившись предать смерти пресловутую Медею да Карпи и пуще огня страшась ее несравненной красоты, пред

которой никакой мужчина, как герцог суеверно полагал, не в силах устоять, он, если верить молве, поручил умерщвление злодейки женщинам, мало того — запретил пускать к ней священника и даже монаха и тем самым принудил ее умереть без покаяния, отнял последнюю возможность исповедаться в грехах и очистить душу, если слабый огонек раскаяния все же мерцал в ее черном сердце».

Такова история Медеи да Карпи, герцогини Стимильяно-Орсини, а после жены урбанийского герцога Гвидальфонсо Второго. Двести девяносто семь лет назад, в декабре 1582 года, едва достигнув двадцати семи лет от роду, она была казнена. За свою короткую жизнь она погубила пятерых своих возлюбленных, от Джанфранческо Пико до Принцивалле дельи Орделаффи.

20 сентября

Сегодня в городе праздничная иллюминация по случаю пятнадцатой годовщины взятия Рима. Не считая упрямца Аздрубале, моего квартирного хозяина, который при всяком упоминании Piedmontese[19] (его словцо) укоризненно качает головой, весь здешний люд — пылкие

[19] Примечания: 19
Пьемонтцев (*ит.*).

Italianissimi[20]. Долго сдерживаемое гражданское чувство жителей Урбании, с 1645 года находившейся под властью папского престола, теперь дает обильные всходы.

28 сентября

Уже некоторое время я охочусь за портретами герцогини Медеи. Большинство из них, я думаю, было уничтожено по приказу герцога Роберто Второго из страха, как бы ее роковая красота даже после смерти не сыграла с ним злую шутку. Три-четыре портрета мне все же удалось найти. Один из них — миниатюра, обнаруженная в местном архиве, — якобы тот самый портрет, который она послала из заточения Принцивалле дельи Орделаффи, чтобы вскружить бедняге голову; другой — мраморный бюст, пылившийся во дворцовом чулане; третий — фигура на большом полотне, возможно, кисти Бароччо, — «Клеопатра у ног Августа». Август — это, несомненно, идеализированный портрет Роберто Второго: остриженные «под горшок» волосы, кривоватый нос, маленькая бородка и шрам, знакомые по другим изображениям, — только на сей раз герцога обрядили в

[20] Примечания: 20

Здесь: итальянские патриоты, убежденные сторонники объединения Италии.

костюм древнего римлянина. Клеопатра же, как мне подсказывает внутренний голос, несмотря на восточный наряд и черный парик, призвана олицетворять Медею да Карпи. Она стоит на коленях, взирая на победителя и обнажая грудь, словно готовясь принять от него смертельный удар, но в действительности коварно его обольщая, а он неуклюже, с деланой гадливостью отворачивается. Портреты не слишком искусны, исключая миниатюру — подлинный шедевр. Если внимательно ее рассматривать и присовокупить к ней все то, на что лишь намекает посредственный бюст, не так уж трудно во всей полноте представить ослепительную красоту «ужасного создания». Это тот женский тип, который воспели мастера позднего итальянского Возрождения, и почти тот, с небольшими оговорками, который обессмертили Жан Гужон и другие французы. Чистый овал лица, выпуклый округлый лоб, над ним мелкие, наподобие овечьего руна, локоны медно-рыжих волос, тонкий, с горбинкой (пожалуй, немного утрированной) нос, низкие (пожалуй, немного даже чересчур) скулы, большие, чуть навыкате серые глаза под изысканными дугами бровей; веки кажутся слишком туго натянутыми в уголках глаз, да и рот, пунцо-

вый, нежно очерченный, тоже чуточку туговат, верхняя губа словно бы едва прикрывает зубки. Как ни странно, эти ее тугие веки и рот придают всему облику необычайную утонченность и в то же время налет загадочности и какой-то почти зловещей соблазнительности — в них чуется готовность брать, но не отдавать. Слегка надутый по-детски ротик может и укусить или впиться, как пиявка. Кожа ослепительной белизны, идеальной, розовато-прозрачной лилейности, какая встречается только у рыжеволосых красавиц. Головка с искусно завитыми, заплетенными волосами, уложенными в замысловатую и вместе с тем невысокую прическу с жемчужным украшением, подобно голове античной Аретузы, горделиво венчает длинную и гибкую лебединую шею. Удивительная, на первый взгляд слишком каноничная, искусственная красота, отдающая холодом расчетливого сладострастия, и чем больше в нее вглядываешься, тем больше она бередит воображение и волнует душу. На шее у дамы золотая цепочка с маленькими ромбовидными золотыми подвесками, на них выгравирован девиз-каламбур (для той эпохи характерна мода на французские девизы): «Amour Dure — Dure Amour». Тот же девиз начертан снизу на бюсте,

благодаря чему я и смог опознать его как портрет Медеи. Вновь и вновь разглядывая эти трагические портреты, я пытаюсь представить себе, каким бывало лицо, сгубившее стольких мужчин, когда с уст слетали слова или когда губы растягивались в улыбке, — каким бывало ее лицо в тот миг, когда Медея да Карпи воспламеняла в сердце жертвы любовь, которая сильнее смерти. «Amour Dure — Dure Amour», как гласит ее девиз: «Любовь вечна — любовь жестока». И верно, как подумаешь о беззаветной преданности и горькой участи ее возлюбленных!..

13 октября

Все эти дни у меня буквально не было минуты черкнуть строчку в дневнике. С утра работа в архиве, днем длительные пешие прогулки — здесь стоит чудесная осень, и самые высокие горные вершины лишь немного присыпаны снегом. Вечерами я пишу отчет — будь он неладен! — то бишь изыскания об урбанийском дворце, чтобы угодить властям, которым всенепременно надобно занять меня бесполезной писаниной. За свое историческое сочинение я еще не взялся, ни слова не написал… А между тем я должен сделать запись об одном любопытном обстоятельстве, упомянутом в безымянном рукописном

жизнеописании герцога Роберто, на которое я сегодня наткнулся. Когда Антонио Тасси, ученик Джанболоньи, изваял конную статую герцога и ее установили посреди Корте, внутреннего дворцового двора, сей вельможный принц тайно приказал, как свидетельствует мой безымянный автор, изготовить серебряную статуэтку гения, или ангела-хранителя, его рода («familiaris ejus angelus seu genius, quod a vulgo dicitur „idolino“»), каковая статуэтка-«идолино», после ее освящения астрологами («ab astrologis quibusdam ritibus sacrato»), была помещена внутри бронзовой фигуры работы Тасси, а именно в полой груди, дабы, как сказано в рукописи, душа герцога дожидалась там, не потревоженная, часа всеобщего воскрешения из мертвых. Прелюбопытный пассаж, который меня, признаюсь, озадачил. Каким образом душа герцога Роберто могла «дожидаться» общего воскрешения? Разве не полагалось ему, доброму католику, свято верить в то, что его душа, отделившись от тела, прямиком отправится в чистилище? Неужели здесь слышны отголоски какого-то неизжитого в эпоху Ренессанса полуязыческого суеверия (в высшей степени странного, надо сказать, у того, кто еще недавно носил сан кардинала) — суеверия, согласно

которому семейного гения-«идолино», прочно связанного с душой усопшего, с помощью магических ритуалов («ab astrologis sacrato», выражаясь языком рукописи) можно удержать на земле, так что душа будет мирно почивать в теле вплоть до самого Судного дня? Все это меня, не скрою, до крайности изумляет. Интересно было бы выяснить, правда ли, что описанный идол находился — а может быть, и по сей день находится — в бронзовом изваянии.

20 октября

В последнее время ко мне прилепился сын вице-префекта, славный малый с лицом безнадежно влюбленного. Он лениво интересуется историей и археологией Урбании, хотя и в том и в другом круглый невежда. Пока его отца не перевели сюда, они жили в Сиене и Лукке, и теперь молодой франт носит такие длинные и узкие штаны, что едва сгибает ноги в коленях; щегольской наряд довершают крахмальный воротничок и монокль, а из нагрудного кармана сюртука всегда торчит новая пара лайковых перчаток. Об Урбании он говорит таким тоном, каким Овидий мог бы говорить о постылом Понте, с неудовольствием отзываясь (опять-таки под стать Овидию) о варварских обычаях молодежи;

о чиновном люде — толпе орущих и поющих сотрапезников, которых он наблюдает за обедом в моем трактире; о благородных господах, что гоняют на дрожках, выставляя напоказ голую шею, точно красавицы на балу. Этот малый без конца потчует меня своими amori[21] — прошлыми, настоящими и будущими — и, очевидно, держит за чудака, поскольку я в ответ ничем подобным угостить его не могу. На улице он обращает мое внимание на всех без разбору хорошеньких (или страшненьких) служанок и модисток, ни одной сравнительно молодой женщины не пропускает без того, чтобы не вздохнуть ей томно вслед или не спеть фальцетом. В довершение всего он привел меня в дом к своей даме сердца — дородной черноусой графине с голосом рыбной торговки. Здесь, как он уверяет, собирается лучшее в городе общество, и где, как не здесь, встретишь красивых женщин — ах, даже слишком красивых!.. И что же я вижу? Три огромные, скудно обставленные комнаты с голыми кирпичными полами, керосиновыми лампами и чудовищными картинами на ярко-голубых, цвета синьки для белья, и гуммигутово-оранжевых стенах; и посреди

[21] Примечания: 21
Любовными похождениями (*um.*)

этого великолепия каждый вечер рассаживаются кружком дамы и господа, числом примерно с дюжину, и, перебивая друг друга, спешат поделиться новостями годичной давности. Дамы помоложе, в чем-то пестром, желто-зеленом, обмахиваются веерами — от сквозняка у меня зуб на зуб не попадает; там, за веерами, гостьи благосклонно внимают любезностям, которые нашептывают им офицеры с прическами а-ля ощетинившийся еж. И в этих-то женщин я, по разумению моего приятеля, должен влюбиться! Я долго томлюсь в ожидании чая и закусок и, не дождавшись, мчусь домой с одним желанием — держаться подальше от урбанийского бомонда.

Я ничуть не лукавлю, когда говорю, что у меня нет никаких amori, хотя мой юный друг отказывается в это верить. Впервые оказавшись в Италии, я только и грезил, что о любви — вздыхал, словно Гёте в Риме, в мечтательной надежде, что вот сейчас отворится окно и мне предстанет дивное создание, «welch mich versengend erquickt»[22]. Быть может, все дело в том, что Гёте — немец, привык к немецким фрау, но я-то поляк и привык вовсе не к фрау. Как бы то ни было, сколько я ни

---

[22] Примечания: 22

«Что меня, опалив, жизнью наполнит» (*нем.*).

старался, но ни в Риме, ни во Флоренции, ни в Сиене не встретил ту, которая свела бы меня с ума, — ни среди благородных дам, трещавших на скверном французском, ни среди девиц попроще, дошлых и пошлых, как менялы; словом, я сторонюсь итальянского женского пола, с его визгливым голосом и цветастыми нарядами. Я обручен с историей, с Прошлым, с женщинами вроде Лукреции Борджиа, Виттории Аккорамбони — или Медеи да Карпи, если говорить о дне нынешнем. Возможно, когда-нибудь я еще испытаю безумную страсть, встречу женщину, которой стану поклоняться, как Дон Кихот, — а моей польской душе только этого и надо, — такую женщину, чтобы пить из ее туфельки и ради ее минутного удовольствия умереть. Когда-нибудь, но не здесь! Мало что так неприятно поражает меня, как несомненное вырождение итальянок. Что сталось с нацией Фаустин, Марозий, Бьянок Капелло? Где в наши дни вы отыщете (каюсь, она не дает мне покоя!) другую Медею да Карпи? Да если бы можно было встретить женщину такой редкой, немыслимой красоты, такой страшной испорченности, пусть даже все это было бы в ней только в зачатке, — я верю, я знаю, что сумел бы любить ее вечно, до самого Страшного суда, не

хуже всех этих Оливеротто да Нарни, Франджипани и Принцивалле!

27 октября

Прелестные сантименты (смотри выше) для профессора, ученого человека! А я ведь полагал ребячливыми молодых римских художников за их глупые розыгрыши и ночные крики на улицах, когда они вываливаются шумной гурьбой из «Caffe Greco»[23] или из винного погребка на виа Паломбелла. Разве не больше ребячусь я сам?.. Полюбуйтесь на меня — экий страдалец! Ну чем не Гамлет, чем не Рыцарь Печального Образа?

5 ноября

Медея да Карпи не идет у меня из головы. Во время прогулок, или по утрам в архиве, или одинокими вечерами я снова и снова ловлю себя на том, что думаю о ней. Неужто из историка я превращаюсь в беллетриста? Но, право же, мне чудится, будто я всем своим естеством понимаю ее; понимаю много лучше, чем позволяют собранные мною скупые факты. Перво-наперво надобно отодвинуть в сторону все отравленные педантизмом современные представления о добре и

---

[23] Примечания: 23
Греческой кофейни (*ит.*).

зле. В век торжества жестокости и коварства нет ни добра, ни зла, тем более для создания вроде Медеи. Попробуйте проповедовать добро и зло тигрице, милостивые государи! Но есть ли в мире существо благороднее этой опасной бестии? Сталь — в прыжке, бархат — в поступи. А как она потягивается своим гибким телом, или разглаживает великолепную шерсть, или вонзает крепкие когти в жертву!

Да, я понимаю Медею. Вообразите женщину бесподобной красоты, беспримерной смелости и хладнокровия, женщину разносторонне одаренную, с искрой Божьей, воспитанную отцом — захудалым князьком — на Таците и Саллюстии да еще на преданиях о блистательных Малатестах, о Чезаре Борджиа и прочих в том же роде, женщину, одержимую одной страстью — покорять и властвовать; вообразите, как ее в канун свадьбы с человеком ранга герцога Стимильяно вдруг объявляет своею и похищает какой-то никчемный Пико. Молодой болван запирает ее в своем фамильном разбойничьем замке, и она, по его разумению, обязана принять его горячечную любовь, почитая союз с ним за честь и священный долг! Для такой натуры, как у нее, сама мысль о принуждении возмутительна; и если Пико тем не

менее решается заключить ее в объятия, рискуя напороться на сталь в ее руках, — что ж, он знал, на что шел. Только наглый щенок — или, если угодно, юный герой — мог додуматься вести себя с подобной женщиной так, словно перед ним простая деревенская девка. И вот Медея выходит за своего Орсини. Выходит, уточним, за старого пятидесятилетнего вояку, сама будучи молоденькой девушкой, ведь ей всего шестнадцать. А теперь задумаемся, что это означает; а означает это то, что властная по природе женщина скоро оказывается на положении бессловесной рабыни, ей грубо указывают на ее место: ее дело — дать герцогу наследника, а не давать ему советы. Она не вправе спрашивать, зачем нужно то или это. Она должна приседать в поклоне перед его приближенными, военачальниками, любовницами. При малейшем намеке на строптивость на нее обрушиваются грязная брань и тумаки, а при первом подозрении в неверности ее могут придушить, уморить голодом или бросить гнить заживо в сырое подземелье. Предположим, она знает, что ее муж вбил себе в голову, будто она заглядывается на того или иного мужчину, или что один из его приспешников или одна из дам в его окружении нашептали ему, будто в жилах ее

сына Бартоломео течет кровь Пико, а не Орсини. Предположим, она знает свой жребий: сразить или быть сраженной. И она разит, а скорее, кто-то делает это за нее. Но какова цена услуги? Обещание любви, любви к конюху, отродью безвестного серва?! Шелудивый пес не иначе как повредился умом или вусмерть упился, если поверил, что такое возможно; да за одну свою чудовищную мечту мерзавец достоин смерти. А он еще и распустил язык! Эта напасть пострашнее Пико. И Медее ничего не остается, как снова спасать свою честь; если она решилась убрать с дороги Пико, то подлого конюха и подавно могла прикончить — сама или чужими руками.

Спасаясь от мести мужниной родни, она ищет убежища в Урбании. Герцог, как всякий мужчина, без памяти влюбляется в Медею; он пренебрегает женой и, положим, своим поведением разбивает ей сердце. Так что же — при чем тут Медея? Разве можно винить ее в том, что каждый камень, по которому промчалась ее колесница, разваливается на куски? Нет и еще раз нет. Нелепо полагать, будто женщина вроде Медеи способна строить козни против несчастной пугливой куропатки — герцогини Маддалены. Да она для нее попросту не существует! Выставлять Медею жестокосердной

так же абсурдно, как называть ее безнравственной. Самой судьбою ей назначено торжествовать над врагами, рано или поздно обращая даже их победу в бесславное поражение. Она наделена волшебным даром порабощать всех мужчин, которые попадаются на ее пути: каждый, кто ее видит, не может ее не полюбить и добровольно отдает себя в рабство, а все ее рабы обречены на гибель. Всех ее любовников, за вычетом герцога Гвидальфонсо, ждал безвременный конец, и это только справедливо. Обладать такой женщиной, как Медея, для простого смертного счастье нестерпимое, от него кружится голова, и счастливец подчас уже не помнит, чем он этой женщине обязан. Однако недолго проживет тот, кто возомнит, будто у него есть на нее особое право, ибо это святотатство. И только смерть, готовность оплатить блаженство смертью, делает мужчину достойным ее любви: любить, страдать и умереть — таков его желанный удел. В этом весь смысл ее девиза: «Amour Dure — Dure Amour». Любовь Медеи да Карпи неугасима, но любовнику она может стоить жизни. Вечная и жестокая любовь!

11 ноября

Я был прав, совершенно прав в своих догадках. Я отыскал (о радость! По случаю такой

несказанной удачи я закатил для нас с сыном вице-префекта пир из пяти перемен в траттории «La Stella d'Italia»[24]) — отыскал в архиве ворох писем, неведомых, разумеется, самому директору архива, — писем герцога Роберто, посвященных Медее да Карпи, и писем самой Медеи! Да-да, написанных ее собственной рукой, уверенным почерком образованного человека, с множеством сокращений, с какой-то греческой округлостью букв, которая столь естественна для просвещенной молодой дамы, знакомой и с Петраркой, и с Платоном. Сами по себе документы небольшой важности, в основном черновики деловых бумаг, которые секретарь после переписывал набело, датированные теми месяцами, когда она вертела слабохарактерным Гвидальфонсо. Но тем не менее это ее подлинные письма, и в своем воображении я словно наяву чую исходящий от тронутых плесенью клочков бумаги запах женских волос.

Немногие сохранившиеся письма герцога Роберто рисуют его в новом свете. Беспринципный, бессердечный, но отнюдь не бесстрашный святоша. Он дрожит при одной мысли о Медее — «la

---

[24] Примечания: 24
Правим на «Звезда Италии» (*ит.*)

pessima Medea»[25], — полагая, что она пострашнее «своей колхидской тезки». Его снисходительное долготерпение к пленнице объясняется единственно страхом применить к ней силу, страхом почти суеверным: он с превеликой радостью отправил бы ее на костер как ведьму. Письмо за письмом он рассказывает своему закадычному приятелю в Риме, кардиналу Сансеверино, о мерах предосторожности, которые неукоснительно соблюдает, покуда она жива: под камзолом носит железную кольчугу; молоко пьет только парное — сам присутствует при дойке; пищу, страшась отравы, проверяет на собаке; с подозрением принюхивается к свечам, если вдруг ему почудится, что у них странный запах; и боится лишний раз выехать верхом — не ровен час, кто-нибудь нарочно испугает лошадь и он свернет себе шею… А потом, когда Медея уже два года как лежит в могиле, герцог доверительно пишет своему корреспонденту о том, что боится после собственной смерти повстречать душу Медеи, и, радуясь своему хитроумию, рассказывает об особом методе (изобретении его личного астролога-капуцина, некоего Фра Гауденцио), посредством которого

---

[25] Примечания: 25
«Гадкой Медее» (*um.*)

обеспечит своей душе нерушимый покой, покамест душа злодейки Медеи «не сгинет навеки в преисподней, средь кипящей смолы и льда Каины, кои так ярко живописал бессмертный поэт»… Чтоб тебя, старый педант! Так вот где кроется объяснение серебряного божка, «quod a vulgo dicitur „idolino“», которого бывший кардинал распорядился запаять внутри собственной статуи работы Тасси. Покуда образ его души прочно соединен с образом тела, он может мирно почивать в ожидании Страшного суда, нимало не сомневаясь, что к тому времени душа Медеи получит по заслугам и будет вываляна в смоле и перьях, тогда как его душенька — он же честный малый! — полетит прямиком в рай. А ведь еще две недели назад я держал этого господина за героя! Ну нет, дудки, мой славный герцог Роберто! Я выведу тебя на чистую воду, и никакие серебряные идолы не спасут: потомки поднимут тебя на смех!

15 ноября

Странная штука! Этот дуралей, сынок префекта, раз сто слышавший от меня про Медею да Карпи, только сейчас вспомнил одну замечательную подробность из своего урбанийского детства: оказывается, нянька стращала его «мадонной Медеей», которая летает по небу на черном козле.

Подумать только — мою герцогиню Медею превратили в пугало для маленьких шалопаев!

20 ноября

На пару с заезжим баварским профессором, знатоком Средневековья, я совершил путешествие по всей округе, знакомил его с достопримечательностями. Среди прочих мест посетили Рокка-Сант-Эльмо, где находится бывшая вилла герцогов Урбании (там укрылась Медея в период между вхождением во власть герцога Роберто и заговором Маркантонио Франджипани, после чего ей пришлось удалиться в близлежащий монастырь). Нескончаемая поездка по пустынным апеннинским долинам, в это время года страшно бесприютным, с редкой бахромой порыжелой листвы дубового мелколесья, с плешинами прихваченной морозом травы, с последними желтыми листьями тополей над быстрыми речками, зябко дрожащих под натиском студеной трамонтаны. Вершины гор скрыты толщей серых облаков; назавтра, если ветер не стихнет, мы увидим на фоне холодного голубого неба большие снежные шапки. Сант-Эльмо — захудалая деревенька, прилепившаяся к высокому апеннинскому кряжу, где привычная итальянская растительность вытеснена более северной. Милю

за милей едешь по облетевшим каштановым лесам, вдыхая запах прелых листьев, под непрерывный рокот бурлящей на дне каньона реки, захлебнувшейся осенними дождями; и вдруг ни с того ни с сего, как, например, в Валломброзе, голый каштановый лес сменяется черной полосой густо посаженных молодых елей. Еще выше — открытое место, мерзлые луга, вокруг — скалистые уступы заснеженной горной вершины, чистый, только что выпавший снег, и посреди всего этого, на пригорке с двумя корявыми лиственницами справа и слева, — герцогская вилла Сант-Эльмо, большой черный каменный ящик с каменным гербом, зарешеченными окнами и внушительной двухмаршевой лестницей. Сейчас вилла сдается внаем владельцу соседних лесов, и ее используют под хранилище каштанов, хвороста и древесного угля. Мы привязали лошадей к железным кольцам и вошли внутрь. В доме никого, кроме старухи с неприбранными волосами. В сущности, вилла — простой охотничий замок, построенный Оттобуоно Четвертым, родителем герцогов Гвидальфонсо и Роберто, около 1530 года. Некоторые помещения когда-то были украшены стенными росписями и резными дубовыми панелями, но теперь ничего этого нет

и в помине. Только в одной зале сохранился большой мраморный камин, похожий на камины в урбанийском дворце, — такие же скульптурные амуры на голубом фоне; по обеим сторонам очаровательные голые мальчуганы поддерживают вазы — одна с гвоздиками, другая с розами. Весь пол завален вязанками хвороста.

Назад возвращались поздно, и мой спутник был сильно не в духе оттого, что наша экспедиция не оправдала его надежд. В каштановом лесу нас краем задела снежная буря. Эта картина — бесшумные хлопья снега, белая земля под ногами, белые кусты вокруг — внезапно напомнила мне родной Позен, невольно вернув меня в детство. Я пел и кричал, приводя в ужас профессора-немца. Если он доложит о моих чудачествах в Берлине, начальство меня не похвалит. В самом деле, с чего бы двадцатичетырехлетнему историку петь и кричать, если в то же самое время другой историк клянет почем зря и непрошеный снег, и скверные дороги! Всю ночь я лежал без сна, глядя на догорающие угли в камине, и думал о Медее да Карпи: как она одна-одинешенька, зимой, безвыездно томится в богом забытом убежище Сант-Эльмо, и кругом на мили окрест ни души, только жалобно стонут ели, рычат горные по-

токи да падает, падает снег. Я как наяву все это видел и в своей фантазии мчался спасти ее: я был Маркантонио Франджипани — или, может быть, Принцивалле дельи Орделаффи?.. Сам не знаю, отчего воображение мое так разыгралось. Вероятно, сказывалась утомительно долгая поездка верхом, непривычное, вернее, давно забытое, волнующее ощущение снегопада… Или всему виной винные пары? По настоянию профессора мы с ним выпили после ужина горячего пунша.

23 ноября

Слава богу, баварский профессор отбыл восвояси! Я от него чуть с ума не сошел. В какой-то раз, когда мы беседовали о моей архивной работе, я изложил ему свои мысли о Медее да Карпи. В ответ он благоволил разъяснить мне, что ее история — обычные побасенки в духе мифопоэтической (старый болван!) ренессансной традиции; что строгое научное исследование докажет несостоятельность большей части ее легенды, как уже развенчаны многие живучие мифы о семействе Борджиа и иже с ними; что, помимо всего прочего, нарисованный мною женский портрет психологически и физиологически невозможен, поскольку сей феномен противен природе. Сказал бы я ему и прочим профессорам, кто больше

противен природе!

24 ноября

Я не могу нарадоваться, что избавился наконец от этого остолопа! Не то, наверное, придушил бы его, слыша, как он всякий раз коверкает имя Повелительницы моих дум (ибо таковой она стала для меня): *Метея.* Немецкий изверг!

30 ноября

Я потрясен недавним происшествием. Возможно, старый педант не зря говорил, что жить, как я живу, мне не полезно: один, в чужой стране, я могу слишком увлечься болезненными фантазиями. И впрямь нелепо прийти в такое возбуждение от нечаянной находки — и что мне до портрета женщины, которая мертва уже три века с лишком! Памятуя о случае дяди Ладисласа и других подозрительных признаках безумия в моем роду, я и правда должен остерегаться напрасных волнений.

И все же произошло нечто удивительное, непостижимое! Я мог бы поклясться, что наизусть знаю каждую картину в здешнем дворце и уж точно не пропустил ни одного Ее портрета. Тем не менее сегодня утром, покидая архив, я прошел через одну из множества неправильной формы

комнатушек, какие встречаются во всех углах и закоулках этого диковинного строения, утыканного башнями наподобие французского шато. Должно быть, я не в первый раз шел через эту комнату, вид из окна определенно был мне знаком: приметный кусок фасадной башни, кипарис на противоположной стороне лощины, дальше — колокольня и обрезанные справа и слева контуры заснеженных вершин Святой Агаты и Леонессы на фоне неба. Остается предположить наличие двух совершенно одинаковых соседних комнат: просто один раз я забрел в одну, другой — в другую; или, что еще вероятнее, комната все та же, только в ней открыли ставню или отдернули занавес. Так или иначе, когда я пересекал комнату, мой взгляд привлекло зеркало в великолепной раме, вставленное в стену с желтокоричневой инкрустацией. Я подошел поближе и, пока разглядывал раму, машинально бросил взгляд на зеркало. От неожиданности я дернулся всем телом и едва не закричал, увидев наяву… (Хорошо, что мюнхенский профессор уже далеко от Урбании!) В зеркале позади моего собственного отражения ясно вырисовывалась чья-то фигура, чуть сбоку, у меня за плечом, так что лицо было рядом с моим лицом, и эта фигура, это лицо — ее!

Медеи да Карпи! Я резко обернулся. Представляю, как бледен я был — под стать, вероятно, призраку, которого ожидал увидеть перед собой. На стене, напротив зеркала, всего в двух шагах от меня висел портрет. И какой портрет! Сам Бронзино не написал бы лучше. На драматичном синем фоне изображена герцогиня (ибо это Медея, настоящая Медея, в тысячу раз живее, выразительнее, сильнее явленная, чем на всех прочих ее портретах), неподвижно застывшая в кресле с высокой спинкой, — еще более неподвижная из-за наряда, в который она закована, если можно так выразиться, словно в доспехи: жесткие складки парчи на пышных юбках, жесткий, с острым мысом внизу, лиф, вдвойне жесткий благодаря вставкам из расшитых серебром цветов с нитями неровного мелкого жемчуга. Обильно украшенное серебром и жемчугом платье кажется тускло-красным, и этот странно порочный маков цвет оттеняет белизну узких рук с длинными, как бахрома, пальцами, белизну длинной стройной шеи и лица с открытым лбом — каменную, алебастровую белизну. Лицо то же, что и на других портретах: тот же выпуклый лоб с короткими, наподобие овечьего руна, рыжеватыми завитками, те же красивые, едва обозначенные дуги бровей, те же

веки, туго натянутые на глазные яблоки, те же туго натянутые на рот губы; но какая чистота линии, какое ослепительное великолепие кожи, какая пронзительность взгляда! Всем остальным портретам до этого — как от земли до неба.

Она глядит из рамы холодным, невозмутимым взором, но губы улыбаются. В одной руке она держит тускло-красные розы, другая играет веревочным пояском, сплетенным из золотых и серебряных нитей с разноцветными камнями, который повязан у нее на талии; на беломраморной шее, частично скрытой красным верхом лифа, золотое ожерелье с эмалевыми медальонами, и на них девиз: «Amour Dure — Dure Amour».

По здравом размышлении я понимаю, что прежде я в этой комнатке-кабинете не был; как видно, перепутал дверь. И хотя все объясняется просто, я и сейчас, по прошествии нескольких часов, трепещу. Если я и дальше буду так легко терять душевное равновесие, придется дать себе отдых и на Рождество съездить в Рим. Меня не покидает чувство, что здесь надо мной нависла опасность, — быть может, я заболеваю? И все же, и все же… Не представляю, какая сила сумеет вырвать меня отсюда.

10 декабря

Я вынудил себя принять приглашение сына вице-префекта посетить их виллу на берегу и посмотреть, как делают оливковое масло. Вилла — скорее ферма — представляет собой небольшой старинный замок с башенками и стоит на склоне холма в окружении оливковых деревьев с клочками невысокого ивняка, которые издали полыхают, как костры. Оливки давят в необъятном черном подвале, больше похожем на мрачный каземат: в бледном, едва проникающем дневном свете, сквозь желтый дым от жаровен с горящей смолой ты видишь, как большие белые волы монотонно вращают огромный жернов и призрачные фигуры орудуют лебедками и рычагами; эта сцена стоит у меня перед глазами, словно видение времен инквизиции. Мой радушный хозяин, сын вице-префекта, щедро угощал меня своим лучшим вином с хрустящими галетами. Я подолгу гулял вдоль моря; если над Урбанией нависали снеговые тучи, то здесь, на побережье, ярко светило солнце. Солнечный свет, морской воздух, суета оживленного маленького порта на Адриатике, судя по всему, пошли мне на пользу. В Урбанию я вернулся другим человеком. А вот sor Аздрубале ничуть не изменился, все так же шаркал шлепанцами, пробираясь к двери среди

золоченых сундуков, ампирных кушеток, старых чашек с блюдцами и картин, которые никто не покупает. Он от души за меня порадовался и сказал, что я посвежел и поздоровел. «Вам нельзя столько работать, — попенял он мне, — молодым нужны развлечения, театры, променады, амори… Еще успеете побыть серьезным и плешивым». И он стянул с головы засаленную круглую шапочку. Да, мне много лучше! С тем большим удовольствием я вновь приступаю к работе. Держитесь, берлинские умники!

14 декабря

Кажется, никогда еще я не работал с таким увлечением. У меня словно пелена упала с глаз. Вот хитрый, трусливый герцог Роберто, вот понурая герцогиня Маддалена, вот слабый, тщеславный, мнимо рыцарственный герцог Гвидальфонсо, и над всеми — великолепная Медея. Я чувствую себя величайшим историком современности и в то же самое время двенадцатилетним мальчишкой. Вчера в городе впервые выпал снег, он шел добрых два часа. Едва снегопад прекратился, ноги сами понесли меня на площадь, и там я стал учить местных маленьких оборванцев лепить снеговика, вернее — снежную бабу; и мне пришла фантазия назвать ее Медеей. «La pessima

Medea! — вскричал один негодник. — Та, что летала по небу на козле?» — «Нет, нет, — строго сказал я. — Это была прекрасная дама, герцогиня Урбании, красавица, каких не видел свет». Я смастерил ей блестящую корону и научил ребятню кричать: «Evviva, Medea!» Но тут один строптивец бросил новый клич: «Она ведьма! Сжечь ее!» В мгновение ока горластые бесенята притащили хворост и паклю и расправились с ней. Она растаяла.

15 декабря

Какой же я простофиля! Кто бы мог подумать, ведь мне без малого двадцать четыре, и мои сочинения известны в научных кругах!.. Во время долгих прогулок я все чаще напеваю на ходу песенку собственного сочинения. Я сложил ее на мотив, который тут поет и насвистывает каждый встречный, стоит только выйти на улицу. Что это за мелодия, бог весть. Мои куплеты на прескверном итальянском начинаются с воззвания: «Medea, mia dea»[26] — и перечня ее возлюбленных. Я целыми днями мычу себе под нос: «Зачем я не твой Маркантонио, не Принцивалле, не рыцарь из Нарни? Зачем я не герцог, не твой

---

[26] Примечания: 26
«Медея, о, богиня» (*ит.*).

Гвидальфонсо? Тогда бы меня ты любила, Medea, mia dea», — и дальше в том же роде. Глупость несусветная! Мой хозяин, боюсь, заподозрил, что Медея, должно быть, некая дама, которую я повстречал на морском берегу. И, без сомнения, sora Серафина, sora Лодовика и sora Адальджиза — три парки (или норны), как я их зову, — именно так и думают промеж себя. Сегодня днем, едва начало смеркаться, sora Лодовика прибиралась у меня в комнате и, разжигая камин, вдруг сказала: «Как славно, что синьорино теперь все время поет!» Я и не заметил, что вслух повторяю: «Vieni, Medea, mia dea»[27]. Я тотчас умолк. «Хорошую репутацию я себе создаю, — подумал я. — Того и гляди слухи о моих чудачествах дойдут до Рима, а там и до Берлина». В эту минуту sora Лодовика высунулась в окно отцепить железный крюк и втянуть внутрь алтарную лампаду, что освещает вход в дом. Покуда старушка зажигала фитиль, чтобы после вернуть лампаду на место, она с присущей ей странной укоризной в голосе, словно я в чем-то провинился, заметила:

— Напрасно ты бросил песню, сынок (она по-

[27] Примечания: 27
«Приди же, Медея, богиня моя» (*um.*).

переменно зовет меня то «signor professore»[28], то «nino»[29], то «viscere mie»[30] и т. д.), напрасно: вон молодая дама на улице так заслушалась, что даже остановилась.

Я кинулся к окну. Женщина, закутанная в черное покрывало, стояла в арочном проеме и смотрела вверх, на мое окно.

— Так-так! У signor professore завелись поклонницы, — многозначительно обронила sora Лодовика.

— Medea, mia dea! — крикнул я во всю мочь, как мальчишка радуясь случаю спугнуть зеваку.

Она резко повернулась, на прощанье оглянувшись и помахав мне рукой, и в тот же миг sora Лодовика выставила наружу зажженную лампаду. На противоположную сторону улицы упал луч света. Я похолодел, едва увидел лицо женщины — лицо Медеи да Карпи!

Ну и дурачина же я после этого!

---

[28] Примечания: 28
«Синьор профессор» (*исп.*).

[29] Примечания: 29
Дитя (*исп.*)..

[30] Примечания: 30
Здесь: «сынок», «сердечко мое» (*ит.*).

Часть вторая

17 декабря

Я боюсь, что мое безумное увлечение Медеей да Карпи стало общим достоянием, а всё из-за моих глупых разговоров и дурацких песенок. И вот результат: сынок вице-префекта, или архивный клерк, или, может быть, кто-то из завсегдатаев «Контессы» пытается меня разыграть! Но берегитесь, досточтимые дамы и господа, я отплачу вам той же монетой! Вообразите мои чувства, когда сегодня утром я обнаружил на своем письменном столе сложенное письмо, — необычный почерк показался мне странно знакомым, и уже в следующее мгновение меня осенило: этой рукой написаны хранящиеся в местном архиве письма Медеи да Карпи! Я стоял, как громом пораженный. Потом мне пришло на ум, что, по всей вероятности, я получил презент от неизвестного доброжелателя, прослышавшего о моем интересе к Медее, и передо мной лежит ее подлинное письмо, на котором какой-то болван взял и нацарапал мое имя, вместо того чтобы воспользоваться конвертом. Но нет, записка была изначально адресована мне, писана для меня и, следовательно,

не могла появиться на свет в давно ушедшую эпоху. Всего четыре строчки, привожу их здесь слово в слово:

> «Спиридону.
> Особа, осведомленная о Вашем к ней интересе, будет ждать Вас в церкви Сан-Джованни-Деколлато нынче вечером в девять часов. В левом приделе Вы увидите даму в черной накидке, с розой в руке».

Прочитав записку, я вполне уверился, что стал мишенью заговора, жертвой мистификации. Бумага по выделке была точно такая, как в шестнадцатом веке, а начертание букв с поразительной верностью подражало почерку Медеи да Карпи. Кто же автор записки? Я перебрал в уме возможных кандидатов. По всему выходило, что это сын вице-префекта, вероятно, в компании с его дамой сердца, графиней. Не иначе они раздобыли какое-то старинное письмо и оторвали от него чистый лист. Но чтобы этим двоим, вместе или поврозь, хватило фантазии изобрести столь хитроумный розыгрыш или достало таланта выполнить столь искусную подделку — такое не укладывается у меня в голове. Видимо, я сильно их недооценивал. Каким же образом мне с ними

поквитаться? Сделать вид, что никакого письма не было? Благородно, но слишком пресно. Нет, я пойду на свидание. Не исключено, что один из заговорщиков тоже будет там, и я сумею в свой черед их разыграть. Ну а ежели я никого не встречу, то от души посмеюсь над незадачливыми интриганами, неспособными провести в жизнь собственный коварный замысел! А может статься, глупая проказа кавалера Муцио, сына вице-префекта, преследует единственную цель — свести меня с некой дамой, которую он назначил героиней моих будущих amori? С него станется. Однако надо быть полным дураком и «профессором», чтобы отказаться от знакомства с дамой, умеющей так изумительно подделывать письма шестнадцатого века (в том, что это не работа праздного франта Муцио, я нимало не сомневаюсь). Решено, иду, будь что будет! Я отплачу им той же монетой! Сейчас только пять — как долго здесь тянутся дни!

18 декабря

Неужто я безумен? Или же призраки — не выдумка? Вчерашнее приключение до глубины души меня потрясло.

Около девяти часов вечера, как предписывало загадочное послание, я вышел из дому. Было

холодно, в воздухе висел туман, с неба сыпалась снежная морось. Все лавки на запоре, окна плотно закрыты ставнями, жители попрятались по домам. Узкие черные улицы, зажатые между высокими стенами домов или пролегающие под арочными сводами-туннелями, казались еще чернее из-за тусклого света редких масляных ламп и дрожащих желтых отблесков на мокрых камнях мостовой. Сан-Джованни-Деколлато — маленькая церквушка, скорее часовня, которую я прежде всегда видел запертой (здесь многие церкви открываются только по большим праздникам), расположена позади герцогского дворца на крутом подъеме, в месте, где сходятся две мощеные улочки. Я сто раз ходил мимо, но не обратил бы никакого внимания на церквушку, если бы не мраморный рельеф над дверью, изображающий кудлатую голову Крестителя на блюде, да железная клетка, в которой некогда выставляли головы казненных преступников. Иоанн Креститель, с его отрубленной, или усекновенной, головой, очевидно, считается здесь святым покровителем топора и плахи.

Я не заметил, как дошел до Сан-Джованни-Деколлато. Признаюсь, я был взволнован: если ты поляк и тебе от роду двадцать четыре, это что-

нибудь да значит. Оказавшись на небольшой ровной площадке в месте соединения улиц, я с удивлением увидел, что окна церкви-часовни не освещены, а дверь заперта! Так вот какую шутку со мной сыграли — выгнали из дому на ночь глядя в холод и непогоду к заброшенной церкви, которая не открывалась уже бог знает сколько лет! Я был взбешен и мог учинить любое безрассудство — выломать дверь в церкви или пойти и вытащить из теплой постели сына вице-префекта (я не сомневался, что это его проделки). Избрав из двух последнее, я двинулся к его дому по черному проулку слева от церкви. Внезапно где-то совсем близко послышался звук органа — да, без сомнения, где-то заиграл орган, вступил хор, а затем нараспев забубнил священник. Так, значит, церковь все-таки открыта! Я повернул назад. Кругом темнота и полнейшее безмолвие. И вдруг до меня опять донеслись слабый звук органа и пение. Я прислушался: звук определенно шел со стороны другой улочки, той, что справа от церкви. Может быть, там еще один вход? Я нырнул под арочный свод и сделал несколько шагов под уклон, пытаясь угадать, откуда слышится музыка. Но нигде не видно было ни двери, ни света в окне, одни черные стены да черные мокрые камни под

ногами с желтоватыми бликами от мерцавших масляных ламп, и над всем — мертвая тишина. Я остановился в растерянности и тут же услышал пение — на сей раз, несомненно, со стороны той улицы, по которой я сперва и пошел. Я вернулся — и вновь ничего. Так я и бегал туда-сюда, понапрасну пытаясь угнаться за звуками, манившими меня, словно блуждающий огонек.

В конце концов мое терпение лопнуло; хуже того, я почувствовал, что меня продирает озноб и душа цепенеет от ужаса, а в таких случаях есть только одно спасение — действовать. Если таинственная музыка доносится не с правой и не с левой улицы, то она может раздаваться только из самой церкви. Почти не помня себя, я взбежал по ступеням, намереваясь с разбега высадить дверь. Каково же было мое изумление, когда она послушно отворилась! Я вошел, и навстречу мне громче, чем прежде, полились звуки богослужения. На миг я замер между наружной дверью и тяжелым кожаным занавесом, потом приподнял край и проник внутрь. Алтарь, весь уставленный свечами, ярко сиял — в церкви шла, очевидно, предрождественская вечерняя служба. Неф и приделы скрывались в полутьме, людей было довольно много. Я пробрался вдоль правого прохода

поближе к алтарю. Когда глаза мои привыкли к неожиданно яркому свету, я начал озираться по сторонам, и сердце забилось сильнее. Мысль о розыгрыше, о том, что я повстречаю здесь кого-нибудь из знакомцев моего приятеля-кавалера и этим все закончится, незаметно меня покинула. Я внимательно оглядывал собравшихся. Фигуры у всех были полностью скрыты свободными одеждами: мужчины в длинных плащах, женщины в плотных накидках, с покрывалом на голове. Не считая алтаря, в церкви было довольно темно, и я ничего не мог толком разглядеть, но мне показалось, что под плащами и покрывалами скрываются диковинные костюмы. У мужчины впереди из-под плаща выглядывали желтые чулки; у женщины, стоявшей почти вплотную ко мне, под покрывалом определенно проступал красный лиф, стянутый сзади золотым шнуром. Быть может, в церковь по случаю Рождества съехались крестьяне из дальних областей или просто у жителей Урбании заведено по праздникам наряжаться в старинные одежды?

Теряясь в догадках, я встретился взглядом с женщиной, которая стояла в приделе напротив, у самого алтаря, в свете огней. Она была с ног до головы закутана в черное, но в руке держала,

словно напоказ, красную розу — неслыханная роскошь в такое время года и в таком месте, как Урбания. Женщина тоже меня заметила, в этом не могло быть сомнений. Всем телом повернувшись к свету, она склонила голову и распустила завязки на своей тяжелой черной накидке, и я увидел темно-красное платье, расшитое золотом и серебром. Потом она обратила ко мне лицо — и свет всех свечей озарил его… Это было лицо Медеи да Карпи! Я ринулся к ней, бесцеремонно расталкивая всех на своем пути, а вернее, как мне показалось, проходя сквозь неосязаемые тела. Дама уже отвернулась от алтаря и пошла к выходу. Я преследовал ее буквально по пятам, но почему-то никак не мог нагнать. Только раз, перед занавесом, она вновь обернулась. Нас разделяло всего несколько шагов. Да, это была Медея. Медея собственной персоной — не двойник, не наваждение, не подлог: ее овал лица, плотно сжатый рот, словно стянутые ниткой губы и подтянутые к уголкам глаз веки, изысканный алебастр кожи! Она подняла край занавеса и выскользнула наружу. Я кинулся следом — между нами был только занавес. Я видел, как за ней захлопнулась дощатая дверь. Один шаг, и я у цели. Я рывком открыл дверь — Медея должна быть там, на ступенях, до

нее рукой подать!..

Я стоял перед церковью. Кругом ни души, лишь мокрые камни и желтые блики в лужах. Меня сковал внезапный холод, ноги отказывались идти. Я хотел вернуться в церковь, но дверь была заперта. Как безумный я помчался домой, волосы на голове шевелились, руки и ноги тряслись, и в таком состоянии я, словно маньяк, пребывал еще целый час. Ужели все это игра больной фантазии? Ужели я схожу с ума? О боже, боже! Я схожу с ума?

19 декабря

Ясный солнечный день, снега как не бывало, деревья и кусты будто разом отряхнули все следы непогоды, и в городе чисто и сухо. Белые вершины гор сверкают на фоне ярко-голубого неба. Сегодня воскресенье, и погода воскресная. Все колокола звонят, возвещая скорое Рождество. На площади с портиками идут приготовления к ярмарке, там расставляют лотки со всяким добром: цветной хлопок и шерсть, пестрые платки и шали, зеркальца, ленты, блестящие оловянные лампы — всё, чем богат коробейник в «Зимней сказке». Мясные лавки увиты гирляндами из живой зелени и бумажных цветов, окорока и сыры утыканы флажками и зелеными веточками.

Я пошел прогуляться и посмотреть на ярмарку скота за городскими воротами: целый лес рогов — словно кружево повисло в воздухе, море-океан животных, и все мычат, ревут и топочут; сотни гигантских белых буйволов, с рогами длиною в ярд, с красными кистями на шее, теснятся на piazza d'armi[31], небольшой площадке под крепостной стеной… Ба! К чему записывать такую безделицу? Что проку? Сколько бы я ни распространялся о колоколах, и рождественских увеселениях, и ярмарках скота, во мне набатом бьет одна мысль: Медея, Медея! Вправду ли я видел ее — или я безумен?

Двумя часами позже

Та церковь, Сан-Джованни-Деколлато, как просветил меня мой хозяин, ни единого разу на памяти старожилов здешних мест не использовалась по назначению. Может ли быть, что мое ночное приключение — не более чем галлюцинация или сон, что прошлой ночью мне все это просто приснилось? В поисках ответа я снова пошел взглянуть на церковь. Стоит как ни в чем не бывало на крутизне, где сходятся две улочки, над дверью все тот же каменный рельеф

---

[31] Примечания: 31
Плацу (*ит.*)

с головой Крестителя. Глядя на дверь, и правда скажешь, что ее годами не открывали, на окнах паутина, — словом, вид у церкви такой, словно единственные здешние прихожане — пауки да крысы, о чем и предупреждал меня sor Аздрубале. И все же… и все же давешняя сцена стоит у меня перед глазами, я как сейчас помню каждую подробность! Прекрасно помню алтарный образ — танец дочери Иродиады, ее белый тюрбан с пучками алых перьев и синий кафтан Ирода; помню центральный светильник — он медленно вращался на цепях, и от тока воздуха одна восковая свеча оплавилась и согнулась почти пополам…

Должно быть, вся эта картина составлена из фрагментов, которые я когда-либо где-либо видел: они невольно отложились в моем сознании и в силу каких-то причин всплыли во сне; говорят, такое случается, я слыхал рассуждения физиологов на эту тему. Что ж, пойду опять: если церковь закрыта, значит, всё сон и наваждение, следствие нездоровой экзальтации. Тогда мне нужно немедля ехать в Рим и обращаться к докторам — я не хочу сойти с ума. Но если, напротив… Пфуй! какое тут может быть *«напротив»!* Но если все-таки может… Тогда, выходит, я и впрямь видел Медею

и могу снова увидеть ее, заговорить с нею. При одной этой мысли кровь у меня бурлит — не от ужаса, а от… Не знаю, как назвать это чувство. Оно и страшит меня, и манит. Ну и болван! Какая-то крохотная извилина моего мозга, раз в двадцать тоньше волоса, вышла из строя — вот и вся причина!

20 декабря

Я снова был там, я слышал музыку, я вошел в церковь, я видел Ее! Я не могу более сомневаться в себе. С какой стати? Пусть педанты твердят, что мертвые — это мертвые, а прошлое — это прошлое. Для них, разумеется, так и есть, но почему непременно и для меня тоже, для того, кто любит, кто без остатка поглощен любовью к женщине? К женщине, которая давно… Да! Я доведу свою мысль до конца. Почему бы и не верить в призраков тому, кто способен их видеть? Почему бы ей не вернуться на землю, когда она знает, что там есть тот, кто только о ней и думает, только ее и желает?

Галлюцинация? Но я же видел ее, как вижу лист бумаги, на котором сейчас пишу, — видел, как она стояла там, в сиянии алтаря. Я слышал шелест ее юбок, ощущал запах ее волос, я поднял занавес, еще колыхавшийся от ее прикосновения…

И вновь упустил ее! Зато на этот раз, выбежав за ней на пустую улицу, я в бледном свете луны заметил на ступенях церкви розу — розу, которую она за миг до того держала в руке; я трогал стебель, я вдыхал аромат: роза, настоящая, живая роза, темно-красная, явно только что сорванная. Воротясь домой, я поставил цветок в воду, но раньше поцеловал его… сколько раз? кто знает!.. Я убрал розу повыше, на шкаф, и дал себе зарок на сутки забыть о ней — вдруг это только сон? Но теперь я должен взглянуть, мне надо… Боже правый, какой кошмар! Если бы я обнаружил скелет, я ужаснулся бы меньше! Моя роза, вчера такая свежая, яркая и благоуханная, вся побурела и пожухла, словно веками лежала между книжных страниц. Едва я тронул ее, она рассыпалась в прах. Ужасно, ужасно! Но в чем, собственно, ужас? Разве для меня новость, что я влюблен в женщину, которая триста лет как мертва? А если мне милее свежие розы, только-только расцветшие, то графиня Фьяметта или какая-нибудь молоденькая урбанийская белошвейка охотно мне их вручат. Пусть моя роза рассыпалась в прах — что с того? Да если бы мне даровано было держать в объятиях Медею, как держал я в своих пальцах розу, и целовать ее уста, как целовал я

лепестки цветка, разве стал бы я роптать, когда бы и *она* в следующий миг тоже обратилась в прах — когда бы я сам обратился в прах?..

22 декабря, одиннадцать часов вечера

Я снова видел ее, еще чуть-чуть — и заговорил бы с нею! Мне обещана ее любовь! Ах, Спиридон! Тебя не обмануло предчувствие, что ты не создан для земных amori… Поздно вечером в обычный час я отправился к Сан-Джованни-Деколлато. Стояла морозная зимняя ночь, привычно чернели силуэты домов и колоколен, темно-синее небо, усыпанное мириадами звезд, отливало в вышине холодным блеском стали; луна еще не взошла. Света в окнах не было, но я, слегка надавив плечом, отворил дверь и вошел в церковь, где, по обыкновению, увидел залитый светом алтарь. Меня внезапно пронзила мысль, что все это скопление людей, все эти мужчины и женщины, эти поющие и ходящие вкруг алтаря священнослужители мертвы — что ни для кого, кроме меня, они не существуют. Я коснулся, словно бы ненароком, руки моего соседа — она была холодна, как сырая глина. Он обернулся, но, кажется, не увидел меня: лицо у него было пепельно-серое, широко раскрытые глаза смотрели неподвижно, как у слепого или мертвеца. Я почувствовал

неодолимое желание бежать оттуда прочь. Но в тот же миг мой взгляд упал на Нее. Она стояла, как всегда, возле алтарных ступеней, закутанная в черную накидку, в ярком свете свечей. Она повернулась лицом к свету — да, это было Ее лицо: нежные черты, характерные туго натянутые веки и губы, алебастровая кожа, едва тронутая бледным румянцем. Наши глаза встретились.

Я стал проталкиваться вперед, к алтарю, она быстро пошла к двери, я за ней. Раз-другой она чуть замедлила шаг, и я почти настиг ее, но все повторилось: выскочив на улицу всего через секунду после того, как за ней закрылась дверь, я увидел, что она исчезла. На ступеньке что-то белело. Не цветок — письмо. Я бросился назад в церковь, чтобы там прочесть записку, но дверь была наглухо заперта, словно ее не открывали много лет. При свете уличных алтарных лампад ничего нельзя было разобрать, и я помчался домой, зажег лампу, вынул из-за пазухи письмо… Оно сейчас лежит передо мной, написанное ее почерком, знакомым мне по письмам в архиве, по той достопамятной первой записке.

«Спиридону.

Если храбрость твоя столь же велика, как твоя любовь, то любовь будет вознаграждена. Вечером

в Сочельник возьми топор и пилу. Вонзи топор в тело бронзового всадника, что стоит в Корте, — в левый бок, над поясом. Пропили щель, и внутри найдешь серебряную фигуру крылатого гения. Достань его, разруби в куски, искроши и разбросай по сторонам, развей по ветру. В ту же ночь та, которую ты любишь, придет наградить тебя за верность».

На коричневом сургуче выдавлен девиз: «Amour Dure — Dure Amour».

23 декабря

Так это правда! Я не напрасно явился в этот мир, мне назначено свершить славнейший подвиг! Теперь наконец я знаю, к чему всегда рвалась моя душа. Честолюбивые мечты, любовь к искусству, любовь к Италии — все, что занимало мой дух, но не давало желанного удовлетворения, — все мираж, и моя истинная судьба в ином. Я алкал жизни, грезил о ней, как путник в пустыне грезит о колодце; но жизнь чувств, как ее представляют себе другие юнцы, или жизнь ума, как это понимают другие мужчины, никогда не утоляла моей жажды. Что тогда для меня жизнь? Любовь покойницы? Мы улыбаемся свысока, едва речь заходит о том, что нам угодно называть старинным

суеверием, некстати забывая, что вся хваленая наука дня сегодняшнего, возможно, покажется таким же пустым суеверием тем, кто будет жить завтра. И почему настоящее непременно право, а прошлое заблуждается? Люди, которые писали картины и строили дворцы триста лет назад, уж наверное, не уступали нам ни тонкостью чувств, ни остротой ума — нам, которые только и умеют, что набивать рисунок на ситцы да строить паровозы. Я неспроста пустился в эти рассуждения. На днях, обложившись старыми книгами из библиотеки добрейшего Аздрубале, я принялся вычислять свой гороскоп. И что же? Он почти точь-в-точь согласуется с гороскопом Медеи да Карпи в изложении древнего летописца. Так, может быть, это все объясняет?.. Нет и еще раз нет. Все объясняется тем, что, едва я прочел историю жизни этой женщины, едва увидел ее портрет, я полюбил ее, хотя и скрывал от себя свою любовь под маской исторического интереса. Исторический интерес — вот уж действительно!

Я раздобыл пилу и топор. Пилу я купил у бедного деревенского плотника, за несколько миль от города. Он поначалу не мог понять, чего мне надо, и, скорее всего, принял меня за сумасшедшего; возможно, так и есть. Но если безумие

равносильно счастию всей жизни, что тогда? Топор лежал без пригляда на лесном складе, где окоряют большие стволы елей, сваленных высоко в Апеннинских горах, вблизи Сант-Эльмо. На складе никого не было, и я не устоял перед искушением: взял топор в руки, потрогал лезвие и спрятал под плащом. Так первый раз в жизни я заделался вором. Почему было просто не пойти в лавку? Не знаю, наверное, сверкающее лезвие меня заворожило. То, что я вознамерился совершить, называется, полагаю, актом вандализма. У меня нет никакого права портить собственность славного города Урбания. Да я и не хочу причинить ущерб ни статуе, ни городу, и, если бы можно было бронзу залатать, я потом с радостью исправил бы повреждение. Но я должен подчиниться Ей, отомстить за Нее, я должен добраться до серебряного идола-оберега, изваянного по приказу Роберто Монтемурло — дабы его трусливая душонка могла спать спокойно, не опасаясь встретить душу той, которой он боялся больше всего на свете. Врешь, герцог Роберто! Ты вынудил ее умереть без покаяния и вложил в образ своего тела образ души, рассудив, что все предусмотрел и, покуда *ее* душа будет терпеть муки ада, твоя душонка будет безмятежно

почивать, а после, отмытая до блеска, полетит прямиком в рай. Ты так боялся загробной встречи с Нею и так доволен был, что все предусмотрел!.. Но вы просчитались, ваша светлость! Вам тоже придется изведать, каково не знать упокоения после смерти, каково повстречать среди мертвых загубленную тобой душу.

Как бесконечно тянется день! Но ближе к ночи я вновь увижу ее.

Одиннадцать часов

Увы, церковь заперта, чуда не случилось. До завтра я ее не увижу. Но уж завтра!.. Ах, Медея, из всех твоих возлюбленных любил ли кто тебя, как я?

Еще целые сутки, двадцать четыре часа, до мгновения счастья — мгновения, которого я ждал, мне кажется, всю жизнь. А после — что же после? Да, с каждой минутой я все яснее вижу: после — ничего. Все, кто любил Медею да Карпи, любил ее и служил ей, умирали: Джанфранческо Пико — ее первый муж, от которого она сбежала, оставив его в родовом замке с ножом в груди; Стимильяно, принявший смерть от яда, и его конюх, давший ему яда и сам зарезанный по ее приказу; Оливеротто да Нарни, Маркантонио Франджипани и несчастный юноша Орделаффи

— этот последний даже ни разу не взглянул ей в глаза, и единственной наградой для него стал ее платок, которым палач отер пот с его лица, когда сам он уже превратился в кровавое месиво из перебитых костей и растерзанной плоти… Всем суждено было умереть, умру и я.

Любовь такой женщины — это все, чего можно желать, и это любовь роковая: «Amour Dure», как гласит ее девиз. Умру и я. Ну так что же? Разве смогу я жить дальше, жить, чтобы полюбить другую? Лучше спросить: разве смогу я жить после завтрашнего блаженства? Немыслимо. Другие умерли, и я должен умереть. Недаром у меня всегда было предчувствие ранней кончины, еще в Польше цыганка сказала мне, что прерванная линия на моей руке — знак насильственной смерти. Я мог закончить свои дни на дуэли с собратом-студентом или стать жертвой несчастного случая на железной дороге. Нет, нет! Не такая смерть мне уготована! Смерть… Да разве Она не мертва? Какие неоглядные дали открываются мне при этой мысли!.. А другие — Пико, конюх, Стимильяно, Оливеротто, Франджипани, Принцивалле дельи Орделаффи — они все тоже будут *там?..* Но меня она будет любить сильнее, ведь я полюбил ее, зная, что она уже триста лет лежит в гробу!

24 декабря

Я готов. Нынче вечером, в одиннадцать, я тихо выйду из дому; sor Аздрубале и три его сестры будут крепко спать. Я осторожно навел справки: все они боятся ломоты в костях и на ночную службу в холод не пойдут. По счастью, на пути от дома до Корте нет ни одной церкви, и потому, несмотря на рождественскую ночь, здесь будет безлюдно. Покои вице-префекта расположены на другой стороне дворца; на площадь выходят парадные залы, архив да пустующие конюшни и каретный двор. А управлюсь я быстро.

Я загодя испытал свою пилу на толстостенной бронзовой вазе, которую купил у старика Аздрубале. Со статуей дело пойдет и того легче: фигура внутри полая, к тому же вся изъедена временем (кое-где насквозь), так что справиться с бронзовой оболочкой не составит труда, особенно если сперва всадить в нее острый топор. Я уже привел в порядок свои бумаги, чтобы их передали властям, откомандировавшим меня сюда. Каюсь, я не оправдал их надежд, и теперь уж не видать им «Истории Урбании».

Желая скоротать нескончаемый день и унять лихорадочное нетерпение, я вышел прогуляться. Сегодня морозно, такой стужи здесь еще не было.

Яркое солнце нимало не греет и даже напротив — лишь усиливает ощущение холода: снег на горах искрится, прозрачная голубизна отливает стальным блеском. Немногие прохожие укутаны с головы до ног, по самые глаза; глиняные противни с рождественским угощением спрятаны под одеждой. С чаши фонтана, увенчанного фигурой Меркурия, свисают длинные сосульки. Того и гляди, из ближайшего леска, треща сухими ветками, выбегут волки и возьмут крохотный город в осаду. Но мне от мороза легко на душе, я как будто вернулся в детство.

Пока я шел по крутым обледенелым улочкам, любуясь видом гор и неба, мимо церковных ступеней, усыпанных зелеными ветками лавра и самшита, — из открытых дверей доносился слабый запах ладана, — на меня, сам не знаю почему, вдруг нахлынули воспоминания, точнее, ощущения, явственные ощущения тех далеких сочельников в Позене и Бреслау, когда я мальчишкой бродил по широким улицам и заглядывал в каждое окно, где зажигали свечи на елке, и мечтал, что и меня тоже дома ждет нарядная, вся в огнях комната, и золотые орехи, и стеклянные гирлянды. Там, дома, на севере, сейчас вешают на елки последние красно-синие

бусы, последние золотые и серебряные орехи, зажигают последние красные и синие свечи, и воск начинает капать на пушистые еловые лапы, и дети с замиранием сердца ждут за дверью, когда же им объявят, что младенец Христос родился! А я, чего жду я? Сам не знаю, все как во сне, все призрачно, невесомо, как если бы время остановилось и больше ничего не может случиться, и мои собственные надежды, и чаяния мертвы, и я пребываю во власти неведомой, наводящей оцепенение грезы. Хочу ли я, чтобы скорее настало завтра? Страшусь ли его? Дождусь ли его? Да чувствую ли я хоть что-нибудь и есть ли хоть что-нибудь вовне меня? Я сижу, и перед моими глазами стоит улица в Позене — широкая улица, где в окнах горят рождественские огни, и мохнатые зеленые ветки царапают стекло…

Сочельник, полночь

Все удалось. Я бесшумно вышел из дому. На мою удачу, sor Аздрубале и сестры спали крепко. Я было испугался, что разбудил их: случайно выронил топор, когда шел через большую комнату, в которой мой хозяин держит разные диковины на продажу; проклятый топор задел наполовину собранные старинные доспехи. Хозяин вскрикнул во сне, и я поскорее задул свечу и укрылся

в тени лестницы. Он вышел в халате, никого не увидел и вернулся в постель. «Не иначе, кошка!» — пробормотал он. Я тихо притворил за собой дверь. За минувший вечер небо сделалось грозовым. Стояла полная луна, но низкие серые и буро-желтые облака отчасти скрывали тусклое сияние небосвода, время от времени поглощая и саму луну. Вокруг ни души, только высокие узкие дома незряче глядели на лунный свет.

Не знаю почему, я пошел к Корте обходной дорогой, миновав одну-другую церковь: по бледному мерцанию за дверями угадывалась ночная служба. Я едва не поддался искушению войти внутрь, но что-то меня удержало. До моего слуха донеслись обрывки рождественского гимна. Во мне шевельнулся безотчетный страх, и, чтобы прогнать его, я поспешил к Корте. Проходя под портиком церкви Сан-Франческо, я вдруг услышал позади шаги, словно меня кто-то преследовал. Я остановился, желая пропустить незнакомца вперед. Поравнявшись со мной, он чуть замешкался и тихо пробормотал: «Не ходите. Я Джанфранческо Пико». Я резко повернул голову — незнакомец исчез. Меня сковал леденящий ужас, но я не свернул с пути.

Потом в узком проулке за апсидой собора я

заметил человека: он стоял, прислонившись спиной к выступавшей полукругом стене. Луна целиком освещала его, и мне почудилось, что по лицу с остренькой бородкой течет кровь. Я ускорил шаг, но не успел я протиснуться мимо, как человек шепнул: «Не слушайтесь ее, ступайте домой. Я Маркантонио Франджипани». Зубы у меня застучали, но все же я побежал дальше. Справа и слева от меня белые стены синели в лунном свете.

Наконец я увидел впереди Корте: луна заливала всю площадь, и казалось, что в окнах дворца ярко горят свечи. Конная статуя герцога Роберто, мерцая зеленоватыми бликами, как будто двигалась прямо на меня. Мне еще нужно было миновать арку, где лежала черная тень. Там, словно отделившись от стены, навстречу выступила мужская фигура, вытянутая под плащом рука преградила мне путь. Я попытался пройти. Человек вцепился в мою руку ледяной хваткой. «Не пущу!» — крикнул он, и тут едва скрывшаяся в облаках луна снова засияла на небе. Я увидел его лицо — мертвенно-белое, повязанное снизу кружевным платком. Противник мой был на вид почти мальчик. «Не пущу! — кричал он. — Тебе ее не видать! Она моя, только моя! Я Принцивалле

дельи Орделаффи». Одна моя рука была зажата в ледяных тисках, но другой, свободной рукой я выхватил спрятанный под плащом топор и стал им яростно отбиваться. Лезвие ударилось в каменную стену, железо звонко лязгнуло. Человек исчез.

Я торопливо принялся за дело. Вскрыл бронзу, пропилил проем. Я вырвал изнутри серебряного идола, изрубил его на множество кусков. Когда я разбрасывал последние мелкие обломки, луна вдруг погасла, налетел страшный ветер и с воем пронесся по площади. Мне почудилось, что земля затряслась под ногами. Я отшвырнул топор и пилу и, не чуя под собой ног, побежал домой. За спиной я слышал топот копыт, как будто за мной гнались сотни невидимых всадников.

Теперь я спокоен. Сейчас полночь. Еще мгновение — и она придет! Потерпи, мое сердце! Как оно стучит… Уповаю на то, что вина не падет на голову бедняги Аздрубале. Надо написать записку властям, заявить о его невиновности на случай, если… Бум! Часы на дворцовой башне пробили… «Я, Спиридон Трепка, настоящим удостоверяю, что ежели нынешней ночью со мною случится несчастье, то никто, кроме меня самого, в том…» Шаги на лестнице! Это она! Она! Наконец — Ме-

дея, Медея! Ах! AMOUR DURE — DURE AMOUR!

Примечание

Здесь обрывается дневник покойного Спиридона Трепки. Из заметки, напечатанной во всех главных газетах провинции Умбрия, читатели узнали о том, что наутро после Рождества 1885 года бронзовая конная статуя Роберто Второго оказалась варварски изуродованной и что профессор Спиридон Трепка из города Позен в Германской империи был найден мертвым — неизвестный убийца нанес ему удар ножом в грудь, в область сердца.

1887

Эдмунд Митчелл
1861–1917
Фантом озера

Я получил профессию адвоката, но жизнь библиотечного затворника мне больше по душе, а потому, имея неплохой независимый доход, я предпочитаю держаться в стороне от безумств судебных ристалищ.

Проживаю я в Лондоне, в меблированных комнатах, а когда меня там нет, то почти наверняка можно найти в Иствуд-Холле, чудесном старом доме, окруженном красивым парком, — от столицы его отделяют два-три часа пути.

Иствуд привычен мне с детства. Миссис Армитидж, бывшая его хозяйка, приходится мне тетей; она заменила мне мать, так как я рос сиротой. На двоих ее сыновей, с которыми меня разделяет около десяти лет, я всегда смотрел как на младших братьев и был к ним очень привязан. Их отец, полковник Армитидж, подхватил на службе за границей какую-то заразу, долго болел и умер, когда Чарльзу сравнялось три года, а у Нормана начал резаться первый зуб.

Когда на миссис Армитидж свалилось это несчастье, я и сам был еще ребенком. Правда, в отличие от ее сыновей, я понимал уже, что такое смерть, и убитая горем вдова, супружескому счастью которой был отпущен столь недолгий срок, находила во мне самое искреннее сочувствие и утешение, какого можно ожидать от мальчика. В тот час, когда наступил давно предрешенный конец и тетя, обняв меня за шею, отчаянно зарыдала, узы нашей родственной привязанности еще более окрепли. В последующие годы я сделался не по летам задумчив — наверное, так на меня повлияла ее подспудная печаль. Как бы то ни было, когда я повзрослел, тетка стала обращаться ко мне за советом во всем, что касалось ее детей и собственности.

Годы шли, братья тоже сделались взрослыми, я поселился в другом месте. Но мои комнаты в Иствуде всегда меня ждали, и, когда бы я ни появился, двоюродные братья и тетка радостно меня приветствовали.

И всегда за мной сохранялась роль семейного советника. Ни один важный шаг не был предпринят без моего ведома. Достаточно было и незначительного повода, чтобы меня срочно вызвали в Иствуд, и я радовался этому как предлогу

прервать на время учебные и книжные занятия. Я был свободен от оков брака и мог в любую минуту поехать, куда душа пожелает.

Мне часто вспоминается один из подобных визитов в Иствуд. На этот раз я был вызван туда по очень основательной причине. Полк, где служил Чарльз, неожиданно решили отправить в Индию, и перед отплытием брату дали краткий отпуск, чтобы попрощаться с домашними. Конечно, меня тут же вызвали телеграммой: требовалось обсудить и решить множество вопросов.

Бедная тетя очень горевала из-за предстоящей долгой разлуки с сыном. Сам же Чарльз был радостно возбужден. Рожденный для военного ремесла, он жаждал перемен и приключений. Три-четыре дня продолжались хлопоты, настал час расставания; Чарльз с матерью простились со слезами на глазах.

Мы с Норманом проводили Чарльза в Портсмут и видели, как отплывал «Малабар». Братья были очень привязаны друг к другу, бедняга Норман боялся заговорить, скрывая дрожь в голосе. Когда мы с Чарльзом в последний раз простились за руку, в его крепком пожатии ощущались любовь и благодарность. Мы следили, как отплывало судно, молодой воин в окружении своих товарищей

вновь и вновь махал нам рукой с палубы. Потом мы понуро тронулись в обратный путь.

Я проводил Нормана в Иствуд и задержался на несколько дней, чтобы по мере сил успокоить изнывавшую от тревоги мать. К концу второй недели, когда я собрался в Лондон, миссис Армитидж уже вспоминала отсутствующего сына не с печалью, а с надеждой.

Миновало полгода, и Норман тоже покинул семейное гнездо: он поступил на дипломатическую службу и был откомандирован в посольство за границу. Из Индии от Чарльза регулярно поступали вести, он писал матери длинные письма, она, как мы условились, отсылала их Норману, а Норман — мне. Таким образом мы знакомились со всеми его новостями и отвечали ему почти с каждой почтой.

Наступила середина лета (Чарльз отбыл в начале того же года). Я уже больше месяца сидел в Лондоне, стояла изнурительная жара. Уже несколько дней я тосковал и не мог взяться за работу.

Однажды утром, выглянув на улицу и убедившись, что зной не спал, я не выдержал: пора было спасаться с душных улиц и раскаленных тротуаров. Я отправился через зеленые поля и

журчащие ручьи — в Иствуд.

Там меня ждал самый приветливый прием. Отпустив от себя обоих сыновей, миссис Армитидж грустила и скучала; когда я объявил, что пробуду не меньше двух-трех недель, она была благодарна. В тот вечер мы очень приятно провели вдвоем время за обедом, разговор шел исключительно о мальчиках и их письмах. Вскоре ожидалась почта из Индии, мы наперебой гадали, что там будет.

В начале одиннадцатого мы разошлись по спальням. Мои комнаты располагались в первом этаже бокового флигеля; там имелась застекленная дверь, выходившая на лужайку. Я распахнул створки, зажег лампу, затененную абажуром, и, подставив лоб прохладному воздуху, сел читать.

Но почему-то в тот вечер мне было не сосредоточиться на книге. В конце концов я смирился, встал, зажег сигару, потушил лампу, тихонько закрыл за собой дверь и побрел в парк.

Одно из главных украшений Иствуда — озеро; в ширину с одного берега до другого легко добросить камень, но длина со всеми поворотами превышает милю.

С этим озером у меня связаны воспоминания из раннего детства: лодки, купанье, рыбная ловля, коньки. Туда я и направил неспешные стопы.

Через четверть часа я был уже на обсаженной деревьями тропе, которая следовала изгибам берега. Наконец показался лодочный сарай, расположенный у самого широкого места. Я сел на скамью, докурил сигару и предался размышлениям.

Лунные лучи серебрили поверхность озера, отчего еще больше темнели тени деревьев и одетых кустарником островков. Вдоль долины дул напоенный ароматом ветерок, едва слышно шелестели листья, журчала у берега вода.

Преисполнившись блаженства, забыв о прошлом и равнодушный к будущему, я чувствовал себя древним лотофагом. Журчала вода, шелестели листья. Едва слышно донесся издалека, с колокольни деревенской церкви, звон колоколов. Полную тишину ночи лишь время от времени нарушал всплеск: это форель ловила мошек.

Минул, наверное, целый час, как вдруг что-то заставило меня встрепенуться. Я подался вперед, напряженно прислушиваясь.

Странно было слышать эти звуки ночью в середине лета, однако мое привычное ухо опознало в них не что иное, как скрип льда — словно по замерзшему озеру выписывал протяженные дуги конькобежец.

Звуки ненадолго стихли, но не совсем. То же самое я слышал многократно зимними ночами, когда, опередив Чарльза и Нормана, ожидал их у лодочного сарая, пока они огибали поворот в сотне ярдов от меня. Стоило в голове промелькнуть этой мысли, как звуки сделались громче: со звоном ударялся о лед стальной конек и, глухо шурша, катился дальше.

Невольно я перевел взгляд на изгиб озера, который тонул в чернильной черноте под сенью больших деревьев. Привычное ухо ловило и распознавало все нюансы шума, сердце шепнуло: «Он прошел поворот».

И в тот же миг из тени на серебряную поверхность пулей выскочил конькобежец (обознаться было невозможно) и энергично, стремительно стал приближаться ко мне. Как зачарованный, ни о чем не думая, я следил за его изящными движениями. Вот конькобежец поравнялся с лодочным сараем. Очертания его были туманны, но я разглядел, что это молодой человек благородной осанки, в широкополой шляпе, плотно закутанный в темный плащ.

Еще чуть-чуть, и он оказался бы прямо напротив меня. Но внезапно конькобежец вскинул руки, слабо вскрикнул и словно бы ушел под

воду.

Тут ветви деревьев склонились, как под ветром, мимо пронесся студеный порыв (почудилось даже, что он швырнул мне в лицо снегом), меня до костей пробрало морозом. По озеру пробежали и разбились о стены сарая мелкие волны. Потом все стихло, и, стряхнув с себя леденящий ужас, я обнаружил, что мои щеки обвевает все тот же благоуханный летний бриз, а внизу, у самых ног, все так же мирно, еле слышно плещется вода.

Все, что я видел и слышал, представлялось настолько подлинным, что первым моим побуждением было кинуться за лодкой и плыть туда, где скрылся из виду конькобежец. Я бросился к лодочному сараю, забыв, что его, пока никто не катается, всегда держат под замком. Сообразив, что до лодки не добраться, я дал себе время подумать.

Прежде я размышлял о так называемых сверхъестественных явлениях разве что случайно и вскользь и потому в них не верил. Теперь мне пришлось признать, что происшествие этой ночи — из тех, что не снились моей философии.

Когда я отвернулся и зашагал по береговой тропинке домой, меня все еще трясло от страха. Мне всегда представлялось, что я человек довольно

здравомыслящий и не подверженный причудам воображения, но тут я то и дело пугался собственной тени. И лишь добравшись до своей комнаты, я вздохнул облегченно.

Спал я беспокойно, урывками, в семь утра встал вконец разбитый. Завтрак подавали в девять. В восемь я вышел на улицу, надеясь часовой прогулкой вернуть себе бодрость.

Ненадолго я заколебался, выбирая между береговой тропой и подъездной аллеей. И выбрал последнюю.

Пока я стоял у главных ворот и раздумывал, глядя на дорогу, повернуть назад или пойти дальше, со стороны деревни показалась двуколка. У ворот она остановилась, седок бросил вожжи и спрыгнул на землю.

Я сразу узнал деревенского почтмейстера. Он был бледен, в руке у него я заметил зловещий желтый конверт.

— Что случилось, мистер Скотт? — выдохнул я.

— Слава богу, мистер Хоторн, что я наткнулся на вас. Я сам принял телеграмму, сразу как открыл контору, и стрелой сюда.

— Что это?

Я взял у почтмейстера телеграмму и распечатал.

Послание, очень краткое, пришло из Калькутты. Автор, офицер из полка Чарльза, адресовал его миссис Армитидж. Там говорилось, что ее сын, проболев всего шесть часов, умер от лихорадки.

Это было все. «Подробности письмом», — говорилось в конце.

Сердце у меня упало. Голова пошла кругом. Потом я осознал, что за страшная на меня возложена задача. Нескольких секунд мне хватило, чтобы принять решение. Я вскочил в двуколку мистера Скотта, и мы на полной скорости покатили в деревню. Я тут же отправил телеграмму Норману в Париж: «Срочно возвращайся домой. Безотлагательно».

Потом я попросил Скотта доставить меня обратно. Напоследок я ему сказал:

— Помните: ни слова миссис Армитидж, пока не вернется мистер Норман. Пусть это будет нашим с вами секретом.

К завтраку я немного опоздал. Одному Богу известно, как я вынес трапезу.

Свою рассеянность и неразговорчивость я объяснил жестокой головной болью. Вернувшись к себе, я кинулся листать «Брэдшо». Оказалось, Нормана можно было ожидать на следующее утро в половине седьмого.

День прошел как в дурном сне, я не понимал, что делаю и говорю. Закрыться у себя в комнате я побоялся — нужно было оставаться рядом с тетушкой, а то как бы кто-нибудь в мое отсутствие не сообщил ей ненароком ужасную весть.

Я вздохнул облегченно с наступлением ночи, когда тетя ушла спать. Сам я провел ночные часы, расхаживая из угла в угол. Они тянулись бесконечно!

Но вот наступил рассвет. В пять утра я был на железнодорожной станции. Через час ко мне присоединился добряк-почтмейстер. Он просил прощения, но: «Видите ли, сэр, я не мог не прийти». Его переполняло сочувствие, и я был благодарен, что нашелся хоть один человек, с которым можно посоветоваться.

Поезд прибыл минута в минуту, на платформу выскочил Норман. Лицо у него было бледное, встревоженное.

— Что случилось, Гарри? Что-то с матушкой?

— Нет, — еле выговорил я.

— Значит, с Чарли?

Тут он узнал все.

Мы отправились в дом, за багажом взялся присмотреть мистер Скотт. Я отвел Нормана к себе, вошли мы через застекленную дверь, никто в

доме не знал о его приезде.

К восьми Норман немного пришел в себя, и мы обсудили, как исполнить тяжкий долг — сообщить новость его матери.

Что происходило потом, описывать не стану. Когда миссис Армитидж вошла в гостиную, где подавали завтрак, она сразу догадалась по моему лицу, что произошло нечто ужасное. Я выдавил из себя: «Чарльз». Слава богу, Норман был рядом, и она пала на его грудь. Ей было для кого жить: у нее остался Норман.

Лишь через несколько месяцев я рискнул заговорить с тетей о видении, которое явилось мне на озере накануне того дня, когда поступило ужасное известие о Чарльзе. С самого начала я связал в уме эти два события, однако упоминать о них боялся. Но вот пришел день, когда мы смогли спокойно и без ропота вспомнить прошлое.

Тогда-то я и услышал впервые историю «фантома озера». Она была основана на семейном предании: за несколько поколений до нас молодому владельцу Иствуд-Холла в самую ночь накануне его свадьбы вздумалось покататься на коньках. Зима выдалась морозная, лед был надежный, и друзья его не отговаривали, хотя составить ему компанию никто не захотел. Однако

в тот день на озере сделали прорубь для лебедей. Несчастья никто не видел, оказать помощь было некому. Тело нашли на следующее утро, девица, собиравшаяся под венец, сошла с ума при виде своего погибшего жениха.

Отсюда пошла легенда, что, когда один из Армитиджей умирает внезапной или насильственной смертью, кто-нибудь из членов семьи непременно видит на озере призрачного конькобежца и слышит его захлебывающийся крик.

Когда полковник Армитидж поведал фамильное предание супруге, они согласились, что лучше бы эта мрачная легенда канула в Лету. Сам полковник отошел в лучший мир после длительной болезни; ни о каких сверхъестественных явлениях, связанных с его смертью, не сообщалось. Один или два человека, знавшие эту странную историю, помалкивали, вспоминать о ней было некому, и только сейчас она достигла моего слуха.

Время продолжало неслышными шагами двигаться вперед, миновало еще пять или шесть лет. Норман успешно делал дипломатическую карьеру, обещая в будущем стать видным государственным деятелем. Миссис Армитидж здравствовала и управляла домом. Я проводил у

нее немалую часть года.

Однажды меня снова призвали в Иствуд в связи с важным семейным делом. Из Берлина возвращался Норман, чтобы вступить в брак. Выехать он собирался недели через две.

Нельзя сказать, что это была неожиданная новость, но переполоху она наделала изрядно.

Все две недели ушли на подготовку к приезду Нормана (вначале одного, а затем с невестой) и к последующему знаменательному событию.

Но вот все было готово, Нормана ожидали с часу на час. В последнем письме он сообщал, что постарается выехать как можно раньше, но не знает точно, когда его отпустят со службы.

Была ранняя осень, дни стояли душные. Наслаждаться прохладой можно было только по вечерам, и я любил проводить эти часы на озере, где почти всегда дул вдоль долины ветерок. Нельзя сказать, что мне не приходили здесь печальные мысли. При виде озера я не мог не вспоминать судьбу Чарльза.

Часто, когда сгущались вечерние тени, я склонялся и прислушивался, не скрипит ли лед под коньками призрака. Но ни разу ничего не слышал.

Весь день мы провели в ожидании, но послед-

ний поезд из Лондона пришел без Нормана. Мне нужно было написать несколько важных писем, и я вскоре после обеда пожелал тетке доброй ночи и ушел к себе. Трудился я до десяти. Для прогулки на лодке поздновато, подумал я, однако эта утомительная жара, и к тому же я так долго водил пером по бумаге… Взяв ключи от лодочного сарая, я отправился к озеру.

Среди лодок имелась недурная гоночная гичка. Я вывел ее из сарая в намерении хорошенько размять руки. Взялся за весла, лодка полетела, за кормой потянулся, искрясь под полной луной, длинный белый след.

Быстро добравшись до дальнего конца озера, я уже не так резво погреб обратно. В конце пути, у самого лодочного сарая, я взглянул на часы. Было десять минут двенадцатого.

Я поднял весло, чтобы развернуть гичку под прямым углом к берегу и завести в сарай, но тут меня как парализовало.

Издалека, на крыльях бриза, до меня долетал размеренный скрип коньков!

Похолодев от ужаса, я слушал. Звуки то затихали, то становились громче, я следовал мысленно за призрачным конькобежцем вдоль изгибов берега, мимо скоплений деревьев.

Скрип зазвучал отчетливо, он приближался, приближался немилосердно быстро.

Наконец из-за поворота показался знакомый уже конькобежец и по искрящейся поверхности воды заскользил ко мне.

На мгновение я застыл. Но наконец связь разума и мышц восстановилась, одним взмахом еще поднятого весла я развернул лодку вдоль берега, как раз на пути призрака.

Я открыл рот, но не сумел издать ни звука. Но вот, приложив все силы, я выкрикнул: «Эй! Эй!»

Эхо разнесло мой испуганный голос по долине, и я едва его узнал.

Конькобежец как будто замедлил шаг; я услышал скрежет, какой бывает при резком торможении.

В двух десятках ярдов от лодки конькобежец остановился. «Эй! Эй!» — еще раз крикнул я, забыв все остальные слова.

Призрак вгляделся в меня, в мою длинную лодку, которая загораживала ему путь, медленно повернулся и покатил в обратном направлении. Он скрылся за поворотом, скрип замер вдали.

Как я выбрался на берег, рассказать не могу. Я знал, где в лодочном сарае хранится бренди, но едва сумел дрожащими руками поднести стакан

ко рту. За себя я не боялся. Я думал о Нормане.

До самого рассвета я сторожил в лодочном сарае и напряженно прислушивался, но страшный скрип коньков не тревожил больше ночную тишину. Утром я проскользнул в дом.

Переодевшись, я постарался успокоиться. В шесть я был на деревенской почте; из-за меня мистер Скотт поднялся на два часа раньше обычного.

Отправив телеграмму в Берлин на адрес Нормана с вопросом, отбыл ли он в Англию, я сел ждать ответа. В глазах было темно, сердце бешено колотилось.

Через четверть часа аппарат застучал: поступила телеграмма. Не подумав о том, что вестей из Берлина ждать еще рано, я вскочил на ноги.

— Это не вам, сэр, — сказал мистер Скотт, подходя к аппарату. Я следовал за ним по пятам.

— Хотя нет, вам! — взволнованно воскликнул он и добавил: — От мистера Нормана.

Под душераздирающий стук телеграфного аппарата почтмейстер стал слово за словом читать сообщение. Оно пришло из Дувра и было послано в час ночи. В нем значилось: «Кораблекрушение в Ла-Манше. Не тревожьтесь. Жив, еду домой».

Телеграмма лежала на лондонском Главпоч-

тамте, пока не открылась почтовая контора в Иствуде.

Схватив шляпу, я кинулся на станцию. Норман мог прибыть утренним поездом. Так и случилось. Какую же пламенную хвалу вознес я Господу, когда увидел кузена живым и здоровым!

Вскоре я узнал в общих чертах, что произошло. Норман прибыл в Кале, когда английский пакетбот только-только отчалил. Но в Дувр как раз отплывал буксир с несамоходным судном. Норман тут же сел на него, надеясь, что все же успеет на почтовый поезд из Дувра. В самом конце пути судно накрыло туманом, и вскоре на него налетел тот самый пассажирский пароход, на который Норман не успел. Мелкое судно сразу пошло ко дну, все, кто был на борту, за исключением Нормана, погибли.

Но самая удивительная часть истории еще впереди. Норману не хотелось спать, и все время пути он провел на палубе. За несколько минут до аварии он случайно глянул на часы. Было без четверти одиннадцать. Вскоре он уже барахтался в волнах, спасая свою жизнь. Он видел пакетбот, на них налетевший: не сбившись с курса при столкновении, он скрылся в туманном сумраке.

По подсчетам Нормана, он пробыл в воде не

меньше получаса. Надежда оставила его, тело закоченело, сознание угасало, и тут сквозь толщу тумана до него долетел слабый оклик: «Эй! Эй!»

Самое странное было то, что он узнал мой голос, — это я звал его с той стороны водного пространства.

Обретя второе дыхание, Норман поплыл туда, откуда донесся крик, и сам попробовал меня окликнуть. Но с онемевших губ не сорвалось ни звука.

И снова мой голос прокричал: «Эй! Эй!» Ответить Норман не смог.

Дальше он помнил только, что очнулся на борту пакетбота и кто-то смачивал ему губы бренди.

Сразу после аварии с пакетбота отправили шлюпку, чтобы отыскать в тумане и спасти команду злосчастного судна. Нашелся, однако, один Норман, и то когда спасатели почти уже потеряли надежду. Они услышали плеск воды и подоспели в самую последнюю минуту. На борт его подняли бесчувственным. Вскоре его привели в сознание, и он смог сразу продолжить путь в Лондон.

Я рассказал свою историю Норману и его матери, и с этого дня они смотрели на меня как на его спасителя.

Прошли годы; когда я приезжаю в Иствуд, на

колени мне карабкаются малыши, детские голоса ласково окликают: «Дядя Гарри». Миссис Армитидж (она уже очень немолода, я и сам перевалил за половину земного срока) неизменно встречает меня благословением. Норман с женой (ее тоже посвятили в эту историю) заменяют мне брата и сестру.

На озере, в том месте, где в былые века нашел свой безвременный конец молодой хозяин Иствуда, соорудили искусственный остров. Но никто из нас не упоминает больше в разговоре легенду о «фантоме озера», нам хотелось бы только одного: навсегда о нем забыть.

1886

Джон Кендрик Бангз
1862–1922
Кухарка-призрак из Банглтопа

1

Вистории, которую я собираюсь рассказать, Банглтоп-Холл стоит на зеленом холме, на левом берегу реки Ди, милях в восемнадцати от старинного живописного города Честера. На самом деле он не только не стоит там ныне, но и не стоял вовек, однако в интересах ныне здравствующих лиц я должен скрывать его истинное местоположение и всячески морочить читателям голову, чтобы они не догадались ненароком, о каком доме идет речь, иначе его репутации будет нанесен урон. Дом предназначен к сдаче, и если бы сделалось известно, что с ним связана тайна столь давняя, мрачная и жуткая (а именно о такой тайне я собираюсь вам поведать), то, боюсь, как доходная собственность он утеряет практически всякую ценность и использовать его можно будет разве что в качестве антуража для романа.

Строение представляет собой красивый образчик архитектурного стиля, преобладавшего при короле Эдуарде Исповеднике; иначе говоря, бóльшая часть сооружения, построенного первым бароном Банглтопом при жизни короля Эдуарда, каменная и своим приземистым,

массивным видом сразу говорит искушенному знатоку архитектуры о принадлежности к той просвещенной эпохе. Позднейшие владельцы, все последующие бароны Банглтопы, делали к зданию пристройки: тут флигель в стиле королевы Анны, там крыло в елизаветинском стиле, а фасад, выходящий на реку, — в стиле итальянского Возрождения. Южнее стоит висконсинская водонапорная башня, связанная с основным зданием низенькой готической галереей, к востоку — грекоправославная часовня; там нынешний владелец хранит сундуки своей жены: недавно она вернулась из Парижа с запасом нарядов, которого должно хватить на первую половину предстоящего лондонского сезона. В целом Банглтоп-Холл являет собой впечатляющее зрелище, и первый же взгляд на него порождает в груди людей, не чуждых эстетике, эмоции самого разнородного свойства: одни критикуют, другие восхищаются. Видный берлинский архитектор проделал немалый путь из Германии в Банглтоп, чтобы познакомить с этим прославленным зданием своего сына, как раз изучавшего профессию, которой его родитель служил украшением. Известно его обращенное к сыну замечание, что архитектура Банглтоп-Холла космополитична и

объединяет в себе все исторические периоды, а потому всякий, кто детально ее изучит, сможет основательно пополнить свой запас знаний. Короче говоря, Банглтоп-Холл служил архитекторам наглядным уроком, блестящей демонстрацией того, чего следует всенепременно избегать.

Трудно поверить, но почти два века Банглтоп простоял необитаемым и почти три четверти века его безуспешно предлагали в аренду. Дело в том, что для баронов Банглтопов — их многих поколений — жизнь в родных стенах оказывалась невозможной, и основание для этого имелось чрезвычайно веское: ни одна кухарка и ни один повар не продержались в доме дольше двух недель. По какой причине суверены кухни покидали ее, что называется, по-французски, обитатели дома не ведали: никто из поваров и кухарок не вернулся и спросить было не у кого, и даже если бы ктонибудь из них появился вновь, Банглтопы не снизошли бы до того, чтобы выслушать их объяснения. Семейный герб Банглтопов всегда оставался незапятнанным, его носителей не касалась и тень подозрения в чем-либо неподобающем; семейство особливо гордилось тем, что ни один из его членов, с тех самых времен, как был учрежден титул, не замарал себя прямым

обращением к представителям низших сословий — переговоры велись через посредство личного секретаря, который и сам носил баронский либо даже более высокий титул, однако находился в стесненных финансовых обстоятельствах.

Первая кухарка, покинувшая Банглтоп на галльский манер, то есть без причины, жалованья и пожитков, была нанята Фицгербертом Александером, семнадцатым бароном Банглтопом, через Чарльза Мортимора де Герберта, барона Педдлингтона, бывшего владельца усадьбы Педдлингтон в Данвуди, — этот представительный пожилой джентльмен шестидесяти пяти лет, личный секретарь барона Банглтопа, в 1629 году лишился своего имения, конфискованного короной, поскольку был заподозрен в том, что содействовал публикации комического памфлета, направленного против Карла Первого (все население Лондона читало его и покатывалось со смеху).

Памфлет этот, один из немногих, отсутствующих в Британском музее (самое убедительное свидетельство того, какую редкость он собой представляет), назывался «Прекрасная Идея касательно должного Употребления Бородки» и состоял из нескольких строчек плохоньких

стишков под карикатурным изображением короля с короной, прицепленной к козлиной бородке. Вот эти вирши:

Король козлиною бородкой горд:

Всяк видит, что бородка – первый сорт.

Но темечко – короне не подпора:

Мало оно для этого убора.

Не лучше ль – для бородки без урону —

К ней прицепить британскую корону?[32]

Являлся ли барон Педдлингтон тем самым изменником, который породил на свет данный пасквиль, не знал никто, в том числе и сам король. Обвинение не было убедительно доказано, равно и Де Герберт, как ни старался, не смог его полностью опровергнуть. Король, привыкший в подобного рода делах блюсти абсолютную справедливость, усмотрел в данном случае повод для сомнения в пользу ответчика и присудил половинную, сравнительно с обычной, кару: имение было конфисковано, но обвиняемый сохранил жизнь и свободу. Семья Де Герберта просила у

[32] Примечания: 32
Перевод Сергея Сухарева.

короны противоположного приговора, то есть пусть лучше им достанется имение, а королю — голова дядюшки, поскольку его, неженатого и бездетного, оплакивать некому. Однако Карл в ту пору был скорее беден, нежели мстителен, и, не прислушавшись к просителям, принял иное решение. Этот случай, вероятно, наряду с другими, позднейшими, причинами, привел к тому, что мода проводить досуг за литературным сочинительством среди представителей высших сословий сошла на нет.

Де Герберта ждала бы голодная смерть, если бы не его старый друг, барон Банглтоп, предложивший ему должность своего личного секретаря, недавно освободившуюся в связи со смертью герцога Алжирского, исполнявшего эти обязанности последние десять лет, и в скором времени барон Педдлингтон взял на себя все домашние дела своего друга. Труды, ему доставшиеся, оказались не из легких. Барон был человек гордый и высокомерный, привыкший к роскоши, общение с услужающими отнюдь его не радовало, а необходимость самому прислуживать просто бесила, однако ему достало мужества лицом к лицу встретить выпавшие на его долю невзгоды, тем более что вскоре он убедился: благодаря особому

отношению барона Банглтопа к слугам на них можно семикратно отыграться за все свои обиды. Нужда любит общество товарищей по несчастью, особенно в тех случаях, когда избытком несчастья можно великодушно поделиться.

Желая поправить свои дела, барон Педдлингтон назначал всем, кого нанимал на службу в хозяйство Банглтопа, высокое жалованье и в день выплаты, с помощью изобретательной системы штрафов, изымал у них в свою пользу до трех четвертей заработка. Барон Банглтоп об этом, разумеется, знать не мог. Он замечал только, что при Де Герберте домашнее хозяйство стало требовать вдвое бóльших расходов, чем при смуглом алжирском герцоге; однако, с другой стороны, на всевозможные починки герцог испрашивал ежегодно несколько тысяч фунтов стерлингов, предъявляемый же результат бывал ничтожен, тогда как нынче расходы исчислялись всего-навсего сотнями, с результатом ничуть не меньшим. А посему он зажмуривал глаза (единственная далекая от аристократизма привычка, какую он себе позволял) и помалкивал. Он любил приговаривать, что доходов, им получаемых, хватило бы на содержание не только его самого и всей его родни, но также и Али-Бабы с сорока

разбойниками.

Если бы барон предвидел, к чему приведет его беспечность в финансовых вопросах, едва ли он вел бы себя подобным образом.

Около десяти лет под управлением Де Герберта дела шли как по маслу, хозяйские денежки продолжали утекать, но вдруг случилась перемена. Однажды утром барон Банглтоп позвонил, чтобы принесли завтрак, но завтрак ему не подали. Исчезла кухарка.

Куда она скрылась и почему, личный секретарь объяснить не мог. Тем не менее он не сомневался, что легко найдет ей замену. Нет сомнений и в том, что барон Банглтоп два часа шумел и бушевал, съел холодный завтрак (случай беспрецедентный) и уехал в Лондон обедать в клубе, пока Педдлингтон не найдет пропавшей кухарке заместительницу, что случилось не далее чем через три дня. Получив известие об успехе своего управляющего, барон к концу недели вернулся в Банглтоп-Холл. Прибыл он в субботу, на ночь глядя, голодный как волк и не слишком благодушно настроенный: пока он жил в столице, король насильственно истребовал у него заем.

— Добро пожаловать в Банглтоп, барон, — проговорил тревожным голосом Де Герберт, когда

его наниматель вышел из кареты.

— К черту «добро пожаловать», обед давайте! — несколько бесцеремонно рявкнул барон.

Личный секретарь приметно растерялся.

— Гм! Всенепременно, дражайший барон, будет исполнено, только… собственно… не располагаю ничем, кроме жестянки с омаром и яблок.

— Что, во имя Чосера, это значит? — взревел Банглтоп, большой поклонник отца английской поэзии, ибо пример Чосера убеждает нас в том, что великим человеком можно сделаться и не владея в совершенстве правописанием, каковое положение вещей барона вполне устраивало, поскольку, подобно большинству аристократов, его современников, в орфографии он был не силен. — Вы ведь известили меня, что кухарка у вас есть?

— Известил, барон, но дело в том, что ночью — а точнее, нынешним утром — она ушла.

— Полагаю, еще один случай прощания по-парижски? — Барон фыркнул и злобно топнул ногой.

— В том же роде, только прежде она получила жалованье.

— Жалованье? — вскричал барон. — Жалованье! Да с какой же стати? За какие такие заслуги? За красивые глаза?

— Нет, барон, за работу. За три обеда.

— Отлично, вот вы ей и заплатите из своих дополнительных доходов. Мне она не готовила ничего, и я ей платить не буду. Отчего, по-вашему, она ушла?

— Она сказала…

— Плевать, что она сказала, сэр, — оборвал Банглтоп Де Герберта. — Когда я начну интересоваться кухонными разговорами, я вас об этом извещу. Мне нужно знать ваше мнение: почему она ушла?

— У меня на этот счет нет никакого мнения, — отозвался Де Герберт, преисполняясь достоинства. — Я знаю только, что в четыре часа утра она постучала ко мне в дверь, потребовала жалованье за четыре дня и поклялась, что ни часу больше не останется в этом доме.

— Так почему же вы мне об этом не сообщили, чтобы я не возвращался сюда аж из самого Лондона?

— Вы забываете, барон, — Де Герберт сделал просительный жест, — вы забываете, что добраться до вас я не мог — по причине отсутствия системы телеграфного оповещения. Я беден, сэр, но я такой же барон, как и вы, и возьму на себя смелость сказать прямо здесь, под самой вашей

бородкой, если бы таковая у вас имелась, что человек, требующий телеграфных депеш, когда их еще не существует на свете, несколько торопит события.

— Простите мою торопливость, Педдлингтон, дружище, — смягчился барон. — Вы более чем правы. Я сказал, не подумав, но клянусь всеми моими предками Банглтопами, я голоден, как целая стая волков, и единственное, от чего меня с души воротит — это омар и яблоки. Не могли бы вы раздобыть хлеба, сыра и холодного шпигованного филея? На худой конец, давайте отдельно филей и отдельно шпик.

Услышав шутку, барон Педдлингтон рассмеялся, и конфликт был улажен. Тем не менее хозяин Банглтопа отправился в постель с пустым желудком, и наутро, за завтраком, его тоже ждало разочарование.

Дворецкий не владел поварским ремеслом, кучер однажды уже пробовал сварить яйца, которые никому не удалось разбить, не говоря уже о том, чтобы съесть, у горничной был выходной, а больше никто в доме готовить не умел. В голову барона Банглтопа закралась мысль, что за отсутствием умельцев он и сам мог бы управиться с вертелом или рашпером, но, разумеется, это было

несовместимо с его высоким положением.

Барон возвратился в Лондон и поклялся, что ноги его не будет в Банглтоп-Холле, пока туда не приведут кухарку и не «прикуют ее цепями к плите».

С тех пор Банглтоп-Холл опустел. Барон не вернулся, поскольку не мог нарушить клятву: Де Герберту не удавалось сыскать постоянную кухарку для банглтопской кухни, а почему — бог весть. Кухарки являлись одна за другой, задерживались на день, на неделю, две самые стойкие проработали по полмесяца, но дольше — никто. Вели они себя одинаково: уходили без предупреждения, не слушая никаких посулов и уговоров. Барон Педдлингтон сгорбился, оглох и наконец за розысками постоянной кухарки повредился рассудком и угодил в сумасшедший дом, где и умер от размягчения мозга четыре года спустя после переселения его нанимателя в Лондон. Последними его словами был вопрос: «Почему вы взяли расчет на предыдущем месте службы?»

Время шло. Бароны Банглтопы рождались, получали образование, умирали. Возникали и уходили династии, но Банглтоп-Холл стоял пустой, хотя до 1799 года семья не отказывалась от надежды использовать по назначению свое

фамильное гнездо. Как уже было упомянуто, делались перестройки, причем очень значительные. Содержались в порядке стоки; особая комната с отделкой из дорогого дерева, красивым декором и богатыми гобеленами предназначалась кухарке — таким образом ее рассчитывали привязать к месту. Были приделаны флигель в стиле королевы Анны и крыло в елизаветинском стиле — последнее вмещало в себя кегельбаны и курительные комнаты для возможной родни возможной королевы кухни; множество претенденток спешили заместить эту должность, и все они с еще большей поспешностью покидали ее до истечения обычных двух недель. Наконец Банглтопы убедились, что жить в доме они не смогут, и было объявлено, что Банглтоп-Холл «сдается в аренду; весь современный комфорт, удобное расположение, обширный парк; великолепные условия для тех, кто самостоятельно занимается стряпней». Последний пункт объявления многих удивлял, люди приезжали с единственной целью — узнать, что бы он значил; вероятно, именно эта строчка, добавленная из шутливой бравады, помогла в кратчайший срок найти жильцов, поскольку не прошло и месяца, как дом был снят на год удалившимся от дел пивоваром из Лондона.

Странное объявление настолько заинтриговало супругу пивовара, что она самолично приехала в Банглтоп-Холл, была им очарована и упросила мужа взять дом в аренду. Пивовару и его супруге посчастливилось не больше, чем Банглтопам. Их кухарки (которых сменилось четырнадцать) ударялись в бегство, пробыв на службе в среднем четыре дня, а впоследствии и самим жильцам пришлось сняться с места; в Лондоне они уверяли друзей, что «в доме водится нечисть». Если б Банглтопы об этом слышали, они бы встревожились, однако они не слышали, поскольку ни они, ни люди их круга не водились с пивоваром и друзьями пивовара; что касается агента, занимавшегося сдачей дома, то ему достойный представитель цеха пивоваров жаловаться не стал, так как надеялся в один прекрасный день быть возведенным в рыцарское достоинство; опорочить же славное жилище Банглтопов значило восстановить против себя блестящее семейство, и кто знает, как в этом случае отзовется лондонский высший свет, когда пивовар и его добрая супруга постучатся к нему в двери. Аренда продолжалась; как было условлено, плата поступала своевременно, а по истечении срока договора Банглтоп-Холл снова появился в списке сдающейся недвижимости.

2

Минуло девяносто лет, и все это время владельцев Банглтопа преследовало то же злосчастье. Стоило кому-то заявить о желании арендовать дом, как тут же по его требованию сооружались новые пристройки. В 1868 году возвели грекоправославную часовню: на то, что она желательна, намекнул греческий князь, который прибыл в Англию писать историю американского восстания: пользуясь архивами британских газет, он состряпал труд, уклоняющийся от истины ничуть не больше любого другого исторического сочинения из разряда доморощенных. Банглтоп был расположен уединенно — как выразился князь, «вдали от обездомевшей толпы», то есть был именно тем местом, где историк романтической школы мог без помех трудиться над своим *magnum opus*[33]; повод сомневаться имелся только один: высокородный обитатель, будучи христианином, принадлежал к православной церкви и ему требовалось соответствующее помещение для молитвы. Это препятствие барон Банглтоп немед-

[33] Примечания: 33
Главным трудом (*лат.*).

ленно устранил, построив и освятив часовню, а его младший отпрыск, чье тонкое душевное устройство делало его непригодным к воинской стезе, был назначен отправлять там службу, преисполнившись прежде изрядной ревностью к вере, в коей их знатный жилец видел для себя источник благодати. Все эти усовершенствования — часовню, священнослужителя, переход последнего в иную конфессию и все прочее — агент Банглтопа предлагал за смехотворную плату: сорок две гинеи в год и стол для священника; и князь не раздумывая согласился, оговорив, однако, что как жилец, так и хозяин имеют право в любое время расторгнуть контракт. Агент доблестно оспаривал эту оговорку, но был вынужден уступить. До князя дошли слухи о банглтопских кухарках, и он был настороже. Наконец барон принял условие. Что произошло дальше — можно не рассказывать. Князь прожил в доме две недели, прослушал одну проповедь, прочитанную юным Банглтопом на классическом греческом языке, какой преподавали в университете, лишился кухарки и съехал.

После отъезда князя усадьба простояла в запустении почти двадцать два года, и собственник смирился с тем, что ничего поделать нельзя. Но

к концу этого срока из Америки приехал богатый обувщик по имени Хэнкинсон Дж. Тервиллигер, основной владелец компании «Общество с ограниченной ответственностью “Трехдолларовая обувь Тервиллигера”» из Соултона, штат Массачусетс, который взял в аренду Банглтоп-Холл, со всеми правами и имуществом, сроком на пять лет. Из всех интересовавшихся возможностью снять здание под жилье мистер Тервиллигер оказался первым, с кем, по настоянию барона, агент говорил абсолютно откровенно, без утайки. Барон был уже в годах, и, по его словам, ему не улыбалось на старости лет впутаться в неприятности с янки. Всю жизнь, сказал он, Банглтоп-Холл сидел у него в печенках, пускай себе пустует хоть до скончания веков, а потому возможный арендатор должен знать всю правду. И не что иное, как полная откровенность агента, как раз и побудило мистера Тервиллигера заключить договор на пятилетний срок. Он заподозрил, что Банглтопам нежелателен такой жилец, как он, и с этого момента вознамерился так или иначе себя им навязать.

— Не вижу, — сказал он, — чем я хуже самого разбаронистого барона, и если Хэнкинсон Джей Тервиллигер решил обосноваться в баронском

доме, то тут он и обоснуется.

— Ваши инсинуации, дражайший сэр, совершенно беспочвенны, — отвечал агент. — Напротив, барон Банглтоп почтет за честь сдать свою усадьбу человеку, чья репутация стоит в Англии столь высоко; он желает только, чтобы вы, прежде чем заключить сделку, ознакомились со всеми обстоятельствами. Банглтоп-Холл отвечает самым высоким требованиям, однако судьба распорядилась так, что он пустует: считается, будто тут водятся то ли привидения, то ли другая подобная нечисть, которая выживает из дома кухарок, а в отсутствие кухарки домашние условия далеки от совершенства.

Мистер Тервиллигер рассмеялся:

— Я не боюсь привидений, они меня — тоже. Пусть резвятся в свое удовольствие, а что до кухарок, то миссис Тервиллигер недаром воспитана в либеральном духе. Пусть кухарки вмиг сгинут все как одна — мы и тут не пропадем. Кроме того, у нас есть дочери, настоящие молодые американки. Украсят собой хоть дворец, хоть хижину; они и бедности не боятся, и большими деньгами распорядиться сумеют. Надо — все утро просидят за фортепьяно, надо — весь день простоят у плиты. Ваши беды — не наши беды. Беру дом на ваших

условиях, срок — пять лет, а если барон захочет провести у нас месяц — милости прошу в любое время. Пусть видит, как роскошно здесь можно устроиться, было бы желание.

Так и случилось. В нью-йоркских газетах появились сообщения, что Хэнкинсон Дж. Тервиллигер, миссис Тервиллигер, три мисс Тервиллигер и мастер Хэнкинсон Дж. Тервиллигер-младший, все семейство из Соултона, штат Массачусетс, окунулись в водоворот английской светской жизни и подметки трехдолларовых американских башмаков топчут ныне полы баронской усадьбы Банглтоп-Холл. Позднее появились известия, что юные мисс Тервиллигер из Банглтоп-Холла были представлены ее королевскому величеству, что Тервиллигеры принимали у себя принца Уэльского. Собственно, имя Тервиллигеров попадалось теперь в заметках иностранных корреспондентов американских газет сплошь и рядом, поскольку президент компании «Общество с ограниченной ответственностью “Трехдолларовая обувь Тервиллигера” из Соултона, штат Массачусетс», вступил в безраздельное владение историческим зданием и зажил соответственно окружавшей его обстановке.

Первое время жизнь американцев в Банглтопе

текла без осложнений. Зловещие предсказания агента, судя по всему, не сбывались, и мистер Тервиллигер начал досадовать. Он нанял дом с привидением и желал сполна воспользоваться арендованным имуществом, однако, подумав о том, как поведут себя обитатели нижнего этажа, предпочел сдержать свое недовольство. Семейство успело обвыкнуться в Банглтопе, дочери были представлены королеве, и мистер Тервиллигер растерял уже былую уверенность, что их хозяйство легко обойдется без кухарки. Не единожды у него срывались с языка недвусмысленные намеки, что он не прочь усладить свое нёбо домашними яблочными оладьями по традиционному новоанглийскому рецепту, однако со времени визита принца Уэльского, проведшего день на банглтопской лужайке, при всяком упоминании о том, что им знакомы такие предметы, как сковорода и тесто, юные леди стали корчить кислые мины, словно им нанесли смертельное оскорбление. Да и миссис Тервиллигер, вкусив радостей аристократической жизни, не спешила теперь надеть на себя передник, в былые американские дни выглядевший на ее дородной фигуре вполне привычным и уместным, дабы приготовить своему супругу и повелителю яич-

ницу-болтунью с беконом — лакомый завтрак, при одном воспоминании о котором рот мистера Тервиллигера наполнялся слюной. Короче говоря, окруженные дворцовой роскошью, супруга и дочери мистера Тервиллигера явно утратили свою способность наслаждаться раем в шалаше, которой так гордился глава семейства, когда красочно описывал ее, беседуя с агентом барона Банглтопа. Ныне мистер Тервиллигер оказался в положении Дамокла. Дом был снят на долгий срок, для соседей предполагалось устраивать щедрые пиры; поскольку его семейство отошло от своих былых республиканских принципов, надеяться оставалось только на наемную кухарку, меж тем история Банглтоп-Холла на этот счет совсем не обнадеживала. Вот почему мистер Тервиллигер решил все же, что лучше будет не тревожить призрака, и жаловаться не стал.

Как оказалось, решение не обращаться с претензией к агенту барона Банглтопа было правильным: еще не достигнув адресата, она потеряла бы всякий смысл, поскольку накануне первого из больших званых обедов для гостей со всей округи, в четверть первого ночи, из кухни Банглтоп-Холла донеслись один за другим громкие крики, отчего три мисс Тервиллигер зашлись

в истерике, а у их отца встали дыбом волосы на голове, а вернее — то, что от них осталось. Только миссис Тервиллигер, благодаря недавно усвоенной привычке не обращать внимания на то, что делается в нижнем этаже, ничего не услышала.

Первым побуждением Тервиллигера-*père*[34] было нырнуть поглубже под одеяло и слушать не эти жуткие звуки, а собственное частое дыхание, однако он никогда не действовал по первому побуждению. Он выждал не более секунды — последовали новые вопли и крик о помощи. В них безошибочно опознавался голос кухарки (она, между прочим, разделяла судьбы семейства с тех самых пор, когда фортуна впервые явила Тервиллигерам свою благосклонность, причем на первых порах выступала в двух ипостасях — начальницы над кухней и наперсницы мадам). Второе побуждение Тервиллигера заключалось в том, чтобы встать, расправить плечи, надеть на себя пару крепких трехдолларовых башмаков «броган» (сделанных специально для британской пехоты в Судане, так что прочнее не бывает), подходящую к случаю одежду, а именно макинтош и черные суконные брюки, и поспешить на

---

[34] Примечания: 34
Отца (*фр.*)

помощь испуганной прислуге. Это Хэнкинсон Дж. Тервиллигер незамедлительно и осуществил, а заодно вооружился парой седельных пистолетов. По пути он бормотал негромко единственную известную ему молитву, начинавшуюся удивительно неуместными при данных обстоятельствах словами: «Ныне, отходя ко сну…»

— Джадсон, что там стряслось? — сонно осведомилась миссис Тервиллигер, открыв глаза и застав супруга за приготовлениями к вылазке.

Имя Хэнкинсон она больше не употребляла не потому, что считала его неподходящим или менее благозвучным, чем Джадсон. Дело в том, что Джадсон было вторым именем мистера Тервиллигера, а миссис Тервиллигер успела заметить, что в лучших кругах ко вторым именам питают особое пристрастие. Несомненно, именно благодаря этому обстоятельству на ее визитных карточках было выгравировано: «Миссис Х. Джадсон-Тервиллигер», где дефис, как можно предположить, появился вследствие типографской ошибки, ответственность за которую нес, вероятно, гравер.

— А то и стряслось, — проворчал Хэнкинсон. — Похоже, дождались: дурацкий призрак пошел куролесить.

При слове «призрак» миссис Тервиллигер, как принято у аристократов, пронзительно взвизгнула, потом, забыв на время о своем социальном статусе, простонала «Хэнк!» и грянулась в обморок. После этого президент компании «Общество с ограниченной ответственностью “Трехдолларовая обувь Тервиллигера” из Соултона, штат Массачусетс», спустился в кухню.

Вход туда загромождало бесчувственное тело кулинарной мастерицы, чьи крокеты из омаров, по словам принца Уэльского, послужили бы достойным украшением Лукуллова пира. В самой кухне наблюдались признаки беспорядка: стулья были опрокинуты, стол перевернут, четыре его ножки глядели в потолок, кухонная библиотека («Сонник Марии-Антуанетты», роман в желтой обложке под названием «Малютка Люси, или Как судомойка стала маркизой» и «Шестьдесят супов: Рецепты знатока») валялась на полу, частью разорванная (сонник), частью безнадежно заляпанная тестом («Малютка Люси»). В том, что произошло нечто чрезвычайное, не усомнился бы даже неопытный наблюдатель, и мистер Тервиллигер ощутил, как по его спинному хребту стремительно побежал холодок. То ли от этого ощущения, то ли от сочувствия к простертой

перед ним кухарке — мистер Тервиллигер тут же опустился на колени, боязливо огляделся и осипшим голосом позвал: «Эй!»

Ответа не последовало.

— Какого черта? Эй, Мэри, — прошептал он, — что все это значит?

Кухарка отозвалась одним тихим стоном; ко второму — буде таковой бы последовал — Хэнкинсон не стал бы прислушиваться, поскольку в тот же миг с дрожью осознал, что в комнате присутствует кто-то еще. Пытаясь позднее описать этот случай, он говорил, что на него словно повеяло холодом из сырой пещеры, где копошатся сплошной массой угри и одна или две гремучие змеи в придачу. Никакого удовольствия, как признался Тервиллигер, он от этого не испытал, а тут еще сквозняк обернулся туманом, какой бывает в малярийной местности над застойным прудом, и в нем поплыли густой массой длинные полосы водорослей и мокрые волосы. Несло от всего этого неописуемо — какой-то липкой тухлятиной, смердевшей так, что трудно себе представить.

— Счастье еще, — пробормотал про себя мистер Тервиллигер, — я не из этих неженок-аристократов. Когда б не моя крепкая республиканская конституция, окочурился бы со страху.

Его природная стойкость пришла ему на выручку как раз вовремя, потому что незваный пришелец принял определенные очертания: на подоконнике сидела вылитая ведьма, пожирая Тервиллигера взглядом, шедшим из самых глубин ее бездонных глаз, где к зелени примешивался оттенок красного, словно по ее расширенным зрачкам проплывали едва заметные красные огоньки.

— Полагаю, вы то самое банглтопское привидение? — Тервиллигер поднялся на ноги и шагнул к камину, чтобы отогреть свой окоченевший организм.

Вместо ответа привидение указало на дверь.

— Да, — кивнул Тервиллигер, отвечая на незаданный вопрос. — Выход здесь, мадам. Причем самый подходящий. Опробуйте его прямо сейчас.

— Нешто я не знаю, где выход? — Привидение тоже встало и приблизилось к временному владельцу Банглтоп-Холла. Остаточный клок волос на его голове тут же вздыбился: лежать в присутствии дамы было бы нарушением приличий. — Да, Хэнкинсон Джадсон Тервиллигер, и где вход, я тоже знаю.

— Это совершенно очевидно, мадам, и, между нами, могу об этом только сожалеть. — Хэн-

кинсон несколько ободрился, услышав голос привидения, пусть даже схожий с невыносимо докучливым гулом морской раковины. — Я, конечно, жутко рад впервые в жизни взглянуть на настоящее живое привидение из тумана и тлена, однако не могу не заметить, что ваш приход сюда — это вторжение в личную жизнь, священную и неприкосновенную. «Нешто» это вам неизвестно?

— Какое такое вторжение? — Призрачная дама щелкнула пальцами под самым носом у жильца, отчего у него отвалилась челюсть, да так и осталась висеть. Тервиллигер содрогнулся при мысли, что она, быть может, никогда уже не встанет на место. — Кто к кому вторгнулся — это как поглядеть. Я тут почитай два века проживаю, а то и поболе.

— Самое время выселяться. — Сумев пригладить на своей в остальном голой макушке серо-стальной клок волос, Хэнкинсон наконец успокоился. — Или, может, вы дух какого-нибудь средневекового поросенка? Тогда вам, вероятно, желательно зарыться в землю, и это вполне можно устроить.

— Скажете тоже: поросенок! — отвечало привидение. — Я тень бедной обиженной кухарки, и

мне надобно за себя отомстить.

— Это уже интересней. — Тервиллигер удивленно поднял брови. — Так вы мстительное привидение? И кому вы желаете мстить? Мне? Но я за всю жизнь и пальцем не тронул ни одного духа.

— Нет, сэр, вас я ни в чем не виню. Да я вас и знать-то не знаю. С кем я не поладила — так это с Банглтопами, с ними мне и хочется поквитаться. Это из-за меня они уже две сотни лет не видят арендной платы. Заплатили бы мне сполна мое жалованье — горя бы не знали.

— Ага, — вскричал Тервиллигер, — значит, все дело в жалованье? Банглтопы были не при деньгах?

— Не при деньгах? Банглтопы? — Привидение рассмеялось. — Такого сна вы даже в этом соннике не сыщете! Раньше Английский банк лопнет.

— А вы, однако, умеете ввернуть современное словечко, — улыбнулся Тервиллигер. — Похоже, вы только прикидываетесь таким уж древним призраком.

С этими словами он выпустил в привидение все шесть зарядов своего пистолета.

— Пифпаф — и мимо, — отозвалось привидение, когда пули просвистели сквозь его грудь и

глубоко ушли в дальнюю стену кухни. — Грому много, только пустая это затея — прогонять духов свинцом. Все одно как на закладном камне пожертвовать им цыпленка. Пока мне не вернут мои деньги, я с места не двинусь.

— И сколько вам задолжали к тому времени, когда вы оставили должность?

— Десять фунтов в месяц — вот сколько я получала.

— Ошалеть! — поразился Тервиллигер. — Похоже, вы были кухарка, каких поискать.

— А то, — с гордой усмешкой подтвердило привидение. — Для самого его величества короля Карла приготовила свиную голову. Он тогда наведался в Банглтоп. Так вот, король сказал, в жизни, мол, ничего вкуснее не пробовал. Жаль, женщин в рыцари не посвящают, а то бы как пить дать меня посвятил. Говорит, женщину рыцарем никак не сделать, но передайте ей от меня благодарность и слова монарха: на кухне ей не место, она рождена для лучшей доли.

— Прекрасно сказано. Рекомендация отличная, иной и не пожелаешь.

— Это самое и я повторила через два дня секретарю барона, когда он ко мне прицепился: я, мол, яйца к баронову столу перепортила. Ну а я ему:

да пропади они пропадом, бароновы яйца! Я слушаю, чего скажет мой монарх, а не какие-то там бароны. А мистер Банглтоп («мистер» он у меня бывал, когда заругается), коли ему не по вкусу моя стряпня, пусть ищет кого другого яйца ему варить. И знаете, что секретарь мне отвечает?

— Не берусь угадать. Что же?

— Говорит, у меня гонору через край.

— Отвратительно! — пробормотал Тервиллигер. — Грубиян, да и только.

— И еще: я, мол, вконец обнаглела.

— Не может быть!

— Еще как может: взял да и вышвырнул меня на улицу без единого пенса. Само собой, после такого я в Банглтоп-Холле оставаться не пожелала. Но говорю: если со мной не рассчитаетесь, вернусь сюда призраком после смерти и вам нипочем меня будет не выкурить. Ну и ладно, отвечает.

— И вы сдержали свое слово.

— А как же! Им от меня досталось изрядно.

— Ну вот что, — произнес Тервиллигер. — Слушайте, что я решил. Я выплачу вам ваше жалованье, если вы дадите слово вернуться к себе в страну призраков, а о Банглтоп-Холле забыть навсегда. Трачу я на трехдолларовую обувь по пятнадцать центов на пару, расходится она как

горячие пирожки, так что десять фунтов мне вполне по карману. По рукам?

— Они были мне должны за три месяца, когда отказали от места, — проговорило привидение.

— Ну хорошо, пусть будет тридцать фунтов.

— А проценты? Проценты добавьте: шесть процентов в год за двести тридцать лет.

— Ого! — присвистнул Тервиллигер. — Да вы хоть понимаете, сколько это денег?

— А то нет, — парировало привидение. — Ровно 63 609 609 фунтов, 6 шиллингов и 4 пенса. И покудова я их не получу, за порог ни шагу: буду бродить тут тенью.

— А скажите, — поинтересовался Тервиллигер, — там, по ту сторону, не случалось ли вам приятельствовать с одним континентальным призраком — Шейлоком из Италии?

— Шейлок? Сроду не слыхала такого имени. Небось он там за морем и обитает.

— Более чем вероятно, — согласился Тервиллигер. — По сравнению с вами он просто святой. Но вот что я вам скажу, миссис Фантом, или как вас там: не тешьте себя пустыми надеждами, таких деньжищ вам не видать, и в особенности от меня. С меня и вообще-то взятки гладки, я вам и фантома всех этих фунтов не должен.

— Оченно вам сочувствую, мистер Тервиллигер, — проговорило привидение. — Но я дала клятву и от нее не отступлюсь.

— Тогда почему бы вам не отправиться в Лондон и не прижать Банглтопов там?

— Не позволено. Мне надобно являться не куда-нибудь, а сюда, в этот дом. Вот я и делаю, чего могу: отнимаю у Банглтопов арендную плату. А иначе мне им никак не досадить.

— Я снял этот дом на пять лет, — взвыл Тервиллигер, — и оплатил аренду авансом.

— Ну так сами виноваты. Я-то тут при чем?

— Да я бы в жизни этого не затеял. Все ради рекламы, — тоскливо признался Тервиллигер. — Рост моих акций на родине, мой собственный престиж — все это стоит вложенных денег. Но покрывать вековую задолженность по жалованью — это уж дудки. Эдак из каждой канавы вылезет ненасытный призрак, и все потянут липкие лапы к моему добру. Обувная торговля, конечно, процветающая отрасль, но на всех бродячих духов моих доходов недостанет.

— Больно чванный вы взяли тон, Хэнкинсон Джей Тервиллигер, только меня этим не проймешь. Мне все одно, кто заплатит, а в заварушку вы сами влезли. Меня нечего виноватить. Я еще

и научила вас, как из нее вылезти.

— Что ж, пожалуй, вы правы, — согласился Тервиллигер. — Нельзя осуждать вас за то, что вы не хотите нарушить клятву, тем более вы уже достаточно долго пребываете на том свете и хорошо представляете себе, каковы могут быть последствия. Однако я желал бы найти какой-нибудь иной выход из положения. Выплатив вам всю требуемую сумму, я потерял бы контроль над своей обувной компанией, а вы ведь понимаете, что это меня решительно не устраивает?

— Ну да, мистер Тервиллигер, еще бы.

— У меня есть план, — произнес Хэнкинсон после недолгого раздумья. — Почему бы вам не вернуться в мир духов и не предъявить там свои претензии к Банглтопам? От них ведь тоже, наверное, остались призраки?

— Остаться-то остались, — вздохнуло привидение. — Да только тамошний мир — что здешний. Здесь судомойку нипочем не подпустят к маркизе, и там то же самое: коли ты кухарка, тебе к барону путь заказан. Когда барон умер и попал на тот свет, я думала до него добраться, но не тут-то было. От его лакеев-призраков слышишь одно: барон занят, у барона важная беседа с духом Вильгельма Завоевателя или с тенью Соломона.

Я-то знаю, вранье все это, только что же тут поделаешь?

— Подлый обман, — кивнул Тервиллигер. — Но я полагаю, будь на вашем месте привидение баронессы, Банглтоп так просто от него бы не отделался?

— Еще бы, да и барон Педдлингтон заодно. Он был личный секретарь барона. Сказал, у меня гонору через край.

— Хм. — Тервиллигер задумался. — А если бы я выхлопотал для вас сан призрачной герцогини? Согласитесь ли вы отказаться от своего призрачного ремесла и дать мне расписку, что получили сполна свое жалованье со всеми процентами? Месть сладка, знаете ли, и бывают случаи, когда она куда желанней, чем богатство.

— Соглашусь ли? — Привидение встало и посмотрело на часы. — Соглашусь ли? — повторило оно. — А то нет! Ежели я заявлюсь в призрачное общество как герцогиня, Банглтопов оттудова в два счета выкинут. Можете поставить на это свой годовой доход — не прогадаете.

— Что ж, рад убедиться в том, что вы призрак с характером. Если у призраков есть жилы, в ваших, уверен, течет горячая кровь.

— Благодарствую, — сухо отозвалось привиде-

ние. — Только неужто такое можно устроить?

— Предоставьте это мне. Заключим перемирие на две недели, а к концу этого срока вы вернетесь, и мы окончательно уладим дело. Только никого в наш план не посвящайте — никому ни слова. А главное, сохраняйте бодрость духа.

— Духа?

— Ну да, а что?

— Вас не поймешь, — улыбнулось привидение. — Вы про мою бодрость аль другого какого духа?

Тервиллигер рассмеялся. Недурная шутка — особенно для призрака, да к тому же призрака кухарки. Назначив время следующей встречи — через две недели в полночь, — собеседники обменялись рукопожатием и разошлись.

— Ну, Хэнкинсон, что там был за шум? — спросила миссис Тервиллигер, когда ее супруг снова забрался под одеяло. — Грабители?

— Нет-нет, — заверил Тервиллигер. — Всего лишь привидение — несчастная старая женщина.

— Привидение? — Миссис Тервиллигер затряслась от страха. — Здесь, в доме?

— Да, дорогая. Забрела к нам по ошибке, только и всего. Она обитает совсем не здесь, к нам яви-

лась нечаянно, просто сбилась с пути. Увидела, что ошиблась адресом, попросила прощения и ушла.

— А как она была одета? — со вздохом облегчения полюбопытствовала миссис Тервиллигер.

Но президент Общества с ограниченной ответственностью «Трехдолларовая обувь Тервиллигера» не отозвался: он уже спал и видел сны.

3

Последующие две недели Тервиллигер был погружен в заботы, чем немало напугал свою жену и дочерей. Им почудилось, что в обувной корпорации назревают или уже назрели какие-то неприятности. От этого они лишились сна, в особенности старшая мисс Тервиллигер: она на недавнем балу целых четыре раза танцевала с молодым обедневшим графом и заподозрила, что он настроен весьма серьезно. Ариадна была встревожена, так как понимала, что при всей любви, какую, видимо, питал к ней граф, его доходы едва ли позволяют ему помышлять о браке: молодые могли бы остаться буквально без крыши над головой, поскольку графская крыша прохудилась, а ремонт стоит денег.

Но не мысли о бизнесе всецело занимали Джадсона Тервиллигера, отнимая у него ночной и дневной покой. Его ум трудился над самой сложной проблемой, с какой ему до сих пор доводилось иметь дело, и заключалась эта проблема в том, чтобы наделить кухарку-призрака из Банглтопа дворянским титулом, который бы в иерархии того света (мира теней, как называл его Тервил-

лигер) обеспечил ей место выше, чем у предков владельца поместья. Ныне здравствовавшую кухарку частично угрозами, частично обещанием прибавить жалованье убедили остаться. Угрозы — в основном сводившиеся к тому, что ее бросят на произвол судьбы в Англии, в тысячах миль от родного Массачусетса, а на самостоятельное возвращение ей не хватит денег, — подействовали тем вернее, что в жилах бедной женщины текла изрядная доля кельтской крови и перспектива жить в Англии на правах отверженной пугала ее до беспамятства. К концу первой недели Тервиллигер нисколько не продвинулся с решением; меж тем на седьмой день состоялся торжественный обед, который Тервиллигер с супругой устраивали в честь графа Магли — того самого молодого человека, к кому питала особый интерес Ариадна. Тервиллигер был с гостями небрежен, едва ли не груб, но те приняли это как должное, отнеся на счет американских обычаев гостеприимства. Принимать графов, герцогов и даже самых захудалых лордов — и без того непростая задача для обувщика, но в тот раз мысли хозяина трудились еще и над тем, как сделать из простонародной покойницы аристократку, и это более чем извиняет неуклюжесть башмач-

ного фабриканта. Мистер Тервиллигер держался именно так, как следовало ожидать при данных обстоятельствах, не лучше и не хуже, пока лакей у двери не возвестил громогласно: «Грраф Магли!»

И «грраф» Магли оказался тем сезамом, что отворил перед Тервиллигером врата успеха. Пока граф пересекал порог, разум временного владельца Банглтопа озарила блестящая мысль, и от его оскорбительной рассеянности не осталось и следа. В самом деле, увидев с другого конца зала, в какой изящной и радостной манере хозяин приветствует графа, леди Мод Сниффлз шепнула на ухо достопочтенной мисс Поттлтон, что кредиторам Магли, похоже, подфартило, ее же собеседница (чьи зазывные улыбки не встретили у графа должного приема), презрительно скривив верхнюю губу, заметила, что кредиторов и в самом деле можно поздравить, но вот бедняжке Ариадне не позавидуешь: в лице этого надутого болванчика, графа то есть, она получит очень сомнительный подарок.

— Как поживаете, граф? — начал Тервиллигер. — Рад видеть вас в столь цветущем здравии. А как ваша матушка?

— Графиня чувствует себя как обычно, мистер Тервиллигер.

— Разве она не собирается к нам?

— Право, не могу сказать, — отвечал Магли. — Я ее спрашивал, но она вместо ответа потребовала принести нюхательную соль. Матушка подвержена головокружениям, достаточно пустяка, чтобы вывести ее из равновесия.

Тут граф повернулся и отправился искать прекрасную Ариадну, а Тервиллигер, извинившись, покинул гостей и пошагал прямиком в свой личный кабинет в крипте греческой часовни. Там он сел за стол, написал краткое послание, запечатал его в конверт и адресовал графу Магли:

«Не соблаговолит ли граф Магли немедленно по получении сего проследовать в личный кабинет мистера Х. Джадсона Тервиллигера? Приняв приглашение, он не только весьма обяжет этим указанного мистера Х. Джадсона Тервиллигера, но и получит сведения, могущие послужить к его пользе».

Закончив, Тервиллигер вызвал слугу, распорядился, чтобы в кабинет принесли, в количестве, достаточном для двоих, ликеры, виски, херес, портвейн и содовую с лимонным соком, и после этого передал записку для вручения адресату.

Будучи большим приверженцем этикета, граф вначале склонялся к тому, чтобы проигнориро-

вать приглашение, неуместное тем, что исходило оно от особы низшего — а то и вовсе никакого — ранга, однако ввиду сложившихся обстоятельств передумал. Сведения, могущие послужить к его пользе, поступали графу совсем не часто, так почему бы не выполнить просьбу Тервиллигера? С другой стороны, граф вновь задумался о собственном достоинстве, сунул записку в карман и постарался о ней забыть. Прошло пять минут, но мысли о записке настойчиво его преследовали, и он извлек ее из кармана, чтобы перечитать. По ошибке ему попалось другое письмо, краткое содержание которого сводилось к следующему: юридическая контора из Лондона напоминала, что граф задолжал ее клиентам несколько тысяч фунтов за платье, облачавшее его плечи последние два года, и угрожала по прошествии трех месяцев, если счет не будет полностью оплачен, обратиться в суд. Благодаря этому напоминанию дело было решено. Граф Магли милостиво согласился удостоить мистера Х. Дж. Тервиллигера аудиенции в нижнем помещении греческой часовни.

— Садитесь, граф, и выпейте со мной мятного ликера, — пригласил Тервиллигер, когда, не прошло и пяти минут, граф явился в кабинет.

— Благодарю. Красивый цвет, — любезно отметил граф, причмокивая, меж тем как приятная зеленая жидкость перемещалась из стакана в сиятельный желудок.

— Недурной. Немного зеленоват, но глаз радует. Самому мне больше нравится оттенок мараскина. Попробуйте этот мараскин, граф. Высший сорт, по тридцать шесть долларов за ящик.

— Мистер Тервиллигер, — проговорил граф, отвергнув предложенный мараскин, — вы желали меня видеть по какому-то вопросу, представляющему интерес для нас обоих?

— Да. Причем для вас, вероятно, еще больший, чем для меня, — подтвердил Тервиллигер. — Дело в том, что я проникся к вам симпатией, причем до такой степени, что стал наводить справки в одном коммерческом агентстве, а уж если Хэнкинсон Джей Тервиллигер взялся за подобное, значит, он в человеке очень заинтересован.

— Я… я надеюсь, эти грубияны-торговцы не настроили вас против меня, — забеспокоился граф.

— Ничуть, — успокоил его Тервиллигер, — ничуть. То, что я узнал, скорее настроило меня в вашу пользу. Вы как раз тот человек, какого я уже несколько дней разыскиваю. Почти неделю я охочусь за кем-нибудь, у кого с родословной

все в порядке, а с кошельком наоборот, и, судя по тому, что я узнал у Берка и Брэдстрита, вы полностью отвечаете этому описанию. Вы задолжали большие суммы всем, от портного до собирателя платы за место в церкви. Так ведь?

— Мне не везло с финансами, — признал граф, — но фамильное имя осталось незапятнанным.

— Верю, граф. Это меня в вас и восхищает. Многие, кто, подобно вам, погряз в долгах, уходят в запой или иным способом пятнают свое доброе имя. Но вы умеете себя обуздывать, за что я вас и ценю. Говорят, за вами долгов — двадцать семь тысяч фунтов.

— Точные цифры лучше знает мой секретарь. — Графу стал наскучивать этот разговор.

— Не будем мелочиться, округлим до тридцати тысяч. И каким же образом вы собираетесь рассчитываться?

— Никаким… разве что мне посчастливится найти себе богатую невесту.

— Именно об этом я и думал. Рука и сердце — единственное, чем вы располагаете, но пока что вам не светит удачно их пристроить. Так вот, я позвал вас сегодня сюда, чтобы сделать одно предложение. Если вы вступите в брак согласно моему желанию, я предоставлю вам доход по

пять тысяч фунтов в год в течение пяти лет.

— Не совсем вас понимаю, — разочарованно пробормотал граф. Было очевидно, что его пожелания не сводятся к такой малости, как пять тысяч фунтов в год.

— Мне кажется, я выразился достаточно ясно. — И Тервиллигер повторил свое предложение.

— Я бесконечно восхищаюсь этой леди, но указанная сумма дохода представляется мне совершенно недостаточной.

Тервиллигер удивленно поднял брови:

— Восхищаетесь? Что ж, о вкусах не спорят.

— Признаться, я обескуражен. Леди безусловно достойна восхищения, это признает каждый. Она тонко воспитана, образованна, красива и…

— Гм! Позвольте спросить, дорогой граф, кого вы имеете в виду?

— Ариадну, конечно. Я думал, вы ведете разговор в несколько непривычной манере, однако кто знает, что у вас в Америке принято. Ваше предложение заключается в том, чтобы я женился на Ариадне?

Не решаюсь отобразить на бумаге данный Тервиллигером ответ. Назову его скорее выразительным, чем вежливым; с тех пор граф, говоря о сквернословии, стал использовать новое уподоб-

ление: во фразе «ругаться как...» место извозчика занял американец. На то, чтобы излить свои чувства, Тервиллигеру понадобилось минут пять, и лишь затем он сумел дать пояснение:

— Эдакий собачий бред мне даже в голову не приходил. Мне нужно, чтобы вы взяли в жены призрака, ни больше ни меньше, — хладного, туманного фантома, а почему — я вам сейчас расскажу.

И он изложил графу Магли все, что знал из истории Банглтоп-Холла, завершив рассказ своей собственной встречей с призрачной кухаркой.

— За аренду я плачу пять тысяч фунтов в год, — сказал Тервиллигер в заключение. — Тот факт, что я здесь поселился и вожу компанию с такими набобами, как вы, — это реклама, которая приносит мне двадцать пять тысяч, и я готов выложить в виде доброй наличности двадцать процентов этой суммы за то, чтобы меня отсюда не выживали. Вам предоставляется шанс, не внося залога, получить деньги и удовлетворить кредиторов. Женитесь на кухарке — и она сможет вернуться в мир духов графиней и задать перцу Банглтопам. И нечего нос воротить. Если хотите знать, это она станет крутить носом, когда выяснится, что обещанного герцога найти не удалось, придется

удовольствоваться графом. Услышав от нее, что на рынке графы идут по десятку на пятак, я должен буду признать ее правоту. В конце концов, юноша, хорошая кухарка представляет собой куда бóльшую ценность, чем любой граф, когда-либо рождавшийся на свет, и уж точно куда бóльшую редкость.

— Ваше предложение, мистер Тервиллигер, смеху подобно. На кого я буду похож, вступая в брак с «холодным дыханием склепа», как вы изволили выразиться? О том, что кухарка не пара графу Магли, я уж молчу. Нет, я решительно не согласен.

— Смотрите, граф, пробросаетесь, — вскипел Тервиллигер.

— Не уверен, — высокомерно отвечал граф, потягивая лимонный сок с содовой. — Подозреваю, мисс Ариадна не совсем ко мне равнодушна.

— Ну так намотайте себе на ус сегодня, восемнадцатого июля тысяча восемьсот такого-то года, и на все необозримое будущее: моя дочь Ариадна никогда не станет графиней Магли, — гневно проговорил Тервиллигер.

— Даже после того, как ее отец взвесит все деловые преимущества, вытекающие из этого союза? — Граф потряс пальцем прямо под носом

у Тервиллигера. — Даже после того, как президент компании «Общество с ограниченной ответственностью “Трехдолларовая обувь” из Соултона, штат Массачусетс», примет во внимание, какую рекламу обеспечит ему брак его дочери с представителем семейства Магли? А подарки от ее величества королевы? А шафер в лице герцога Йоркского? А поздравительные телеграммы — по две в час — от европейских коронованных особ, от самой первой до самой последней?

Тервиллигер побледнел.

Картина, нарисованная графом, была чертовски соблазнительна.

Тервиллигер заколебался.

И не выдержал.

— Магли, — шепнул он хриплым голосом, — Магли, я судил о вас несправедливо. Думал, вы охотник за приданым. Но я вижу, вы любите мою дочь. Берите ее, мой мальчик, а мне передайте бренди.

— Извольте, мистер Тервиллигер, — любезно отозвался граф. — А теперь, если не возражаете, верните бутылку мне, я тоже выпью с вами глоток.

Минут пять собеседники молча пили за здоровье друг друга. Оба были погружены в глубокую

задумчивость.

— Пора, — проговорил наконец мистер Тервиллигер. — Вернемся в гостиную, а то как бы нас не хватились. И кстати: вы можете сегодня же поговорить с Ариадной о нашем маленьком дельце. Объявление о помолвке должно благоприятно сказаться на осенней торговле.

— Всенепременно, мистер Тервиллигер, — пообещал граф, когда оба направились к двери. — Но вот что. — Граф схватил Тервиллигера за рукав и на мгновение утянул обратно в кабинет. — Как будущий тесть не выдадите ли мне сегодня пять фунтов авансом?

Минуты через две Тервиллигер с графом возвратились в гостиную. Первый выглядел осунувшимся и усталым, глаза его лихорадочно блестели, манеры выдавали некоторое затаенное беспокойство; второй улыбался любезней, чем совместимо с его титулом, и позвякивал золотыми монетами в кармане, чем немало удивил своего закадычного друга и бывшего соседа по комнате в колледже лорда Даффертона, сидевшего у дальней стены; ведь лорд Даффертон доподлинно знал, что часом раньше, когда граф только приехал в Банглтоп, карманы у него были пусты, как голова форейтора.

4

Время нещадно поджимало, до условленной встречи с кухаркой-призраком из Банглтопа оставалось каких-нибудь сорок восемь часов, и Тервиллигер был очень озабочен. Граф наотрез отказался содействовать его планам, другого решения проблемы в голову не приходило. Впрочем, отказ графа его обрадовал, ведь теперь Тервиллигеру предстояло породниться через брак с одним из самых старых и знатных английских домов, не говоря уже о коммерческой стороне дела, сыгравшей в их уговоре едва ли не решающую роль. Ариадна в тот же вечер ответила графу согласием, и было решено в ближайшее время объявить о помолвке. Объявление могло бы состояться и тут же, на месте, однако граф понимал, что будет лучше, если его матушка, графиня, узнает об этих планах первой и от него самого. Страшась предстоящего объяснения, он полагал, что отсрочка должна составить месяца два-три.

— Что с тобой такое, Джадсон? — спросила наконец миссис Тервиллигер, видя истерзанное заботой лицо мужа.

— Ничего, дорогая, ничего.

— Нет, Джадсон, с тобой что-то не так, и я, как твоя жена, требую, чтобы ты признался. Возможно, я сумею тебе помочь.

Тут Тервиллигер не выдержал и поведал миссис Тервиллигер всю историю до самых мелких подробностей, время от времени прерываясь затем, чтобы привести эту достойную даму в чувство, когда она в очередной раз не справлялась с нервами и падала в обморок. По завершении рассказа супруга, устремив на Тервиллигера укоризненный взгляд, заявила, что, если бы он не морочил ей голову в ночь явления призрака, а признался откровенно, неприятностей можно было бы избежать.

— Знаешь, Джадсон, — начала она, — я ведь изучала уже вопрос, как люди приобретают титулы. Однажды мне попалась книга Элизабет Харли Хикс из Салема о дочери хозяина гостиницы, которая закончила свои дни герцогиней, и я поняла, что можно родиться простолюдином и вознестись до высот аристократизма. Ничего я так не желала, как сделать из наших девочек леди, а временами, Джадсон, меня даже посещала надежда, что и из тебя выйдет когда-нибудь герцог.

— Ничего себе, Молли! Кошмар, да и только! Хэнкинсон, герцог Тервиллигер! Да в обувных кругах я с таким имечком не решился бы поднять глаза от пола.

— А что, Джадсон, на свете нет ничего, кроме твоих башмаков? — серьезно спросила жена.

— Ты еще убедишься, что башмаки — это опора общества, — хихикнул Тервиллигер.

— Тебе бы только позубоскалить, но нынче нам не до шуток. Ты затеял сделку с существом из иного мира. Так вот, я установила, что титул можно приобрести тремя способами: по праву рождения, через брак и с помощью денег.

— Ты забыла четвертый способ — за заслуги, — подсказал Тервиллигер.

— Не в наши дни, Джадсон. Раньше — да, но не теперь. Что мы имеем? Наследственного титула у призрака нет, ни один живой герцог на ней не женится, как мы ни хлопочи, мертвых герцогов непонятно где искать, остается одно — купить ей титул.

— Но где?

— В Италии. Их там хоть пруд пруди. Каждый итальянец, крутя в Америке ручку шарманки, спит и видит, как вернется в Италию и купит себе титул. А ты чем хуже?

— Я? Я должен крутить в Америке ручку шарманки?

— Да нет же, купить себе титул герцога.

— На что мне титул герцога, мне нужен титул герцогини.

— Ну и отлично. Купи титул герцога, отдай его кухарке, пусть она выйдет замуж за какого-нибудь призрака из своего собственного сословия, передаст ему титул — и готово!

— План что надо! — вскричал Тервиллигер. — Но, Молли, ты не думаешь, что лучше будет, если она приведет сюда этого призрака, я передам ему титул, а потом они поженятся?

— Нет, не думаю. Если он получит титул до свадьбы, то вполне может отказаться от сделки. Скажет, что герцогу не подобает жениться на кухарке.

— Да, Молли, ума у тебя на троих.

— Просто я знаю мужчин! — отрезала миссис Тервиллигер.

Так все и вышло. Хэнкинсон Джадсон Тервиллигер по телеграфу обратился к римским властям о приобретении герцогства, с титулом, всеми правами и доходами, не обремененного закладными, с правом собственности, заверенным соответствующими должностными лицами, и на второй

встрече с призрачной кухаркой Банглтопа смог показать ей каблограмму из Вечного города, в которой сообщалось, что бумаги будут высланы, как только от соискателя придет чек на сто лир.

— А сколько это по-нашему? — спросило привидение.

— Сто лир? — повторил Тервиллигер, чтобы выиграть время на размышление. Он и сам был удивлен такой сходной ценой и побоялся, что призрак откажется от столь ничтожного приобретения. — Сто лир? Ну, приблизительно семьсот пятьдесят тысяч долларов или сто пятьдесят тысяч фунтов. Они очень дорожатся, когда речь идет о титулах, — добавил он, слегка покраснев.

— Еще как дорожатся, — согласилось привидение. — Но мне герцогом быть не положено. И как же тогда исхитриться?

Хэнкинсон изложил порядок действий, придуманный женой.

— Красивше некуда, — признало привидение. — Я уже без малого два века неравнодушна к дворецкому Банглтопов, только он отчего-то меня сторонится. Но тут уж ему никуда не деться. Только скажите, мистер Тервиллигер, в этой вашей Италии герцоги не хуже английских?

— Ничуть. Герцоги всюду одинаковы. Разве вам

не знакомы строчки: «Но герцог — герцог он и есть, и все такое прочее»? Бёрнс написал.

— Отродясь не слыхала про такого.

— Ну что ж, когда устроитесь своим домом, можно будет с ним повидаться. На земле он был смышленый малый, и если призрак пошел в него, это будет очень приятное знакомство.

Вот так Банглтоп-Холл был избавлен от визитов с того света. Свидетельство о присвоении титула, дающее владельцу право называться «герцогом Кавалькади», было в должный срок получено и передано той, которую высокопарно именовали «проклятием банглтопской кухни», и все потусторонние явления после этого прекратились раз и навсегда. В Банглтоп-Холле обитает счастливое семейство с верными слугами, и что бы ни происходило там в прошлом, ныне кухарки если и покидают банглтопское домохозяйство, то исключительно по естественным причинам.

Ариадна сделалась графиней Магли, миссис Тервиллигер довольствуется своим Джадсоном, которого тем не менее именует время от времени герцогом Кавалькади: по ее мнению, он является земным представителем этого древнего и знатного семейства. Что касается Джадсона, он неизменно улыбается, когда жена называет его

герцогом, однако речей, принижающих дворянство, от него теперь не услышишь, так как он очень подружился с хозяином дома: тот видит в своем арендаторе, неожиданно преуспевшем в деле удержания кухонного персонала, существо сверхъестественное, а потому достойное внимания барона Банглтопа.

— Будь я действительно герцогом Кавалькади, дорогая, — повторяет Тервиллигер супруге, — все могло сложиться далеко не так удачно, — по моему глубочайшему убеждению, мир не видывал второй такой застарелой вражды, как та, что разделяет на том свете благородные семейства Банглтоп и Кавалькади.

1891

Луиза Болдуин
1845–1925
Настоящий и поддельный

Уилл Масгрейв решил не встречать Рождество в одиночестве, однако очередной семейный праздник на юге Франции, с родителями и сестрами, тоже не входил в его планы. Что ни год, семейство Масгрейвов покидало свой дом в Нортумберленде и мигрировало на юг, и, что ни год, Уилл целый месяц проводил с ними на Ривьере, пока окончательно не забыл, что такое настоящее английское Рождество. Наконец он взбунтовался: уезжать за границу как раз в то время, когда дома при теплой погоде можно охотиться, а в холода кататься на коньках? Никакая нужда — ни реальная, ни воображаемая — не заставляла его зимовать на юге. Хворей он не знал, на легкие ни разу в жизни не жаловался. Едва задует пронзительный восточный ветер, родители по самые уши укутывались в меха и начинали пересчитывать у себя во рту зубы, так как каждый ныл по-особому, отдельно от других, у стойкого же к непогоде Уилла только ярче вспыхивал румянец и блестели глаза. Ре-

шено: в Канны он не поедет, но будет до поры до времени помалкивать, чтобы не сердить отца с матерью и не разочаровывать сестер.

Ему ли не знать, как в письме к матушке объяснить свое дезертирство обстоятельствами столь необоримыми, что сыну Адама остается только покорно склонить голову. На это решение, несомненно, повлияли мысли об охоте или о катании на коньках (как уж распорядится судьба). Кроме того, Уилл с давних пор лелеял идею пригласить к себе двоих своих друзей по колледжу, Хью Армитиджа и Хорэса Лоли, и потому в письме содержалась просьба, чтобы им было разрешено вместе провести в Стоункрофте две недели; куратор, мол, положительно настаивал на том, что ему необходима небольшая разрядка.

— Дорогой мальчик, — ласково вздохнула матушка, прочитав это послание, — надобно похвалить его в письме за твердость и решительность.

Мистер Масгрейв, однако, отозвался на слова супруги не кивком, а недоверчивым хмыканьем и добавил от себя:

— Да они там весь Стоункрофт с ног на голову перевернут без присмотра, эти три сорванца! К нашему приезду все лошади, как пить дать,

охромеют.

Рождество Уилл Масгрейв встретил с Армитиджами, в их доме под Рипоном. На следующий день были устроены танцы, и он радовался так, как можно радоваться только в ранней юности, когда балы еще не приелись и кажется, всю жизнь бы прокружился в вальсе, обвив рукой талию хорошенькой партнерши. А еще через день Масгрейв с Армитиджем отправились в Стоункрофт, по пути подхватили Лоли и втроем добрались до места назначения поздно вечером, веселые, как птицы, и голодные, как волки. После долгого путешествия в непогоду, под восточным ветром, загонявшим во все трещины и щели сухой, колючий снег, Стоункрофт показался им самым желанным и уютным убежищем на свете. Гостеприимно распахнутая парадная дверь вела в холл с дубовыми панелями, в камине весело пылал огонь, а света от ламп хватало, чтобы рассеять тени даже в самых дальних углах. Прямо на пороге, не дав друзьям времени отряхнуть пальто, Масгрейв расцеловал обоих под омелой, отчего жавшиеся к стенке слуги потихоньку захихикали.

— Вот бы на ваше место представительниц прекрасного пола, — проговорил он, со смехом

отталкивая приятелей, — но раз повешена омела, грех ею не воспользоваться. Баркер, надеюсь, ужин уже ждет, причем горячий и основательный, а то мы в дороге так проголодались, что самим страшно. — И он повел друзей наверх, в их комнаты.

— Галерея — просто загляденье! — восхитился Лоли, когда приятели вошли в длинный широкий коридор с окнами и с множеством дверей, украшенный картинами и лепными арматурами.

— Да, она у нас в Стоункрофте особенная, — пояснил Масгрейв. — Тянется по всей длине дома от современного крыла до заднего, очень древнего — оно построено на фундаменте цистерцианского монастыря, который здесь некогда стоял. Ширины хватило бы для кареты с парой лошадей; можно сказать, это главный проезд в доме. При плохой погоде матушка прямо тут совершает моцион: наденет шляпку и воображает, будто прогуливается на свежем воздухе.

Внимание Армитиджа привлекли картины на стенах, прежде всего портрет в натуральную величину: молодой человек в голубом кафтане, с пудреными волосами сидит под деревом, а у его ног лежит охотничья собака.

— Твой предок? — Он указал на картину.

— Все они чьи-то предки, и, надо сказать, компашка подобралась пестрая. Вот вам с Лоли развлечение: определите, от кого я унаследовал свою красоту. Миловидный юноша, которого ты с таким восхищением рассматриваешь, приходится мне прапрадедом. Умер в двадцать два — для предка рановато. Но давай живее, Армитидж, картинами ты успеешь налюбоваться при дневном свете, а сейчас я должен показать вам ваши комнаты. Вижу, устроили нас удобно, по соседству. Помещения у нас наилучшие, выходят в галерею, а мы уже добрались до самого конца. Твои апартаменты напротив моих, ваши с Лоли комнаты соединены дверью, так что, дети мои, воспользуйтесь ею, если вдали от дома вам станет страшно или одиноко.

Попросив друзей не мешкать, Масгрейв с веселым свистом удалился к себе.

На следующее утро все за окном было белым-бело. Землю накрыл толстый слой прекрасного, сухого, как соль, снега, а налитое свинцом небо сулило в скором времени новый снегопад.

— Хорошенькие дела, — произнес Лоли после завтрака, стоя, руки в карманах, у окна. — Засыплет весь лед — и никаких тебе коньков.

— Охоте на диких уток снег не помешает, —

утешил его Армитидж, — и вот что, Масгрейв, снарядим-ка сани. Вон там, наверное, был прежде санный спуск. А снег пусть валит хоть сутки напролет — имея санки, мы в любом случае не соскучимся.

— Отличная мысль, Армитидж, — восхитился Масгрейв.

— Да, но для настоящего катанья нужно иметь две горки и между ними небольшую впадину, — вмешался Лоли. — Иначе проедешься по склону, вроде как от храма Богоматери Горы в Фуншале, а потом карабкайся назад да еще санки тяни. Не то удовольствие.

— Придется обойтись тем, что есть, — заметил Армитидж, — пойдем посмотрим, не найдется ли для катанья местечка получше, и поищем что-нибудь взамен санок.

— Чего уж проще — взять пустые ящики от вина и крепкие трости, чтобы править.

И юноши в сопровождении своры радостно тявкавших собак поспешили наружу.

— Ух ты! Если снег не подтает, можно будет выбрать кресла попрочнее, поставить их на полозья и отправиться в Гартсайд к Харрадайнам — покатать девушек на салазках! — крикнул Масгрейв Армитиджу и Лоли, которые опередили

его, тщетно пытаясь угнаться за шотландской борзой, державшейся впереди всех.

После долгих и тщательных розысков они обнаружили как раз такое место, какое требовалось; их друзья немало бы повеселились, наблюдая, на какие труды их подвигла мысль о предстоящем удовольствии. Четыре часа они работали как проклятые, готовя дорожку для санок. Они отбрасывали снег мотыгами и лопатами и ровняли землю, чтобы, когда ее покроет свежим снегом, образовался крутой спуск: стремительно с него скатившись, санки по инерции взлетят на противоположную горку, и так, пока не застрянут где-нибудь в сугробе.

— Если мы успеем сегодня соорудить трассу, — Лоли откинул в сторону лопату земли, — завтра ею можно будет пользоваться.

— Да, и потом она будет служить вечно, — проговорил Армитидж, весело долбя киркой мерзлую каменистую почву и одновременно ухитряясь не потерять равновесие на склоне. — Хорошей работе сносу не бывает; потомки еще помянут нас добрым словом за превосходную трассу.

— Потомки — быть может, но вот мои предки — вряд ли, особенно если отцу случится здесь поскользнуться, — заметил Масгрейв.

Закончив работу, приятели преобразились из землекопов в джентльменов и под густым снегопадом отправились в Гартсайд навестить своих соседей Харрадайнов. После духоподъемных трудов, разгоряченные, в прекрасном настроении, они получили особое удовольствие от чая и живой беседы. В Стоункрофт они вернулись не раньше, чем заручились от девушек обещанием, что в назначенное время те явятся с братьями, чтобы в винных ящиках, которые для такого случая будут благоустроены подушками, опробовать научно подготовленную трассу.

Поздно вечером юноши собрались в библиотеке за сигарами и беседой. Они успели досыта наиграться в бильярд, потом Лоли, аккомпанируя себе на банджо, пел сентиментальные романсы, пока не утомил не только слушателей, но даже самого себя. Армитидж сидел, откинув свою белокурую кудрявую голову на спинку кресла, и потихоньку попыхивал сигарой. Он первым прервал овладевшее их тесным кружком молчание.

— Масгрейв, — проговорил он внезапно, — для полноты картины в старинном доме должны непременно водиться призраки. Ты просто обязан иметь в Стоункрофте хоть какое-нибудь привидение.

Заинтересовавшись, Масгрейв захлопнул только что открытый роман в желтой обложке.

— А как же, дружище, оно у нас имеется. Но только со времен моего деда его никто из домашних не видел. Это моя заветная мечта — свести личное знакомство с нашим фамильным привидением.

Армитидж засмеялся. Но тут вмешался Лоли:

— Если бы ты по-настоящему верил в духов, ты бы никогда такого не сказал.

— Я верю в них всей душой, но, естественно, желал бы подкрепить свою веру свидетельством собственных глаз. А ты, вижу, тоже в них веришь.

— Тогда ты видишь несуществующее, а значит, близок к тому, чтобы узреть призраков. Нет, я вот что об этом думаю, — продолжал Лоли. — Я далек как от веры в духов, так и от полного неверия. Пусть меня убедят. Многие вполне здравые люди в призраков верят, другие, не менее здравые, в них не верят. Моя же позиция состоит в том, что существование призраков не доказано. Не исключаю, что они в самом деле бродят по земле, но, пока не удостоверюсь на собственном опыте, я отказываюсь вносить в свою жизненную философию столь сомнительный тезис, как вера в

привидений.

Масгрейв молчал, но Армитидж громко рассмеялся.

— Вас двое против одного, так что я остался в меньшинстве. Масгрейв не скрывает, что верит в привидений, ты — настроен нейтрально, ни «за» ни «против», и готов воспринимать доводы. Я же — решительный скептик во всем, что касается сверхъестественного. Несомненно, расстроенные нервы могут сыграть с человеком любую шутку, и потому меня ничто не поколеблет: даже если мне выпадет счастье встретиться сегодня с фамильным призраком Масгрейва, на мой скептический настрой это никоим образом не повлияет. Кстати, Масгрейв, ваш семейный призрак — леди или джентльмен? — фамильярным тоном осведомился Армитидж.

— Не думаю, что ты заслуживаешь ответа.

— Неужели тебе неизвестно, что привидения пола не имеют? — вмешался Лоли. — Привидение — всегда оно, как мертвое тело.

— Для человека, далекого как от веры, так и от неверия в духов, ты располагаешь подозрительно точными сведениями. Откуда ты их почерпнул, Лоли?

— Если ты не готов судить о каком-либо предме-

те, означает ли это, что ты не можешь располагать о нем подробными сведениями? Единственный логически мыслящий человек в нашей компании — это я. Масгрейв верит в духов, хотя ни разу их не видел, ты утверждаешь, что не веришь и не поверишь, даже если с одним из них столкнешься, — не больно мудрое, по мне, суждение.

Мне для собственного спокойствия совсем не обязательно иметь на этот счет определенное мнение. В конце концов, нужно только немного потерпеть: если духи в самом деле существуют, каждый из нас в свое время сделается духом, и тогда, если не найдется лучшего занятия и нам не запретят подобное недостойное шутовство, мы сможем снова появиться на сцене, чтобы наводить страх на наших оставшихся в этом мире друзей — равно верящих в духов и не верящих.

— Тогда, Лоли, я постараюсь тебя опередить и первым перейти в разряд привидений: лучше уж пугать, чем пугаться. Но, Масгрейв, поведай наконец о своем фамильном призраке. Я в самом деле жажду о нем узнать и исполнился должного почтения.

— При нем и оставайся, и, так и быть, я расскажу, что мне известно о призраке, а это вкратце следующее.

Как я уже упоминал, Стоункрофт построен на месте цистерцианского монастыря, который был разрушен во времена Реформации. Задняя часть дома возведена на старом фундаменте, стены состоят из камней, бывших прежде неотъемлемой частью монастырских строений. Призрак, который уже три века является членам семьи Масгрейв, — это цистерцианский монах в белых одеждах своего ордена. Кто он был и почему так долго не покидает места, где прошло его земное существование, неизвестно, преданий по этому поводу не сохранилось. Являлся он обычно раз или два за жизнь одного поколения. Но, как было сказано, в последний раз его видели во времена моего деда, так что, подобно комете, он должен вот-вот возвратиться.

— Как тебе, должно быть, досадно, что ты его не повидал! — посочувствовал Армитидж.

— Конечно, но я не отчаиваюсь. По крайней мере, мне известно, где его можно ждать. Он всегда являлся в галерее, в последний раз — по соседству с комнатой, где я обосновался. Надеюсь, как-нибудь лунной ночью распахну дверь и его застукаю.

— Где застукаешь? — спросил недоверчивый Армитидж.

— В галерее, конечно, на полпути между вашими дверьми и моей. Именно там его видел мой дедушка. Он проснулся среди ночи от стука тяжелой двери. Выбежал в галерею, откуда слышался шум, — напротив двери моей нынешней спальни стоял цистерцианский монах в белом одеянии. На глазах у деда он проплыл по галерее и как туман растворился в той стене. Место, где он исчез, находится над старым монастырским фундаментом — стало быть, он возвращался в свою прежнюю обитель.

— И твой дедушка не усомнился в том, что видел привидение? — фыркнул Армитидж.

— Мог ли он оспорить свидетельство собственных чувств? Дедушка разглядел пришельца так же ясно, как мы нынче видим друг друга: он, подобно легкому туману, вошел в стену.

— А не думаешь ли ты, дружище, что это больше похоже на бабкины сказки, чем на дедов рассказ? — На открытом лице Масгрейва появилось отчужденное, холодное выражение, и Армитидж тут же понял, что, сам того не желая, сказал грубость.

— Извини, — поправился он, — просто я никогда не принимал всерьез истории о привидениях. Уступлю только в одном: в давние-предавние

времена, в темные века (темные — в буквальном смысле), при свечах, неспособных рассеять тени, духи действительно являлись. Однако в конце девятнадцатого века, когда газ и электричество превратили ночь в день, самые условия существования призраков (а точнее, веры в них, ибо это одно и то же) сведены на нет. Тьма всегда угнетала человека. Почему, не знаю, но это факт. Моя матушка в этом отношении умнее своих ровесников: она всегда требовала, чтобы в спальне у ребенка по ночам горел свет; проснувшись от кошмара, я не пугался темноты. Соответственно, я вырос законченным скептиком во всем, что касается призраков, духов, явлений умирающих, выходцев с того света, двойников и прочей подобной братии. — Армитидж со спокойным самодовольством обвел взглядом комнату.

— Может, я придерживался бы того же мнения, что и ты, если бы не слышал с детства, что у нас в доме является привидение. — Масгрейв явно гордился фамильным достоянием. — Мне хотелось бы только, чтобы, убеждая вас в реальности сверхъестественного, я мог бы сослаться на собственный опыт. Я давно уже заметил слабую сторону историй о привидениях: они никогда не рассказываются от первого лица. Счастливчиком,

встретившимся с духом, бывает приятель либо знакомый приятеля.

И тут Армитидж поклялся себе, что не пройдет и недели, как Масгрейву представится случай собственными глазами увидеть фамильное привидение, дабы он в дальнейшем мог говорить с врагами в воротах.

В его изобретательном мозгу тут же зародились хитроумные замыслы, как вызвать на свет нужное видение. Но пришлось держать их под спудом. На помощь Лоли никак нельзя было рассчитывать, и Армитидж опасался, что подготовку этой практической шутки нужно будет целиком и полностью взять на себя. К тому же, хотя помощь и участие Лоли были бы не лишними, хотелось добиться двойного триумфа: пусть цистерцианского монаха увидят оба его друга. Масгрейв уже верит в духов, он — легкая добыча, но и Лоли, претендующий на независимость и непредвзятость, тоже готов поверить, если монах явится ему воочию.

Армитидж повеселел, поскольку обстоятельства благоприятствовали его нечестивому замыслу. Природные условия складывались, как на заказ: луна вставала поздно, и близилось полнолуние. Справившись в календаре, он с удо-

вольствием убедился в том, что в ближайшие три ночи она будет появляться в два часа, а значит, через час конец галереи у комнаты Масгрейва будет залит лунным светом. Союзников в доме у Армитиджа не было, и ему непременно требовался помощник вне дома, владеющий иглой и ниткой, чтобы смастерить убедительное подобие белой рясы и капюшона монаха-цистерцианца. На следующий день, когда приятели отправились к Харрадайнам, чтобы покатать девушек на импровизированных салазках, ему выпало везти младшую мисс Харрадайн. Когда он с усилием толкал низкое кресло на полозьях, застревавшее в рыхлом снегу, не было ничего проще, чем склониться к уху Кейт и шепнуть:

— Я повезу вас как можно быстрее, чтобы нас никто не услышал. Мне нужно попросить вас об одной услуге: помогите разыграть Масгрейва. Это будет практическая шутка, совершенно безобидная. Обещаете держать это в секрете дня два-три, а потом мы все вместе посмеемся?

— Да-да, я с удовольствием вам помогу, но объясните быстрее, что это за шутка.

— Я хочу изобразить перед Масгрейвом его фамильное привидение — пусть решит, что ему явился цистерцианский монах в белом капю-

шоне, тот самый, которого в последний раз видел его уважаемый легковерный дедушка.

— Отличная идея! Знаю, его голубая мечта — встретиться с этим призраком, и он очень обижен, что тот ему не показывается. Но что, если вы чересчур его напугаете? — Кейт отвернула зардевшееся лицо, и Армитидж невольно остановил салазки. — Одно дело — хотеть увидеть духа, и совсем другое — думать, что его видишь.

— О, не опасайтесь за Масгрейва! Мы окажем ему добрую услугу, если подарим зрелище, о котором он мечтал всю жизнь. Я устрою так, чтобы Лоли тоже присутствовал и лицезрел призрака. Двое крепких мужчин против одного привидения, к тому же поддельного, — более чем достаточно.

— Хорошо, если вы считаете, что шутка безопасная, стало быть, так оно и есть. Но что требуется от меня? Наверное, смастерить костюм призрака?

— Именно. Я буду вам бесконечно благодарен, если вы соорудите наскоро одеяние, хоть сколько-нибудь похожее на белую рясу цистерцианца. Всего-то и нужно — на краткое время ввести в заблуждение двоих мужчин, настроенных, уж наверное, не слишком придирчиво. Швей из меня никакой (так ведь образуется мужской род

от слова «швея»?), а то бы я вас не беспокоил. Наперсток меня очень раздражает, и в колледже, когда нужно было пришить пуговицу, я с одной стороны проталкивал иголку трехпенсовой монетой, а с другой — тащил зубами; до чего же тяжкий труд, скажу я вам.

Кейт весело рассмеялась:

— О, мне ничего не стоит соорудить что-нибудь подходящее из белого халата и приладить капюшон.

Армитидж посвятил ее в детали подробно разработанного замысла: как в назначенную ночь он отправится в свою комнату, а Масгрейв и Лоли — в свои, и как он будет ждать, пока не убедится, что они заснули. Когда взойдет луна (без нее не обойтись; если будет облачно, придется отложить затею), он облачится в одеяние призрачного монаха, потушит свечи, потихоньку откроет дверь и выглянет в галерею, чтобы узнать, все ли готово.

— Потом я изо всей силы хлопну дверью, ибо именно так призрак возвестил о своем появлении в прошлый раз; Масгрейв и Лоли проснутся и как ошпаренные выскочат наружу. Дверь Лоли находится рядом с моей, а Масгрейва — напротив, монаха они увидят тут же и очень отчетливо — будет что обсудить впоследствии.

— Но что вы будете делать, если они вас сразу узнают?

— Этого не случится! Я опущу на лицо капюшон и встану спиной к окну. Сдается мне, при всей любви Масгрейва к фамильному привидению встреча его не очень обрадует. Лоли — тоже. Думаю, едва завидев монаха, они улепетнут к себе и запрутся на замок. У меня будет время юркнуть в дверь, повернуть ключ, стащить с себя и спрятать маскарадный наряд, а когда ко мне постучатся, чтобы поведать об ужасном происшествии, я буду так безмятежно почивать, что не сразу проснусь. И свод рассказов о привидении пополнится еще одной историей. — Предвкушая потеху, Армитидж громко рассмеялся.

— Остается надеяться, что все пройдет так, как вы задумали, и тогда мы все получим удовольствие. А теперь, пожалуйста, разверните салазки — присоединимся к остальным, хватит на сегодня тайных совещаний. А то как бы не заподозрили, что мы вдвоем замышляем какую-нибудь каверзу. О, как дохнуло холодом! Мне нравится, когда в волосах свистит ветер!

Ловко развернув салазки, Армитидж погнал их перед собой навстречу пронзительному северному ветру; Кейт погрузила подбородок в

теплый мех.

Армитидж успел еще сговориться с Кейт о встрече послезавтра днем на полпути между Стоункрофтом и ее домом, чтобы забрать сверток с монашеским одеянием. Харрадайны и их гости собирались в четверг опробовать санную трассу в Стоункрофте. Но Кейт с Армитиджем решили пожертвовать этим удовольствием ради задуманного предприятия.

Заговорщикам нужно было на час-другой отделаться от прочей компании, чтобы благополучно передать из рук в руки сверток, который Армитидж должен был тайно отнести к себе в спальню и держать под замком до той ночи, когда настанет пора его использовать.

Когда молодые люди явились в Стоункрофт, мисс Харрадайн извинилась за свою младшую сестру, которая, как она сказала, осталась дома из-за сильной головной боли. Слушая ее с бьющимся сердцем, Армитидж подумал о том, с какой легкостью этот загадочный пол ссылается каждый раз на головную боль — включает ее и выключает, как воду в кране.

Поскольку джентльменов было больше, чем леди, услуг Армитиджа при катании не понадобилось, он предпочел вывести на прогулку собачью

свору и, веселый, как птичка, поспешил на встречу с Кейт. Упиваясь своим замыслом, Армитидж еще больше упивался проистекавшими из него тайными беседами с Кейт и теперь жалел, что их больше не предвидится. Но для задуманного им представления был необходим лунный свет, а луну в небе не удержишь по своему желанию. Призрак должен был показаться в три часа на следующую ночь, в установленное время и в установленном месте, когда освещение будет таким, как требуется.

Быстро шагая по твердому насту, Армитидж издалека завидел Кейт. Она весело махнула рукой и, улыбаясь, указала на большой пакет, который несла с собой. С небес лило свет красноватое зимнее солнце, под его лучами каштановые волосы Кейт отливали рыжим, карие глаза мягко светились. Армитидж смотрел на нее с неприкрытым восхищением.

— Бесконечно вам благодарен, вы очень любезны, — сказал он, забирая пакет. — Я зайду завтра рассказать, чем закончится наша шутка. Но как ваша головная боль? — улыбнулся он. — Глядя на вас, никак не подумаешь, что у вас может что-нибудь болеть, поэтому я и не спросил сразу.

— Спасибо, почти прошла. У меня и в самом

деле разболелась голова, как раз вовремя. Я плохо спала этой ночью — не потому, что взялась вам помогать, а просто мне хотелось бы, чтобы все уже благополучно закончилось. Ведь ходят рассказы о слишком удачных мистификациях, когда при виде поддельного привидения люди сходят с ума. Никогда себе не прощу, если с мистером Масгрейвом или мистером Лоли случится серьезная неприятность.

— В самом деле, мисс Харрадайн, не думаю, что вам нужно беспокоиться о нервах двух молодых здоровяков. Раз уж вам непременно нужно тревожиться, тревожьтесь за меня. Если они меня разоблачат, то тут же на месте разорвут в куски. Уверяю, если кому-нибудь грозит опасность, то только мне. — Мимолетное облачко печали тут же сбежало с красивого лица Кейт. И она признала, что глупо беспокоиться о двух крепких молодцах, состоящих скорее из мускулов, чем из нервов.

Они расстались, Кейт, поскольку наступили уже ранние сумерки, поспешила домой. Армитидж проводил ее взглядом и с драгоценным свертком под мышкой отправился восвояси.

В дом он вошел незамеченным, поднялся в галерею по задней лестнице и в темноте пробрался в

свою комнату. Поместил свое сокровище в гардероб, запер на замок и, услышав хохот в гостиной, скатился вниз по лестнице. Уилл Масгрейв с друзьями часа два провозились на свежем воздухе, потом сумерки загнали их в дом, где они, увлеченно поглощая чай с горячими кексами, стали со смехом обсуждать недавние приключения.

— Где ты пропадал, старина? — спросил Масгрейв, когда Армитидж вошел в комнату. — Не иначе у тебя где-то припрятаны персональные санки. Если бы только луна взошла в пристойное время, а не в глухой час ночи, когда от нее никому никакого проку, мы бы отправились тебя разыскивать.

— Вам не пришлось бы долго искать, мы бы встретились на проезжей дороге.

— Но что за меланхолические предпочтения? Мог бы кататься с нами на санках, а вместо того прогуливаешься по дороге! Мой бедный друг, боюсь, ты нездоров!

Вздохи сочувствия сменились раскатом хохота, между приятелями завязалась шуточная борьба, во время которой Лоли не один раз спасал чайный стол, который иначе непременно бы перевернулся.

Но вот прожорливая молодежь поглотила все

кексы и гренки, были зажжены фонари, и Масгрейв с друзьями, а также братья Харрадайны отправились сопроводить юных леди домой. На Армитиджа нашел буйный стих, и, обнаружив, что Масгрейв с Лоли успели присвоить себе двух самых хорошеньких девушек, он, с фонарем в руке, заплясал по дороге, как блуждающий огонек.

Прежде чем распрощаться, молодые люди условились о завтрашних развлечениях, и Масгрейв, Лоли и Армитидж, оглашая морозный воздух разудалыми песнопениями, вернулись в Стоункрофт обедать.

Поздно вечером, когда молодые люди сидели в библиотеке, Масгрейв, достав с верхней полки какую-то книгу, внезапно воскликнул:

— Эй! Мне попался дневник моего дедушки! Здесь рассказано о том, как ему явился в галерее белый монах. Ты, Лоли, если хочешь, можешь прочитать, но давать дневник неверующему, вроде Армитиджа, — пустая затея. Ну и ну! Вот так совпадение! Он видел духа как раз ночью тридцатого декабря, ровно сорок лет назад. — Масгрейв протянул дневник Лоли, и тот его внимательно изучил.

— Ну что, «ты немного не убеждаешь меня»? — спросил Армитидж, всматриваясь в его

сосредоточенное лицо.

— Не могу сказать, что я думаю. Во всяком случае, ничего определенного. — И, заметив, что Масгрейву не хочется обсуждать фамильное привидение при скептически настроенном Армитидже, Лоли перевел разговор на другую тему.

Разошлись они поздно; час, которого с таким нетерпением ожидал Армитидж, уже близился.

— Спокойной ночи, — попрощался Масгрейв, входя в свою комнату. — Мне бы только донести голову до подушки. Когда весь день провозишься на свежем воздухе, в постель так и тянет.

Юноши закрыли за собой двери, и в Стоункрофте воцарилась тишина. Комнаты Армитиджа и Лоли располагались по соседству; не прошло и четверти часа, как Лоли весело пожелал ему спокойной ночи, на что приятель громко отозвался таким же пожеланием. И тут Армитидж почувствовал себя негодяем. Масгрейв и Лоли, ни о чем не подозревая, спят, он же лелеет злодейский замысел, цель которого в том, чтобы разбудить и перепугать ни в чем не повинных друзей. Закурить для развлечения сигару он не решался: вдруг Лоли на секунду проснется, заметит проникший через замочную скважину предательский дым и поймет, что приятель не только не спит, но и не

думает спать.

Армитидж разложил на кровати белое монашеское одеяние; касаясь материи, он улыбался: совсем недавно над этим нарядом трудились изящные пальчики Кейт. Надеть его предстояло лишь через два часа, и Армитидж, чтобы убить время, сел и принялся писать. Он бы охотно вздремнул. Но было понятно, что, стоит только закрыть глаза, он откроет их лишь утром, в восемь. Когда Армитидж склонился над столом, большие часы в холле пробили час — внезапно и громко, прямо по ушам, так что он вздрогнул. «До чего же крепко дрыхнет Лоли, никакой шум ему нипочем!» — подумал Армитидж, слушая храп, доносившийся из соседней комнаты. Он пододвинул поближе свечи и вновь взялся за перо и за стопку писем, свидетельство его усердия, но вот часы вновь забили. На этот раз Армитидж был готов и не вздрогнул, разве что поежился от холода. «Если б не дурацкая затея, которую я измыслил, лежать бы мне теперь в кровати, — думал он, — но нельзя же разочаровывать Кейт. Она сшила одеяние, и я должен в него облачиться, будь оно неладно». Широко зевнув, Армитидж отложил в сторону перо и подошел к окну. Ночь стояла ясная, морозная. Вдали, на темном, усеянном

звездами небосклоне, вдоль линии горизонта возникло холодное свечение — это всходила луна. Насколько же отличен торжественный восход луны зимней ночью от серой утренней зари, предшественницы радостного дня! Свет луны не призван пробудить спящий мир для трудов праведных; он нисходит на сомкнутые веки усталых, серебрит могилы тех, чей покой никто больше не потревожит. Отзывчивый на яркие, радостные стимулы природы, Армитидж не проявлял той же чувствительности к мрачной ее стороне, но ему не терпелось, чтобы фарс окончился и не нужно было больше наблюдать, как возникает и распространяется бледное сияние, торжественное, как в Судный день.

Отвернувшись от окна, он взялся за превращение себя в самое, по возможности, убедительное подобие цистерцианского монаха. Белое одеяние он, дабы казаться плотнее, накинул поверх собственного платья, под глазами изобразил темные круги, лицо сделал пугающе-белым при помощи толстого слоя пудры.

Увидев себя в зеркале, Армитидж молча усмехнулся и пожалел, что на него не смотрит сейчас Кейт. Потом он осторожно отворил дверь и выглянул в галерею. Лунный свет смутно мерцал

в торцевом окне, справа от его и Лоли спален. Скоро он достигнет нужного места, не слишком яркий и не слишком тусклый, а как раз такой, какой требуется. Армитидж быстро вернулся к себе, чтобы еще подождать; подобного, близкого к страху, волнения он никогда в жизни не испытывал. Сердце в груди колотилось; когда тишину внезапно нарушило уханье совы, Армитидж вздрогнул, как слабонервная девица. В зеркало он больше не гляделся. Его пугала смертельная бледность смотревшего оттуда лица. «Проклятье! Лучше бы уж Лоли по-прежнему храпел. Все-таки было б не так одиноко». Он снова высунул голову в дверь: холодные лунные лучи упирались в то самое место, где он собирался встать. Армитидж погасил свечи, распахнул дверь и, шагнув вперед, громко ею хлопнул, отчего Масгрейв и Лоли вздрогнули и заворочались на подушках. Армитидж, в одежде призрачного монаха из Стоункрофта, стоял в бледном свете посреди галереи, ожидая, пока с обеих сторон распахнутся двери и покажутся бледные от страха лица друзей.

Ему хватило времени, чтобы проклясть свое невезение: именно в эту ночь на друзей напал беспробудный сон, а ведь шум, не дай бог, могли услышать слуги — тогда они сбегутся и все ис-

портят. Но никто не прибежал, глаза Армитиджа привыкали к полумраку, и обстановка длинной галереи виделась с каждой секундой яснее. «Надо же, на том конце — зеркало; никогда не замечал! Так далеко, а отражение можно разглядеть — это потому, что белый цвет выделяется в темноте. Но разве это мое отражение? Черт побери, оно движется, а я стою на месте! Ага, понятно! Масгрейв нарядился, чтобы меня напугать, а Лоли ему помогает. Они меня опередили, вот почему я тщетно их дожидался, а ведь шум был такой, что мертвого разбудит. Вот так история — одновременно затеяли одну и ту же шутку! Ну давай, поддельный призрак, посмотрим, кто из нас первый сыграет труса!»

Но тут Армитидж удивился, а вскоре и ужаснулся: белая фигура, которую он принимал за переодетого Масгрейва, второго поддельного призрака, двинулась ему навстречу, тихо скользя над полом, которого не касалась ногами. Армитиджа не так просто было запугать, он решил не поддаваться на трюк, неизвестно как подстроенный Масгрейвом и Лоли, дабы заставить его поверить в сверхъестественное. В душе его, однако, зашевелилось чувство, какого он, сильный и молодой человек, прежде не испытывал. Когда

фигура в белом одеянии подлетела ближе, из его пересохшего рта вырвался хриплый нечленораздельный крик, разбудивший Масгрейва и Лоли. Не понимая, что за жуткие звуки спугнули их сон, они пулей вылетели в галерею. Не примите их за трусов, но при виде призрачных фигур в лунном свете оба невольно отшатнулись. В отчаянном противостоянии надвигавшемуся ужасу Армитидж вскинул голову, капюшон соскользнул, Масгрейв с Лоли узнали белое, искаженное страхом лицо своего друга, тут же подскочили и поддержали его, не дав упасть. Цистерцианский монах белым туманом проплыл мимо и ушел в стену, а Масгрейв и Лоли остались одни с мертвым телом Армитиджа, маскарадное одеяние которого сделалось для него саваном.

1895

Сэйбин Бэринг-Гулд
1834–1924
Жан Бушон

Прошло уже немало лет со времени моего визита в Орлеан. В ту пору я собирался писать биографию Жанны д’Арк и рассудил, что будет полезно посетить арену ее подвигов, дабы внести в свое повествование долю местного колорита.

Однако Орлеан не оправдал моих ожиданий. Скучный городишко, и только на первый взгляд очень современный, но притом, подобно многим французским городам, жалкий и обветшавший. Имеется площадь Жанны д’Арк с ее статуей в центре: Жанна сидит верхом и держит в руке развернутое знамя. Имеется дом, где обитала Дева после взятия города, но вследствие множества перестроек и усовершенствований прежними там остались только стены и балки, интереса он уже не представляет. Создан музей la Pucelle[35], но подлинных реликвий не сохранилось, только оружие и шпалеры иных, позднейших времен.

---

[35] Примечания: 35
Девственницы *(фр.)*.

И городские стены, которые она осаждала, и ворота, куда она ворвалась, давно сровняли с землей; теперь на этом месте бульвары. И даже собор, где она на коленях возносила благодарственную молитву за свою победу, уже не тот. Старый был взорван гугенотами, нынешний возведен на его руинах в 1601 году.

На каминной полке в моем гостиничном номере стояли никогда не заводившиеся часы со скульптурным изображением Жанны из золоченой бронзы, да в витринах кондитерских было выставлено лакомство для детей — шоколадные фигурки Жанны. В семь часов вечера, садясь к табльдоту в своей гостинице, я был не в духе. Изыскания на местности не принесли результата, однако я рассчитывал, что завтра найду что-нибудь полезное в городской библиотеке, где хранились муниципальные архивы.

Покончив с обедом, я побрел искать, где выпить кофе.

У кафе, которое я выбрал, было два входа — с главной площади и задний, неподалеку от моей гостиницы: из длинного, мощенного камнем переулка, взойдя по трем-четырем каменным ступеням, вы попадали в большое, ярко освещенное помещение. Так и я попал в кафе — сзади, а не спе-

реди. Я сел за столик и заказал кофе с коньяком. Потом взял французскую газету и приступил к чтению — всего, кроме подвала. Ни разу в жизни не встречал человека, который бы прочитывал во французской газете подвал; мне представляется, все эти обрывки прозы печатают с одной-единственной целью — заполнить бумагу и скрыть, что издателям не хватает новостей. Сведения о мировых событиях французские издатели черпают в основном из английских ежедневных газет, поэтому их новости на день отстают от наших.

Я погрузился в чтение, но вдруг что-то заставило меня поднять глаза: рядом с белой мраморной столешницей, где стоял мой кофе, застыл в выжидающей позе бледный, с черными бакенбардами, официант.

Меня немного задело преждевременное требование оплаты, но, будучи здесь чужаком, я решил не обижаться и молча положил на столик полфранка и монетку в десять сантимов — вторую в качестве pourboire[36]. Затем снова углубился в чтение.

Минут, наверное, через пятнадцать я встал, чтобы направиться к выходу, но, к своему удив-

---

[36] Примечания: 36
Чаевых! *(фр.)*

лению, обнаружил, что полфранка остались на столе, меж тем как мелкая монета исчезла.

Подозвав официанта, я сказал:

— Один из ваших сослуживцев недавно подходил ко мне с требованием оплатить счет. Мне подумалось, что он чересчур спешит, однако я выложил деньги. Официант забрал чаевые, но плату за кофе оставил.

— Sapristi![37] — воскликнул гарсон. — Жан Бушон опять взялся за свое.

Я не стал задавать вопросов. Их дела меня не касались, подробности мне были ни к чему, и я молча удалился.

Весь следующий день я трудился в городской библиотеке. Но ни одного неопубликованного документа, который бы представлял какую-то ценность для моей работы, мне в руки не попало.

Я перерыл массу текстов, по-разному отвечавших на вопрос, сожгли Жанну д'Арк или нет: кое-кто утверждал, что некая особа, под тем же именем и тоже из Арка, спустя годы умерла естественной смертью и что якобы она выдавала себя за подлинную деву-воительницу. Я перечитал

---

[37] Примечания: 37
Черт возьми! (*фр.*).

множество монографий о Девственнице, серьезных и не очень. Некоторые представляли собой подлинный вклад в историческую науку, другие — вторичную сомнительную стряпню из расхожих, всем известных материалов. В последних новым был только соус, под которым эти материалы подавались.

Вечером, после обеда, я возвратился в то же кафе и снова заказал кофе с коньяком. Не спеша его выпил и отошел к стойке написать пару писем.

Закончив первое письмо и уже складывая его, я заметил того же бледного официанта: он протягивал руку за платой. Я извлек из кармана пятидесятисантимовую монету и монетку в два су, положил на стойку поближе к официанту и вернулся к письму — запечатал его в конверт и надписал адрес.

Потом я закончил второе письмо, встал и направился к столику, намереваясь заказать марки, и тут заметил, что, как и в прошлый раз, серебряная монета осталась нетронутой, а медная исчезла.

Я постучал по столику, подзывая официанта.

— Tiens[38], — сказал я, — этот ваш сотоварищ снова чудит. Чаевые взял, но полфранка оставил.

---

[38] Примечания: 38
Послушайте (*фр.*).

— А, снова этот Жан Бушон!

— Да кто он такой?

Официант пожал плечами и вместо ответа на мой вопрос проговорил:

— Я бы рекомендовал месье не платить в следующий раз Жану Бушону — если, конечно, месье намеревается впредь посещать наше кафе.

— Ну, разумеется, этот дурень больше ничего от меня не получит. Я одного не понимаю: почему его до сих пор у вас держат.

На следующий день я вновь побывал в библиотеке, а потом прошелся по берегу Луары — зимой она несется бурным потоком, а летом мелеет, так что местами вдоль берега обнажаются галька и песок. Я побродил по городу и попытался, хотя без успеха, представить себе его в кольце стен и круглых башен, когда 29 апреля 1429 года в город ворвалась Жанна, обратив англичан в паническое бегство.

Вечером я вернулся в знакомое кафе и сделал заказ. Потом принялся просматривать и сортировать свои заметки.

Тем временем мне на глаза попался пресловутый Жан Бушон, стоявший у столика в прежней выжидательной позе. На сей раз я внимательно всмотрелся в его лицо. Одутловатые бледные

щеки, черные глазки, густые темные бакенбарды — «бараньи отбивные» — и сломанный нос. Жан Бушон определенно не отличался красотой, но в выражении его лица не было ничего отталкивающего.

— Нет, — ответил я, — вы от меня ничего не дождетесь. Вам я платить не стану. Позовите другого гарсона.

Я поднял глаза, чтобы посмотреть, как Жан Бушон воспримет мои слова, но он сделался плохо различим, точнее сказать, его формы и черты странно расплылись. Словно бы я наблюдал сначала отражение в неподвижной воде, а потом поверхность отчего-то заколыхалась, картина рассыпалась на куски и пропала. Я его не видел. Растерянный и даже немного испуганный, я постучал ложечкой о кофейную чашку, чтобы привлечь внимание официантов. Один из них немедленно ко мне подскочил.

— Послушайте, — начал я, — Жан Бушон снова здесь был. Я сказал, что не заплачу ему ни су, и он совершенно непостижимым образом растаял в воздухе. Я нигде его не вижу.

— Его здесь и нет.

— Когда он вернется, скажите, чтобы подошел ко мне. Я хочу с ним переговорить.

Официант смутился.

— Не думаю, что Жан вернется.

— Давно он состоит на службе?

— Он уже несколько лет у нас не работает.

— Тогда почему он подходит к посетителям и спрашивает плату за кофе и прочие заказы?

— Он никогда не берет деньги по счету. Только чаевые.

— Как же вы ему это разрешаете?

— Мы ничего не можем поделать.

— Нельзя пускать его в кафе!

— Нам от него не избавиться.

— Я просто поражен. Он не имеет права забирать чаевые. Нужно пожаловаться в полицию.

Официант покачал головой.

— Что толку? Жан Бушон умер в тысяча восемьсот шестьдесят девятом году.

— Умер?.. — повторил я.

— Да. Но до сих пор сюда наведывается. К старым клиентам, местным жителям, он не пристает — только к чужим, приезжим.

— Расскажите мне о нем.

— Сейчас никак, месье, прошу прощения. Большой наплыв посетителей — мне надо работать.

— В таком случае я загляну сюда завтра утром, когда вы будете посвободней, и попрошу пове-

дать эту историю. Как вас звать?

— Альфонс, месье, к вашим услугам.

Следующим утром вместо поиска следов Орлеанской Девы я явился в кафе выслеживать Жана Бушона. Альфонс вытирал тряпкой столики. Я пригласил его сесть, а сам устроился напротив. Рассказанное я передаю кратко, лишь в нужных случаях прибегая к точным цитатам.

Жан Бушон служил в этом кафе официантом. В некоторых подобных заведениях у служащих принято держать копилку, куда все складывают полученные чаевые. В конце недели копилку открывают и деньги делят между официантами в определенной пропорции: метрдотель получает бóльшую долю, чем остальные. Нельзя сказать, что так принято во всех кафе, но в некоторых, в том числе и в этом, придерживались именно такого порядка. Сумма набирается более или менее постоянная, за исключением особых случаев — например, каких-то торжеств, — и официанты с точностью до нескольких франков знают свой будущий доход.

Но в кафе, где служил Жан Бушон, за неделю ожидаемой суммы не набиралось, и через месяц-другой официанты пришли к выводу: что-то здесь не так. Или кто-то запускает руку в копилку,

или кто-то утаивает чаевые. Устроили слежку, и выяснилось, что обманщик — Жан Бушон. Получив чаевые, он подходил к копилке и делал вид, что опускает туда монету, но стука от падения ее на дно не слышалось.

Официантов, разумеется, очень возмутило это открытие. Жан Бушон пытался куражиться, но они обратились к патрону, изложили свои претензии, и Жан Бушон был уволен. Когда он покидал заведение через задний ход, один из младших гарсонов поставил ему подножку. Жан Бушон споткнулся, полетел головой вперед со ступеней и с грохотом впечатался лбом в каменный пол коридора. Удар оказался таким сильным, что беднягу отнесли обратно наверх без чувств. Врач установил перелом костей и сотрясение мозга — и через два-три часа Жан Бушон, не приходя в сознание, умер.

— Мы все были очень расстроены, просто потрясены, — рассказал Альфонс. — Мы не любили Жана Бушона, он обошелся с нами бесчестно, однако никто не желал ему зла, и с его смертью обиды были забыты. Официанта, который поставил подножку, арестовали и присудили к нескольким месяцам тюрьмы, но поскольку

налицо была une mauvaise plaisanterie[39], а не злой умысел, молодой человек отделался легким приговором. Впоследствии он женился на вдове, владелице кафе во Вьерзоне, и, насколько мне известно, теперь процветает.

Жана Бушона похоронили, — продолжал Альфонс, — и мы, официанты, провожали его в последний путь и прижимали к глазам белые платки. Метрдотель даже спрятал в платке лимон, чтобы с его помощью пускать слезу. Каждый внес свою долю, и похороны были торжественные, как приличествует официанту.

— То есть вы хотите сказать, что с тех пор кафе посещает призрак Жана Бушона?

— С тысяча восемьсот шестьдесят девятого года, — подтвердил Альфонс.

— И нет способа от него избавиться?

— Никакого, месье. Как-то раз к нам зашел один каноник из Буржа. Мы никак не думали, что Жан Бушон явится досаждать духовному лицу, но он явился. Взял pourboire, а остальное не тронул — в точности, как было с месье. Ах, месье, Жан Бушон недурно промышлял и в тысяча восемьсот семидесятом, и в тысяча восемьсот семьдесят первом

---

[39] Примечания: 39
Дурная шутка (*фр.*).

году, когда город оккупировали свиньи-пруссаки. Тогда что ни вечер, в кафе захаживали офицеры, и Жан Бушон своего не упускал. Наверно, добрую половину чаевых у нас увел. Такой урон для нас!

— История совершенно невероятная, — сказал я.

— Но правдивая, — заверил Альфонс.

На следующий день я покинул Орлеан. Я отказался от мысли составить биографию Жанны д'Арк, поскольку стало ясно, что никаких новых исторических фактов мне не собрать. Попросту говоря, эта тема исследована вдоль и поперек.

Шли годы, я уже думать забыл о Жане Бушоне, но однажды, проездом на юг, я снова оказался в Орлеане, и у меня в памяти всплыла эта история.

Вечером я наведался в знакомое кафе. С прошлого раза оно очень похорошело. Прибавилось витрин и позолоты, появились электрическое освещение, дополнительные зеркала и прочие новые украшения.

Я заказал кофе с коньяком и стал просматривать журнал, но периодически косился в сторону, чтобы не упустить Жана Бушона. Однако он не появился. Я провел в ожидании четверть часа, но ничего не дождался.

Наконец я подозвал официанта и спросил:

— А где Жан Бушон?

— Месье спрашивает Жана Бушона? — удивился он.

— Да, я раньше его здесь видел. Где он сейчас?

— Месье видел Жана Бушона? Месье, наверно, был с ним знаком? Он умер в тысяча восемьсот шестьдесят девятом году.

— Мне известно, что он умер в шестьдесят девятом, но я с ним познакомился в семьдесят четвертом. Я виделся с ним трижды, и он получал от меня скромное вознаграждение.

— Месье давал чаевые Жану Бушону?

— Да, и Жан Бушон их принимал.

— Tiens, а ведь Жан Бушон тогда уже пять лет как умер.

— Да, и я хочу знать, каким образом вы от него избавились, поскольку очевидно, что сейчас его нет, иначе бы он непременно ко мне привязался.

Официант явно смешался и не знал, что отвечать.

— Погодите, — спросил я, — Альфонс на месте?

— Нет, месье, Альфонс года два или три назад взял расчет. К тому же месье видел Жана Бушона в семьдесят четвертом году. Меня тогда не было. Я здесь работаю только шесть лет.

— Но вы, судя по всему, могли бы рассказать

мне, как ваше заведение отделалось от Жана.

— Месье, нынче вечером мне недосуг, от посетителей нет отбою.

— Я дам вам пять франков, если вы изложите мне вкратце все — все, что известно о Жане Бушоне.

— Не соблаговолит ли месье прийти завтра с утра? Тогда я буду в полном распоряжении месье.

— Я приду в одиннадцать.

В назначенное время я был в кафе. Ни одно другое заведение не выглядит таким удручающе заброшенным и неопрятным, как кафе по утрам: перевернутые стулья, официанты в рубашках и передниках, застарелая табачная вонь в смеси с другими не радующими обоняние запахами.

Вчерашний официант меня ждал. Я пригласил его сесть со мной за столик. Кроме нас в зале находился только другой гарсон, который смахивал пыль длинной метелкой из перьев.

— Месье, — начал официант, — я выложу вам всю правду. История дикая, не всякий ей поверит, но все подтверждается документами. Жан Бушон служил здесь в свое время. У нас имелась копилка. Говоря «у нас», я не имею в виду себя: меня тогда еще не было.

— Про общую копилку я знаю. Я слышал эту историю в тысяча восемьсот семьдесят четвертом году, когда был в Орлеане и видел этого самого Бушона.

— Месье, наверное, сказали, что он похоронен на кладбище?

— Да, это мне известно. За счет его сослуживцев.

— Так вот, месье, он был беден, да и сослуживцы небогаты, хотя искренне хотели сделать все, как полагается. Могила не была приобретена en perpéuité[40]. Прошло много лет, срок контракта истек, да и Жан Бушон наверняка уже истлел, и могилу стали освобождать для нового клиента. И тут обнаружилось такое, что у всех глаза на лоб полезли. Наполовину сгнивший гроб оказался заполнен — буквально забит — монетами; кроме пяти- и десятисантимовых нашлось и немало немецких, полученных, конечно же, от свиней-пруссаков за время оккупации Орлеана. В городе все только об этом и говорили. Хозяин кафе и метрдотель пошли к мэру объяснить, как было дело: что все эти деньги украдены у официантов за годы, минувшие с тысяча восемьсот

---

[40] Примечания: 40
В бессрочное владение (*фр.*).

шестьдесят девятого. Наш патрон указал, что по закону и справедливости их следует нам вернуть. Мэр, человек понимающий и разумный, с ним согласился и отдал распоряжение, чтобы все бывшие в гробу монеты передали нам, здешним официантам.

— Понимаю, вы разделили их между собой.

— Нет, месье, прошу прощения. По закону деньги в самом деле наши. Однако же те, кого он обобрал, в большинстве своем давно взяли расчет, а среди нынешних есть такие, кто служит в кафе не дольше года-полутора. Старых официантов мы найти не смогли. Кто умер, кто женился и уехал в другие края. Формально у нас ведь не было товарищества. И вот мы стали держать совет, что делать с деньгами. К тому же мы опасались, что, если дух Жана Бушона не умиротворить, он будет по-прежнему наведываться в кафе и забирать наши чаевые. Поэтому главное было задобрить Жана Бушона: распорядиться деньгами так, чтобы он был доволен. Одни предлагали одно, другие другое. Кто-то придумал на все деньги заказать мессы за упокой его души. Но метрдотель не согласился. Он сказал, что хорошо изучил Жана Бушона и догадывается, что затея с мессами ему вряд ли понравится. Мол, уж он-то,

метрдотель, знает Жана Бушона как облупленного. А делать надо вот что: все монеты отдать в переплавку, отлить бронзовую статую Жана Бушона и поставить ее в кафе, потому что на главной площади установить не получится — на большую статую металла не хватит. Если месье соизволит пойти со мной, я покажу эту статую — настоящий шедевр!

Официант встал с места, я последовал за ним.

В центре кафе стоял пьедестал, а на нем бронзовая фигура высотой примерно четыре фута. Она изображала человека со знаменем в левой руке; держась правой за лоб, он клонился назад, словно сраженный пулей. У ног его лежала сабля, которую он, очевидно, выронил. Я всмотрелся в лицо: оно нисколько не напоминало Жана Бушона, каким я его запомнил, — ни одутловатых щек, ни бакенбардов, ни сломанного носа.

— Прошу прощения, но с Жаном Бушоном тут нет ничего общего. Скорее я принял бы этот образ за Августа в молодости или, пожалуй, Наполеона. Настоящий греческий профиль.

— Все возможно, — отозвался официант. — Но у нас не было фотографии для образца. Пришлось дать скульптору творческую свободу, и главное, нам хотелось потрафить духу Жана Бушона.

— Понятно. Однако поза противоречит фактам. Жан Бушон свалился с лестницы головой вперед, а этот явно готовится упасть навзничь.

— Это было бы против законов искусства, да и духу Жана Бушона вряд ли бы понравилось.

— Да-да, понятно. Но знамя?..

— Знамя придумал скульптор. Не мог же он вложить Жану в руку кофейную чашку! Как вы можете убедиться, все в целом выглядит преотлично. У искусства свои правила. Обратите внимание — внизу на пьедестале надпись.

Наклонившись, я с некоторым недоумением прочитал:

JEAN BOUCHON
MORT SUR LE CHAMP DE GLOIRE
1870
DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI[41]

— Какое поле брани, — вскричал я, — он ведь свалился с черной лестницы!

— Но, месье, Орлеан весь — поле брани! А как мы в четыреста пятьдесят первом году под води-

---

[41] Примечания: 41

Красна и сладка смерть за отечество (*лат.*). — *Перевод А. Семёнова-Тян-Шанского.* (*фр.*).

тельством святого Эньяна отразили нашествие Аттилы с его гуннами? А как в тысяча четыреста двадцать девятом под знаменами Жанны д'Арк разбили англичан (месье простит мне невольный намек)? А как в ноябре тысяча восемьсот семидесятого отвоевали Орлеан у немцев?

— Все это совершенно верно, — прервал я официанта. — Но Жан Бушон не бился с Аттилой, не сражался под знаменами Девственницы и не гнал пруссаков. «Dulce et decorum est pro patria mori» — слишком сильное выражение для подобного случая.

— Как? Неужели месье не согласен с тем, что здесь выражены чувства возвышенные и патриотические?

— Пожалуй, но они не на то направлены.

— А зачем их направлять? Они и так хороши.

— Но скульптор связал их с Жаном Бушоном, который погиб не за отечество, а из-за банального скандала в кофейне. Опять же, дата указана неправильно. Жан Бушон умер в тысяча восемьсот шестьдесят девятом, а не в тысяча восемьсот семидесятом году.

— Разница всего-то в год.

— Да, но эта ошибка в год вместе с цитатой из Горация и позой, приданной фигуре, внушит

любому, будто Жан Бушон геройски погиб при освобождении Орлеана от пруссаков.

— Ах, месье, ну кто же, глядя на памятник, рассчитывает узнать по нему истинную правду об усопшем?

— Иными словами, правду вы принесли в жертву, — возразил я.

— Жертва — это прекрасно! Что может быть благородней, героичней, чем жертва?

— Не в тех случаях, когда жертвуют правдой.

— Жертва — всегда жертва.

— Ну ладно. — Мне не хотелось длить спор. — Действительно, вот поучительный пример того, как из ничего можно сотворить внушительное нечто.

— Как же из ничего? Из монет, которые Жан Бушон у нас украл и набил в свой гроб.

— И больше Жан Бушон не показывался?

— Нет, месье. Впрочем… показался однажды при торжественном открытии памятника. Церемонию проводил патрон. В кафе было полно народу. Присутствовали все наши habitue[42]. Патрон произнес великолепную речь, описал в превосходных выражениях достоинства Жана

---

[42] Примечания: 42
Завсегдатаи (*ит.*).

Бушона: высокую нравственность, ум, заслуги перед обществом и талант политика. Все до единого прослезились, оратора душили эмоции. Мы стояли кольцом, поодаль от памятника, и вдруг увидели (я сам там был и видел ясно, остальные тоже) спину Жана Бушона. Он пристально разглядывал собственный портрет. Месье, я различил даже его черные бакенбарды — они топорщились по бокам. Да-да, сэр, никто не проронил ни звука. Мы все как онемели. Патрон закончил речь, вытер глаза и высморкался. На нас словно сошел благоговейный трепет. Через несколько минут Жан Бушон повернулся к нам, и мы все увидели его одутловатые бледные щеки, жирные губы, сломанный нос, маленькие поросячьи глазки. Он совсем не походил на свой идеальный образ, но разве в этом дело? Скульптор возвеличил покойного и никому не сделал вреда. Да, месье, Жан Бушон оглядел нас, покачал головой и заулыбался — елейной улыбкой, я бы сказал. Потом воздел кверху руки, словно бы призывая на всех благословение небес, и исчез. С тех пор его не видели.

1904

Элджернон Блэквуд
1869–1951
История о призраке, рассказанная одной женщиной

— Хорошо, если хотите, я расскажу вам об одном случае, — произнесла она со своего места в темном углу. — И, что важно, расскажу вкратце, без прикрас, то есть не вдаваясь в несущественные детали. Вы же знаете, рассказчики никогда так не поступают. — Женщина рассмеялась. — Они перегружают повествование всеми возможными подробностями, вынуждая слушателей самостоятельно докапываться до смысла услышанного. Но я изложу только факты, а вы вольны понимать их как вам заблагорассудится. Впрочем, с одним условием: по окончании рассказа вы не будете задавать мне никаких вопросов, поскольку я не могу ничего объяснить, да и не желаю этого делать.

Мы согласились. Все настроились на серьезный лад. Выслушав дюжину скучных длинных историй от людей, которым просто хотелось поговорить, мы все жаждали чего-нибудь суще-

ственного.

— В те дни, — начала она, поняв по нашему молчанию, что мы внимательно ее слушаем, — в те дни я интересовалась всякими потусторонними явлениями и однажды решила провести ночь в расположенном в центре Лондона доме с привидением. Этот грязный дом с меблированными комнатами, совершенно пустой и заброшенный, стоял на бедной улице. При свете дня я провела предварительные переговоры с жившим по соседству сторожем, и ключи от входной двери оказались у меня в кармане. Связанная с этим домом история понравилась мне: во всяком случае я сочла ее достойной расследования. Не буду докучать вам рассказом об обстоятельствах убийства некоей женщины и утомительными объяснениями того, почему в этом доме появлялось привидение. Достаточно сказать, что оно там действительно появлялось.

В одиннадцать часов вечера я подошла к дому и, к великому своему неудовольствию, обнаружила на ступеньках перед дверью поджидавшего меня человека, которого приняла в темноте за болтливого старого сторожа. Но ведь я внятно объяснила ему, что хочу провести ночь в доме в полном одиночестве.

— Я собирался показать вам ту самую комнату, — невнятно пробормотал он, и конечно, я не смогла отказаться от услуг старика, поскольку за небольшую плату взяла у него во временное пользование кресло и стол.

— Пойдемте же тогда, и побыстрее, — сказала я.

Мы вошли в дом. Старик, шаркая ногами, проследовал за мной через темный холл и поднялся по лестнице на второй этаж к комнате, в которой произошло убийство. Я смирилась с необходимостью выслушать сторожа перед тем, как выпроводить его прочь, вознаградив за настойчивость полукроной. Я зажгла газовый рожок, опустилась в предоставленное мне стариком кресло — выцветшее кресло, обитое коричневым плюшем, — и впервые обернулась к спутнику с тем, чтобы по возможности быстрее закончить эту часть вечерней программы. И тут я испытала первое потрясение. В комнате со мной находился вовсе не Кэри. Да, это был не старый глуповатый Кэри, с которым я обсуждала днем свои намерения. Сердце дико подпрыгнуло у меня в груди.

— Но кто вы, скажите на милость? — спросила я. — Вы не здешний сторож Кэри. Так кто же вы?

Как вы можете себе представить, я чувствовала

себя крайне неуютно. Конечно, я была исследователем потусторонних явлений и молодой женщиной весьма прогрессивных взглядов, которая гордилась своей свободой; однако я не имела ни малейшего желания оставаться в пустом доме наедине с незнакомцем.

Часть былой уверенности покинула меня. Как вы знаете, за определенной чертой у женщин от уверенности в себе остается одна видимость. Впрочем, возможно, вы этого и не знаете, поскольку большинство из вас — мужчины. Во всяком случае, все мое мужество бесследно испарилось в мгновение ока, и я почувствовала страх.

— Кто вы? — нервно и торопливо повторила я. Незнакомец был хорошо одет, довольно молод и привлекателен, но лицо его хранило выражение великой печали. Мне самой в то время едва стукнуло тридцать. Эти подробности существенны, иначе я не упомянула бы о них. История эта складывается из самых заурядных обстоятельств. Думаю, именно в этом заключается ее ценность.

— Нет, я не Кэри, — ответил незнакомец. — Я человек, который испугался до смерти.

Этот голос и эти слова проникли мне в душу подобно острому ножу, и я едва не скончалась на месте от страха. У меня в кармане лежал

купленный накануне блокнот, в который я собиралась записывать свои наблюдения. Я физически ощутила заложенный в блокнот карандаш. Кроме того, я почувствовала наличие на теле дополнительной теплой одежды, надетой ввиду отсутствия в доме диванов и кроватей с покрывалами. Десятки нелепых обрывочных мыслей завертелись в моем мозгу, как обычно бывает у всерьез испуганного человека. Какие-то несущественные соображения вдруг целиком заняли мой разум, и я начала представлять, что напишут в газетах об этом происшествии и что скажет обо всем этом умный муж моей сестры; и еще я подумала: интересно, сообщат ли в прессе о найденных у меня в кармане сигаретах и о моем вольнодумстве?

— Человек, который испугался до смерти! — с ужасом повторила я.

— Да, — тупо подтвердил он.

Я дико уставилась на незнакомца — как уставился бы на него любой из присутствующих здесь мужчин — и почувствовала, что жизненные силы убывают во мне и наподобие некой горячей жидкости вытекают из тела. Не стоит смеяться. Именно такие ощущения владели мной. Вы знаете, самые незначительные вещи вдруг обретают

глубокий смысл в сознании, пораженном ужасом — *настоящим ужасом.* Однако я с таким же успехом могла бы в тот момент присутствовать на чаепитии в обществе представителей среднего класса — настолько заурядные мысли посетили меня!

— Но я приняла вас за сторожа, который за небольшую плату разрешил мне сегодня переночевать здесь! — задыхаясь, проговорила я. — Это… это Кэри послал вас встретить меня?

— Нет. — При звуках этого голоса душа ушла у меня в пятки. — Я человек, который испугался до смерти. Более того, я испуган *сейчас!*

— И я тоже, — вырвалось у меня совершенно непроизвольно. — Я просто в ужасе.

— Да, — откликнулся незнакомец все тем же странным голосом, который звучал, казалось, где-то внутри меня. — Но вы продолжаете существовать во плоти, а я — *нет!*

Я почувствовала острую необходимость вернуть утраченное самообладание. Я поднялась с кресла и встала посреди пустой комнаты, стиснув зубы и сжав кулаки с такой силой, что ногти вонзились в ладони. Я приготовилась утверждать свою индивидуальность и доказывать свою смелость как современная женщина и свободный

духом человек.

— Что значит — я во плоти, а вы нет?! — задыхаясь, воскликнула я. — О чем вы говорите, во имя всего святого?

Ночная тишина поглотила мой голос. Только в этот момент я остро осознала, что ночь воцарилась над городом, что пыль толстым слоем лежит на ступеньках лестницы, что верхний этаж здания не заселен, а нижний пустует. Я, беззащитная женщина, находилась одна в заброшенном доме с привидениями. Мороз пробежал у меня по коже. Я услышала свист ветра за окнами и поняла, что звезды затянуло тучами. Мысли мои устремились к полисменам и омнибусам на улицах и всем полезным и удобным вещам на свете. Внезапно я осознала, насколько глупо с моей стороны было приходить одной в дом с дурной репутацией. От ужаса кровь застыла в моих жилах. Мне показалось, что конец мой близок. Только полная идиотка могла заняться исследованием потустороннего мира, не имея для этого достаточно крепких нервов.

— Боже милостивый! — пролепетала я. — Но если вы не Кэри, не здешний сторож, — то кто же вы?

Я буквально оцепенела от страха. Человек мед-

ленно двинулся ко мне через пустую комнату. Я поднялась с кресла и вытянула руку вперед, останавливая его, как раз в тот момент, когда он сам остановился прямо напротив меня с улыбкой на изможденном грустном лице.

— Я же сказал вам, кто я, — со вздохом тихо повторил незнакомец, глядя на меня самыми печальными на свете глазами. — И я испуган *до сих пор.*

К этому времени я поняла, что имею дело либо с насильником, либо с сумасшедшим, и прокляла себя за глупую неосмотрительность: нельзя было впускать в дом мужчину, не рассмотрев как следует его лицо. Я быстро собралась с мыслями и приняла решение относительно своих дальнейших действий. Все привидения и феномены потустороннего мира совершенно вылетели у меня из головы. Мне не стоило сердить этого субъекта, дабы не поплатиться жизнью за свою опрометчивость. Следовало усыпить его бдительность, незаметно пробраться к двери и выскочить на улицу. Вытянувшись в струнку, я стояла прямо напротив незнакомца. Мы с ним были одного роста, и я была сильной здоровой женщиной, которая зимой играла в хоккей, а летом восходила на альпийские вершины. Ах, будь у меня под

рукой какая-нибудь палка! Но палки не было.

— Ну конечно же, я вспомнила, — заговорила я с напряженной улыбкой, которая далась мне с великим трудом. — Теперь я вспомнила ваш случай и ваше заслуживающее восхищения поведение.

Мужчина тупо смотрел на меня, медленно поворачивая голову по мере того, как я все быстрей и быстрей отступала к двери. Но когда он вдруг широко улыбнулся, нервы мои не выдержали: я метнулась к выходу и пулей вылетела на лестничную площадку. Как идиотка, я свернула не в ту сторону и, спотыкаясь, бросилась по лестнице на верхний этаж. Но поворачивать назад было уже поздно. Я не сомневалась, что мужчина преследует меня, хотя звука шагов за спиной не слышала. Я взлетела по ступенькам на следующий этаж, порвав юбку и больно ударившись в темноте о перила, — и опрометью бросилась в первую попавшуюся комнату. К счастью, дверь в нее оказалась открытой и — что самое главное — в замке изнутри торчал ключ. В мгновение ока я захлопнула дверь и, навалившись на нее всем телом, повернула ключ в замочной скважине.

Теперь я была в безопасности, но сердце часто стучало у меня в груди наподобие барабана. Секундой позже, впрочем, оно словно остановилось

вообще — я вдруг обнаружила, что нахожусь в комнате не одна.

У окна стоял мужчина, и тусклый свет уличных фонарей позволял разглядеть лишь его силуэт. Вы знаете, я женщина смелая — и даже в тот момент не оставила надежды на спасение, но, признаюсь, никогда в жизни мне не доводилось испытывать такого дикого ужаса. Я заперлась в комнате с каким-то незнакомцем!

В полном изнеможении я тяжело осела на пол, а мужчина, опершись о подоконник, молча смотрел на меня. «Итак, значит, их здесь двое, — пронеслось у меня в голове. — Возможно, в других комнатах тоже прячутся люди. Что все это может значить?» Но пока я пялилась на фигуру у окна, что-то вдруг изменилось — то ли в окружающей обстановке, то ли во мне самой, трудно сказать точно. Внезапно я осознала свое заблуждение, и ужас, до сих пор переживавшийся мной как явление физического порядка, вдруг превратился в чувство *иррациональное*… Теперь страх завладел моей душой, а не сознанием, и в следующий момент я поняла, кто стоит передо мной.

— Но во имя всего святого, как вы очутились здесь? — заикаясь, пролепетала я, от удивления на миг забыв обо всех своих страхах.

— Позвольте мне объяснить вам, — начал он своим странным, доносившимся словно откуда-то издали голосом, при звуках которого мурашки пробежали у меня по спине. — Прежде всего, я существую в ином пространстве, и вы обнаружите меня здесь в любой комнате. Ибо с точки зрения мира трех измерений я нахожусь в этом доме *повсюду.* Пространство — величина физическая, но я существую вне тела, и потому пространство не является для меня препятствием. Меня удерживает здесь мое состояние. Чтобы покинуть этот мир, мне необходимо как-нибудь изменить его. Я нуждаюсь в сочувствии. О, даже больше, чем в сочувствии! Я прошу искреннего расположения — прошу *любви!*

Пока он говорил, я медленно поднялась на ноги. Мне хотелось визжать, плакать и смеяться одновременно, но я смогла лишь глубоко вздохнуть: бурные переживания полностью обессилили меня, и я потеряла способность реагировать на происходящее должным образом. Я нашарила в кармане спички и шагнула к газовому рожку.

— Буду вам весьма признателен, если вы не станете зажигать горелку, — поспешно проговорил незнакомец. — Ибо вибрации ваших световых потоков причиняют мне сильную боль. Не сле-

дует бояться меня, я не причиню вам никакого вреда. Во-первых, я не могу дотронуться до вашего тела, поскольку нас разделяют необозримые пространства. И я действительно чувствую себя значительно лучше при этом слабом освещении. Теперь позвольте мне продолжить. Вы знаете, очень много людей приходило в этот дом взглянуть на меня, и большинство из них меня видело, и всех без исключения вид мой привел в ужас. О, если бы один, хотя бы один человек не испугался меня, но отнесся ко мне с сочувствием и любовью! Понимаете, тогда я смог бы выйти из теперешнего своего состояния и покинуть этот мир.

И такая печаль звучала в его голосе, что у меня слезы подкатили к глазам. Но страх по-прежнему владел всем моим существом, и я дрожала, как в ознобе, слушая незнакомца.

— Но тогда кто вы? Конечно, Кэри не посылал вас сюда, теперь мне это ясно, — с усилием выдавила я. Мысли ужасно путались у меня в голове, и я не знала, что говорить. Казалось, меня вот-вот хватит удар.

— Я ничего не знаю ни о каком Кэри, — спокойно продолжал мужчина. — И, слава Богу, давно забыл имя, которое некогда носило мое тело. Но я человек, который испугался до смерти в этом

доме десять лет назад и пребывает в постоянном страхе до сего времени. Ибо от постоянного присутствия здесь жестоких и любопытных людей, которые приходят взглянуть на привидение и тем самым поддерживают царящую в доме атмосферу ужаса, мое положение становится все хуже и хуже. Если бы хоть кто-нибудь отнесся ко мне доброжелательно — посмеялся бы, поговорил со мной ласково и разумно, пожалел, приласкал бы меня — все, что угодно, только не замирал бы от ужаса и любопытства, как вы сейчас в том углу! Неужели, мадам, вы не пожалеете меня? — Голос его поднялся до отчаянного крика. — Неужели вы не выйдете на середину комнаты и не попытаетесь хоть немного проникнуться ко мне любовью?

При этих словах безумный смех заклокотал у меня в горле, но чувство жалости оказалось сильней всех остальных чувств, — и я осознала вдруг, что отстранилась от стены и выхожу на середину комнаты.

— Клянусь Небом! — вскричал незнакомец, мгновенно выпрямляясь. — Вы сделали доброе дело. Это первое со времени моей смерти проявление расположения ко мне — и я уже чувствую себя значительно лучше. При жизни, знаете ли, я

был мизантропом. Неудачи преследовали меня, и постепенно я возненавидел всех своих знакомых до такой степени, что не мог спокойно видеть их. Конечно, как аукнется, так и откликнется, и эта ненависть в результате обернулась против меня самого. Под конец жизни страшные кошмары терзали мое воображение, комнату мою населили демоны, которые хохотали и строили отвратительные гримасы, и однажды ночью я увидел целый сонм их возле своей постели, и тогда ужас поразил меня в самое сердце и убил. Эта ненависть и чувство раскаяния наравне со страхом безраздельно владеют мной и удерживают меня здесь. Если бы кто-нибудь оказался способен на жалость, сострадание и хоть на малую толику любви ко мне, я смог бы покинуть этот мир и обрести счастье. Я наблюдал за вами, когда вы приходили днем осматривать дом, — и впервые за многие годы у меня появилась слабая надежда. Я увидел в вас смелость, независимость и способность *любить*. Если бы мне удалось глотнуть из источника любви, сокрытого в недрах вашей души, я обрел бы крылья для своего спасения!

Признаюсь, у меня защемило сердце, по мере того как страх постепенно ослабевал и печальный смысл услышанных речей открывался мне

в полной мере. Однако ситуация представлялась настолько невероятной и сходной с дьявольским наваждением, и история об убийстве женщины, которую я намеревалась расследовать здесь, явно была настолько далека от происходившего на моих глазах, что мне вдруг показалось, будто я просто сплю и вижу какой-то кошмарный сон и в любой момент могу с криком очнуться в собственной постели.

Более того, слова незнакомца до такой степени заняли мое воображение, что я оказалась совершенно не в состоянии думать о чем-либо еще, кроме как о своих дальнейших действиях и возможных путях спасения.

В полумраке я сделала несколько шагов по направлению к темной фигуре у окна. Конечно, страх по-прежнему владел мной, но странная решимость крепла в моем сердце.

— Вы женщина, — продолжал незнакомец, и голос его заметно задрожал при моем приближении. — Вы замечательная женщина, которой жизнь зачастую не дает возможности тратить сокрытые в душе огромные запасы любви. О, если бы вы знали, сколь многие из нас жаждут ее! Мало кому представлялся случай, какой ныне представился вам. Если вы сейчас щедро изольете

свою любовь — не на определенный объект, но на всех нуждающихся в ней, — сей мощный поток чувств достигнет сотен и тысяч подобных мне душ, и вы освободите нас! О мадам, я снова прошу вас о сострадании, доброте и нежности — и, если это возможно, хотя бы о капельке любви!

Сердце подпрыгнуло у меня в груди, и на сей раз я не смогла сдержать подступивших к глазам слез. Одновременно я рассмеялась, ибо обращение «мадам» звучало так странно здесь, в заброшенном доме на ночной лондонской улице, но смех скоро замер у меня на устах, и я разразилась бурными рыданиями, увидев, как подействовала на незнакомца перемена в моем настроении. Он отошел от окна и теперь стоял передо мной на коленях, простирая ко мне руки, — и над головой его появилось слабое сияние вроде нимба.

— Обнимите меня и поцелуйте во имя любви Господней! — вскричал он. — Поцелуйте, о, поцелуйте меня, и я стану свободным! Вы уже так много сделали — сделайте теперь и это!

Я стояла, дрожа всем телом, внутренне уже готовая к действию, но еще не вполне собравшаяся с духом для решительного шага. Однако страх полностью оставил меня.

— Забудьте о том, что я мужчина, а вы женщи-

на! — продолжал он в высшей степени проникновенным, умоляющим голосом. — Забудьте о том, что я призрак, смело подойдите ко мне, прижмите меня к груди и поцелуйте страстно, дабы ваша любовь излилась в меня. Забудьте о себе всего на одну минуту и совершите смелый поступок. О, полюбите меня, *полюбите, полюбите меня!* И я обрету свободу!

Эти слова — или великое чувство, возбужденное ими в сокровенных недрах моей души, — глубоко потрясли меня, и эмоция, бесконечно более сильная, чем страх, заставила меня действовать. Без дальнейших колебаний я шагнула к коленопреклоненному мужчине и протянула к нему руки. Жалость и любовь царили в моем сердце — настоящая жалость, клянусь вам, и настоящая любовь. Я забыла о себе, о своих ничтожных переживаниях, охваченная страстным желанием помочь другому существу.

— Я люблю тебя, бедный, несчастный страдалец! Я люблю тебя! — вскричала я, обливаясь горячими слезами. — И я ничуть не боюсь тебя!

Мужчина издал странный звук, похожий на смех, но все же не смех, и обратил ко мне лицо, озаренное светом уличных фонарей, и не только им. Само лицо — кожа, глаза — излучало сейчас

сияние. Незнакомец поднялся на ноги и шагнул мне навстречу, и в ту же секунду я обняла его, прижала к груди и снова начала целовать в губы.

Все трубки присутствующих уже погасли, и ни шороха не раздалось в темной студии, когда рассказчица смолкла на мгновение, собираясь с силами, и мягким жестом поднесла руку к глазам перед тем, как продолжить повествование.

— Ну, что я могу сказать, как могу описать вам, сидящим здесь с трубками в зубах, скептически настроенным мужчинам, то странное ощущение, которое я испытала, крепко прижав к сердцу неосязаемое бесплотное создание и почувствовав в следующий миг, как оно необъяснимым образом растворяется в самых недрах моего существа? Это было все равно что раскрыть объятия стремительному порыву холодного ветра и через секунду ощутить себя охваченной пламенем с головы до ног.

Ряд последовательных толчков сотряс мое тело, в душу пролился исступленный восторг любви и благоговейного изумления, сердце еще раз подпрыгнуло у меня в груди, — и внезапно я осталась совершенно одна.

Комната была пуста. Я чиркнула спичкой и за-

жгла газовый рожок. Все страхи покинули меня, и в воздухе, и в душе все пело, словно радостным весенним утром в юности. Никакие на свете демоны, призраки и наваждения в тот миг не смогли бы внушить мне ни малейшего трепета.

Я отперла дверь комнаты и прошла по всем этажам здания, заглянув даже на кухню, в подвал и на темный чердак. Но дом был пуст. Что-то покинуло его. Я провела там еще с час, анализируя происшедшее, размышляя и удивляясь (над чем и чему, вы в состоянии догадаться сами, а я не буду уточнять, поскольку обещала вам изложить только самую суть дела), и затем отправилась спать в собственную квартиру, предварительно заперев за собой дверь дома, в котором больше не жило привидение.

Но мой дядя, сэр Генри, владелец этого дома, потребовал у меня отчета о ночном приключении, и конечно, я чувствовала себя обязанной рассказать ему какую-нибудь историю. Однако не успела я открыть рот, как дядя поднял руку, останавливая меня.

— Сначала, — сказал он, — я хочу раскрыть тебе маленькую хитрость, на которую я решился пойти. Столь многие люди бывали в моем доме и видели там привидение, что в конце концов мне

подумалось: а не действует ли на их воображение связанная с этим местом история? Я захотел проверить все более обстоятельно. И вот для пользы дела я сочинил другую историю — дабы иметь возможность убедиться, что все виденное тобой не является всего лишь плодом возбужденной фантазии.

— Значит, ваша история об убийстве женщины и всем таком прочем не имеет никакого отношения к этому дому?

— Совершенно верно. На самом деле в этом доме сошел с ума мой кузен и после нескольких лет тяжелой депрессии покончил жизнь самоубийством в приступе отчаянного страха. Именно его призрак и видели наблюдатели.

— Тогда все понятно!.. — выдохнула я.

— Что понятно?

Я подумала о несчастной истерзанной душе, которая все эти годы страстно стремилась к свободе, — и решила до поры до времени молчать о своем приключении.

— Понятно, почему я не видела призрака убитой женщины, — закончила я.

— Вот именно, — подхватил сэр Генри. — И поэтому если бы ты что-нибудь увидела, то это представляло бы настоящий интерес, поскольку

не являлось бы игрой заранее подготовленного воображения.

1907

Персеваль Лэндон
1868–1927
Аббатство Тернли

Три года назад, перед отъездом на Восток, мне захотелось задержаться в Лондоне хотя бы на один день, и я вместо привычного марсельского экспресса, отходящего в четверг, сел в почтовый поезд, отправляющийся в пятницу вечером в Бриндизи. Многих отпугивает перспектива долгого сорокавосьмичасового путешествия через континент и, вслед за этим, гонки через Средиземное море на «Изиде» или «Озирисе» (скорость девятнадцать узлов); однако особых неудобств не испытываешь ни в поезде, ни на почтовом судне, и, если у меня нет срочных дел, я всегда предпочитаю перед очередной долгой отлучкой провести в Лондоне лишние полтора дня.

В тот раз — а пришелся он, помнится, на начало сезона навигации, приблизительно на первые числа сентября — пассажиров в Индийском экспрессе компании «Пи энд Оу» было немного, и я весь путь от самого Кале ехал в купе один. В воскресенье я с утра до вечера наблюдал голу-

бую рябь Адриатики, тусклые кусты розмарина вдоль высоких краев дороги, распластанные белые города с их плоскими крышами и дерзкими duomo[43], серо-зеленую листву и искривленные стволы олив в садах Апулии. Эта поездка ничем не отличалась от других. Мы бывали в вагоне-ресторане так часто и просиживали так долго, как только позволяли приличия. После завтрака спали, после обеда почитывали романы в желтых обложках, по временам обменивались плоскими фразами в курительной. Именно там я и познакомился с Аластером Колвином.

Это был человек среднего роста с решительным, красивым лицом. Волосы у него начинали седеть, усы выгорели на солнце, подбородок был чисто выбрит. С первого взгляда было видно, что это человек порядочный, а кроме того, очень чем-то обеспокоенный. Особого остроумия в беседе он не выказывал, когда к нему обращались, давал самые обычные в таких случаях ответы; я бы даже сказал, банальностей он не говорил только потому, что вообще предпочитал помалкивать. Он проводил время, преимущественно склонившись над дорожным расписанием «Компании

---

[43] Примечания: 43
Соборами (*ит.*).

спальных вагонов», но, судя по всему, был неспособен сосредоточить внимание на его страницах. Когда Колвин узнал, что я бывал на Сибирской железной магистрали, то четверть часа беседовал со мной об этом, а потом потерял интерес, встал и удалился в свое купе. Очень скоро он, однако, вернулся и, как мне показалось, охотно возобновил разговор.

Разумеется, я не придал этому особого значения. После того как человек тридцать шесть часов провел в поезде, не приходится удивляться, что ему немного растрясло мозги. Но странный, беспокойный вид Колвина вступал в слишком явное противоречие с солидностью и чувством собственного достоинства, заметными в его облике. Особенно этот контраст бросился мне в глаза, когда я рассматривал красивые большие руки Колвина с гладкими ладонями, с широкими, здоровыми, правильной формы ногтями. Глядя на его руки, я обратил внимание на еще свежий шрам, длинный и глубокий, с рваными краями. При всем том нелепо было бы утверждать, будто я заподозрил что-то необычное. В пять часов дня в воскресенье я ушел к себе в купе и проспал там те полтора-два часа, которые оставались до прибытия в Бриндизи.

Приехав туда, мы, немногочисленные пассажиры (нас было человек двадцать), перенесли на корабль свой ручной багаж, зарегистрировали билеты, а затем полчаса бесцельно прослонялись по городу, успели узнать, что Бриндизи — место смерти Вергилия, чему не особенно удивились, и вернулись к обеду в гостиницу «Интернациональ». Припоминаю ярко расписанный вестибюль гостиницы: не хочу никому делать рекламу, но это единственное место в городе, где можно с комфортом дожидаться прибытия почтового судна. Там я и сидел после обеда и почтительно рассматривал шпалеры, увитые черным виноградом, когда к моему столику из противоположного конца комнаты прошел Колвин и взял «Il Secolo»[44], но почти сразу же перестал делать вид, что читает, повернулся ко мне и сказал:

— Могу я попросить вас об одолжении?

Вообще-то не принято откликаться на просьбы случайных знакомых по континентальному экспрессу, если знаешь о них не больше, чем я знал о Колвине. Но я уклончиво улыбнулся и спросил, чего он хочет. Оказалось, что я в нем не ошибся.

---

[44] Примечания: 44
Век (*ит.*)

Он спросил без околичностей:

— Не разрешите ли вы мне ночевать в вашей каюте на «Озирисе»? — Сказав это, он слегка покраснел.

Ничего не может быть утомительней, чем соседи по каюте во время морского путешествия, поэтому я многозначительно спросил:

— Но ведь кают хватает на всех?

Я подумал, что, возможно, его поселили с каким-нибудь грязным левантинцем и он хочет во что бы то ни стало отделаться от этого соседства.

Колвин, все еще немного смущенный, ответил:

— Да, у меня отдельная каюта. Но вы окажете мне громадную услугу, если позволите ночевать в вашей.

Все бы ничего, но я всегда лучше сплю, когда бываю в комнате один, да тут еще эти недавние кражи на английских лайнерах. Я колебался, несмотря на то что Колвин производил впечатление открытого, честного и застенчивого человека. Как раз в эту минуту подошел почтовый поезд, раздался грохот и свист выпускаемого пара, и я предложил ему возобновить этот разговор позже, на борту «Озириса». В ответ он сказал коротко, вероятно уловив в том, как я держался, оттенок недоверия: «Я член “Уайтс”». Услышав это, я

улыбнулся про себя, но тут же сообразил, что раз такой человек, как Колвин (если он действительно был таков, каким казался, а в этом я не сомневался), вынужден прибегнуть к подобному доказательству своей благонадежности в беседе с совершенно незнакомым человеком, то, видимо, крепко же его прижало.

Вечером, когда исчезли из виду красные и зеленые огни гавани Бриндизи, Колвин рассказал мне следующее. Я повторяю здесь его собственные слова.

Несколько лет назад, во время путешествия по Индии, я познакомился с одним довольно молодым человеком, служащим лесопромышленного департамента. Неделю мы провели вместе, ночевали в одной палатке, и он оказался прекрасным компаньоном. На отдыхе не было никого беззаботнее Джона Браутона, но при всем том он был самым надежным и толковым работником, способным с честью выйти из любой непредвиденной ситуации, каковых у него на службе хватало. Местные жители его любили и доверяли ему; правда, выбравшись в очаг цивилизации — Симлу или Калькутту, — Браутон позволял себе лишнее, но только самую малость, и карьера на правительственной службе была ему обеспечена.

Но неожиданно он унаследовал крупное имение, с радостью отряхнул со своих ног прах индийских равнин и вернулся в Англию.

Пять лет он пробездельничал в Лондоне. Я виделся с ним время от времени. Приблизительно раз в полтора года мы вместе обедали, и я имел возможность наблюдать, как праздная жизнь постепенно надоедала Браутону. Дважды после этого он совершал длительные поездки, но душевного спокойствия оттуда не привез. Под конец он сказал мне, что решил жениться и осесть в своем загородном доме, аббатстве Тернли, давно уже пустовавшем. Он говорил, что будет вести хозяйство и, как это принято, баллотироваться в парламент от своего избирательного округа. Подозреваю, что это Вивьен Уайльд, невеста Браутона, начала прибирать его к рукам. Это была прелестная девушка с целой копной светлых волос и немного своеобразной манерой держаться; воспитанная в строгом религиозном духе, она была тем не менее очень приветливой и веселой девушкой, и я считал, что Браутону повезло. Он был очень счастлив и непрерывно делился планами на будущее.

Между прочим, я расспросил его об аббатстве Тернли. Он признался, что почти ничего о нем

не знает. Последним там обитал некто по имени Кларк. Он занимал одно крыло дома, прожил там пятнадцать лет и ни с кем за это время не виделся. Это был скряга и затворник. Нечасто случалось после наступления темноты увидеть огонек в окнах аббатства. Кларку доставляли домой только самое необходимое, он сам открывал дверь черного хода и забирал то, что приносили. У него был один-единственный слуга, полукровка, но и тот через месяц без предупреждения отказался от места и вернулся к себе, в Южные Штаты.

Браутон был крайне недоволен одним: Кларк умышленно распространил в деревне слухи, будто в аббатстве являются привидения. Он дошел до ребячества: фокусов со спиртовкой и солью, и все это для того, чтобы отпугнуть любопытных ночных гостей. Его даже застигли за этим нелепым занятием, но слухи ползли, и, как рассказывал Браутон, никто уже не отваживался после наступления сумерек приближаться к дому. И теперь в духов аббатства Тернли верят в этих местах, как в Бога, но они с женой собираются положить этому конец. Не приеду ли я к ним погостить в любое удобное для меня время? Я, разумеется, сказал, что приеду, а про себя, тоже разумеется, решил не ехать, пока не получу более определенного

приглашения.

Дом подвергли основательной переделке, но не тронули ничего из старой мебели и гобеленов. Переложили полы, заменили перекрытия, заделали течи в крыше, убрали полувековую пыль. Браутон показал мне несколько фотографий. Дом называли аббатством, но, собственно говоря, это был всего лишь лазарет при давно не существующем аббатстве Клостер, которое располагалось в пяти милях оттуда. Бóльшая часть здания сохранилась со времен до Реформации, но одно крыло было пристроено в эпоху Якова I, и именно в этой части дома мистер Кларк произвел некоторые переделки. Он установил в проходах между старыми и более поздними помещениями, и на первом, и на втором этаже, тяжелые деревянные двери с крепкими железными засовами и совершенно перестал заботиться о старой части здания. Поэтому предстояло много работы, чтобы привести ее в порядок.

В то время я два-три раза виделся с Браутоном в Лондоне. Его очень забавляло, что рабочие наотрез отказываются задерживаться в доме после захода солнца. Даже когда во всех комнатах оборудовали электрическое освещение, они продолжали упрямиться, а ведь электрические

лампочки, как сказал Браутон, для духов смертельны. Выдумка о духах аббатства расползлась вширь и вдаль, и рабочие не хотели подвергать себя опасности. Домой они уходили только группами по пять-шесть человек и даже днем старались не упускать друг друга из виду надолго. Правда, за те пять месяцев, что шли работы в аббатстве, как ни трудилось разгоряченное воображение, ничего мало-мальски похожего на призрак вызвать на свет не удалось. Тем не менее, поскольку рабочие явно были напуганы, вера в духов Тернли не ослабевала (скорее наоборот), и местная молва объявила: в аббатстве является дух замурованной монахини.

— Ох уж эта мне монахиня! — фыркнул Браутон.

Я спросил, верит ли он вообще в привидения, и, как ни странно, он не сказал решительного «нет». По его словам, однажды в Индии, в палаточном лагере, один человек признался ему утром, что ночью видел у палатки призрак своей матери, жившей в Англии, и теперь думает, что она умерла. Увидев призрак, он не испугался, но сказать ничего не смог, и призрак исчез. И

в самом деле, первый же dak-walla[45] принес телеграмму с известием о смерти его матери. «Такие вот дела», — заключил Браутон. Но что касается Тернли, то тут он подходил к делу трезво. Он клял на чем свет стоит идиотское себялюбие Кларка, его дурацкие выходки, ставшие причиной всех дальнейших неприятностей. В то же время и невежественных рабочих Браутон не мог осуждать. «Я вот что думаю, — сказал он. — Если видишь привидение, нужно непременно заговорить с ним».

Я согласился. Судя по тому немногому, что мне приходилось слышать о мире духов и его обычаях, привидение обречено ждать, пока к нему обратятся. Заговорить с призраком первым, должно быть, не очень трудно; во всяком случае, как мне представлялось, звук собственного голоса убедит говорящего, что это не сон. Но за пределами Европы призраки встречаются редко — во всяком случае, такие призраки, которые доступны восприятию белого человека, — и меня они не беспокоили ни разу. Как бы то ни было, я сказал, что согласен с Браутоном.

И вот состоялась свадьба; я щеголял на ней в

---

[45] Примечания: 45
Почтальон (*англ. — инд.*).

специально приобретенном цилиндре, и новоиспеченная миссис Браутон впоследствии очень мило мне улыбалась. Случилось так, что в тот же вечер я сел в Восточный экспресс и почти полгода пробыл за границей. Как раз когда подошло время возвращаться, я получил от Браутона письмо. Он просил меня встретиться с ним в Лондоне или приехать в Тернли, уверяя, что, кроме меня, никто не сможет ему помочь. Его жена сделала очень милую приписку в конце, поэтому относительно ее расположения я, во всяком случае, мог быть спокоен. Я написал из Будапешта, что через два дня после прибытия в Лондон явлюсь к нему в Тернли. Я шел из «Паннонии» на улицу Керепеши, чтобы отправить письмо, а сам ломал себе голову над вопросом, что же понадобилось от меня Браутону. Мне приходилось охотиться вместе с ним на тигра, и я знал, что мало кто способен в случае необходимости так постоять за себя, как Браутон. Но ничего другого не оставалось: я уладил все накопившиеся за время моего отсутствия дела, упаковал вещи и выехал в Юстон.

Браутон прислал за мной на станцию Тернли-Роуд свой большой лимузин, мы проехали почти семь миль, прогрохотали по сонным улицам деревни Тернли и уперлись в роскошные ворота

парка с колоннами, которые были увенчаны геральдическими орлами и котами, стоявшими на задних лапах. Я не знаток геральдики, но знал, что Браутоны имеют право на геральдических животных в гербе — одному богу известно почему. От ворот в глубину парка шла аллея, длиной примерно в четверть мили, из буков, росших в четыре ряда. По сторонам дороги, от ее края до того места, где почва была засыпана опавшей листвой, простирались аккуратные полосы прекрасного дерна. На дороге виднелось много следов колес. Мимо меня протряслась уютная маленькая двуколка, запряженная пони; в ней сидел приходской священник с женой и дочерью. Судя по всему, в саду аббатства был устроен прием. В конце аллеи дорога свернула вправо, и за большим пастбищем и широкой лужайкой, полной гостей, я увидел аббатство.

Ближайшая часть здания была скромнее некуда. Когда ее только построили, она, должно быть, поражала своей почти суровой простотой, но время шло, поверхность камня раскрошилась, обросла серым лишайником и частично скрылась за завесой магнолий, жасмина и плюща. Далее располагалось четырехэтажное крыло времен Якова I, высокое и красивое. Никакой попытки

привести в гармонию обе части здания сделано не было, но милосердный плющ замаскировал стыки. Центр здания отмечала небольшая башня с колоколом, увенчанная высоким flèche[46]. За домом сплошной зеленой стеной взбирались по склону холма пышные каштаны.

Браутон увидел меня издалека, оставил других гостей и пошел навстречу. Поздоровавшись, он поручил меня заботам дворецкого. Последний был рыжеволос и не походил на молчальника. На мои расспросы о доме он, однако, отвечал куда как кратко, объяснив это тем, что служит здесь всего три недели. Помня о своей беседе с Браутоном, я не затевал разговора о привидениях, хотя спальня, в которую меня поместили, весьма к этому располагала. Это была очень просторная комната с низким белым потолком, покоившимся на дубовых балках. Гобеленами были увешаны сверху донизу не только стены, но даже двери. Впечатление сумрачности и торжественности усугубляла замечательно красивая итальянская кровать с тяжелым драпированным пологом. Вся мебель была старая, темная, искусной работы. Зеленый ворсистый ковер на полу был

[46] Примечания: 46
Шпилем (*фр.*)

единственной новой вещью в комнате, не считая электрических лампочек, кувшинов и тазов для умывания. Даже зеркало на туалетном столике было старое: венецианское, пирамидальной формы, в тяжелой потемневшей раме из штампованного серебра.

Через несколько минут, приведя себя в порядок, я спустился, вышел на лужайку и приветствовал хозяйку дома. Собравшиеся гости были обычными сельскими жителями, которые желали поразвлечься и узнать как можно больше о новом хозяине аббатства. Совершенно неожиданно я, к немалому своему удовольствию, обнаружил там Гленема, хорошо знакомого мне по старым дням в Баротселенде; он живет невдалеке, мне следовало бы это знать, пояснил он с улыбкой. «Но, — добавил он, — не в таком месте, как это». Он взмахнул рукой, с заметным восхищением обрисовывая жестом длинный контур аббатства, а потом, чрезвычайно меня этим заинтересовав, сквозь зубы буркнул: “Слава богу”. Заметив, что я расслышал его слова, он произнес решительно: «Да, я сказал «Слава богу», и я знаю, что́ говорю. Я не соглашусь жить в аббатстве, даже если Браутон предложит мне за это все свое состояние».

— Но ты ведь знаешь, — возразил я ему, — что

старого Кларка поймали за руку, когда он мастерил свои пугала?

Гленем пожал плечами:

— Знаю. Но все равно в доме нечисто. Скажу одно: с тех пор как Браутон живет здесь, его не узнать. Не думаю, что он задержится надолго. Но… ты остановился здесь, в доме? Тогда вечером тебе все станет известно. Предстоит званый обед, как я понимаю.

Тут разговор перескочил на старые воспоминания, а вскоре Гленему понадобилось по какой-то причине уйти.

Перед тем как переодеться к обеду, я минут двадцать беседовал с Браутоном в библиотеке. Без сомнения, его было не узнать. Он нервничал и суетился. Я заметил, что он избегает смотреть мне прямо в глаза и следит исподтишка. Я, разумеется, спросил, зачем я ему понадобился. Сказал, что не пожалею сил, но ума не приложу, чем могу ему служить. Он ответил с тусклой улыбкой, что кое-чем все же могу, а чем именно, об этом он сообщит завтра утром. Мне показалось, что ему неловко и за себя, и, возможно, за то, в какое положение он ставит меня. Как бы то ни было, я выбросил все это из головы и пошел в свои хоромы переодеваться. Когда я открывал дверь,

сквозняком отделило от стены царицу Савскую. Я заметил, что гобелены снизу не прикреплены к стене. Что касается привидений, то мои взгляды на этот предмет всегда были весьма трезвыми; мне зачастую представлялось, что легкое шевеление незакрепленных гобеленов и отсветы огня в камине наилучшим образом объясняют девяносто девять процентов всех подобного рода рассказов. Конечно же, величавое колыхание этой дамы, а также ее свиты и участников охоты (один из них бесцеремонно перерезал горло лани у самых ступеней, на которых стоял, поджидая свою прекрасную гостью, царь Соломон — бледный фламандский дворянин с орденом Золотого Руна) вполне могло послужить иллюстрацией к моей гипотезе.

За обедом ничего особенного не произошло. Собравшиеся почти ничем не отличались от тех, кто был на приеме в саду. Моя молодая соседка по столу просто изнемогала от желания знать, что читают в Лондоне. Ее осведомленность в том, что касалось свежих номеров журналов и литературных приложений к ним, далеко превосходила мою, и спасло меня только знание путей развития современной литературы. Все истинное искусство, заявила она, насквозь пронизано

меланхолией. Попытки острить во многих современных книгах — это дурной вкус. Всегда, с самого начала, вершиной литературы была трагедия. Иные объявляли данный род словесности нездоровым, но это поверхностное суждение. Ни один мыслящий человек — тут она смерила меня строгим взглядом через очки в стальной оправе — не станет с ней спорить.

Разумеется, я немедленно признался, как того требовали приличия, что не ложусь спать без Петт Риджа и Джейкобса под подушкой и что не будь «Джоррокс» такой громоздкой и неудобной книгой, то и он оказался бы в той же компании. Ничего этого она не читала, так что я был спасен — на время. С содроганием вспоминаю, однако, как она говорила, что мечтой всей ее жизни было попасть в какую-нибудь жуткую, леденящую душу историю; помню также, насколько безжалостно она обошлась с героем повести Нэта Пэйнтера о вампире, не забывая при этом о десерте у себя на тарелке. Моя собеседница была безрадостным созданием, и я невольно подумал: если в окрестностях таких много, то не стоит удивляться, что старина Гленем вбил себе в голову какую-то чушь по поводу аббатства. При всем том поблескивание серебра и стеклянной посуды,

неяркий свет и журчание беседы за обеденным столом навевали мысли далеко не мрачные.

Когда дамы удалились, со мной заговорил местный благочинный. Это был худой серьезный человек. Он сразу повел речь о шутовских выходках старого Кларка. Мистер Браутон, говорил он, привнес новый, оптимистический дух в жизнь не только аббатства, но и всей округи, и это позволяет надеяться, что прежние суеверия, продукт невежественных умов, отныне будут преданы забвению. На что его сосед, дородный джентльмен, обладатель независимого состояния и положения, откликнулся громким «аминь», заставившим благочинного умолкнуть, и мы заговорили о прошлом и настоящем куропаток, а также о судьбах фазанов. У другого конца стола сидел Браутон с двумя приятелями — румяными джентльменами, любителями охоты. В какой-то момент я обнаружил, что разговор идет обо мне, но не обратил тогда на это внимания. Несколько часов спустя мне пришлось это припомнить.

К одиннадцати все посторонние разошлись, и в гостиной под прекрасным лепным плафоном остались только мы с Браутоном и его женой. Миссис Браутон обсудила со мной кого-то из соседей, а потом, с улыбкой попросив прощения,

пожала мне руку и удалилась к себе в спальню. Я не отличаюсь особой проницательностью, но почувствовал, что держалась она несколько неловко и принужденно, улыбалась неискренне, а распрощавшись со мной, испытала явное облегчение. Может быть, не стоит и упоминать эти мелочи, но меня буквально преследовало ощущение: что-то здесь не так. Обстановка заставляла задуматься, какая нужда была Браутону во мне: а вдруг все это не более чем дурная шутка, предлог, чтобы выманить меня из Лондона сюда на охоту.

После ухода жены Браутон говорил мало, но явно старался затронуть в беседе так называемых духов аббатства. Заметив это, я, разумеется, задал прямой вопрос. И тут он сразу потерял к ним интерес. Ясно было одно: Браутон стал другим человеком, и, по мне, прежний был лучше. Причина заключалась, видимо, не в миссис Браутон: очевидно было, что он очень любит ее, а она — его. Я напомнил Браутону, что он обещал завтра утром объяснить, зачем я ему понадобился. Затем я сослался на усталость после поездки, зажег свечу и отправился вместе с ним наверх. Дойдя до коридора, который вел в старую часть здания, он слабо улыбнулся и произнес: «Помни, если

увидишь призрак, нужно с ним заговорить — это твои собственные слова». Мгновение он постоял в нерешительности, повернулся и пошел прочь. У двери своей комнаты Браутон еще помедлил, сказал мне: «Если тебе что-нибудь потребуется — я здесь. Доброй ночи», — и закрыл за собой дверь.

Я прошел по коридору в свою комнату, разделся, включил лампу у изголовья, прочел несколько страниц «Книги джунглей», почувствовал, что клюю носом, выключил свет и крепко заснул.

Через три часа я проснулся. За окном — ни дуновения. Было темно, камин почти совсем погас и не давал света. Потрескивали остывавшие угли, огонь едва-едва мерцал. С притихших каштанов на склоне холма прокричала сова. Я лениво перебирал в уме события минувшего дня в надежде заснуть снова — раньше, чем доберусь до обеда. Но добрался я до самого вечера, а сон все не приходил, и с этим ничего нельзя было поделать. Оставалось только снова приняться за «Книгу джунглей» и читать, пока не засну. Я дернул шнур выключателя, свисавший над постелью, и включил лампу. Резкий свет на мгновение ослепил меня. С полузакрытыми глазами я нащупал под подушкой книгу. Потом, привыкнув к свету, случайно взглянул в ноги кровати.

Что случилось дальше, я описать бессилен. Мне не подобрать слов, чтобы хоть как-то донести до вас свои чувства. Сердце мое остановилось, дыхание прервалось. Инстинктивно я откинулся на спинку кровати, не в силах отвести глаз от страшного зрелища. От резкого движения сердце снова забилось, изо всех пор заструился пот. Я не особенно религиозный человек, но всегда верил: Провидение Господне никогда не попустит, чтобы потусторонний образ явился человеку в обличье и при обстоятельствах, способных повредить его телу или рассудку. Могу сказать вам только, что в ту минуту и жизнь моя, и разум висели на волоске.

Все пассажиры «Озириса» ушли спать, остались только мы с Колвином. Мы стояли, облокотившись о бортовое ограждение. Время от времени оно начинало дребезжать в такт вибрации перегретых машин. Вдалеке виднелись огни нескольких рыболовецких суденышек, пережидавших ночь; за кормой бешено бурлила и пенилась вода.

Наконец Колвин заговорил снова.

Опершись на спинку кровати и глядя прямо на меня, высилась фигура, закутанная в полуистлевшее, висевшее лохмотьями покрывало. Это

могильное одеяние было наброшено на голову и оставляло на виду только глаза и правую сторону лица. Рука, вцепившаяся в спинку кровати, тоже была скрыта до самой кисти. То, что я видел на плечах этого существа, нельзя было назвать черепом. Хотя глаза и мышцы отсутствовали, лицо все же было обтянуто тонкой, ссохшейся кожей, немного кожи сохранилось и на кисти руки. На лоб свисал клок волос. Фигура не шевелилась. Я смотрел на нее, а она — на меня, и я чувствовал, что у меня ум заходит за разум. Я все еще держал в руке выключатель и теребил его машинально, однако выключить свет не решался. Я закрыл глаза, но тут же в ужасе открыл их снова. Фигура не сдвинулась с места. Сердце мое колотилось, испарявшийся пот холодил кожу. В камине по-прежнему потрескивали угли, скрипела стенная панель.

Я потерял над собой контроль. Минут двадцать — или секунд двадцать — я не мог думать ни о чем, кроме находившегося передо мной страшилища, но наконец меня как молнией пронзило: я вспомнил, как Браутон с приятелями потихоньку обсуждали меня за обедом. Мой несчастный рассудок тут же ухватился за туманную надежду, что все это окажется розыгрышем, и, словно

вливаясь в тело по тысяче мелких жил, ко мне постепенно начало возвращаться мужество. Первое, что я ощутил, была слепая, инстинктивная благодарность за то, что мой разум вынес это испытание. Я человек не робкий, но даже лучшим из нас нужна поддержка в трудную минуту, и слабая, но все возраставшая надежда, что происходящее в конечном итоге окажется жестокой шуткой, дала мне опору. Я наконец смог пошевелиться.

Не помню, как мне это удалось, но я одним прыжком достиг спинки кровати и изо всех сил ударил страшилище кулаком. Оно осело на пол; при этом моя рука оказалась рассечена до кости. Ужас сменился отвращением, и я упал на кровать, едва не лишившись чувств. Так значит, это действительно подлый розыгрыш. Не приходилось сомневаться, что трюк был устроен не впервые, не было сомнений и в том, что Браутон с приятелями заключили пари по поводу того, как я поведу себя, обнаружив это жуткое пугало. От панического страха я перешел к безумной злобе. Я вслух на чем свет стоит поносил Браутона. Я скорее перепрыгнул, чем перелез, через спинку кровати и начал рвать задрапированный скелет на части. «Ловко же тебя сделали!» — мелькнула

у меня при этом мысль. Я шмякнул череп об пол и стал топтать его ногами. Потом зашвырнул голову под кровать, а самые хрупкие кости скелета расколотил на куски. Тонкие бедренные кости я переломал о колено и разбросал куда попало, берцовые прислонил к стулу и разбил каблуком. Я бушевал, как берсеркер, оторвал ребра от спинного хребта и запустил в шкаф грудной костью. Моя ярость все нарастала. Ветхую гнилую ткань я разорвал на мелкие кусочки, и поднявшаяся пыль покрыла все кругом, в том числе чистый лист промокательной бумаги и серебряную чернильницу.

Наконец дело было сделано. Не осталось ничего, кроме груды переломанных костей, обрывков кожи и гнилой шерсти. Затем я схватил обломок черепа — правую скулу и височную кость, если не ошибаюсь, — открыл дверь и направился по коридору к комнате Браутона. Помню до сих пор, как липла к телу моя пропитанная по́том пижама. Я пинком открыл дверь и вошел.

Браутон лежал в постели. Он уже успел включить свет, и вид у него был ошарашенный и испуганный. Он не владел собой. И я заговорил. Не помню в точности свои слова, знаю только, что переполнявшие меня ненависть и презрение, а

также стыд при воспоминании о своей недавней трусости развязали мне язык. Браутон ничего не отвечал. Я упивался собственным красноречием. Вид у меня, наверное, был чудной: волосы прилипли к взмокшим вискам, из руки обильно сочилась кровь. Браутон обмяк, откинувшись на спинку кровати так же, как совсем недавно я. Но он ничего не отвечал и не сделал ни малейшей попытки защититься. Что-то, казалось, беспокоило его больше, чем мои упреки. Раза два он облизнул пересохшие губы, но сказать ничего не смог, только по временам делал знаки руками, как ребенок, еще не научившийся говорить.

Наконец открылась дверь спальни миссис Браутон, и она вошла в ночной рубашке, побледневшая и испуганная. «Что случилось? Что? Силы небесные, что это?» — восклицала она, потом приблизилась к мужу и села на постель. Оба смотрели на меня. Я описал ей, что произошло. Я не посчитался с ее присутствием и не пощадил ее мужа. Браутон, казалось, не понимал, о чем я говорю. Я заявил им обоим, что их подлая шутка не удалась. Браутон поднял глаза.

— Я разорвал эту пакость на мелкие куски, — сказал я. Браутон снова облизнул губы, и лицо его дернулось. — Ей-богу, — вскричал я, — задать бы

тебе трепку по первое число! Я уж позабочусь о том, чтобы ни один уважающий себя человек из тех, кого я знаю, будь то мужчина или женщина, не подал тебе руки. А это, — добавил я и бросил обломок черепа на пол возле кровати, — это тебе на память о твоей сегодняшней мерзкой выходке!

Браутон опустил глаза, и тут настал черед ему меня напугать. Он завизжал, как заяц, попавший в капкан. Он кричал и кричал, пока миссис Браутон, ошеломленная не меньше моего, не обняла его и не стала успокаивать, как ребенка. Но Браутон — а когда он зашевелился, я подумал, что десять минут назад у меня, вероятно, был такой же жуткий вид, как сейчас у него, — оттолкнул жену, сполз с кровати на пол и, не переставая кричать, потянулся к черепу. Череп был испачкан моей кровью. На меня Браутон не обращал ни малейшего внимания, да я и помалкивал. События этого страшного вечера принимали совсем уж неожиданный оборот. Браутон поднялся с пола, сжимая в руке обломок, постоял молча, прислушался. «Пора, видно, уже пора», — пробормотал он и почти тут же во весь рост растянулся на ковре, рассадив при этом лоб о каминную решетку. Обломок черепа вылетел у него из рук и упал недалеко от двери. Я помог Браутону подняться.

Вид у него был краше в гроб кладут, лицо залито кровью. Он торопливо проговорил хриплым шепотом: «Тсс! Слушайте!» Мы насторожились.

Десять минут царила полная тишина, а потом мне почудился какой-то шум. Вначале я сомневался, но затем звук стал отчетливым. Кто-то тихо шел по коридору. До нас донесся стук мелких равномерных шажков по твердому дубовому полу. Браутон подошел к жене, молча сидевшей на постели, и прижал ее к себе, так что ее лицо уткнулось ему в плечо.

Потом он наклонился и спрятал голову в подушку. Это было последнее, что я увидел, перед тем как он выключил свет. Не знаю почему, но их присутствие и их малодушие ободрили меня, и я взглянул на открытую дверь, которая выходила в слабо освещенный коридор и ясно обрисовывалась на фоне стены. Я протянул руку и коснулся в темноте плеча миссис Браутон. Но под конец я тоже не выдержал. Я встал на колени и прижался лицом к постели. Мы ничего не видели, но слышали все. Шаги приблизились к двери и замерли. Обломок черепа лежал в комнате, в ярде от двери. Послышалось шуршание материи, и Оно вошло в комнату. Миссис Браутон молчала; заглушенный подушкой голос Браутона читал

молитвы; я проклинал себя за трусость. Затем шаги стали удаляться и постепенно стихли вдали. Меня охватило раскаяние, я подошел к двери и выглянул наружу. Мне почудилось, что в конце коридора что-то промелькнуло. Еще через мгновение коридор опустел. Я стоял, прислонившись лбом к косяку. Меня едва не тошнило.

— Можешь включить свет, — сказал я, и ответом мне была включенная лампа. Черепа на полу не оказалось. Миссис Браутон лежала без сознания. От Браутона толку не было, и мне пришлось минут десять приводить его жену в чувство. Браутон промямлил только одну фразу, которую стоило запомнить. В основном он непрерывно бормотал молитвы. Но кое-что стоящее он сказал, и я был рад, когда впоследствии вспомнил об этом. Он произнес бесцветным тоном, и в его голосе слышался то ли вопрос, то ли упрек: «Ты не заговорил с ней».

Остаток ночи мы провели вместе. Перед рассветом миссис Браутон как будто задремала, но так ужасно стонала во сне, что я ее разбудил. Казалось, рассвет никогда не наступит. Раза три-четыре Браутон заговаривал сам с собой. Миссис Браутон при этом крепче сжимала его руку, но была не в силах вымолвить ни слова. Я же дол-

жен признаться честно, что, пока время шло и в комнате становилось светлее, мне делалось все хуже и хуже. Мое душевное спокойствие пошатнулось после двух жестоких ударов, и мне стало казаться, что самое основание моей жизни покоится на песке. Я перевязал себе руку полотенцем и молча застыл на месте. Так мне было легче. Браутоны помогли мне, я помог им, и мы все трое понимали, что этой ночью были как никогда близки к безумию.

Наконец, когда уже изрядно рассвело и за окнами защебетали и запели птицы, мы почувствовали: пора что-нибудь предпринять. Но продолжали сидеть неподвижно. Вы, должно быть, думаете, мы боялись, как бы нас не застигли в таком виде слуги? Ничего подобного, ни у кого даже в мыслях этого не было. Нами овладело тупое всепоглощающее равнодушие, и мы не пошевелились, даже когда Чэпмен, слуга Браутона, постучал и открыл дверь. Браутон проговорил, еле ворочая языком: «Чэпмен, придите через пять минут». Чэпмен не был болтуном, но, даже разнеси он эту новость по всему дому, мы бы и ухом не повели.

Мы обменялись взглядами, и я напомнил, что должен идти. Я хотел только подождать в кори-

доре, пока вернется Чэпмен. Я просто не решался вернуться в свою спальню один. Браутон поднялся и объявил, что пойдет со мной. Миссис Браутон согласилась побыть пять минут у себя в комнате, если мы поднимем шторы и оставим открытыми все двери.

И вот таким образом мы с Браутоном, держась друг за друга, на негнущихся ногах двинулись в мою спальню. Через окно просачивался дневной свет. Я раздвинул шторы. В комнате все было как обычно, за исключением пятен моей крови в ногах постели, на диване и на ковре, где я расправлялся с привидением.

Колвин замолчал. Мне нечего было сказать ему в ответ. На полубаке неровно пробило семь склянок, жалобно прозвучал отклик. Мы вместе спустились вниз.

— Конечно, мне сейчас уже много лучше, но все же вы оказали мне неоценимую услугу, разрешив ночевать в вашей каюте.

1908

Эдит Уортон
1862–1937
Потом, много позже

1

— Есть-то оно есть, но вы его ни за что не узнаете.

Эту фразу, сопровождаемую смехом, Мэри Бойн услышала полгода назад, в яркий июньский день, в саду, а сейчас, декабрьским вечером, стоя в библиотеке в потемках (лампу еще не успели принести), она вспомнила эти слова, и они представились ей в совершенно ином свете.

А произнесла их приятельница Бойнов Алида Стэр. Они втроем пили тогда чай на лужайке перед домом Алиды в Пангборне. Речь шла о доме, главным украшением и отличительной особенностью которого была упомянутая библиотека. Мэри Бойн и ее муж решили подыскать себе загородный дом где-нибудь в южных или юго-западных графствах. Не успев прибыть в Англию, они тут же поделились своими планами с Алидой Стэр, памятуя о том, как успешно она справилась с покупкой собственного жилища. Бойны оказались капризными людьми и отвергли несколько вполне приемлемых, разумных вариантов, и только тут прозвучало: «Ну что же, есть еще Линг, в Дорсетшире. Владельцы — родня

Хьюго. Отдают, можно сказать, даром».

Столь доступная цена объяснялась удаленностью от железнодорожной станции, отсутствием электрического освещения, горячей воды и прочих пошлых удобств — недостатками, которые могли скорее привлечь, чем отпугнуть пару романтичных американцев, всегда подозревавших, что без такого рода хозяйственных упущений на архитектурный пир души вход заказан.

— Старый дом просто обязан быть неблагоустроенным, иначе я не поверю, что он действительно старый, — шутливо настаивал Нед Бойн, главный сумасброд в семье. — При одном упоминании слова «удобства» мне начинает казаться, что этот дом собран по инструкции из пронумерованных деталей, привезенных из торгового зала.

И супруги с комической придирчивостью упорно отказывались верить, что дом, рекомендованный их родственницей, действительно относится к временам Тюдоров, пока не получили гарантий, что центральное отопление отсутствует, что деревенская церковь действительно стоит прямо в парке и, самое печальное, система водоснабжения постоянно барахлит.

— Просто не могу поверить в такое счастье, — продолжал дурачиться Эдвард Бойн, когда ему

удалось исторгнуть у Алиды одно за другим все эти признания, но его восторг тут же опять сменился недоверием. — А привидение? Отсутствие привидений, вот что ты пытаешься от нас утаить!

В те минуты Мэри смеялась вместе с мужем — и поводов для веселья было достаточно, — но осеклась, услышав в ответ какой-то вялый смех Алиды.

— О, чего-чего, а уж привидений в Дорсетшире, как известно, хватает.

— Да, да, но это еще не все. Не ехать же нам за десятки миль, чтобы взглянуть на чужое привидение? Я хочу иметь свое, домашнее. В Линге есть привидение?

Алида снова рассмеялась, и как раз тут она и бросила в ответ загадочную, дразнящую любопытство фразу:

— Есть-то оно есть, но вы его ни за что не узнаете.

— Не узнаем? — изумился Бойн. — Что же это за привидение, если оно не дает о себе знать?

— Мне этого не объяснить. Так говорят.

— Говорят, что привидение там есть, но его невозможно узнать?

— Да, невозможно… разве что потом.

— Потом?

— Да, много позже.

— Хорошо, но если привидение однажды уже было опознано в качестве пришельца из иного мира, то его приметы должны быть известны живущей там семье, всем следующим ее поколениям. Как же ему удается сохранять инкогнито?

Алида в ответ пожала плечами:

— Не спрашивай. Как — не знаю, но удается.

— А потом… — словно из подземного прорицалища, зазвучал голос Мэри, — потом, много позже, человека осеняет: «Так это было оно!»

Мэри поразил звук собственного голоса, замогильной нотой вторгшийся в веселую болтовню остальных. То же удивление промелькнуло и на лице Алиды.

— Думаю, да. Нужно только подождать.

— Еще и ждать! Да ну его! — вмешался Нед. — Жизнь слишком коротка, чтобы получать удовольствие от привидения не сразу, а задним числом. Не поискать ли нам чего-нибудь получше, а, Мэри?

Но судьба распорядилась так, что делать это им не пришлось. Через три месяца после памятной беседы с миссис Стэр они обосновались в Линге, и потекла жизнь, о какой они так мечтали, что

давно уже спланировали ее до мелочей.

Вот так в густые декабрьские сумерки сидеть перед громадным камином, под темными дубовыми балками, ощущать, как там, за мелкими стеклами окна, темнота обволакивает холмы щемящим одиночеством… Подобные ощущения были слабостью Бойнов. Когда однажды из-за служебных дел мужа Мэри пришлось проститься с НьюЙорком и провести четырнадцать лет в безобразном городишке на Среднем Западе, только возможность потакать здесь этой слабости помогла ей примириться с существованием; по той же причине и ее муж, инженер по профессии, смог все четырнадцать лет работать не переводя дыхания, — пока с внезапностью, от которой Мэри до сих пор не могла опомниться, не пошла в гору компания «Блу Стар Майн» и в один прекрасный день не оказалось, что Бойнам остается теперь только наслаждаться жизнью, так как у них имеются для этого и деньги, и досуг. Им даже в голову не пришло предаться праздности: не к безделью они стремились, а к гармоничному труду. Мэри видела себя за занятиями живописью и садоводством (на фоне серых стен), Нед мечтал взяться наконец за перо и произвести на свет «Экономические основания культуры», а когда

намереваешься с головой погрузиться в подобные труды, одиночество не пугает — наоборот, чем дальше от мира, тем лучше; чем глубже в прошлое, тем интересней.

Чем хорош был, с точки зрения Бойнов, Дорсетшир, так это тем, что он казался местом очень удаленным — вне зависимости от своего географического положения. Мэри и Неду Дорсетшир представлялся одним из вечных чудес всей этой втиснутой в пределы острова и набитой графствами страны (так отзывались о ней Бойны). Им казалось чудом, что эффект достигается столь малыми средствами: несколько миль — и уже расстояние; небольшое расстояние — и уже разительные перемены.

— Именно отсюда, — с жаром объяснял Нед, — такая глубина впечатлений, такое разнообразие оттенков. Здесь каждый кусочек — настоящий деликатес.

Деликатесом был, конечно, и Линг: старый дом, упрятанный меж холмов, несущий на себе приметы старых добрых времен. Одно то, что он не отличался ни выдающимися размерами, ни излишними претензиями на оригинальность, в глазах Бойнов усиливало неповторимое очарование этого места, бывшего в течение нескольких

веков хранилищем жизни, хранилищем смутным и таинственным. Возможно, жизнь здесь не била ключом; не приходится сомневаться, что долгие годы она падала в прошлое беззвучными каплями, как слабенький осенний дождик много часов подряд капал на поверхность видневшегося за тисами пруда, но в таких тихих заводях бытия, в их недвижных глубинах могут зарождаться поразительной силы чувства, и Мэри Бойн в атмосфере этих мест сразу почудились некие загадочные сгустки воспоминаний.

Упомянутым декабрьским днем это ощущение было как никогда сильным. Мэри сидела в библиотеке и ждала, пока принесут лампу. Потом она поднялась с места. Вокруг подрагивали тени от камина. Ее муж ушел после завтрака побродить по холмам. Он любил долгие прогулки, а в последнее время (как заметила Мэри) предпочитал в таких случаях одиночество; безошибочное чутье, выработавшееся за годы совместной жизни, подсказало ей, что с его книгой не все ладно и Неду нужно днем побыть одному и обдумать возникшие утром вопросы. Да, книга подвигалась не так гладко, как рассчитывала Мэри. Она заметила между бровями у Неда недоуменные морщинки. Когда он работал инженером, такого

не бывало. К тому же часто он выглядел усталым, почти больным. Правда, злой дух тоски — местный английский демон — все же не наложил на него свою печать. И те несколько страниц, которые Нед успел ей прочитать — предисловие и обзор содержания первой главы будущей книги, — свидетельствовали о решительном подходе к предмету и все возраставшей вере в свои силы.

Мэри была в полном недоумении: ведь с тех пор как муж покончил с бизнесом, этим вечным источником забот и мучительных загадок, причин для беспокойства вроде бы не находилось. Значит, все дело в здоровье? Но с тех пор как они переселились в Дорсетшир, Нед стал крепче, румянее — в общем, расцвел на глазах. Необъяснимую перемену в нем Мэри заметила только на прошлой неделе, и с тех пор, когда Нед отсутствовал, тревога не оставляла ее. В то же время у нее не поворачивался язык об этом заговорить, как будто ей, а не ему было что скрывать!

Внезапно ей пришло на ум, что между ними пролегла какая-то тайна. Эта мысль поразила Мэри, и она растерянно перевела взгляд в дальний конец большой комнаты.

«В чем же дело, может быть, в доме?» — спрашивала она себя.

Сама эта комната — почему бы и нет? — казалась вместилищем загадок. Когда наступал вечер, тайны сгущались и ложились слой за слоем, как бархатные тени от низкого потолка, от рядов книг, от закопченной резьбы камина.

«Ну как же, это ведь дом с привидениями!» — размышляла Мэри.

Призрак, о котором говорила Алида, — наличествующий, но восприятию недоступный, — в первые месяцы их жизни в Линге служил излюбленным предметом насмешек, но, будучи слишком безликим существом, чтобы дать достаточную пищу воображению, в конце концов вышел в отставку. Разумеется, Мэри, как новоиспеченная хозяйка дома с привидениями, постаралась навести соответствующие справки в соседней деревне, но другого ответа, кроме неопределенного: «Да, мадам, говорят, мадам», не получила. Неуловимый призрак был, вероятно, слишком бледной личностью, чтобы вокруг него выкристаллизовалось какоенибудь предание, и, когда Бойны через некоторое время решили подсчитать свои прибыли и убытки, они единодушно признали, что Линг — дом каких мало и достаточно хорош сам по себе, без всяких сверхъестественных добавлений.

— Думаю, именно по этой причине бедному немощному демону только и остается, что бессильно бить своими прекрасными крыльями в пустоте, — заключила Мэри со смехом.

— Или же загвоздка в другом, — подхватил Нед. — Вокруг все так призрачно, что ему никак не удается в подобной обстановке самоопределиться как призраку.

И с той минуты разговор об этом их домочадце больше не возобновлялся, благо тем для бесед и без того было достаточно.

А теперь, когда Мэри стояла у камина, в ней ожило прежнее любопытство, но предмет его представился в ином свете: жизнь в соседстве с тайной наложила свой отпечаток. Конечно, сам этот дом обладал способностью видеть духов: он пребывал в очевидном, но загадочном общении с собственным прошлым. Если бы удалось войти в доверие к дому, можно было бы застать его врасплох, выведать тайну и научиться самой видеть духов. А вдруг ее муж, час за часом проводя в этой комнате, порог которой Мэри ни разу не переступала по утрам, уже овладел секретом и теперь в молчании изнемогает под тяжестью того, что ему открылось? Мэри была достаточно наслышана о законах мира духов и знала, что

человек, встретивший привидение, обязан об этом помалкивать; проговориться значило бы совершить такую же бестактность, как, например, упомянуть какую-нибудь леди по имени в клубе. Но такое объяснение удовлетворило ее не вполне. «Что ему, в сущности, до всех этих несчастных привидений, — думала Мэри, — разве только посмеяться?» И тут ей пришлось снова задуматься о главном: восприимчив человек к потустороннему или нет, в данном случае не столь уж важно, ведь если и столкнешься здесь, в Линге, с привидением, то все равно об этом не узнаешь.

«Потом, много позже», — сказала Алида Стэр. Ну а если Нед видел привидение раньше, когда они только-только приехали сюда, а понял, что́ произошло, лишь на прошлой неделе? Все больше и больше поддаваясь гипнозу минуты, Мэри стала рыться в памяти. Поначалу первые дни их жизни в Линге представились ей в виде сплошной веселой неразберихи: Бойны распаковывали вещи, раскладывали их по местам, расставляли книги и то и дело окликали друг друга, обнаруживая в каком-нибудь отдаленном уголке дома очередной сюрприз. Тут Мэри неожиданно вспомнился теплый октябрьский

день год назад, когда дом подарил им одно из таких открытий. Тогда Бойны уже не метались из комнаты в комнату, ошалев от восторга, а перешли к более детальному осмотру. Мэри (подобно героине романа) нажала на стенную панель, и перед ней оказалась винтовая лестница, ведшая, как выяснилось, к плоскому краю крыши. Снизу, с какой стороны ни посмотри, крыша казалась такой крутой, что непривычному человеку от прогулок по ней лучше было бы воздержаться.

Вид, открывавшийся из этого потаенного наблюдательного пункта, был столь восхитителен, что Мэри опрометью сбежала вниз, дабы поделиться своим открытием с корпевшим над бумагами Недом. Она помнила, как они стояли рядом, как Нед обнял ее за плечи, как они скользили взглядом по волнистым очертаниям холмов на горизонте, как блаженно потом созерцали причудливую живую изгородь из тиса на берегу пруда, тень кедра на лужайке.

— А посмотри, что в той стороне, — сказал Нед, разворачивая Мэри. Тесно прижавшись к мужу, Мэри поглощала глазами обнесенный серой стеной двор, каменных львов на воротах, липовую аллею, протянувшуюся до большой дороги у подножия холмов.

И именно в ту минуту, когда они стояли в обнимку и смотрели, рука Неда ослабела и он вскрикнул. Мэри обернулась к нему.

Да, ей теперь вспомнилось ясно, что на лицо мужа пала тень тревоги или, скорее, растерянности. Проследив за его взглядом, Мэри заметила человеческую фигуру. Этот человек, в просторном, как ей показалось, сером одеянии, шел вдоль аллеи по направлению к дому неуверенной походкой чужака. Мэри из-за близорукости немногое смогла рассмотреть, однако у нее создалось впечатление — очень размытое — чего-то хлипкого и серого, а в очертаниях фигуры или же в покрое платья ей почудилось что-то чужеземное, по крайней мере не местное. Но мужу, судя по всему, удалось разглядеть больше. Он сорвался с места, буркнул на ходу: «Стой!» — и сломя голову помчался вниз по лестнице, не позаботившись даже подать жене руку.

Мэри немного боялась высоты, поэтому какое-то время постояла, уцепившись за трубу, к которой они до этого прислонялись, а потом осторожно последовала за мужем. Достигнув лестничной площадки, она опять остановилась, теперь уже не смогла бы с уверенностью сказать зачем. Мэри перегнулась через перила и, при-

щурившись, стала всматриваться в безмолвное, пятнистое от солнца пространство первого этажа. Она не сходила с места, пока не услышала внизу стук захлопнувшейся двери, потом, переставляя ноги, как автомат, спустилась по пологой лестнице в нижний холл.

Входная дверь была распахнута настежь, виднелся залитый солнцем двор. И в холле, и во дворе — пусто. Дверь библиотеки тоже была открыта. Мэри вслушалась, но звука голосов не дождалась и шагнула через порог. Муж сидел один, рассеянно перебирая бумаги на столе.

Нед вскинул голову, как будто не ожидал ее прихода, но в его лице не было теперь ни тени тревоги, напротив, оно — так показалось Мэри — оживилось и повеселело.

— В чем дело? Кто это был? — спросила она.

— Кто? — повторил Нед с тем же удивленным видом.

— Человек, которого мы видели.

Нед, казалось, задумался.

— Человек? А, мне показалось, что это Питерс; я хотел его догнать, чтобы поговорить о дренаже в конюшне, но, когда спустился, он уже исчез.

— Исчез? Но он шел так медленно.

Бойн пожал плечами:

— Мне тоже так показалось, но, значит, он прибавил шаг. А что, если нам попытаться до захода солнца вскарабкаться на Мелдон-Стип?

Вот и все. Происшествие не стоило и выеденного яйца, а уж такое волшебное зрелище, как вид окрестностей с вершины Мелдон-Стип, мгновенно вытеснило его из памяти: ведь Бойны мечтали забраться на Мелдон-Стип с той самой минуты, как впервые увидели за крышей Линга ее голый гребень. Без сомнения, если этот ничем не примечательный эпизод всплыл сегодня в сознании Мэри, то причина была только в том, что он и восхождение на Мелдон выпали на один и тот же день. Почему бы Неду было не броситься стремглав вниз в надежде догнать неспешно бредшего мимо Питерса? В тогдашних обстоятельствах у Бойнов периодически возникала нужда то в одном, то в другом умельце. Бойны вечно их подстерегали, а отловив, набрасывались с вопросами, упреками и напоминаниями. И та серая фигура, безусловно, издалека смахивала на Питерса.

Но сейчас, когда вся сцена всплыла в памяти Мэри, объяснение, данное мужем, представилось ей недостаточно убедительным: сказанному противоречила тревога в лице Неда. С какой стати

его встревожило такое обыденное зрелище, как идущий по дороге Питерс? А главное, если дренаж в конюшне был вопросом жизни и смерти, то почему же Нед, упустив возможность посовещаться с Питерсом, испытал такое явное облегчение? Прежде эти вопросы Мэри в голову не приходили, но, судя по поспешности, с какой они явились и выстроились по первому же зову, она догадывалась, что они давно ждали своего часа.

2

Отогнав утомительные мысли, Мэри оперлась о подоконник. В библиотеке было уже совсем темно, и тем неожиданнее оказалось обилие тусклого света за окном.

Мэри взглянула через двор. Вдалеке, меж рядами голых лип, обрисовывалась человеческая фигура. Она походила скорее на серое пятно на светло-сером фоне. Когда она двинулась в сторону дома, сердце у Мэри мгновенно екнуло при мысли: «Привидение!»

Мэри внезапно поняла: настал урочный час, когда ей откроется, что человек, которого она видела с крыши дома два месяца назад, был вовсе не Питерс, — и в предчувствии этого открытия она содрогнулась. Но в следующий миг фигура обрела плоть и лицо и даже слабому зрению Мэри представилась не кем иным, как Недом Бойном. Когда муж вошел в библиотеку, Мэри первым делом призналась в своей глупости.

— Бред, конечно, — сказала она со смехом, — но никак не могу этого усвоить, и все тут!

— Усвоить что? — подойдя ближе, спросил Бойн.

— Что если и увидишь призрак Линга, то все равно его не узнаешь.

Мэри держала мужа за рукав, и Нед не отнимал руки, но ни один мускул не дрогнул в ответ на его озабоченном лице.

— А тебе показалось, что ты его видишь?

— Да я, собственно, приняла за него тебя, дорогой, и все из-за безумной надежды его лицезреть!

— Меня? Прямо сейчас? — Рука Неда упала, и он отвернул голову, слабо улыбнувшись в ответ. — Мэри, голубушка, если это все, что тебе удалось, то больше и не пытайся.

— Хорошо, не буду. А ты? — спросила Мэри, резко повернувшись к мужу.

Вошла горничная с письмами и лампой. Свет ударил прямо в лицо Бойну, который склонился над принесенным горничной подносом.

— А ты? — продолжала упрямо настаивать Мэри, когда горничная, выполнив свои обязанности, удалилась.

— Что я? — рассеянно проговорил Бойн, разглядывая письма. При ярком свете стало заметно, какое встревоженное у него лицо.

— Не пытаешься больше увидеть привидение? — продолжала прощупывать почву Мэри, а

сердце у нее слегка колотилось.

Муж отложил письма и шагнул в тень, к камину.

— И никогда не пытался. — Он разорвал обертку газеты.

— Ну да, разумеется, — не отставала Мэри, — ведь досадней всего, что и пытаться бесполезно: узнаешь-то только потом, много позже.

Нед продолжал разворачивать газету, казалось, едва слушая Мэри. Но немного помолчав и пошелестев газетой, он поднял глаза и спросил:

— А ты не знаешь, когда это — «много позже»?

Мэри опустилась на низенький стульчик у камина. Оттуда она с изумлением вперила взгляд в четко обрисовавшийся на ярком фоне профиль мужа.

— Понятия не имею. А ты? — повторила она еще более настойчиво.

Бойн скомкал газету, а потом, не выпуская ее из рук, зачемто снова подошел к лампе.

— Боже мой, да нет же! Я просто хотел узнать, — в голосе Неда проскользнуло легкое раздражение, — нет ли какой-нибудь легенды или предания?

— Я ни о чем таком не слышала, — ответила Мэри и уже открыла рот, чтобы произнести: «А

почему ты спрашиваешь?», как снова вошла горничная, на сей раз с чаем и еще одной лампой.

Тени рассеялись, домашние дела потекли своим чередом, и донимавшее Мэри тяжелое чувство тревоги понемногу стало отступать. Мэри занялась чаем и несколько мгновений ни о чем другом не думала, когда же снова подняла глаза, то обнаружила, что в лице мужа произошла загадочная перемена. Нед сидел у дальней лампы и просматривал письма. То ли он что-то в них вычитал, то ли Мэри видела теперь его лицо под другим углом, но оно вдруг стало обычным, таким, как раньше. Чем дольше она смотрела, тем больше в этом убеждалась. Лицо разгладилось; если какие-то следы усталости и оставались, это было неизбежно после напряженной умственной работы. Нед как будто почувствовал ее взгляд и ответил улыбкой:

— Чаю хочу — умираю. А вот и для тебя письмо.

В обмен на письмо Мэри протянула мужу чашку чаю и, возвратившись на свое место, вскрыла печать неспешным жестом человека, чье внимание поглощено другим, нежно любимым предметом.

Через минуту Мэри вскочила, уронив письмо на пол, и протянула мужу газетную вырезку:

— Нед! Что это? Что это значит?

Нед поднялся одновременно с женой, казалось, еще раньше, чем она успела вскрикнуть. Некоторое время они стояли уставясь друг на друга — она у кресла, он у стола, как два борца, оценивающие с безопасного расстояния уязвимые места в обороне соперника.

— О чем ты? Как ты меня напугала! — проговорил наконец Бойн и подошел к ней с внезапной, чуть недовольной усмешкой. Тень тревоги снова легла на его лицо, но не застывшим предчувствием, как раньше, а бдительной настороженностью губ и глаз. Мэри показалось, что она находится в кольце незримых враждебных сил.

Трясущейся рукой она протянула мужу вырезку:

— Это статья. Из «Уокеша Сентинел». Какой-то Элуэлл предъявил тебе иск, что-то в связи с «Блу Стар Майн». Ничего не понимаю.

Они по-прежнему глядели друг на друга в упор, и Мэри с удивлением обнаружила, что при этих словах настороженность во взгляде мужа исчезла.

— А, это! — Он посмотрел на вырезку, а потом спокойно сложил ее как что-то привычное и безобидное. — Ты как будто не в своей тарелке

сегодня, Мэри? Я уж думал, беда какаянибудь стряслась.

Уверенный тон мужа постепенно успокаивал Мэри.

— Так ты об этом знал? Все в порядке?

— Конечно знал, конечно в порядке.

— А что же произошло? Я ничего не поняла. В чем этот человек тебя обвиняет?

— Да почти во всех мыслимых грехах. — Бойн уронил вырезку и опустился в кресло у камина. — Хочешь, чтобы я тебе рассказал всю историю? Она довольно скучная — столкновение интересов в «Блу Стар».

— Но кто этот Элуэлл? Впервые слышу это имя.

— О, я этого парня ввел в дело — помог ему на первых порах. Я тебе о нем рассказывал в свое время.

— Вот оно что. Я, наверное, забыла. — Мэри порылась в памяти, но безуспешно. — Но если ты ему тогда помог, почему же он так себя повел?

— Какой-нибудь сутяга надоумил, не иначе. История запутанная — сплошные технические подробности. Я думал, тебе скучно слушать о таких вещах.

Жена ощутила укол совести. В теории она осуждала обычных американских жен, полно-

стью отгораживающихся от профессиональных интересов мужа, но на практике ей никак не удавалось сосредоточиться, когда муж рассказывал о своих многочисленных и разнообразных делах. Кроме того, за годы жизни на чужбине, когда насущные жизненные потребности можно было удовлетворить только крайними усилиями, отчего надрываться ей приходилось не меньше, чем мужу на работе, Мэри привыкла считать, что в короткие часы досуга нужно отвлекаться от повседневных дел и стараться жить так, как они всегда мечтали. Теперь, когда они вступили в магический круг этой новой жизни, Мэри уже как-то задумывалась, правильно ли она себя вела; но раньше эти размышления были всего лишь капризом, мысленной прогулкой в прошлое. Только теперь ей пришло в голову, как мало она знает о том, что стало материальной основой их нынешнего благополучия.

Мэри взглянула на мужа, и снова его хладнокровие вселило в нее уверенность. Но при этом ей хотелось бы получить более веские основания для спокойствия.

— И эта тяжба тебя нисколько не тревожит? Почему ты никогда не говорил мне о ней?

Нед ответил на оба вопроса разом:

— Я о ней не говорил как раз потому, что она меня тревожила, вернее, раздражала. Но теперь это уже старая история. Твой корреспондент напал, должно быть, на не самый свежий номер «Сентинел».

У Мэри словно камень с души свалился.

— Ты хочешь сказать, что все уже кончилось? Он проиграл процесс?

Бойн ответил не сразу:

— Он отозвал жалобу, вот и все.

Но Мэри не отставала, чтобы потом не обвинять себя в равнодушии:

— Отозвал, так как понял, что дело безнадежное?

— Да, дело безнадежное, — ответил Бойн.

Мэри все не могла отделаться от недоумения:

— А когда он ее отозвал?

Нед помолчал, как будто снова ощутил легкую неуверенность.

— Об этом я узнал только что, но к этому шло.

— Узнал из письма?

— Да, из письма.

Мэри примолкла. Немного погодя Бойн встал, пересек комнату и сел на софу рядом с женой, обнял ее, сжал ее ладони в своих. Мэри медленно развернулась, потянувшись за теплом его щеки,

и увидела улыбающиеся глаза мужа.

— Все в порядке, правда? — спросила она, чувствуя, как тают все сомнения, и Нед с улыбкой прошептал:

— В полном порядке, клянусь.

3

Следующий день, как вспоминалось потом Мэри, сплошь состоял из странностей, и едва ли не самым странным было внезапно вернувшееся к ней полное спокойствие и уверенность.

Это чувство витало в воздухе ее темной спальни, когда она проснулась; сопровождало ее, когда она спускалась к завтраку; оно же полыхало в камине, сверкало и множилось на боках чашек, на желобках старинного чайника. Вчерашние неопределенные страхи, вдруг сконцентрировавшиеся на газетной статье, невеселые попытки заглянуть в будущее и неожиданное возвращение в прошлое — все это, казалось, непонятным образом погасило какой-то застарелый моральный долг, стоявший между ними. Пусть Мэри не заботили в свое время дела мужа — теперь жизнь показала, что оправданием ей служила инстинктивная вера в него; и сейчас, перед лицом опасности, Нед доказал, что достоин доверия. Допрос, которому подвергла его Мэри, ничуть не поколебал равновесия Неда; он вел себя естественно и непринужденно. Можно было даже подумать, что муж догадывался о ее сомнениях и

не меньше Мэри желал, чтобы все прояснилось.

Да, слава богу, все стало ясно как день, а день действительно оказался на удивление ясным. Мэри даже вспомнила о лете, когда вышла из дому, чтобы, как обычно, обойти сад. Проходя мимо дверей библиотеки, она позволила себе маленькое удовольствие: взглянула украдкой на спокойное лицо мужа. Нед сидел за столом, над бумагами, с трубкой в зубах. Один последний взгляд — и за работу. В такой чудесный зимний день послоняться по разным уголкам своих владений почти так же приятно, как в разгар весны. Перед ней открывалось столько возможностей приложить свои силы, разбудить спавшую красоту этого сада, не дерзнув что-либо в ней изменить, — казалось, зимы не хватит, чтобы продумать планы, которые предстоит осуществить весной и осенью. Это было чудесное, уютное место, и вернувшееся к Мэри ощущение надежности придавало особый вкус сегодняшнему утреннему обходу ее маленького королевства. Вначале она посетила огород, где листва высаженных шпалерой грушевых деревьев образовывала на фоне стен сложный узор, а на серебристой крыше голубятни суетились и чистили перышки голуби.

Что-то не ладилось с отоплением теплицы, и

Мэри ждала сегодня специалиста из Дорчестера. Он должен был приехать на машине и осмотреть паровой котел. Мэри нырнула во влажное тепло оранжереи, пропитанное пряными запахами (старомодные экзотические растения с обилием розовых и красных, как будто восковых, цветов как нельзя лучше гармонировали с остальными красотами Линга), убедилась, что высокого визита они сегодня не удостоились, решила, что день слишком хорош и не стоит проводить его под крышей, вышла из оранжереи и зашагала по упругой дернистой лужайке к саду за домом. В его дальнем конце возвышалась поросшая травой терраса. Оттуда открывался вид на пруд и тисовую изгородь и далее на длинный фасад дома с его причудливо изогнутыми дымовыми трубами и голубыми углами крыши, погруженными в бледно-золотой влажный воздух.

Пока Мэри смотрела поверх плоского рисунка сада в сторону дома, от его открытых окон и гостеприимно дымивших труб исходило ощущение теплого человеческого присутствия — присутствия разума, постепенно созревшего под теплыми лучами опыта, как на прогретой солнцем шпалере. Ей никогда еще не доводилось испытывать такого доверия к этому дому, такой

убежденности, что все его тайны добрые и хранятся, как говорят детям, «для твоей же пользы», что в его власти вплести жизни и ее, и Неда в тот нескончаемый прекрасный узор, который он ткет здесь, расположившись на солнышке.

Мэри услышала сзади шаги и обернулась, ожидая увидеть садовника вместе с механиком из Дорчестера. Но там оказался только один человек, довольно молодой и тщедушный, облик которого почему-то никак не вязался с ее представлением о внешности специалиста по паровым котлам. Завидев Мэри, незнакомец приподнял шляпу и остановился с видом джентльмена — возможно, путешественника, — который дает понять, что его вторжение было невольным. Наиболее ушлые туристы время от времени добирались до Линга, и Мэри уже ожидала, что сейчас он попытается спрятать фотоаппарат или, наоборот, вынет его, чтобы оправдать свое появление здесь. Но незнакомец не сделал ни того ни другого, а продолжал пребывать в позе вежливой нерешительности, и после короткой паузы Мэри спросила:

— Вы кого-нибудь ищете?

— Мне нужен мистер Бойн, — ответил тот. В его голосе (скорее в интонации, чем в произношении) слышалось что-то американское, и Мэри

всмотрелась в незнакомца внимательней. На его лице лежала тень от полей мягкой шляпы, и от этого оно показалось близорукой Мэри очень серьезным — лицом делового человека, хотя и вежливого, но сознававшего свои права.

Опыт научил ее считаться с такого рода притязаниями, но утренние часы представляли слишком большую ценность для мужа, и Мэри сомневалась, что визит постороннего будет ему приятен.

— Вы договорились с моим мужем о встрече? — спросила Мэри.

Гость слегка растерялся, как будто не был готов к такому вопросу.

— Я думаю, мистер Бойн меня ждет, — ответил он.

Пришел черед Мэри колебаться.

— Видите ли, в это время он работает; он никого не принимает по утрам.

Несколько секунд незнакомец молча глядел на Мэри, потом, как будто примирившись с ее отказом, повернулся и пошел прочь. Мэри заметила, что перед этим он чуть помедлил и бросил взгляд на уютный фасад дома. Мэри показалось, что вид у незнакомца усталый — унылый вид разочарованного путешественника, приехавше-

го издалека и целиком зависящего от дорожного расписания. Мэри пришло в голову, что если это так, то его поездка оказалась напрасной из-за ее отказа. Почувствовав угрызения совести, она поспешила за незнакомцем:

— Простите, вы приехали издалека?

Гость взглянул на нее все так же печально.

— Да, издалека.

— В таком случае идите в дом, прошу вас. Муж вас, разумеется, примет. Вы найдете его в библиотеке.

Мэри сама не понимала, зачем она добавила эту последнюю фразу; разве что с целью загладить свою вину. Гость, судя по всему, собирался ее поблагодарить, но ей пришлось отвлечься, потому что появился садовник в обществе (тут уж сомнений не оставалось) специалиста из Дорчестера.

— Туда, пожалуйста, — сказала Мэри и махнула рукой в сторону дома. Еще через мгновение она забыла о госте, потому что ее внимание было полностью поглощено разговором с экспертом по котлам.

Встреча эта повела к столь далеко идущим последствиям, что механик счел уместным пропустить свой поезд, а Мэри пришлось остаток утра провести среди цветочных горшков за бе-

седой. Затем, с удивлением обнаружив, что уже близится время завтрака, Мэри поспешила в дом. Она ожидала, что скорее всего муж выйдет ей навстречу. Но во дворе не было никого, кроме помощника садовника, который разравнивал гравий. Она вошла в холл. Стояла полная тишина, и Мэри решила, что Бойн все еще сидит за работой.

Не желая ему мешать, она устроилась в гостиной за своим письменным столом и приступила к вычислениям. Ей нужно было уточнить, какие расходы повлечет за собой утреннее совещание с механиком. Она все еще не привыкла к тому, что вполне может теперь потакать своим капризам. Сознание этого представлялось частью вернувшейся к ней, на смену вчерашним смутным страхам, уверенности, ощущения, что, как сказал Нед, «все в полном порядке».

Мэри все еще ублажала себя, расточая на бумаге крупные суммы, когда в дверь просунула голову горничная и осведомилась, сочтет ли она желательным в ближайшее время приступить к завтраку. Это был один из излюбленных поводов для шуток: объявляя о завтраке, Триммл держалась так, будто разоблачает государственную тайну. Мэри, не отрываясь от бумаг, рассеянно

пробормотала в ответ нечто, означавшее согласие.

Она заметила, что Триммл нерешительно помедлила на пороге, как будто столь небрежный ответ ее не удовлетворил; потом в коридоре зазвучали ее удалявшиеся шаги. Мэри отодвинула бумаги и прошла через холл к библиотеке. Дверь по-прежнему была закрыта, и Мэри в свой черед заколебалась. С одной стороны, ей не хотелось мешать мужу, с другой — допускать, чтобы он работал дольше обычного, тоже не следовало. Пока она стояла, не зная, как поступить, вернулась Триммл и объявила, что завтрак подан. Тут уж Мэри пришлось открыть дверь и войти в библиотеку.

Бойна за столом не было. Мэри осмотрелась, рассчитывая обнаружить мужа где-нибудь у книжных полок, окликнула его, но ответа не последовало. Библиотека была пуста.

Мэри вышла в холл и обратилась к горничной:

— Мистер Бойн, должно быть, наверху. Пожалуйста, скажите ему, что ленч готов.

Триммл смутилась. Виной тому, по всей видимости, было противоречие между безусловной необходимостью повиноваться и безусловной же убежденностью в бессмысленности возложенной

на нее задачи. Эта внутренняя борьба разрешилась словами:

— С позволения мадам, мистера Бойна наверху нет.

— Разве он не у себя в комнате? Вы уверены?

— Уверена, мадам.

Мэри взглянула на часы:

— Тогда где же он?

— Он вышел, — объявила Триммл с выражением превосходства, как человек, дожидавшийся с должной почтительностью того вопроса, с которого разумнее всего было бы начать разговор.

Значит, Мэри была права: Бойн вышел в сад ей навстречу, а так как они разминулись, то, дело ясное, огибать дом и возвращаться во двор он не стал, а решил воспользоваться задней дверью. Мэри направилась к французскому окну, открывавшемуся в сад, но горничная, еще немного поколебавшись, решилась вмешаться:

— Прошу прощения, мадам, мистер Бойн пошел не туда.

Мэри повернулась:

— Так куда же он пошел? И когда?

— Он вышел через парадную дверь, мадам, и пошел по аллее. — Триммл из принципа никогда не отвечала более чем на один вопрос разом.

— По аллее? Сейчас? — Мэри открыла дверь и попыталась разглядеть что-нибудь вдали, меж рядами голых лип. Но аллея была так же пуста, как раньше, когда Мэри входила в дом. — Может быть, мистер Бойн просил что-нибудь передать?

Триммл, казалось, признала свое поражение в борьбе с силами хаоса:

— Нет, мадам. Он просто вышел вместе с тем джентльменом.

— Джентльменом? Каким джентльменом? — Мэри резко повернулась, будто желая встретить новые обстоятельства лицом к лицу.

— С тем джентльменом, который к нему заходил, мадам, — кротко ответила Триммл.

— Когда заходил этот джентльмен? Да объясните же все наконец, Триммл!

Не будь Мэри так голодна и не нуждайся притом в совете мужа по поводу теплицы, ей, разумеется, не пришло бы в голову взвалить на прислугу такую из ряда вон выходящую ношу. Даже сейчас Мэри по глазам Триммл замечала, что ее почтительность и готовность повиноваться подверглись чересчур суровому испытанию.

— Не могу точно сказать когда, мадам, потому что впустила джентльмена не я, — ответила Триммл, давая понять, что она тактично закры-

вает глаза на непоследовательность поведения хозяйки.

— Не вы?

— Нет, мадам. Когда зазвонил колокольчик, я была занята, и Агнес…

— В таком случае пойдите и спросите Агнес, — распорядилась Мэри.

Триммл, по-прежнему с видом кроткой страдалицы, ответила:

— Агнес не знает, мадам. Она, к несчастью, обожгла руку, когда поправляла фитиль той новой лампы, которую привезли из города, — Триммл (Мэри это знала) была решительно настроена против новой лампы, — и миссис Докетт послала взамен ее судомойку.

Мэри снова взглянула на часы:

— Уже третий час. Пойдите и спросите судомойку, не велел ли мистер Бойн что-нибудь передать.

Не дожидаясь возвращения Триммл, она принялась за ленч. Вскоре явилась Триммл и, со слов судомойки, сообщила, что джентльмен заходил часов в одиннадцать, что мистер Бойн ушел вместе с ним, а передавать ничего не велел. Судомойка не знала даже имени посетителя, так как он написал его на клочке бумаги, сложил

записку и отдал ей, чтобы она тотчас передала ее мистеру Бойну.

Мэри, не переставая удивляться, покончила с ленчем. Триммл принесла кофе, и тут только удивление Мэри стало перерастать в легкое беспокойство. Не похоже на Бойна — исчезнуть без предупреждения в такой час, а тут еще этот непонятный посетитель, за которым, по всей видимости, последовал Нед. Мэри Бойн в свою бытность женой инженера, чье рабочее расписание непредсказуемо, привыкла к тому, что мужа могут вызвать в любую минуту, и относилась к таким сюрпризам философски, но с тех пор как Бойн удалился от дел, жизнь его была расписана заранее, будто в монастыре. Словно желая вознаградить себя за прошлое сумасшедшее существование, за «стоячие», сопровождавшиеся грохотом и тряской завтраки и обеды в вагонах-ресторанах, Бойн пристрастился теперь к предельной пунктуальности и монотонности. Жене, любившей неожиданности, это казалось скучным, но Бойн объяснял, что в привычном и повторяющемся настоящий ценитель способен отыскать источник бесконечных наслаждений.

Однако, поскольку полностью исключить из жизни все непредвиденное невозможно и оно ра-

но или поздно непременно себя проявляет, Мэри решила, что Бойн, намереваясь положить конец утомительному визиту, вызвался проводить гостя до станции или, по крайней мере, пройти вместе с ним часть пути.

Подумав так, Мэри успокоилась и завела разговор с садовником. Потом отправилась на почту в деревню, примерно в миле от Линга. Когда она вернулась домой, уже сгущались сумерки.

Мэри шла по тропинке через холмы. Бойн тем временем должен был возвращаться со станции по дороге, так что вряд ли они могли встретиться. Но Мэри была уверена, что застанет его дома, — уверена настолько, что, войдя в дом, не стала тратить время на разговор с Триммл, а направилась прямиком в библиотеку. Но там было по-прежнему пусто, и почему-то обострившаяся зрительная память подсказала ей, что бумаги на столе никто не трогал, с тех пор как она видела их в последний раз, перед завтраком.

Внезапно ее охватил смутный страх перед неизвестностью. Войдя, она закрыла за собой дверь и теперь стояла в безмолвии, одна в этой большой тихой комнате; ей казалось, что страх становится видимым и слышимым, что он затаился среди теней и дышит. Мэри прищурилась и почти раз-

личила нечто в тени поодаль. Оно как будто все видело и знало. Мэри отпрянула, схватилась за шнурок звонка и резко дернула его.

В ответ на этот отчаянный призыв в комнату поспешно вошла Триммл с лампой, и ее привычный, прозаический облик вернул Мэри самообладание.

— Можете принести чай, если мистер Бойн уже дома, — произнесла она в оправдание своего звонка.

— Хорошо, мадам. Но мистера Бойна нет, — ответила Триммл, ставя лампу на стол.

— Нет? Вы хотите сказать, что он приходил и опять ушел?

— Нет, мадам. Он еще не приходил.

Мэри снова охватил страх, теперь уже нешуточный:

— С тех пор как вышел с тем джентльменом?

— Да, с тех самых пор.

— Но что это был за джентльмен? — настойчиво спрашивала Мэри. Голос ее зазвучал резко, как будто она пыталась кого-то перекричать.

— Не могу сказать, мадам. — Триммл, стоя возле лампы, внезапно съежилась и побледнела, словно наползавшая тень недоброго предчувствия накрыла и ее.

— Судомойка должна знать. Ведь это она его впустила?

— Она тоже не знает, мадам, потому что он написал свою фамилию на бумажке, а записку сложил пополам.

Мэри, несмотря на волнение, отметила, что и она сама, и горничная, переступив таким образом границы общепринятых норм приличия, стали обозначать неизвестного посетителя местоимением «он». В тот же миг ее осенило: записка!

— Но должно же у него быть имя! Где эта записка?

Мэри подошла к столу и стала рыться в разбросанных там бумагах. Первым, что попалось ей на глаза, было незаконченное письмо, написанное рукой мужа. На письме лежала ручка. Было похоже, что муж уронил ее, когда его внезапно прервали.

«Дорогой Парвис! — (Кто такой Парвис?) — Получил твое письмо с известием о смерти Элуэлла, так что, надо полагать, неприятностей больше можно не опасаться, и лучше бы теперь…»

Мэри отбросила письмо и снова принялась за поиски, но в этой беспорядочной, набросанной, видимо, в спешке, куче писем и рукописных страниц ей не попалось никакой сложенной

вдвое записки.

— Судомойка его видела. Позовите ее сюда, — распорядилась Мэри, удивляясь, что такое простое решение проблемы не пришло ей в голову раньше.

Триммл исчезла вмиг, словно только и ждала, чтобы ее отпустили. Когда она вернулась, ведя с собой свою перепуганную подчиненную, Мэри уже успела взять себя в руки и заранее обдумать вопросы.

Джентльмен был незнакомый — это понятно. Но что он сказал? А главное, как выглядел? Получить ответ на первый вопрос оказалось легко, потому что, как ни досадно, джентльмен почти ничего не говорил — спросил только мистера Бойна, а потом нацарапал записку на клочке бумаги и поручил немедленно передать.

— Так ты не знаешь, что было в записке? Ты уверена, что там было его имя?

Судомойка не была уверена, но предполагала, что это именно так, ведь записку он написал вместо ответа на вопрос, как о нем доложить.

— А когда ты отнесла записку мистеру Бойну, что он сказал?

Судомойка склонна была думать, что мистер Бойн не сказал ничего, но она могла и не рас-

слышать: когда она вручила записку мистеру Бойну и он ее разворачивал, обнаружилось, что посетитель шел за судомойкой по пятам, посему она поспешила скрыться, а оба джентльмена остались в библиотеке.

— Но если они остались в библиотеке одни, то откуда известно, что они вышли из дома?

Этот вопрос поверг свидетельницу в немоту, в каковой она и пребывала, пока на помощь не подоспела Триммл. Путем искусных расспросов ей удалось выяснить, что, когда судомойка пересекала холл, она услышала за спиной шаги обоих джентльменов, а потом видела, как они вместе вышли через парадную дверь.

— Ах так! Ну, если ты видела незнакомого джентльмена дважды, то можешь описать его внешность.

Тут, однако, стало ясно, что способность судомойки описывать что бы то ни было исчерпана окончательно и силы девушки на исходе. Одно уже то, что ей потребовалось впустить посетителя и доложить о нем, вступало в столь резкое противоречие с природой вещей, что умственные возможности несчастной пришли в полное расстройство. Она долго хватала ртом воздух, но смогла выдавить из себя только:

— У него, мэм, шляпа была такая чудна́я…

— Чудна́я? А что в ней было чудно́го? — Не успела Мэри задать этот вопрос, как в голове у нее всплыл образ, вытесненный было другими впечатлениями. — Ты хочешь сказать, что шляпа была с широкими полями, а лицо у джентльмена такое бледное, довольно молодое? — упорно допытывалась Мэри. Но удалось ли ей получить осмысленный ответ или не удалось, она так и не узнала: все посторонние звуки были сметены потоком ее собственных мыслей. Незнакомец, тот незнакомец в саду! Почему же она раньше о нем не вспомнила? Теперь Мэри уже не нуждалась в подтверждениях: именно он явился к мужу и увел его с собой. Но кто он и почему Бойн согласился пойти с ним?

4

Внезапно ядовитой насмешкой зазвучали в голове припомнившиеся ей слова мужа. Бойны часто умилялись, что Англия такая маленькая страна, настолько крохотная — в ней и потеряться-то невозможно.

Да, так Нед и сказал: «В ней и потеряться-то невозможно». А теперь, когда его ищут днем с огнем по всей стране, от моря до моря, когда пущены в ход все силы, которыми располагает государство, когда имя Бойна красуется на каждой стене, портрет (и как трудно Мэри с этим смириться!) смотрит с каждого столба рядом с портретами скрывающихся от правосудия преступников, — теперь эта крошечная, со всех сторон ужатая, густонаселенная страна, такая присмотренная и ухоженная, оказалась сфинксом, хранителем страшных тайн, и в глаза этого сфинкса Мэри всматривалась с тоской и видела в них свирепую радость от владения знанием, недоступным другим!

Минуло две недели со дня исчезновения Бойна, но ни единого свидетеля не нашлось, ни малейшего следа не обнаружилось. Даже обычные в

таких случаях ложные слухи, дразнящие несчастных домочадцев пустыми надеждами, что-то не спешили возникать. Никто, за исключением судомойки, не видел, как Бойн покидал дом, никому не попадался на глаза и сопровождавший его джентльмен. Расспросы соседей ни к чему не привели: незнакомца в окрестностях Линга в тот день никто не видел. И никто не встречал Эдварда Бойна, одного или в компании, ни в близлежащих деревнях, ни на дороге через холмы, ни на местных железнодорожных станциях. Солнечный английский полдень поглотил его бесследно, словно киммерийская ночь.

Официальное расследование шло полным ходом, а Мэри тем временем перерыла все бумаги мужа в надежде, что обнаружатся какие-либо осложнения в его прежних делах, неизвестные ей обязательства — в общем, какой-нибудь ориентир. Но если подобное в жизни Бойна и случалось, то следов от этого осталось не больше, чем от бумажки, на которой написал свое имя загадочный посетитель. И совершенно не на что было опереться — разве только, за неимением лучшего, на то письмо, которое Бойн, по всей видимости, писал, когда его прервал таинственный визитер. Прежде чем передать это письмо

полиции, Мэри прочла его несколько раз. Ничего особенно интересного в нем не было.

«Получил твое письмо с известием о смерти Элуэлла, так что, надо полагать, неприятностей больше можно не опасаться, и лучше бы теперь…» И это все. О каких неприятностях шла речь, было понятно. Это судебный процесс, о котором Мэри узнала из газетной вырезки, затеянный против мужа одним из его компаньонов по «Блу Стар». Нового в письме было только то, что Бойн, даже зная о смерти истца, все еще тревожился из-за процесса — якобы закрытого, как он уверял жену. Несколько дней с помощью телеграфа пытались установить, кто такой Парвис, которому было адресовано письмо, и выяснили, что это адвокат из Уокеши. Однако никаких новых фактов, связанных с процессом, не всплыло. Адвокат, по-видимому, не имел к процессу прямого отношения, а интересовался им только в качестве знакомого Бойна и, возможно, посредника. Он заявил, что понятия не имеет, о чем Бойн мог бы попросить его в письме.

Кроме этой бесполезной информации, за первые две недели поисков не удалось добыть ничего. Потом вяло потекли неделя за неделей, однако новостей не поступало — совсем никаких.

Мэри знала, что расследование продолжается, но оно, как ей представлялось, теряло темп. То же самое происходило и со временем. Казалось, что вначале дни, ужаснувшись непонятному, зловещему образу одного из своих собратьев, помчались сломя голову, а потом, отбежав на порядочное расстояние, успокоились и зашагали своей обычной походкой. То же происходит с человеческим воображением, когда оно столкнется с чем-нибудь непонятным. Первое время оно целиком поглощено загадкой, да и потом она не оставляет его в покое, но с течением дней все новые мысли всплывают, как пузыри, в кипящем котле разума, и медленно, но упорно оттесняют старую тайну с поверхности сознания.

Да, даже Мэри Бойн ощутила, что ее мысли замедляются. Предположения в ней все еще вибрировали, но не так лихорадочно, как раньше, более ритмично. В отдельные минуты на нее нападала усталость, и тогда она обнаруживала, что, подобно человеку, находящемуся под действием снадобья, которое лишает способности двигаться, но не препятствует восприятию и мыслям, свыклась с ужасом, приняв его как непременное условие существования.

Эти минуты затягивались, превращались в

часы и дни, и наконец наступила стадия тупой покорности. Житейскую повседневность Мэри наблюдала с безразличием дикаря, которому окружающая цивилизация представляется каким-то бессмысленным и непонятным мельтешением. На себя она смотрела как на деталь механизма, на спицу колеса, вращавшуюся с ним вместе! Она ощущала себя чуть ли не предметом обстановки, неодушевленным объектом вроде стула или стола. Она бы не удивилась, если бы с нее попытались сдуть пыль. Эта углублявшаяся апатия прочно привязывала ее к Лингу вопреки всем уговорам друзей и рекомендациям медиков, которые прописывают в таких случаях «перемену обстановки». Друзья решили, что ее упорный отказ стронуться с места объясняется верой в то, что муж в один прекрасный день вернется туда, откуда исчез, и это ее воображаемое вечное ожидание становилось красивой легендой. Но на самом деле веры в ней не было; она погрузилась в глубины страдания, куда не проникал ни один луч надежды. Мэри не сомневалась в том, что Бойн не вернется никогда, что путь назад ему так же заказан, как если бы сама смерть вступила в тот день на порог их дома. Дошло до того, что Мэри выбросила из головы одну за другой все

теории, которые выдвинули пресса, полиция, а также ее собственное изнемогавшее воображение. Разум ее просто устал от всего того, что предлагалось ему как альтернатива отчаяния, и снова обратился к голому факту: Нед исчез.

Нет, она не узнает никогда, что с ним произошло; никто никогда не узнает. Знал об этом только дом, знала библиотека, где Мэри проводила долгие одинокие вечера. Ведь именно здесь разыгралась финальная сцена, сюда однажды вошел неизвестный и произнес слова, заставившие Бойна подняться и последовать за ним. Пол, по которому он ступал, ощущал его шаги, книги на полках видели его лицо; временами казалось: еще немного, и темные стены не выдержат и проговорятся. Но они продолжали хранить молчание, и Мэри знала, что так будет всегда. Линг был не из тех болтливых старых домов, которым нельзя доверить секрет. Ведь и связанная с этим домом легенда указывала на то, что он всегда был неподкупным хранителем тайн, немым участником разыгрывавшихся здесь драм. И перед лицом этого молчания Мэри Бойн сознавала: человек тут не в силах что-либо изменить.

5

— Не скажу, что это было нечестно, но что честно — тоже не скажу. Это бизнес.

Мэри вскинула голову и пристально вгляделась в собеседника.

Полчаса назад, когда ей принесли карточку с надписью «Мистер Парвис», она мгновенно поняла, что это имя засело у нее в голове с тех самых пор, когда она увидела его в неоконченном письме Бойна. В библиотеке ее ждал низкорослый лысый человечек, с нездоровым цветом лица, в очках с золотой оправой. Мэри содрогнулась при мысли, что именно о нем, насколько ей было известно, ее муж думал в тот последний день.

Парвис был вежлив, но не рассыпался в излишних любезностях — держался как человек, умеющий ценить время. Он сразу заговорил о цели своего визита. Он «заехал» в Англию по делу, ненамеренно оказался по соседству с Дорчестером, а раз так, то не мог не засвидетельствовать своего почтения миссис Бойн, а также не спросить ее, если подвернется удобный случай, что́ она собирается предпринять по поводу семейства Боба Элуэлла.

Эти слова разбудили в Мэри неясные опасения. А вдруг ее посетителю все же известно, что имел в виду Бойн, когда начал писать последнюю фразу своего неоконченного письма? Она спросила, что́ он хочет этим сказать, и ее вопрос заметно удивил гостя. Неужели она действительно ничего не знает?

— Ровно ничего. Расскажите мне, в чем дело, — проговорила Мэри в недоумении, и мистер Парвис начал рассказ, который пролил свет на обстоятельства, связанные с «Блу Стар Майн». Даже несведущей в таких делах Мэри все стало ясно. Ее муж приобрел состояние путем блестящей спекуляции, ловко обойдя менее разворотливого компаньона, и жертвой его изобретательности стал молодой Роберт Элуэлл, который и вовлек его в аферу с «Блу Стар».

Когда Мэри вскрикнула, Парвис с видом беспристрастного судьи хладнокровно взглянул на нее сквозь очки.

— Роберту Элуэллу просто не хватило сообразительности; будь он половчей, он бы вывернулся и отплатил Бойну той же монетой. В бизнесе такое происходит сплошь и рядом. Как говорят ученые, выживает наиболее приспособленный. Это как раз тот случай, — сказал мистер Парвис, явно

гордясь тем, как удачно подыскал аналогию.

Пытаясь сформулировать следующий вопрос, Мэри ощущала почти физическое отвращение; ее мутило от тех слов, которые она собиралась произнести.

— Но это значит, что вы обвиняете моего мужа в непорядочном поступке?

Мистер Парвис подошел к делу трезво:

— О нет, ни в коем случае. Я даже не говорю, что он поступил не совсем честно. — Мистер Парвис обвел глазами ряды книг, будто ожидая, что они ему подскажут нужное слово. — Не скажу, что это было нечестно, но что честно — тоже не скажу. Это бизнес.

В конце концов, более исчерпывающего определения и быть не могло.

Мэри в ужасе уставилась на Парвиса. Ей показалось, что этот невозмутимый человек — посланник каких-то темных сил.

— Но адвокаты мистера Элуэлла, судя по всему, не разделяли вашего мнения, ведь они, как я понимаю, посоветовали отозвать иск.

— О да, они знали, что у него, как говорят в таких случаях, нет ни одной зацепки. После разговора с ними Элуэлл и пришел в полное отчаяние. Он, знаете ли, бóльшую часть денег, которые по-

терял на афере с «Блу Стар», брал взаймы, так что положение у него было безвыходное. Вот он и застрелился, когда узнал, что шансов нет никаких.

Ужас волнами накатывался на Мэри.

— Он застрелился? Он из-за этого убил себя?

— Ну, строго говоря, не совсем. Он протянул еще два месяца, а потом умер. — Парвис походил на патефон, совершенно бесстрастно проигрывавший запись.

— Вы хотите сказать, что он пытался совершить самоубийство и неудачно? И попытался еще раз?

— А вот этого ему не понадобилось, — сурово отозвался Парвис.

Оба замолчали. Они сидели лицом к лицу. Парвис задумчиво теребил очки, Мэри застыла в напряженной позе.

— Но если вам все это было известно, — проговорила она наконец чуть слышным голосом, — то почему же вы в ответ на мое письмо заявили, что не знаете, о чем мой муж мог бы вас попросить?

Парвиса этот вопрос, по всей видимости, ничуть не смутил.

— Ну, собственно говоря, я действительно не знал. А если бы и знал, что толку было тогда об этом рассуждать? С Элуэллом все стало ясно раньше, когда он отозвал иск. Что бы я ни сказал,

найти мужа это бы вам не помогло.

Мэри по-прежнему смотрела на гостя в упор:

— Так почему же вы мне сейчас об этом рассказываете?

И опять у Парвиса ни один мускул в лице не дрогнул.

— Ну, прежде всего, я думал, что вам известно гораздо больше… я говорю об обстоятельствах смерти Элуэлла. И, кроме того, сейчас об этом пошли разговоры, все дело опять разворошили. И я подумал: если вы ничего не знаете, то нужно открыть вам глаза. — Мэри молчала, и Парвис продолжил: — Видите ли, до недавнего времени никто и не знал, что дела у Элуэлла вконец расстроены. Его жена — гордая женщина; она боролась до последнего: нанялась на работу, шила на дому, пока хватало сил, а потом стала болеть — что-то с сердцем. А у нее на руках свекровь, дети — вот она и не выдержала и стала просить о помощи. Таким образом, дело это опять всплыло, за него ухватились газеты, была организована подписка. Боба Элуэлла все вокруг любили, в списке жертвователей оказалось много известных имен, и люди стали удивляться, почему…

Парвис замолчал и полез во внутренний карман.

— Вот, — продолжал он, — вот тут статья из «Сентинел». Немного раздуто, конечно. Но лучше будет, наверное, если вы посмотрите.

Он протянул Мэри газету. Она медленно ее развернула, вспомнив при этом тот вечер, когда в этой же комнате читала вырезку из «Сентинел» и ее спокойствие впервые было поколеблено.

Мэри резанул глаз кричащий заголовок: «Вдова человека, ставшего жертвой Бойна, вынуждена просить о помощи», и она скользнула взглядом в конец колонки, где были помещены два портрета. В первом она узнала фотографию мужа, сделанную в тот год, когда они приехали в Англию. Это была любимая фотография — такая же стояла в ее спальне на письменном столе. Глаза Мэри встретились с глазами мужа на фотопортрете. Мэри почувствовала, что не в силах читать то, что здесь написано, и от невыносимой боли зажмурилась.

— Я подумал, что вы, возможно, захотите внести свое имя… — раздавался голос Парвиса.

Мэри с усилием открыла глаза и случайно взглянула на второй портрет. На нем был моложавый человек тщедушного сложения. На лицо падала тень от широких полей шляпы. Где же она его раньше видела? Мэри в замешательстве смотрела на фотографию, в висках стучала кровь.

И тут Мэри вскрикнула:

— Да это же он — он приходил за моим мужем!

Мэри слышала, как вскочил на ноги Парвис; она смутно сознавала, что полулежит, опираясь на угол дивана, а Парвис склонился над ней в тревоге. Мэри выпрямилась и потянулась за упавшей на пол газетой.

— Это ~~он~~! Я его где угодно узнаю, — повторяла она. Собственный голос показался ей пронзительным.

Казалось, слова Парвиса доносятся откуда-то, издалека, приглушенные плотным туманом.

— Миссис Бойн, вам нехорошо? Позвать кого-нибудь? Принести вам стакан воды?

— Да нет же, нет! — Мэри приподнялась, судорожно сжимая газету. — Говорю вам, это он! Я его узнала! Он разговаривал со мной в саду!

Парвис взял газету и нацелил свои очки на портрет:

— Этого не может быть, миссис Бойн. Это Роберт Элуэлл.

— Роберт Элуэлл? — Взгляд Мэри устремился вверх. — Значит, за ним приходил Роберт Элуэлл.

— Приходил за Бойном? В тот день, когда он пропал? — Голос Парвиса становился все тише, в

то время как слова Мэри раздавались все звонче. Парвис наклонился и ласково положил руку на плечо Мэри, осторожно стараясь усадить ее на место. — Элуэлл мертв! Вы ведь помните?

Мэри не спускала глаз с фотографии. Сказанное Парвисом она пропустила мимо ушей.

— Вы ведь помните письмо Бойна ко мне, то, неоконченное, которое вы нашли на столе в день его исчезновения? Он сел его писать, узнав о смерти Элуэлла. — Бесстрастный голос Парвиса дрогнул. — Ну конечно же помните, — убеждал он Мэри.

Разумеется, она помнила, и это-то и было страшнее всего. Элуэлл умер накануне исчезновения ее мужа; на лежавшей перед ней фотографии был изображен Элуэлл, и в то же время это портрет человека, с которым она разговаривала в саду. Мэри подняла голову и медленно оглядела библиотеку. Стены могли бы засвидетельствовать, что это ко всему прочему портрет незнакомца, который явился к Бойну, когда тот писал свое неоконченное письмо. В затуманенном мозгу тихонько жужжали полузабытые слова — те, которые произнесла Алида Стэр на лужайке в Пангборне, когда Бойны еще в глаза не видели Линга и представить себе не могли, что когда-ни-

будь будут тут жить.

— Этот человек разговаривал со мной, — повторила Мэри.

Она снова взглянула на Парвиса. Чтобы скрыть свой испуг, он изо всех сил старался напустить на себя снисходительный, соболезнующий вид, но губы у него побелели.

«Он думает, что я не в своем уме, но ведь я же не сошла с ума», — рассуждала Мэри, и внезапно ее озарило: есть способ доказать свою правоту.

Мэри сидела спокойно, сжав губы, чтобы не дрожали, пока не овладела собой и не уверилась, что голос у нее не сорвется. Тогда она заговорила, глядя Парвису прямо в глаза:

— Пожалуйста, ответьте мне на один вопрос. Когда Роберт Элуэлл пытался покончить с собой?

— Ко… когда? — заикаясь, переспросил Парвис.

— Да, какого числа. Постарайтесь вспомнить, прошу вас.

Мэри замечала, что Парвис начинает опасаться ее все больше и больше.

— Я не зря спрашиваю, — настаивала она.

— Да-да. Но мне никак не вспомнить. Месяца за два до того дня.

— Мне нужно знать число, — повторила Мэри.

Парвис поднял газету.

— Посмотрим здесь, — сказал он, по-прежнему стараясь задобрить Мэри. Он пробежал глазами страницу. — Ага, вот. В октябре…

Мэри перебила его:

— Двадцатого, ведь так?

Парвис быстро взглянул на нее и кивнул:

— Да, двадцатого. Значит, вы все знали?

— Я теперь знаю. — Она по-прежнему смотрела мимо Парвиса. — В воскресенье, двадцатого, он приходил в первый раз.

Парвис спросил едва слышным голосом:

— Приходил в первый раз?

— Да.

— Так вы его видели дважды?

— Да, дважды, — тихо ответила Мэри. — Впервые он приходил двадцатого октября. Я запомнила число, потому что в тот день мы впервые поднялись на Мелдон-Стип. — У нее вырвался глухой смешок, когда она подумала, что, если бы не это восхождение, она бы все забыла.

Парвис смотрел не отрываясь, как будто желая перехватить ее взгляд.

— Мы его видели с крыши, — продолжала Мэри. — Он шел по аллее к дому. Одет он был в точности как на фотографии. Муж увидел его раньше меня, испугался и помчался вниз, но там

уже никого не было. Он исчез.

— Элуэлл исчез? — с трудом выговорил Парвис.

— Да. — Мэри с гостем шептались, как заговорщики. — В тот раз я ничего не поняла. Теперь знаю. В тот день он хотел прийти, но ему было не добраться до нас: он был еще не вполне мертв. Ему пришлось ждать еще два месяца, пока он умрет совсем, и тогда он вернулся — и Нед ушел с ним.

Вид у Мэри был торжествующий, как у ребенка, которому удалось разгадать трудную головоломку. Но внезапно она в отчаянии всплеснула руками, потом схватилась за голову.

— Боже мой! Это я послала его к Неду: указала, куда идти! Я его послала сюда, в эту комнату! — кричала Мэри.

Ей показалось, что стены качнулись в ее сторону, будто собираясь рухнуть. Издалека, из-за развалин, доносился голос Парвиса, который окликал ее. Но Мэри не обращала внимания ни на прикосновения, ни на слова. В окружающем шуме звучала ясно лишь одна нота, и это был голос Алиды Стэр, говорившей на лужайке в Пангборне:

«Вы узнаете только потом. Много позже».

1910

Джозеф Конрад
1857–1924
Постоялый двор двух ведьм
Находка

История эта, или случай, или происшествие — как вам будет угодно, — связана с серединой прошлого столетия и человеком, которому, по его собственным словам, в то время было шестьдесят. Шестьдесят — возраст недурной, разве что в перспективе, когда большинством из нас воспринимается со смешанными чувствами. Это годы, несущие покой, когда игра почти что окончена, и участник, наблюдая за ее ходом издали, предается ярким воспоминаниям о том, сколь добрым малым ему довелось быть. Я пришел к выводу, что, согласно благой любезности провидения, большинство из разменявших седьмой десяток лет склонны романтизировать свое прошлое. Даже прошлые неудачи оставляют в памяти удивительно яркий отпечаток. И в самом деле, надежды юности являются столь приятными спутниками, обольщают и, если угодно, очаровывают, но — говоря откровенно — притягательна

их нагота, готовая к стремительному броску вперед. И хорошо, что грузное прошлое скрывают покровы обольщения, ведь без них оно бы не сдвинулось с места, жалко дрожа в предвидении обступающих его теней.

Полагаю, что именно мечтательность, свойственная его годам, заставила рассказчика поделиться пережитым, по собственному разумению либо из-за необычайности случившегося. Поводом вряд ли служила гордость, ведь он стал свидетелем непередаваемо страшного, по его словам, ужасного события. Вы могли догадаться, что я обнаружил эту историю в виде заметок, написанных от руки.

Заметки эти были озаглавлены как «Находка». Сам заголовок же принадлежит мне и, не будучи оригинальным, несет печать правдивости. Нам предстоит услышать о постоялом дворе, а ведьмы — всего лишь условность, правдивость которой мы оставим на совести автора.

Находка эта обнаружилась на дне ящика с книгами, приобретенного в Лондоне на улице, что более не существует, у букиниста, бывшего на грани разорения. Сами книги по меньшей мере сменили два десятка владельцев и при ближайшем рассмотрении оказались много дороже той

скудной суммы, с которой я расстался, уплатив за них. Должно быть, какое-то предчувствие побудило меня произнести: «Заберу вместе с ящиком». Вместо слов несчастный букинист ответил мне небрежным, трагическим жестом, полным обреченности.

Кипа разрозненных страниц на дне ящика мало интересовала меня. В строках, писанных убористым, аккуратным, неприметным почерком, на первый взгляд не было ничего особенного. Но внимание мое привлекло упоминание о том, что в 1813 году автору исполнилось двадцать два года. Двадцать два года — возраст бесшабашный и впечатлительный, когда рассудок еще не окреп, а воображение в самом цвете.

В другом месте я наткнулся на следующий оборот: «Ночью мы вновь вошли в порт», привлекший мой гаснущий интерес, ведь так говорили мореходы. «Что ж, взгляну поближе», — без особого воодушевления подумал я.

Сколь же невыразительным был облик этой рукописи, где каждая строка походила на предыдущую, чинно примостившись к соседке! Я будто слышал мерный, монотонный голос. Даже трактат о рафинировании сахара (не могу вообразить ничего ужаснее) выглядел привлекательнее.

«В 1813 году после Рождества Христова, будучи двадцати двух лет от роду”», — так серьезно начинает он свой обстоятельный, пугающе подробный рассказ. Не думайте, впрочем, что моя находка устарела. Дьявольская искусность новых изобретений стара, как мир, и ничуть не утрачена. Взгляните на телефоны, призванные разрушить весь тот немногий душевный покой, что дарован нам, или пулеметы, столь легко отделяющие души от тел. В нынешние дни любая подслеповатая дряхлая ведьма, способная вращать небольшую ручку, способна в единый миг упокоить сотню молодых двадцатилетних мужчин.

Вот каков он, прогресс! Плоды его немыслимы! Мы движемся вперед, и это повествование покажется вам нехитрым и безыскусным, отголоском давно минувших дней. Разумеется, ни один путешествующий автолюбитель сейчас не найдет подобной гостиницы. Та, что упомянута в заголовке, находилась в Испании. Это лишь мои собственные предположения, так как в рукописи отсутствовали многие страницы, но не так уж это и важно. Автор во всех подробностях расписал причины и обстоятельства своего присутствия на испанском берегу, по-видимому, в северной части побережья. Пережитое им, впрочем, не

имело отношения к морю. Как мне удалось понять, он был офицером, несшим службу на борту военного шлюпа. Ничего странного в этом не было. На всем протяжении долгой Пиренейской кампании множество наших малых военных судов курсировало у северных испанских берегов, и можно было представить, сколь рисков и тягот заключало в себе несение подобной службы.

Этот корабль, по-видимому, выполнял некое ответственное задание. Обстоятельства его, несомненно, тщательно изложенные на добротной, крепкой бумаге, отсутствовали вместе со страницами, которые непочтительные потомки автора пустили на крышки для банок с джемом или на пыжи. Однако становилось понятным, что судно осуществляло сообщение с берегом и поддержание связи с материковой частью страны, либо собирая данные разведки, либо снабжая информацией испанских патриотов и повстанцев, во всяком случае, некую деятельность подобного рода. Все это исходило из тех крупиц повествования, что мне достались.

Далее мы переходим к панегирикам в честь примерного матроса, члена экипажа, бывшего рулевым. На борту судна его знали под прозвищем Кубинца Тома, но не потому, что он был родом

с Кубы, нет, он был чистокровным британцем, много лет прослужившим на флоте. Прозвище досталось ему из-за необычайных похождений юности на этом острове, подробностями которых он охотно делился с сослуживцами в своих побасенках, сиживая вечерами на баке. Он был умен, силен и не раз доказал свою храбрость. Косица его, как сообщает нам дотошный автор, была самой длинной и внушительной из всех, что носили моряки во всем флоте. Он неустанно заботился о ней, и, покоясь в чехле из кожи морской свиньи, она свисала до середины его широкой спины, будучи предметом обожания одних моряков и великой зависти других.

Нашего молодого офицера, упоминавшего об этом, несомненно, привлекали подобные качества Кубинца Тома. Такие отношения в то время были нередкими. Юнец, лишь заступивший на службу, оказывался под присмотром опытного моряка, учившего его, даже как подвешивать гамак, и часто они становились друзьями. Когда наш рассказчик поднялся на борт шлюпа, он встретил Тома после нескольких лет разлуки. Есть нечто трогательное в том, с какой теплотой он вспоминал встречу со своим наставником.

Далее нам становится известно, что для некоего

задания на материке, о природе которых уже было упомянуто ранее, отрядили не испанца, а нашего храброго и стойкого матроса с его удивительной косицей. Приготовления его были недолгими. Сумрачным утром шлюп подошел к мелкой бухточке, чтобы причалить среди скалистых берегов. Спустили шлюпку, где Кубинец Том Корбин сидел на носу, а наш молодой герой (носивший имя Эдгар Бирн, что уже не звучит на этой земле) устроился на корме.

Несколько жителей деревушки, чьи серые каменные дома стояли в сотне ярдов от берега, в лощине, спустились к воде, следя за тем, как приближается шлюпка. Двое англичан вышли на берег. В своей простоте, а может быть, из-за удивления, крестьяне никак не поприветствовали их, в молчании подавшись назад.

Г-н Бирн, собравшись с мыслями, увидел, как Том уверенно шагнул вперед. Оглядел тяжелые, изумленные лица вокруг.

— Из этих много не выудить, — отметил он. — Отправляемся в деревню. Там точно есть винная лавка, где найдется человек посговорчивей, — у него-то мы и узнаем все, что нам нужно.

— Так точно, сэр, — отвечал Том, ступая вслед за офицером. — Немного болтовни на пути нам не

повредит, я через всю Кубу прошел, а мой испанский тогда был куда как хуже нынешнего. Как у них говорится, «четыре слова, не больше», — вот и все, что я знал, когда меня ссадили с фрегата «Бланш» на том берегу.

С ним предстоящий путь казался легче, чем был на самом деле: однодневной прогулкой к горам. Им предстояло пройти весь день, прежде чем ступить на горную тропу, но что до того было мужчине, что пересек пешком Кубу, не зная и четырех слов по-испански!

Офицер и матрос шли по толстому сырому слою опавшей листвы, которую крестьяне собирали на улице, чтобы оставить гнить на зиму, а затем удобрять поля. Озираясь, г-н Бирн отметил, что все мужское население деревни следует за ними по упругому, пружинистому ковру. Из дверей домов глядели женщины, дети же, должно быть, прятались. Корабль селяне заметили издали, но ни один чужак не ступал на этот берег уже сотню лет, а может быть, и больше. Треуголка г-на Бирна, густые усы и невероятная косица матроса вызывали у них неподдельное изумление. Они толпились за спинами англичан, пожирая их взглядами, подобно островитянам южных морей, увидевшим капитана Кука.

Тогда-то Бирн впервые заметил маленького человечка в плаще и желтой шляпе. Сколь поношенной и выцветшей ни была она, все же сей головной убор выделял его из толпы.

Вход в винную лавку был словно высечен в кремневой стене. Владелец не присоединился к остальным на улице, напротив, он поджидал в ее темной глубине, где едва различимы были винные бурдюки, висевшие на гвоздях. То был высокий одноглазый астуриец со щетиной на впалых щеках, на чьем мрачном лице горел беспокойно блуждающий глаз. Узнав от английских моряков, что от него требовалось указать им, как добраться до некоего Гонзалеса в горах, он прикрыл свой глаз, словно медитируя. Затем, столь же внезапно, веки его распахнулись.

— Да, конечно. Это можно сделать.

Толпа в дверях одобрительно загудела, заслышав имя Гонзалеса, предводителя местных повстанцев. Бирн, расспрашивая о том, что их ждет, с радостью узнал, что французских солдат в округе не видели уже несколько месяцев. Не замечали даже малых отрядов этих нечестивых оборванцев. Отвечая на вопросы, лавочник наполнил глиняный кувшин вином, затем поставил его перед безбожными англичанами, бесстрастно

прикарманив несколько мелких монет, брошенных на стол офицером в угоду неписаному закону тех мест: войдя в винную лавку, уходить без вина не полагалось. Глаз его беспрестанно двигался, будто бы выполняя двойную работу, но стоило лишь Бирну упомянуть о муле для поклажи, уставился в дверь, осаждаемую любопытными. В первом ряду, у занавески, стоял человечек в плаще и желтой шляпе. Он был совсем крохотным, настоящим гомункулом, но, согласно описанию Бирна, был забавно таинственным и самоуверенным: край его плаща был залихватски закинут на левое плечо, скрывая рот и подбородок, широкополая же шляпа сидела набекрень на его крохотной квадратной голове. Расположившись в дверях, он постоянно нюхал табак.

— Мул, — повторил виноторговец, уставившись на этого необычного, шмыгающего носом человечка. — Нет, сеньор офицер! В нашей бедной деревне нет для вас мула.

Рулевой, державшийся невозмутимо, как и подобает моряку в необычном месте, вполголоса произнес:

— Поверьте, сэр, пешком в этом деле вернее будет. Скотинку все равно пришлось бы где-то бросить, ведь капитан упоминал, что добрая

половина пути по горам — сплошные козьи тропки.

Коротышка шагнул вперед, из-под плаща, в складках которого затерялась насмешка, послышался его голос:

— Чистая правда, сеньор. Народ здесь честный, ни одного мула от вашей милости не прячет. Могу в этом поклясться. В наши дни мулы, да и вообще вся четвероногая скотина лишь у разбойников осталась да у тех, кто похитрее да поприжимистее. Доблестным морякам пригодится проводник: осмелюсь, сеньор, предложить услуги моего шурина Бернардино, виноторговца и головы нашей гостеприимной, богобоязненной общины, который подберет вам нужного.

По словам г-на Бирна, им оставалось лишь согласиться. Спустя какое-то время привели паренька в потрепанной куртке и штанах из козьих шкур. Офицер поставил выпивку всей деревне, и пока крестьяне пили, они с Кубинцем Томом и проводником отправились в путь. Коротышка в плаще куда-то исчез.

Бирн проводил рулевого до окраины и пошел бы дальше, если бы моряк почтительно не намекнул, что пора бы ему вернуться на корабль, чтобы в столь хмурое утро тот не задерживался

у берегов ни минутой дольше намеченного. Дикое, угрюмое небо нависало над ними, когда они прощались среди диких зарослей и каменистых полей.

— Через четыре дня, — напутствовал его Бирн, — корабль снова будет здесь, и мы отправим шлюпку на берег, если позволит погода. Если нет, тебе придется ждать нас на берегу, пока мы не сможем подобрать тебя.

— Так точно, сэр, — кивнул Том и зашагал вперед. Бирн смотрел, как тот идет по узкой тропе. Кряжистый, в плотном зеленом камзоле, с парой пистолетов за поясом, саблей на боку и крепкой дубинкой в руке, он был способен о себе позаботиться. На миг он обернулся, прощально взмахнул рукой, и Бирн взглянул на его честное загорелое лицо с пышными усами. Юнец в козьих шкурах, скакавший впереди, подобно, по словам Бирна, фавну или сатиру, подождал рулевого, а затем тропа свернула. Оба исчезли из вида.

Бирн повернул обратно. Деревушка притаилась в овраге, и место это казалось самым одиноким уголком на всей земле, как будто проклятым в своем безлюдном запустении. Но не прошел он и нескольких ярдов, как из кустов за его спиной появился коротышка-испанец. Бирн встал как

вкопанный.

Тот сделал загадочный жест крохотной ручкой, появившейся из-под плаща. Шляпа его все так же клонилась набекрень.

— Сеньор, — безо всяких прелюдий начал он, — послушайте! Мне доподлинно известно, что мой одноглазый шурин Бернардино укрывает в своей конюшне мула. Почему же он поступает подобным образом, будучи совершенным глупцом? Потому что он бессовестный негодяй. Я вынужден был отдать ему мула, чтобы иметь кров над головой и миску рагу на ужин, чтобы душа не покинула мое невзрачное тело. Да, сеньор, в нем бьется сердце, во много раз большее, чем то, что носит в груди этот мой недостойный родич, которого я всегда стыдился, противясь его женитьбе как мог. Бедная его жена вдоволь настрадалась. Земная жизнь была для нее адом, пока Господь не упокоил ее душу.

Бирн упоминает, что был настолько ошарашен внезапным явлением этого призрачного существа и прозвучавшей в его словах горькой насмешкой, что не сумел расслышать в его порывистой, горячей речи о семейных неурядицах самого важного. Во всяком случае, не сразу. Натиск и горячность, с которыми он говорил,

совершенно отличные от бурливой итальянской болтовни, ошеломили и поразили его. И он все глядел на этого гомункула, а тот, отбросив полу плаща, вдохнул целую горсть табака, зачерпнув его полной ладошкой.

— Мул! — воскликнул Бирн, наконец уловив подлинную суть сказанного. — Говоришь, у него есть мул? Как странно! Почему же он не отдал его мне?

Коротышка-испанец величественно запахнул плащ.

— Кто знает, — холодно бросил он, пожав плечами под плащом. — В делах он искусен. Но в одном, ваша милость, можете быть уверены: намерения его всегда злодейские. Муж моей покойной сестры давно уже должен взять в жены вдову с деревянными ногами.

— Это я запомню. Как и то, что *ваша милость* тогда покрывала его ложь.

Глазенки, злобно сверкавшие по сторонам хищного носа, не мигая встретили взгляд Бирна, и со вспыльчивостью, так часто таящейся на дне испанского благородства, он процедил:

— Конечно, не вам же, сеньор офицер, истекать кровью, если нож под ребро сунут мне. Несчастный грешник, кому есть дело до меня? — Затем

он продолжил, сменив тон: — Сеньор, волей обстоятельств я очутился здесь, смиренный кастильский христианин в изгнании, влачу жалкую свою жизнь среди этих астурийских варваров, и она в руках худшего из них, у которого совести меньше, чем у волка. Я вовсе не глуп и веду себя как подобает, но презрение я скрываю с трудом. Вам довелось слышать, что я сказал тогда. Такой кабальеро, как ваша милость, мог догадаться, где спрятана кошка.

— Какая еще кошка? — насторожился Бирн. — А, теперь понял. Речь о чем-то подозрительном. Нет, сеньор, я не настолько догадлив, и вообще эта черта не столь присуща моей нации, и, следовательно, я прямо вас спрашиваю: что еще из сказанного трактирщиком было ложью?

— Никаких французов поблизости нет, это точно, — проговорил коротышка прежним безразличным тоном.

— И даже грабителей, ladrones?

— Ladrones en grande[47]— нет! Уверяю вас, это правда, — спокойно и рассудительно отвечал тот. — Что им здесь делать после французов? Да и никто нынче не пускается в путешествия. Но все

---

[47] Примечания: 47
Разбойничьих шаек (*исп.*)

возможно, ведь грабителем становятся по воле случая. Впрочем, друг ваш такой бравый моряк, да и мышкам с котятами не поиграть, если есть кошка. Но не забывайте также, что где есть мед, там есть и пчелы.

Бирна вывели из себя эти туманные намеки.

— Ради бога, — вскричал он, — говорите прямо, что может грозить моему другу?

Гомункул вновь мгновенно переменился, схватив офицера за руку, и сжал ее с удивительной силой:

— Сеньор! Бернардино взял его на заметку. Что вам еще надо? Знайте, что на этой дороге, в известном месте, исчезали люди, когда он держал там постоялый двор, а я владел повозками и мулами. Теперь нет больше ни мулов, ни повозок. Французы разорили меня. Бернардино же отошел от дел после того, как скончалась моя сестра. Втроем они замучили ее до смерти: он, Эрминия и Люсилья, его тетки, что сношались с самим дьяволом. Он отобрал у меня моего последнего мула. Но вы, сеньор, вооружены. Приставьте пистолет к его виску, потребуйте дать вам мула, ведь это мой мул, клянусь вам, и догоните вашего дорогого друга. Вдвоем вы будете в безопасности, ведь путники пропадали здесь лишь поодиночке.

Мула я как владелец доверяю вам.

Они долго смотрели друг другу в глаза, и Бирн почти что расхохотался, настолько безыскусным и простым показался ему план человечка по вызволению мула. Но ему не составило труда сдержаться, так как глубоко внутри он ощутил намерение поступить именно подобным образом. Он не рассмеялся, лишь дрогнули его губы, коротышка-испанец же отвел прочь горящий взгляд, повернувшись к нему спиной и запахнув плащ, и в жесте этом были и презрение, и горечь, и разочарование. Так он стоял недвижно, в своей покосившейся шляпе, натянутой на самые уши. Глубоко оскорбленный, он тем не менее не преминул взять протянутый Бирном серебряный пятак, выслушав его уклончивый ответ, будто меж ними и не было этого разговора.

— Мне следует спешить на корабль, — подытожил Бирн.

— Идите же с богом, — пробормотал карлик, насмешливо салютовав ему шляпой, которую, как и прежде, затем вновь натянул набекрень.

Лишь только шлюпку подняли на борт и корабль вышел в море, Бирн отчитался о произошедшем капитану, что был немногим старше его. Нелепая история рассмешила обоих, но за-

тем они обменялись тревожными взглядами. Капитан немало дивился коротышке-испанцу, пытавшемуся подбить офицера на службе Ее Величества украсть какого-то мула, это казалось ему чересчур забавным и необычным. Подобная просьба просто не укладывалась у него в голове, и он все сыпал удивленными восклицаниями.

— Действительно, невероятно, — заключил наконец Бирн свой рассказ.

Долго они смотрели друг на друга. «Ясно, как божий день», — поспешно согласился капитан, хотя его одолевали сомнения. Том, для одного бывший лучшим из матросов под его началом, для другого добродушным и почтительным другом, вдруг стал для них очаровательным символом верности, воззвав к их чувствам и совести, и помыслы их неотрывно стремились к нему. Несколько раз они поднимались на палубу, обводя взглядом берег, словно тот мог сказать им что-либо о его участи. А тот простирался вдали — безмолвный, голый, дикий, омываемый холодным ливнем. С запада катились пенистые валы, и ветер гнал мрачную кавалькаду облаков над кораблем.

— Полагаю, вам стоило прислушаться к просьбе вашего знакомца в желтой шляпе и исполнить ее, — раздраженно заметил командир судна в

вечерней беседе.

— В самом деле, сэр? — горько и тоскливо откликнулся Бирн. — Но что бы вы сказали мне тогда? Меня бы с позором выгнали со службы за кражу мула у союзников короны. Или — вот уж воистину повод для сплетен — забили бы до смерти цепами и закололи вилами, поймав с поличным. Или бы постыдно гнали до самой шлюпки, ведь я бы не стал стрелять в гражданских ради какого-то паршивого мула… Все же, — тихо произнес он, — мне жаль, что я этого не сделал.

Еще до наступления темноты молодые люди измучились так, что впали в некое странное душевное состояние, колеблясь между презрительным скептицизмом и тревожными сомнениями. Это было невыносимым, и была недопустимой сама мысль о том, что вот так им придется прождать еще не менее шести дней. Поэтому, лишь только стемнело, корабль взял курс на берег. В эту бурную, черную ночь он шел туда, на поиски моряка, то кренился под порывами ветра, то качался на волнах, почти неподвижно, словно разрываясь меж холодным рассудком и горячностью порывов.

Засветло от него отчалила шлюпка и, влекомая волнами, направилась к мелкой бухточке, где

офицер в плотном плаще и круглой шляпе с трудом выбрался на узкую полоску гальки.

«С одобрения капитана, — пишет г-н Бирн, — я вызвался как можно незаметнее вернуться обратно. Мне не хотелось, чтобы меня заметил мой оскорбленный приятель в желтой шляпе, чьи намерения оставались для меня загадкой, или одноглазый трактирщик, состоявший в связи с дьяволом, или любой из жителей этой глухой деревеньки. К сожалению, на мили вокруг не было ни единого удобного места для высадки, кроме этого, и я не мог обойти дома из-за крутого склона оврага.

Но мне повезло, — продолжает он, — все крестьяне еще спали в своих постелях. Солнце еще не взошло, когда я шел по опавшим листьям, устилавшим единственную улицу. Не было ни души, даже собаки молчали. Стояла глубочайшая тишина, и только я успел удивиться тому, что здешние жители не держат собак, как услышал глухое ворчание, и из проулка меж двумя хибарами, поджав хвост, показалась зловещего вида псина. В молчании она пронеслась передо мной, ощерив зубы, и столь внезапно исчезла, что могла оказаться нечистым воплощением самого дьявола. Что-то в ее повадках встревожило и омрачило

меня настолько, что появление этой твари показалось мне дурным предзнаменованием».

Насколько ему казалось, никто не заметил его появления на берегу, и он отважно направился на запад по пустынному нагорью, несмотря на ветер и дождь, ливший с пепельно-серого неба. Вдалеке суровые безлюдные горы вздымали свои крутые голые склоны, застыв в угрожающем ожидании. Вечер застал его близ них, но, выражаясь по-моряцки, он сошел с курса, проголодался, весь вымок, вымотался за день пути по каменистой пустоши, где почти никого не встретил, так и не узнав, проходил ли здесь ранее Том Корбин. «Вперед, только вперед!» — повторял он себе час за часом, побуждаемый идти дальше не страхом или надеждой, но неопределенностью.

День уже был на исходе, когда он очутился перед разрушенным мостом. Он спустился вниз, перешел вброд ручей, чьи быстрые воды отражали последние блики солнца, и, выбравшись наверх, был встречен ночной тьмой, спустившейся внезапно, словно ему завязали глаза. В горах протяжно завывал ветер, шумел в ушах, как взбесившееся море. По всей видимости, он заблудился. Даже днем дорога была едва различима среди колдобин, луж и камней, теряясь

в пустошах меж валунов и голых зарослей. Но, как он выразился, он «продолжал держать курс по ветру», натянув шляпу до самых бровей, опустив голову, время от времени останавливаясь, ощущая упадок скорее сил душевных, нежели телесных, а крепость и рассудок его подтачивали мысли о тщете усилий и нараставшее беспокойство.

В одну из таких остановок в шуме ветра, словно издалека, он услышал стук — стучали по дереву. Ветер тут же стих.

Сердце его заколотилось как бешеное: в нем все еще живы были впечатления о пути в одиночестве среди пустошей, которые он пересекал без малого шесть часов, и чувство подавленности. Подняв глаза, он увидел слабый проблеск света, под густым покровом тьмы казавшийся призрачным. Пока он вглядывался вдаль, стук снова повторился, и вдруг он — нет, не увидел — почувствовал преграду впереди. Что это, подножие холма? Быть может, дом? Да, дом, стоявший совсем рядом, будто выросший из-под земли или явившийся, приветствуя его, безмолвный и мертвенно-бледный, из глубины ночного мрака, величественно возвышаясь над ним. Он шагнул под его сень, еще три шага, и он коснулся рукой

его стен. Без сомнения, это была гостиница, и какой-то другой путник пытался войти. Снова послышался осторожный стук.

В следующее мгновение широкая полоса света показалась из отворенной двери. Бирн смело шагнул вперед, в то время как человек снаружи отскочил, сдавленно вскрикнув, и исчез в ночи. Из глубины дома также донесся возглас удивления. Бирн налег на закрывающуюся дверь и протиснулся внутрь, несмотря на значительное сопротивление.

Жалкая, тускло мерцавшая тростниковая свечка лепилась на краю длинного стола из сосновых досок. В ее отблеске все еще ошеломленный Бирн увидел девушку, которую оттеснил от двери. Она была смуглой, в короткой черной юбке и оранжевой шали; из черной, густой, как лесная чаща, копны ее волос, скрепленной гребнем, выбивались отдельные пряди, темным облаком нависая над ее низким лбом. Из дальнего конца длинной залы, где в очаге плясало пламя и ложились тяжкие тени, послышался двухголосый, пронзительный, жалобный вопль: «Смилуйтесь!» Девушка, придя в себя, с шипением втянула воздух сквозь сжатые зубы.

Нет нужды повторять всю череду вопросов

и ответов, которые уняли страхи двух старух, сидевших по обе стороны от очага, где стоял большой глиняный котел. Бирну представились две ведьмы, наблюдающие, как в котле кипит смертоносное варево. Но когда одна из них, тяжело поднявшись, приподняла крышку, оттуда донесся запах чего-то аппетитного. Вторая не двинулась с места и сидела, сгорбившись, лишь тряслась ее голова.

Они были омерзительны. Что-то гротескное было в их дряхлости. Их беззубые рты, крючковатые носы, худоба той, что двигалась, и желтые отвисшие щеки той, что трясла головой, могли бы показаться смешными, если бы зрелище столь ужасной телесной деградации не было столь невыносимым, не заставляло думать о невыразимых тяготах старости, превращающей все живое в нечто отвратительное и ужасное.

Чтобы избавиться от этих чувств, Бирн обратился к ним, сказав, что он англичанин, ищет своего соотечественника, который ранее шел этой дорогой. Лишь он произнес это, как сцена его расставания с Томом с необычайной живостью предстала перед его глазами: угрюмые селяне, злобный карлик, одноглазый торгаш Бернардино. Так, значит, эти невероятные страшилища и

есть те самые тетки, что сношались с дьяволом.

Кем бы они ни были когда-то, невозможно было представить, как эти дряхлые старухи могут услужить дьяволу сейчас, в мире живых. Кто из них Люсилья, а кто Эрминия? Их имена давно забылись. Слова, что произнес Бирн, заставили их замереть. Колдунья с ложкой застыла, перестав мешать варево в котле, голова второй на миг перестала трястись. Ничтожной доли секунды хватило Бирну, чтобы понять, что он напал на след Тома и находится на верном пути.

«Они видели его», — убежденно думал он. Нашелся хоть кто-то, кто видел его. Он был убежден, что старухи будут отрицать, что видели англичанина, но, напротив, они охотно рассказали ему, что угостили его ужином и оставили переночевать. Они говорили наперебой, описывая его внешность и манеру держаться. Ими овладело волнение, необыкновенное для их лет. Скрюченная колдунья принялась размахивать деревянной ложкой, а распухшее чудище слезло с табуретки и переминалось с ноги на ногу, скрипя половицами и тряся головой все сильнее. Подобное возбуждение весьма смутило Бирна. Да! Большой, сильный англичанин ушел наутро, съев ломоть хлеба и выпив вина. Если кабальеро

желает следовать той же дорогой, нет ничего проще, но только утром.

— Дадите ли вы мне кого-нибудь в провожатые? — спросил Бирн.

— Да, сеньор. Хороший парень. Тот, что уходил, когда вы появились.

— Но я же слышал, как он стучался в дверь, — возразил Бирн. — Увидев меня, он пустился прочь. Он явно намеревался войти.

— Нет! Нет! — наперебой закаркали ведьмы. — Он уже уходил, уходил!

«Может быть, это действительно было правдой. Стук был слабым, еле различимым и мог мне просто померещиться», — подумал Бирн. Он спросил:

— Так кто же он?

— Ее жених! — закричали они, указывая на девушку. — Он отправился домой, в далекую деревню. Но утром он вернется. Он ее суженый! А сама она сирота, дитя бедных рабов господних. Мы приютили ее во славу божию, во славу его!

Сирота затаилась в уголке у очага и неотрывно следила за Бирном. Он подумал, что эту дочь дьявола две старые карги приютили не из любви к богу, а во славу сатаны. Глаза ее чуть косили, пухлые чувственные губы и смуглое лицо

были полны дикой, непокоренной красоты. Пристальный, внимательный взгляд этой дикарки, прикованный к Бирну, напоминал ему голодную кошку, что наблюдает за птичкой в клетке или мышью в мышеловке.

Она накрыла на стол, и это его порадовало, но ее черные раскосые глаза были так близко и изучали его так пристально, словно силясь прочесть что-то на его лице, что ему было не по себе. Все же это было лучше, чем близость кошмарных мутноглазых ведьм. Чувства его притупились, быть может, причиной тому было то, что он отогрелся, и покой, сменивший изматывающую борьбу со стихией в пути. В том, что Тому ничто не грозит, сомнений не было. Должно быть, он уже повстречался с людьми Гонзалеса и сейчас спал в их горном лагере.

Бирн поднялся и, наполнив жестяной кубок вином из бурдюка на стене, снова сел. Ведьма с лицом мумии заговорила с ним, вспоминая о былом, хвалилась славными деньками, что знавал их постоялый двор. Знатные люди то и дело приезжали тогда на каретах, а однажды, давным-давно, сам архиепископ провел здесь ночь.

Ведьма с опухшим лицом слушала ее, не сходя с места, не двигаясь, лишь все тряслась ее голо-

ва. Девушка (Бирн уверился в том, что это всего лишь цыганка, которую зачем-то приютили старухи) уселась у огня в свете тлеющих углей. Она что-то напевала себе под нос, изредка щелкая кастанетами. При упоминании архиепископа она нечестиво усмехнулась, обернувшись к Бирну, и ее черные глаза полыхнули отраженным красным пламенем, а зубы сверкнули белизной в тени под навесом очага. Он тоже улыбнулся ей.

Он успокоился, чувствуя, что ему ничто не угрожает. Здесь его не ждали, а значит, против него ничего не замышлялось. Его одолевала сонливость. Пребывая в полудреме, он все же боролся со сном, как ему казалось, успешно, пока не встрепенулся от адского гвалта. В жизни он не слышал таких скрипучих, пронзительных криков. Ведьмы яростно грызлись друг с другом, споря о чем-то. Предмет спора остался в стороне, и теперь они поливали друг друга оскорблениями, дышали старческой злобой в свирепой сумятице. Взгляд черных глаз цыганки метался от одной к другой. Бирн никогда еще не чувствовал такого отчуждения в присутствии человеческих существ. До того как он догадался, что же служило причиной их перепалки, девушка вскочила, громко застучав кастаньетами. Стало тихо. Она

приблизилась к столу, склонилась над ним и, глядя в его глаза, твердо проговорила:

— Сеньор, вы переночуете в комнате архиепископа.

Ведьмы не стали возражать. Тощая, переломленная пополам, теперь опиралась на клюку, а оплывшая взялась за костыль.

Бирн встал, направился к двери и, повернув ключ в огромном замке, спокойно опустил его в карман. В дом можно было попасть лишь этим путем, и он не желал быть застигнутым врасплох опасностью, что могла притаиться за его стенами.

Обернувшись, он увидел, как на него молча смотрят ведьмы, прислужницы дьявола, и девочка, дитя сатаны. Он подумал о Томе: так ли осторожен был тот минувшей ночью? Эти мысли пробудили в нем странное ощущение того, что его товарищ где-то рядом. Вокруг все застыло. Среди этой тишины он слышал, как в висках стучала кровь и словно какой-то голос шептал ему: «Сэр Бирн, берегитесь». То был голос Тома. Он вздрогнул, ведь слуховые галлюцинации самые убедительные и в них легче всего поверить.

Тома здесь не должно было быть, это было невозможно. Холодок, как от внезапного сквоз-

няка, пробрал его до костей. Он встряхнулся, отбросил эту мысль.

Девушка провожала его наверх, освещая путь железной лампой, что была без крышки и чуть чадила. Ее когда-то белые чулки были грязными и в дырах.

Решительно и спокойно, так же как запер входную дверь, он открывал все двери комнат в коридоре. Все комнаты пустовали, лишь в двух из них была какая-то рухлядь. Девушка покорно останавливалась и светила ему, все так же не сводя с него глаз. Последнюю дверь она распахнула сама.

— Вы будете спать здесь, сеньор, — проворковала она тихо, словно вздохнуло дитя, и протянула ему лампу.

— Спокойной ночи, сеньорита, — откланялся он, приняв лампу из ее рук.

Она что-то шепнула неслышно, чуть дрогнули губы, а глаза, черные, как безлунная ночь, по-прежнему смотрели на него. Он шагнул через порог, обернулся, чтобы запереться, и с тревогой увидел, что она все так же без движения стоит у двери, увидел ее полные губы и раскосые глаза, смотревшие чувственно, но с прежней яростью обманутой кошки. Он помедлил всего мгновение

и в ночной тишине снова услышал, как кровь приливами зашумела в ушах, и голос Тома, прозвучавший теперь где-то совсем рядом с ним, ужаснул его, ведь он не сумел разобрать ни единого слова.

Он захлопнул дверь прямо перед ней, оставив ее снаружи, во тьме, и сразу же открыл. Пусто. Она исчезла, не издав ни единого звука. Он в спешке закрыл дверь, заперев ее на две тяжелых задвижки.

Глубокие сомнения точили его. Почему ведьмы переругались из-за того, где ему спать? Почему цыганка так смотрела на него, будто пыталась навсегда запомнить его лицо? Его раздражало собственное беспокойство. Слишком уж далеко он оказался от нормальных людей.

Он осмотрел комнату. Под потолком еле уместилась кровать с огромным подобием балдахина, с которого в головах и в ногах свисали тяжелые занавеси: кровать, воистину достойная архиепископа. Также здесь стояли тяжелый резной стол, столь же тяжелые кресла, словно прямиком из дворца, к стене жался высокий узкий шкаф с двойными дверцами. Он подергал ручки: заперто. Он недоверчиво осмотрел их в свете лампы, но потайным входом шкаф служить не мог, так

как отстоял от стены на добрый дюйм. Он еще раз взглянул на дверные задвижки. Нет, никто не смог бы проникнуть в комнату, пока он спал. Но сумеет ли он заснуть здесь? Мысль об этом тревожила его. Если бы только рядом был Том, верный моряк, бившийся с ним рука об руку, учивший его осторожности. «В бою погибнуть — много ума не надо, — говорил он. — Каждый дурак сможет. А вот драться с французами и выжить, чтобы наутро снова их бить, — это дело другое».

Бирн с трудом удержался от того, чтобы не прислушиваться к царившей тишине. Он был убежден в том, что ничто ее не нарушит, разве что призрачный шепот Тома. Уже дважды он слышал его голос. Как странно! Но что же в этом странного, если он только и думает о нем последние тридцать часов, причем безрезультатно? Судьба его товарища, так тревожившая его, все еще оставалась неясной. «Пропал» — вот и все, что могло сказать ему об опасности, которой подвергался моряк. Всего одно только слово, но какое ужасное! «Пропал»! Что все это значит?

Весь дрожа, Бирн твердил себе, что, видно, простудился. А Том никуда не исчезал. Он только что слышал его. Но снова кровь постучалась в виски. Он сел и замер, силясь расслышать голос моряка

в этом шуме. Он ждал, напрягая слух, но ничего не слышал. Внезапно его осенило: «Он не исчез, но он не может говорить».

Он вскочил с кресла. Какая чушь! Положив на стол пистолет и кортик, он снял сапоги и почувствовал, что от усталости не держится на ногах, а затем распростерся на кровати, мягкость и уют которой были выше всех его ожиданий.

Сперва ему не спалось, но в конце концов он, должно быть, заснул, так как очнулся, сидя в кровати и пытаясь вспомнить, что же сказал ему Том. Ах да! Теперь вспомнил. Он сказал: «Сэр Бирн! Берегитесь!» Он предупреждал его. О чем же?

Одним прыжком он оказался посреди комнаты, глубоко вдохнул, затем снова осмотрелся. Окно закрыто ставнями и на железный засов. Медленно он перевел взгляд на голые стены, затем на потолок, довольно высокий. После он снова проверил задвижки на двери. Они представляли собой огромные железные стержни, входившие прямо в стену. Коридор был слишком узок, чтобы воспользоваться тараном или замахнуться топором, и дверь можно было разве что взорвать при помощи пороха. Пока он проверял, надежно ли закрыта нижняя задвижка, ему показалось, что в комнате кто-то есть. Чувство это было настолько

сильным, что он обернулся быстрее молнии. Никого. Да и кто мог здесь быть? И все же…

Именно тогда напуск и самообладание, столь важные для мужчины, покинули его. Он встал на четвереньки, поставил на пол лампу и, как маленькая девочка, заглянул под кровать. Пыль, много пыли, больше ничего. Он поднялся, и щеки его пылали. Озлившись на себя самого за подобное поведение и на Тома, который никак не давал ему покоя, он принялся ходить из угла в угол. Слова «Сэр Бирн! Берегитесь!» постоянно звучали в его голове словно предостережение.

«Нет бы мне завалиться в кровать да попробовать уснуть», — посетовал он. Но взгляд его вдруг упал на высокий шкаф, и он направился к нему, негодуя, но не будучи в силах совладать с собой. Он не имел ни малейшего понятия о том, как завтра будет объяснять двум ведьмам то, что собирался сделать. Так или иначе, он просунул кортик в дверную щель, пытаясь открыть ее. Не вышло. Он выругался и принялся за дело усерднее. «Надеюсь, ты теперь уймешься, будь ты неладен», — пробормотал он Тому. Двери поддались и распахнулись.

Там был *он*.

Он, его верный, мудрый, храбрый Том, стоял

там, в тени, окоченевший, в гордом молчании, уставившись на Бирна невидящими глазами, словно требовал тишины. Но пораженный Бирн не в силах был издать ни звука. В ошеломлении он отпрянул назад, и в тот же миг матрос подался к нему, словно желая схватить офицера за горло. Бирн машинально выбросил вперед слабеющие руки и почувствовал, как задеревенело это тело, ощутив ужасный могильный холод, коснувшись мертвого лица своим лицом. Они покачнулись, и Бирн крепко прижал к груди Тома, чтобы не упасть и не наделать шума. Сил ему хватило лишь на то, чтобы осторожно опустить чудовищную ношу на пол, и у него закружилась голова, подкосились ноги, и он рухнул на колени, склонившись над товарищем, а руки его все лежали на груди человека, в чьем теле недавно ключом била жизнь, теперь же он лежал перед ним холодный, как камень.

— Он умер! Бедный мой Том, он умер, — беззвучно шевелил губами офицер. Свет лампы, стоявшей на столе, отражался в пустых, застывших глазах моряка, некогда полных жизни и радостных.

Бирн отвел взгляд. На шее Тома больше не было его черного шелкового платка. Убийцы

также сняли ботинки и чулки. Увидев все это — неприкрытое горло, торчащие босые ноги, — Бирн почувствовал, что глаза его полны слез. Больше из одежды не пропало ничего, и на ней не было никаких следов отчаянной борьбы. Лишь клетчатая рубаха в одном месте чуть торчала над поясом, там, где искали кошель с деньгами. Бирн уткнулся в платок, всхлипывая.

Впрочем, лишь ненадолго он дал волю чувствам. Все еще стоя на коленях, он печально смотрел на это сильное тело лучшего из тех моряков, что когда-либо рубились на саблях, стреляли, выбирали фалы в бурю, теперь охладевшее, бездвижное. Неустрашимый дух уже покинул его и сейчас, должно быть, искал его, своего воспитанника, парил где-то там, над кораблем, что качался на серых волнах у скалистого берега.

Он заметил, что на куртке Тома недоставало шести медных пуговиц, — их срезали. Он содрогнулся, представив, как жалкие, омерзительные ведьмы копошились над беззащитным телом его друга. Отрезали, быть может, тем же ножом, что… Голова одной трясется, а вторая согнулась в три погибели, бельмастые глаза дьявольски горят, жадно дрожат их когтистые лапы… Все случилось здесь, в этой самой комнате, ведь Тома

не смогли бы убить открыто, а затем притащить сюда. Бирн был уверен в этом. Ведьмы не справились бы с ним без чьей-либо помощи, даже застав врасплох, так как Том всегда был наготове. Любое задание он всегда выполнял с тщанием и осторожностью. Как же они его убили? Кто им помог? Каким образом?

Бирн вскочил, схватил лампу со стола и спешно склонился над телом. В ее свете на одежде мертвеца не было видно ни единого пятнышка крови. Его руки задрожали, и он был вынужден опустить лампу на пол и отвернуться, чтобы прийти в себя.

Затем он принялся тщательно осматривать холодное окоченевшее тело в поисках раны, пулевого отверстия или следов смертельного удара. Ощупал голову — ни следа. Шейные позвонки тоже были целы. В ужасе он взялся за подбородок, взглянув на шею, — никаких признаков удушения.

На всем теле не было ни единого следа. Он просто умер.

Бирн отпрянул, словно загадочная, непонятная ему причина смерти сменила в нем жалость к покойному на отвращение, мешавшееся с подозрительностью. Лампа на полу освещала мертвое

лицо моряка, чьи глаза уставились в потолок, словно в отчаянии. Даже пыль на полу была нетронутой, в комнате отсутствовали всякие следы борьбы. «Его убили не здесь», — подумал он. Да, там, в узком коридоре, где толком не развернуться, смерть и настигла его несчастного товарища Тома. Бирн подавил в себе желание схватить пистолет и выбежать из комнаты, так как у Тома тоже было оружие, но он так и не сумел им воспользоваться, погибнув неизвестным, загадочным образом.

Бирн кое-что вспомнил. Тот, кто стучался в дверь, а затем сбежал, явился, чтобы забрать тело. Да! Вот и обещанный ведьмой проводник, который, по ее заверениям, должен был воссоединить его с товарищем. Каким ужасным казалось ему теперь это обещание! Тому, кто пытался войти, пришлось бы иметь дело уже с двумя телами. В свой последний путь моряк и офицер должны были отправиться вместе. Теперь Бирн был уверен в том, что не доживет до рассвета и умрет так же загадочно, смертью, что не оставит ни следа на его теле.

Размозженный череп, перерезанное горло, зияющая огнестрельная рана — какое облегчение принесли бы они ему сейчас! Все его страхи бы

тут же рассеялись. Мысленно он взывал к другу, всегда помогавшему ему в час нужды: «Скажи же мне, Том, что я упустил? Ну же, давай!» Но тот распростерся перед ним в суровом молчании, словно не желал делиться с живым своей последней тайной.

Вдруг Бирн снова опустился на колени рядом с телом и яростно распахнул рубашку на его груди, словно желая вырвать разгадку из когда-то преданного ему, а теперь холодного сердца. Ничего! Ни следа! Он поднял лампу выше и сумел разглядеть на лице своего доброго друга небольшой кровоподтек, совсем маленький. Кожные покровы в этом месте были целыми. Он долго смотрел на него, будто провалившись в кошмарный сон. Затем увидел, что пальцы Тома сжаты в кулак, словно он дрался с кем-то. На костяшках его пальцев были ссадины. На обеих руках.

Это открытие вселило в Бирна еще больший ужас, чем все предыдущие. Значит, Том умер в схватке с чем-то, что можно было ударить, но оно убило его, не оставив ни следа, одним лишь дыханием?

Ужас, горячий, словно языки пламени, разгорался в сердце Бирна, готовясь поглотить его и обратить в пепел. Он по возможности дальше

отошел от тела, но затем подобрался ближе, объятый страхом, то и дело поглядывая на отметину на лбу Тома. До рассвета, должно быть, и он сам заполучит такую же.

— Я этого не выдержу, — шептал он.

Том вселял в него страх, пугая и притягивая одновременно. Он не мог заставить себя снова взглянуть на него.

Наконец отчаяние в нем возобладало над нараставшим ужасом, и он отделился от стены, что служила ему опорой, взял труп под мышки и потащил к кровати. Голые пятки моряка бесшумно скользили по полу. Он был тяжелым, как все неживое. Из последних сил Бирн уложил его на край кровати лицом вниз, перевернул, вытащив из-под него простыню и накрыв его. Затем задернул занавеси и расправил их так, чтобы они полностью скрыли от него тело.

Проковыляв к креслу, он упал в него. Он весь взмок, на лице проступил пот, но кровь застывала в его жилах. Теперь он находился в безраздельной власти ужаса, что пожрал его сердце, оставив лишь пепел.

Так он сидел, вытянувшись, с лампой в ногах, пистолетами и кортиком на столе под рукой, а глаза его беспрестанно рыскали по стенам, по-

толку, полу, ожидая, что вот-вот явится что-то неведомое и отвратительное. Тварь, что убивала одним лишь дыханием, таилась там, за запертой дверью. Но Бирн уже не доверял ни запорам, ни стене. Страх не оставлял места трезвому рассудку, и оттого, что когда-то юнцом он мнил могучего Тома непобедимым, ему становилось еще хуже.

Не было больше Эдгара Бирна. Осталась лишь измученная душа, страдавшая больше, чем тело грешника под изуверской пыткой на дыбе. Всю глубину его мучений можно понять по тому, что в какой-то миг этот молодой и храбрый мужчина помыслил о том, чтобы взвести курок пистолета и пустить себе пулю в висок. Но мертвящая слабость и дрожь сковали его тело. Плоть застывала на костях комьями мокрой глины. Вот-вот, казалось ему, войдут ведьмы: одна с клюкой, другая с костылем — чудовищные, жуткие создания, прислужницы самого дьявола, и заклеймят его лоб печатью смерти, едва заметным, крохотным пятном. И он ничего не сможет сделать. Том пытался противиться этому, но он не сумеет. Тело больше не подчинялось ему. Он застыл, замер, переживая собственную смерть снова и снова, лишь глаза его все еще двигались в глазницах, смотрели на стены, пол, потолок, снова и снова,

пока взгляд его не приковала кровать.

Бирн увидел, что тяжелые занавеси колыхнулись, как будто мертвец, что скрывался за ними, поднялся и сел в кровати. Бирн, полагавший, что ужаснее всего, что он видел, нет уже ничего, ощутил, что волосы у него встают дыбом. Он вцепился в кресло, его челюсть отвисла, пот каплями сбегал по бровям, а пересохший язык прилип к небу. Занавеси вновь заколыхались, но не раскрылись. «Том, не надо!» — пытался крикнуть Бирн, но издал лишь протяжный стон, как спящий, видящий кошмары. Он чувствовал, что сходит с ума, увидев, что потолок стал двигаться, опускаясь ниже, а затем снова поднялся, и занавеси вновь содрогнулись, готовые вот-вот раскрыться.

Бирн закрыл глаза, чтобы не видеть, как одержимый злым духом труп моряка встает с кровати. В абсолютной тишине, стоявшей в комнате, он переживал мгновения ужасной агонии, а затем вновь взглянул на кровать. И увидел, что занавеси по-прежнему закрыты, но потолок над кроватью поднялся на целый фут. Остатки рассудка подсказали ему, что невероятных размеров балдахин опускался все ниже, а занавеси, слегка колеблясь, стелились по полу. Сомкнув челюсти, он приподнялся в кресле, безмолвно наблюдая за

бесшумным движением балдахина. Тот скользил все ниже и ниже, дойдя до половины, а затем рухнул вниз, плотно примкнув к краям кровати. Послышался легкий сухой треск дерева, и в комнате вновь настала тишина.

Бирн встал, набрав в легкие воздуха, и закричал в бессильной ярости, впервые за эту полную ужасов ночь. Вот что за смерть была уготована ему! Воистину дьявольским было это орудие убийства, о котором из загробного мира пытался сказать ему Том. Вот как погиб он сам. Теперь Бирн был уверен в том, что слышал голос моряка, слабый, но отчетливо произнесший «Сэр Бирн! Берегитесь!» и иные слова, которых он не мог разобрать. Как неимоверно велико расстояние, отделяющее мертвых от живых! И его почти удалось преодолеть бедному Тому! Бирн бросился к кровати, пытаясь поднять полог, разомкнуть предательские тиски, задушившие его друга. Усилия его были тщетны — он был тяжелым, словно отлитым из свинца, и неподъемным, как могильная плита. Теперь его обуревал гнев, он жаждал мести, в голове беспорядочно теснились убийственные мысли, и он все озирался, будто не видел ни своего оружия, ни выхода, и сыпал ужасными проклятиями.

Яростный стук в дверь привел его в чувство. Он подбежал к окну, распахнул ставни и выглянул наружу. В слабом утреннем свете он увидел людей, толпившихся под окном. Ха! Сейчас, наконец, он повстречается с бандой убийц, готовых довершить задуманное. После схватки с неописуемым ужасом он жаждал открытого боя с врагами. Но рассудок, должно быть, вернулся к нему лишь частично: забыв вооружиться, он бросился к двери, в которую отчаянно барабанили, сорвал запоры и, распахнув ее, голыми руками вцепился в глотку первого, кто стоял у него на пути. Они покатились по полу. Бирн вознамерился прорваться, бежать в горы и вернуться с людьми Гонзалеса, чтобы с их помощью свершилась его месть. Он яростно сражался, пока деревья, дом и горы вдруг разом не обрушились на его голову, и больше он ничего не видел.

Затем г-н Бирн подробным образом описывает умело наложенную на его разбитую голову повязку, сообщая, что потерял много крови, и приписывает сохранность своего рассудка именно этому обстоятельству. Далее он полностью приводит пространные извинения Гонзалеса. Именно Гонзалес, устав ждать весточки от англичан, самолично явился под стены постоялого

двора с половиной своих людей, направляясь к морю. «Его превосходительство, — оправдывался он, — набросились на нас столь яростно и стремительно, что мы не узнали в вас друга, и мы были вынуждены… и т. д. и т. п.». Когда Бирн спросил его, что сталось с двумя ведьмами, он молча указал пальцем на землю, а затем изрек следующее:

— Старухи, что жаждут золота, не знают жалости, сеньор. В былые дни они, без сомнения, заманили множество одиноких путников в кровать архиепископа.

— С ними была цыганка! — слабо воскликнул Бирн с импровизированных носилок, на которых отряд повстанцев нес его к берегу.

— Она крутила лебедку той дьявольской машины, и в ту ночь она тоже опустила полог, — отвечали ему.

— Но зачем? Почему? — удивился Бирн. — Зачем ей желать моей смерти?

— Не сомневаюсь, что ради пуговиц с куртки вашего превосходительства, — вежливо проговорил его угрюмый спутник. — У нее нашлись пуговицы погибшего моряка. Так или иначе, ваше превосходительство может успокоиться, ведь нами было сделано все, что необходимо делать в подобных случаях.

Больше Бирн ничего не спрашивал. Гонзалес причислил ко «всему необходимому» еще одну смерть. Одноглазого Бернардино расстреляли из шести дробовиков у стены его трактира. Когда отзвучало эхо выстрелов, испанские повстанцы, скорее напоминавшие разбойников, пронесли дроги с телом Тома вниз, к берегу, где две шлюпки уже готовились вернуть на корабль останки лучшего из всех его моряков.

Г-н Бирн, бледный и ослабший, ступил в лодку, где покоилось тело его бедного друга. Решено было, что телу Тома Корбина суждено упокоиться далеко в Бискайском заливе. Офицер взялся за румпель, в последний раз обернулся, глядя на берег, где на сером склоне холма что-то двигалось: он сумел разглядеть человечка в желтой шляпе, восседавшего на том самом муле, без которого судьба Тома Корбина навсегда бы осталась неразгаданной.

1913

Эдвард Фредерик Бенсон
1867–1940
Искупление

Мы с Филипом Стюартом, оба холостяки не первой молодости, завели себе привычку отдыхать летом вместе. Уже раза четыре или пять подряд мы нанимаем на месяц-полтора какой-нибудь меблированный дом, стараясь при этом выбрать малопривлекательный уголок страны, неспособный приманить к себе многочисленные толпы отдыхающих. Незадолго до наступления сезона мы принимаемся просматривать колонки объявлений в газетах, где на все лады расхваливаются разнообразные достоинства и дешевизна сдающегося на август жилья. Стоит нам при этом натолкнуться на упоминание теннисных клубов, живописных мест или полей для гольфа буквально в двух шагах от двери, как мы спешим перевести свой оскорбленный взгляд на следующее объявление.

По нашей еретической вере, место, до краев переполненное жизнерадостной публикой, для отдыха непригодно. Это должно быть бездельное

место, ни к какой лишней активности не располагающее. Забот и развлечений нам хватает в Лондоне. Желательно только, чтобы поблизости было море, ведь на пляже ничего не делать сподручней, чем в любом другом месте, а купаться и загорать — это не деятельность, а, наоборот, апофеоз безделья. Сад тоже не помешает: не полезут в голову мысли о прогулке.

Именно такими благоразумными соображениями мы и руководствовались, когда тем летом сняли дом в Корнуолле, на южном побережье, где расслабляющий климат как нельзя лучше способствует лени. Осмотреть дом самолично мы не выбрались — слишком уж далеко, — но составленное в скупых словах объявление нас убедило. Побережье рядом, ближайшая деревня, Полвизи, расположена в стороне и, насколько нам известно, малолюдна; сад тут же, при доме имеется кухарка, она же экономка. В простом и немногословном объявлении не было и намека на излишества вроде полей для гольфа и прочих мест увеселения. В саду имелся, правда, теннисный корт, но нигде не оговаривалось, что жильцы обязаны использовать его по назначению. Дом принадлежал некоей миссис Херн, живущей за границей, и сделку мы заключили с агентом по

неподвижности из Фалмута.

Чтобы довершить благоустройство своего жилища, мы за день до нашего отъезда отправили туда: Филип — горничную, а я — служанку. Дорога от станции на протяжении шести миль шла по высокому плоскогорью, в конце следовал долгий однообразный спуск в узкую долину, зажатую между холмами. Чем ниже мы спускались, тем обильнее делалась растительность. Большие деревья фуксии дотягивались до соломенных крыш стоявших вдоль дороги домов, в гуще зелени журчал ручей. Вскоре мы наткнулись на деревню — в дюжину домов, не больше, построенных из местного серого камня. Вверху, на уступе — крохотная церквушка, к которой примыкал дом священника. Высоко по обе стороны пламенели поросшие цветущим колючим кустарником склоны холмов, покатая долина распахивалась внизу, и в спокойный, теплый воздух вливался свежий и пряный морской бриз. Мы круто повернули за угол, проехали вдоль кирпичной стены и остановились у железных ворот, которые сплошной завесой покрывала вьющаяся роза.

То, что мы увидели, казалось, не имело никакого отношения к лаконичному объявлению в газете. Я предполагал обнаружить что-то вроде

виллы из желтого кирпича, крытой, возможно, шифером фиолетового оттенка; по одну сторону от входной двери — гостиная, по другую — столовая; холл, отделанный кафелем, лестница из смолистой сосны; а вместо этого глазам нашим предстала настоящая маленькая жемчужина: небольшой усадебный дом в раннегеоргианском стиле, милый и приветливый; окна с частым переплетом, крыша из каменных плит. Перед домом — мощеная терраса, пониже террасы — цветочный бордюр; за пышной и спутанной, как в джунглях, растительностью не разглядишь ни клочка земли. Красоту наружную дополняла красота внутренняя: лестница с широкой балюстрадой поднималась из холла (он назывался «комната отдыха»), не загроможденного, как можно было ожидать, безделушками из Бенареса и ковровыми диванами, а прохладного, просторного, обшитого панелями. Дверь напротив входа вела в сад за домом.

Там располагался пресловутый теннисный корт, вполне, однако, безобидный; его дальний конец примыкал к крутой, поросшей травой насыпи. Вдоль насыпи выстроились в ряд липы. Когда-то их стригли, но потом оставили расти, как бог на душу положит. Толстые сучья перепле-

тались на высоте четырнадцати или пятнадцати футов, образуя аркаду, а над ней, там, где природе была дана полная воля, деревья простирали во все стороны пышные, благоухающие ветви. Далее карабкался по склону небольшой фруктовый сад, а за ним холм вздымался круче. На его дерновых боках пламенели заросли колючих кустов, того самого корнуолльского кустарника, который цветет круглый год и сияет, как солнышко, с января по самый декабрь.

Мы успели до обеда обойти эти не очень обширные, но великолепные владения и немного поговорить с экономкой, спокойной и толковой на вид женщиной, в манерах которой чувствовалась легкая отчужденность, свойственная ее землякам, когда они имеют дело с иностранцами, каковыми корнуолльцы почитают англичан. Миссис Криддл, как выяснилось впоследствии, за обедом, не только казалась, но и на самом деле была хорошей хозяйкой. Наступил вечер, очень теплый и безветренный, и после обеда мы вынесли для себя стулья на террасу перед домом.

— В жизни нам еще так не везло, — заметил Филип. — И почему я до сих пор ни от кого не слышал слова «Полвизи»?

— Потому что никто его не знает, к счастью, —

ответил я.

— Ну так я — полвизиец. По крайней мере, в душе. А в остальном миссис… миссис Криддл дала мне ясно почувствовать, что до полвизийца мне далеко.

Филип по профессии — врач, специалист по загадочным нервным болезням, поэтому в области человеческих чувств его диагнозы сверхъестественно точны, и мне, уж не знаю почему, захотелось узнать поподробнее, что он имеет в виду. Ощущал я то же, что и он, но проанализировать это ощущение не мог.

— Опиши-ка симптомы, — попросил я.

— Проще простого. Когда миссис Криддл вошла, выразила надежду, что нам здесь понравится, и сказала, что сделает все от нее зависящее, это были только слова. То есть слова-то были верные. Но за ними ничего не стояло. Впрочем, ерунда, не о чем и задумываться.

— А ты, значит, задумался, — вставил я.

— Попытался и ничего не понял. Возникает впечатление, будто она что-то такое знает, о чем я и понятия не имею; мы и вообразить себе такого не можем — а она знает. Мне такие люди попадаются постоянно, они не так уж редки. Речь не о том, что им ведомы какие-то потусторонние тайны.

Просто они держатся отчужденно, и трудно догадаться, о чем они думают, — так же трудно, как понять, о чем думают собака или кошка. Если бы спросить о ее мыслях на наш счет, то выяснилось бы, что и мы для нее точно такая же загадка, но, как и пристало разумной женщине, она, скорее всего, не испытывает к нам ни малейшего интереса. Она здесь для того, чтобы печь и варить, а мы — чтобы есть спеченное и по достоинству оценивать сваренное.

Мы исчерпали эту тему и замолкли. Сумерки сгущались, близилась ночь. За спиной у нас была приоткрытая дверь, и на террасе лежала полоса света от лампы, которая горела в холле. Сновавшая вокруг мошкара, в темноте невидимая, попав в поток света, внезапно возникала как бы ниоткуда, а вылетев из него, снова исчезала. Они то появлялись, эти существа, живущие своей собственной жизнью, то пропадали бесследно. «Если бы человечество путем долгого опыта не установило, что материальный объект, дабы стать видимым, должен быть соответствующим образом освещен, каким же необъяснимым казалось бы это зрелище», — думал я.

Мысли Филипа, должно быть, текли точно по тому же руслу, потому что его слова оказались

продолжением моих раздумий.

— Взгляни на эту мошку, — сказал он. — Один взгляд — и она исчезнет, как призрак, и точно так же, как призрак, она появилась. Видимой ее делает свет. А есть ведь и другие разновидности света — внутренний психический свет, подобным же образом делающий видимыми те существа, которые населяют мрак нашего неведения.

Когда Филип произносил это, мне послышался телефонный звонок. Звук был очень слабый, и я бы не поручился, что мне не показалось. Один звонок, не более, короткий и отрывистый, после чего снова наступила тишина.

— В доме есть телефон? — спросил я. — Я что-то не заметил.

— Да, около задней двери, что ведет в сад, — ответил Филип. — Тебе нужно позвонить?

— Нет, мне просто показалось, что звонит телефон. Ты не слышал?

Он помотал головой, потом улыбнулся.

— Ага, вот оно, — произнес он.

На сей раз слышалось, без сомнения, позвякивание стекла, похожее на звон колокольчика. Это из столовой вышла горничная с сифоном и графином на подносе. Мой разум с готовностью принял это весьма правдоподобное объяснение.

Но где-то в глубинах души, вне области сознания, затаилось маленькое упрямое сомненьице. Оно говорило, что услышанный мной звук — та же мошка, возникшая из темноты и в темноту же канувшая…

Вскоре я отправился спать. Моя комната была расположена в задней части дома. Окно смотрело на теннисный корт. Взошла луна и ярко осветила лужайку. Под липами полосой лежала глубокая тень. Где-то на склоне холма разбойничала сова. Раздавалось ее негромкое уханье. Потом она пролетела над лужайкой, мелькнув светлым пятном. Не представляю себе другого звука, до такой степени напоминающего о деревне, как крик совы, не представляю себе и более многозначительного звука. Но на этот раз он, по всей видимости, не означал ничего, и вскоре я заснул, потому что был измучен долгой поездкой и жарой, а глубокое спокойствие окружающей обстановки располагало к отдыху. Но несколько раз за ночь я пробуждался — не совсем, а ровно настолько, чтобы в полусне осознать, где нахожусь, — и каждый раз понимал, что разбудил меня какой-то негромкий звук, и пытался расслышать, не звонит ли телефон. Но звонок не повторялся, и я снова засыпал, чтобы вновь встрепенуться и сквозь дремоту ждать

этого звука и не дождаться.

Рассвет прогнал эти фантазии, но хотя, судя по всему, проспал я немало часов, потому что просыпался ненадолго и не полностью, я все же чувствовал некоторую вялость, как будто пока тело отдыхало, какая-то часть моего существа всю ночь бодрствовала и была настороже. Это слишком причудливая мысль, чтобы за нее цепляться, и, разумеется, за день я забыл о ней начисто.

Едва успев позавтракать, мы отправились к морю, немного побродили по усыпанному галькой берегу и наткнулись на песчаную бухточку. Ее окаймляли два длинных скалистых мыса. Более подходящего места для купания не смог бы вообразить даже самый привередливый ценитель и знаток пляжей: и горячий песок, чтобы на нем нежиться, и скалы, чтобы с них нырять, и прозрачный океан, и безоблачное небо — в общем, совершенство, не ведающее границ.

Мы проторчали там все утро, купались и загорали, после полудня спрятались в тень деревьев, а позже гуляли по фруктовому саду и поросшему кустарником склону холма. Возвращались мы через кладбище, заглянули в церковь, а когда вышли оттуда, Филип указал на надгробие, которое своим свежим видом резко выделялось на фоне

потемневших, заросших мхом соседей. На нем не было ни благочестивой эпитафии, ни библейских изречений — только даты рождения и смерти Джорджа Херна; со времени последнего события прошло почти два года — без одной недели. На соседних надгробиях повторялась та же фамилия, и самые старые из них простояли уже две сотни лет, а то и больше.

— Это здешние коренные жители, — заметил я. Мы зашагали дальше и, наконец, уперлись в длинную кирпичную стену своих собственных владений. Ворота были открыты наружу, как и накануне, когда мы приехали, и из них бодрым шагом выходил незнакомец средних лет, одетый как лицо духовного звания. Судя по всему, это был местный викарий.

Он очень учтиво представился.

— Я слышал, что в дом миссис Херн прибыли жильцы, — проговорил он, — и осмелился зайти и оставить визитную карточку.

Мы, со своей стороны, исполнили полагающийся ритуал знакомства и, отвечая на его вопрос, выразили свое удовлетворение как жильем, так и окрестностями.

— Рад это слышать, — сказал мистер Стивенс. — Надеюсь, ваш отпуск будет удачным. Я сам из

Корнуолла и, как все корнуолльцы, убежден, что второго такого места в целом свете нет!

Филип указал тростью в сторону кладбища. «Оказывается, Херны — давние обитатели этих мест», — заметил он. И тут я внезапно начал понимать, что́ имел в виду Филип, говоря об «отчужденности» здешних уроженцев. На лице мистера Стивенса появилось настороженно-замкнутое выражение.

— Да, да, это старинный здешний род, — ответил он, — и крупные землевладельцы. Но теперь один дальний родственник… Впрочем, дом — пожизненная собственность миссис Херн.

Тут мистер Стивенс примолк, и его молчание подтвердило мое первоначальное впечатление о нем как о человеке сдержанном. Даже самые нелюбопытные из нас таят в глубинах души некую страсть к расследованиям, которая в благоприятных условиях непременно себя проявит, и Филип задал викарию вопрос в лоб.

— По всей видимости, Джордж Херн, умерший, как я только что узнал, два года назад, был мужем миссис Херн, у которой мы снимаем дом?

— Ну да, его похоронили на кладбище, — живо подтвердил мистер Стивенс и, непонятно, зачем, добавил: — Конечно же, его похоронили на здеш-

нем кладбище.

Мне показалось, что викарий сболтнул лишнее и, пытаясь исправить положение, повторил ту же фразу еще раз. Перед тем как отправиться в обратный путь, мистер Стивенс любезно выразил готовность быть нам полезным во всем, что касается любых сведений о здешних краях. Мы вошли в ворота. Почта уже успела прибыть; там оказались лондонская утренняя газета и письмо для Филипа. Он прочел письмо дважды, прежде чем сложить и сунуть в карман. Однако проделал он все это молча. Близилось время обеда, и я ненадолго поднялся к себе в комнату.

Дом стоял в глубокой долине, на западе высился большой холм, поэтому неудивительно, что было уже темно, а лужайка в сумерках напоминала дно глубокого чистого водоема. Я причесывался перед зеркалом у окна, шторы еще не были задернуты, краем глаза я случайно взглянул в окно и увидел на насыпи, там, где выстроились подстриженные липы, приставную лестницу. Это было немножко странно, но поддавалось объяснению: садовник ухаживал за фруктовыми деревьями и оставил лестницу здесь, потому что завтра она ему понадобится. Да, ничего особенного в этом не было, легкое усилие воображения, и все разъяснилось.

Я спустился вниз. Проходя мимо комнаты Филипа, я услышал, что он умывается, и, желая скоротать минуты ожидания, неспешно вышел из дома и завернул за угол. Окно кухни, смотрящее в сторону корта, было открыто: помню еще, оттуда пахло чем-то вкусным. По заросшему травой косогору я взобрался на корт. О лестнице, которую видел только что, я уже и думать забыл. Я взглянул на насыпь по ту сторону корта: лестницы не было и в помине. Понятное дело: садовник вспомнил о ней и, пока я спускался, унес. Все это не стоило выеденного яйца, и я не понимал, почему вообще обратил на нее внимание. Тем не менее, сам не зная почему, мысленно я твердил: «Но ведь только что она здесь была».

Послышался звон. Это был не телефонный звонок, а звук, приятный сердцу каждого проголодавшегося человека: звон колокольчика. Я вернулся на террасу, где Филип появился только что. За обедом мы немного поболтали, со смаком обсудили прошедший день, планы на завтра и, само собой, вспомнили мистера Стивенса. Мы сошлись на том, что в нем чувствуется та самая «отчужденность», а потом Филип сказал:

— Не понимаю, почему он вдруг выпалил, что Джорджа Херна похоронили на кладбище, да еще

и добавил: «конечно же».

— Где же еще, как не на кладбище? — заметил я.

— Вот именно. Никто в этом и не сомневался.

И тут у меня возникло ощущение, мимолетное и смутное, что передо мной разрозненные фрагменты какой-то головоломки. Телефонный звонок, что почудился мне вчера, — один фрагмент: Джордж Херн, похороненный не где-нибудь, а на кладбище, — другой; и, самое странное, лестница, которую я видел под деревьями, — третий. Никаких разумных оснований ломать себе голову над этим случайным набором фактов у меня не было. А почему бы, с тем же успехом, не добавить сюда, например, наше утреннее купанье или цветущий кустарник на склоне холма? Но я чувствовал, что, хотя мозг мой сейчас целиком поглощен пикетом и после дня, проведенного на пляже, им быстро овладевает сонливость, но все же изнутри его точит какой-то червячок.

Следующие пять дней протекли без приключений: без загадочных лестниц, призрачных телефонных звонков, а главное, без мистера Стивенса. Раза два мы натыкались на него в деревне, и неизменно он ограничивался самым скупым приветствием, только что не поворачивался к

нам спиной. Но почему-то в нас твердо засело убеждение: ему очень даже есть что сказать; к такому мы пришли заключению, и это дало нам обильную пищу для раздумий. Помню, что нафантазировал целую историю: Джордж Херн будто бы вовсе и не умер; похоронен, с соблюдением надлежащего церковного ритуала, не Херн, а какой-то убитый мистером Стивенсом докучливый шантажист. Другая версия — а все они неизменно рушились под градом вопросов Филипа — заключалась в том, что мистер Стивенс — это и есть Джордж Херн, скрывающийся от правосудия мнимый покойник. Или еще: миссис Херн — это на самом деле Джордж Херн, а наша достойная восхищения экономка — миссис Херн. По этим симптомам судите сами, как повлияло на нас опьянение солнцем и морем.

А между тем можно было бы и догадаться, почему мистер Стивенс так поспешно заверил нас, что Джордж Херн похоронен на кладбище, и мы догадывались, но помалкивали. И именно потому, что это объяснение мы с Филипом считали единственно верным, оно ни разу не сорвалось у нас с языка. Мы были больны им, как болеют лихорадкой или чумой. А затем всем нашим фантастическим выдумкам настал конец, ибо мы

знали, что Истина уже не за горами. Мы и раньше улавливали ее отсветы, отдаленные вспышки, а теперь явственно услышали ее раскаты.

В тот день было жарко и пасмурно. Утром мы купались, потом предавались безделью, но Филип после чая, против обыкновения, отказался пойти со мной на прогулку, и я отправился один. Этим утром миссис Криддл заявила безапелляционно, что в спальне в передней части дома мне будет гораздо прохладнее, так как она продувается бризом. Я возразил, что и солнца в ней больше, но миссис Криддл твердо решила выселить меня из спальни с видом на теннисный корт и липы, и мне не под силу было противостоять ее вежливому напору.

К тому времени, когда за чаепитием последовала прогулка, переезд уже осуществился, и я мог только размышлять на ходу, стараясь докопаться до его истинных причин: доводы, приведенные миссис Криддл, не убедили бы ни одного уважающего себя человека. Однако в такую жару шевелить извилинами было трудновато, так что к окончанию прогулки загадка так и осталась загадкой, нелепой и неразрешимой. Возвращался я через кладбище и узнал, что всего два дня отделяет нас от годовщины смерти Джорджа Херна.

На террасе перед домом Филипа не было, и я вошел в холл, надеясь найти его там или в саду за домом. Едва переступив порог, я сразу заметил его темный силуэт напротив открытой стеклянной двери в конце холла, которая выходила в сад. Он не обернулся на шум, а сделал шаг-другой в сторону той дальней двери, оставаясь по-прежнему на фоне дверного проема. Я взглянул на стол, где лежала почта, обнаружил письма, адресованные и мне самому, и Филипу, и снова поднял глаза. В дальнем конце холла не было никого.

«Значит, он ускорил шаги», — подумал я, — но одновременно мне стукнуло в голову, что если Филип был в холле, то он должен был взять свои письма; непонятно было также, почему он не обернулся, когда я вошел. Так или иначе, я решил его догнать. Прихватив свою и его почту, я поспешил к двери. Там я ощутил легкий холодок в воздухе, совершенно необъяснимый в такой жаркий день. Я шагнул через порог. Филип сидел в дальнем конце корта.

Держа в руках письма, я подошел к нему.

— Мне показалось, что я тебя сейчас видел в холле, — сказал я, уже понимая, что это не имеет ничего общего с действительностью.

Филип быстро взглянул на меня.

— Ты только что вернулся? — спросил он.

— Да. А что?

— Полчаса назад я зашел в холл посмотреть, не пришла ли почта, и мне показалось, что ты был там.

— И что я делал?

— Вышел на террасу. Но я выглянул и тебя не обнаружил.

Мы ненадолго замолчали, пока Филип вскрывал письма.

— Чертовски интересно, — заметил он. — Кроме тебя и меня здесь есть еще кто-то.

— А что ты еще заметил? — спросил я.

Он усмехнулся и указал на липы.

— Это полная нелепица — смешно и говорить. Только что я видел кусок веревки, который свисал с толстого сука вот на том дереве. Видел совершенно отчетливо, а потом его вдруг не стало.

Философы долго спорили о том, какое из человеческих чувств следует признать самым сильным. Одни говорили, что это любовь, другие — ненависть, третьи — страх. А я бы на один уровень с этими классическими чувствами, если не выше, поставил любопытство, самое простое любопытство. Вне сомнения, в ту минуту оно соперничало в моей душе со страхом — без этого

тоже не обошлось.

Пока Филип говорил, в сад вышла горничная с телеграммой в руке. Она протянула телеграмму Филипу, тот молча нацарапал на бланке ответ и вернул горничной.

— Вот досада! — воскликнул он. — Но делать нечего. Пару дней назад я получил письмо и узнал, что, возможно, мне придется вернуться в город, а из телеграммы следует, что этого не избежать. Одному из моих пациентов грозит операция. Я надеялся, что можно будет обойтись без нее, но мой заместитель не берет на себя ответственность принять решение.

Филип взглянул на часы.

— Я успею на ночной поезд, — продолжал он, — и надо бы выехать завтра обратно тоже ночным поездом. Стало быть, здесь я буду послезавтра утром. Ничего не поделаешь. Да! Что мне сейчас очень пригодится, это твой любимый телефон. Я закажу такси в Фалмуте, и тогда с отъездом можно будет потянуть до вечера.

Филип пошел в дом. Я слышал, как он стучит и грохочет там, возясь с телефонным аппаратом. Вскоре он позвал миссис Криддл, а затем возвратился.

— Телефон отключен, — сказал Филип. — Его

отключили еще год назад, а аппарат не убрали. Но в деревне, оказывается, можно нанять двуколку, и миссис Криддл уже за ней послала. Если я отправлюсь сейчас, то успею к поезду как раз вовремя. Спайсер уже упаковывает вещи, и еще я прихвачу с собой сандвич.

Он стал пристально всматриваться в подстриженные деревья на насыпи.

— Да, именно там, — произнес Филип. — Я видел совершенно отчетливо, что она там была, и потом ее не стало. Да к тому же еще этот твой телефон.

Тут я рассказал ему о лестнице, которую видел под тем самым деревом, с которого свисала веревка.

— Любопытно, так все это неожиданно, так нелепо. Какая досада, что меня вызвали именно сейчас, когда… когда вещи, пребывавшие в темноте, вот-вот войдут в полосу света. Но, надеюсь, через полтора дня я снова буду здесь. А ты тем временем наблюдай как можно внимательней и в любом случае не выдумывай никаких теорий. Дарвин утверждает где-то, что без теории наблюдение невозможно, но нет ничего опаснее, чем смешивать наблюдение и толкование. Теория, волей-неволей, влияет на воображение, и чело-

век в результате видит и слышит именно то, что вписывается в его теорию. Так что ограничься наблюдением; сделайся фонографом или объективом фотоаппарата.

Вскоре прибыл экипаж, и я проводил Филипа до ворот. «Все, что нам до сих пор являлось, — это фрагменты, — сказал он. — Ты слышал телефонный звонок, я видел веревку. Мы оба видели человеческую фигуру, но в разное время и в разных местах. Все бы отдал, чтобы не уезжать отсюда».

Я бы тоже многое отдал, чтобы он не уезжал, когда после обеда подумал о предстоящем одиноком вечере и обязанности «наблюдать». И объяснялось это чувство не столько научным пылом и стремлением собрать, объективности ради, лишние показания, а более всего страхом перед тем непонятным, что скрывалось до сих пор в безграничной тьме, окружающей узкую сферу человеческого опыта. Пришлось мне, наконец, связать в единую цепочку телефонный звонок, веревку и лестницу, а связующим звеном была та самая человеческая фигура, которую видели мы оба. Мой мозг уже закипал, теории всплывали там пузырьками, но я решил не допустить, чтобы они замутили спокойную поверхность разума;

не следовало давать разгуляться воображению: напротив, его нужно было обуздывать.

Поэтому я занялся тем, чем обычно занимаешься в одиночестве. Сначала я сидел на террасе, потом переместился под крышу, потому что стал накрапывать дождик. Ничто не нарушало видимого спокойствия этого вечера, но внутри меня все бурлило от страха и любопытства. Я слышал, как по черной лестнице потихоньку отправились спать слуги, и вскоре последовал их примеру. На мгновение я забыл, что сплю теперь в другой комнате, и подергал ручку двери своей прежней спальни. Дверь была заперта.

Безусловно, на сей раз это было делом рук человеческих, и я тут же решил проникнуть в комнату. Ключа в замке не было — значит, дверь была заперта снаружи. Я пошарил по дверной притолоке — как и рассчитывал, обнаружил там ключ и ступил в комнату.

Она была совершенно пуста, шторы раздвинуты. Оглядевшись, я приблизился к окну. Луна взошла, свет пробивался сквозь облака, и кое-что на улице можно было различить. Вот он, ряд подстриженных деревьев. И тут у меня перехватило дыхание: под одним из суков, в футе или двух, болталось что-то белесое и овальное. Ничего

больше разглядеть в полумраке мне не удалось, но в голове у меня тут же начали роиться предположения. Однако, едва показавшись, загадочное видение сразу исчезло и не стало видно ничего, кроме глубокой тени и застывших в неподвижном воздухе деревьев. В ту же секунду я понял, что в комнате я не один.

Я быстро обернулся, но не увидел ничего такого, что подкрепило бы мою уверенность. И все же она не рассеялась. Рядом со мной что-то было, и это невидимое, но очевидное присутствие не нуждалось в доказательствах. Как это ни постыдно, по лбу моему от ужаса заструился пот. Не знаю почему, но я был уверен, что в комнате находится именно та загадочная фигура, которую мы с Филипом сегодня видели в холле, и — хотите верьте, хотите нет — незримая, она внушала мне еще больший ужас. Я знал также, что, по-прежнему не являясь глазу, она приблизилась ко мне, и я со скорбью и ужасом постигаю ее душу, исполненную греха и отчаяния.

На несколько минут или, возможно, секунд, пока длилась эта одержимость, я оцепенел, а потом неведомая сила ослабила хватку, я на трясущихся ногах проковылял к двери, вышел и запер ее на ключ. Закрывая дверь, я уже усмехался, вспоми-

ная свое мимолетное приключение. В коридоре страх окончательно покинул меня. Я добрался до своей комнаты, лег в постель и вскоре заснул. Больше не было нужды задавать себе вопрос, почему миссис Криддл меня переселила. Она знала, что моя прежняя комната может понадобиться другому постояльцу: ведь близился тот день, когда умер Джордж Херн и был похоронен на кладбище.

Ночь миновала спокойно, день последовал невероятно знойный, безветренный и душный. Даже море растеряло свою живительную прохладу, и купание меня не освежило, а, наоборот, сделало еще более вялым. Ни дуновения ветерка, деревья как окаменели, от горизонта до горизонта небо было обложено сгущающейся пеленой. Когорты грозовых облаков строились в тишине, и весь день я чувствовал, что, помимо природных, некая иная сила готовится проявить себя со всей мощью.

Я переместился поближе к дому. Ужас мой непрерывно нарастал. После обеда я собирался воспользоваться приглашением мистера Стивенса и навестить его, чтобы час-другой провести не в одиночестве. Но я все откладывал выход, пока не оказалось, что время уже чересчур позднее для

визитов. Пробило десять, а я все еще торчал на террасе перед домом. Нервы мои были на пределе: малейший шум или звук шагов — и я оборачивался, ожидая увидеть за спиной Бог знает что; однако звуки тут же стихали. Единственная лампа стояла в холле, но у меня была свеча для того, чтобы преодолеть путь до спальни.

Вскоре я туда было и направился, но внезапно устыдился своего бездарного малодушия: мне взбрело в голову обойти вокруг дома и убедиться, что все спокойно, а страхи мои, непонятной, невыразимой тяжестью сдавившие грудь, — всего лишь следствие удушливой атмосферы предгрозовой ночи. Такое напряжение в воздухе не может сохраняться бесконечно; скоро начнется гроза, наступит облегчение, и станет ясно, что бояться нечего. И вот я вернулся на террасу, обогнул угол дома и вышел к теннисному корту.

Луна еще не взошла, и было так темно, что я едва различал очертания дома и подстриженные деревья на насыпи, но сквозь стеклянную дверь холла проникал свет горевшей там лампы. Всюду царило полное спокойствие. Приободрившись, я пересек лужайку и развернулся, чтобы пойти обратно. Около освещенной двери я услышал какой-то звук. Он доносился оттуда, где лежала

густая тень подстриженных деревьев. Похоже было, что в траву с упругим стуком свалился какой-то массивный предмет. Одновременно раздался треск внезапно согнувшегося под тяжестью сука. А потом, хотя было темно и ничего не видно, у меня возникло странное, ни на чем не основанное, но несокрушимое убеждение, будто я знаю, что происходит. Чувство ужаса, какого я никогда не испытывал, охватило меня. Едва ли его можно было назвать физическим — оно исходило из самых глубин души.

Небеса треснули, пролился ослепительный свет, и впереди, в нескольких ярдах, я увидел нечто небывалое. Стук был вызван падением лестницы, а на суку липы, раскачиваясь и вращаясь на веревке, висел человек. Лицо его белело в темноте. Тут же раскат грома взорвал тишину, и сплошным потоком хлынул дождь. Не успела еще померкнуть первая жуткая вспышка, как новая молния распорола облака, но, глядя все туда же, я не обнаружил ничего, кроме четкой тени деревьев и согнувшихся под напором дождя верхних ветвей. Гроза ревела и бушевала всю ночь, я ни разу не сомкнул глаз, и в течение часа, не меньше, между раскатами грома слышал телефонные звонки.

На следующее утро вернулся Филип; я все рассказал ему в точности так, как описано выше. Все три недели, которые нам осталось провести в Полвизи, мы бдительно наблюдали, но ничего, что могло бы представить интерес для оккультиста, не увидели и не услышали. День за днем протекал в восхитительном безделье: мы купались, бродили без цели, по вечерам играли в пикет и, между прочим, подружились с викарием. Это был интересный человек, кладезь всяких любопытных сведений о местных преданиях и поверьях, а однажды вечером, когда наша дружба уже настолько окрепла, что викарий у нас отобедал, он задал Филипу прямой вопрос: не случалось ли нам, за время пребывания здесь, наблюдать что-нибудь необычное.

Филип мотнул головой в мою сторону.

— Да, особенно моему другу, — ответил он.

— А нельзя ли мне узнать, что это было? — попросил викарий.

Выслушав мой рассказ, он немного помолчал.

— Думаю, вы имеете полное право получить… объяснение, так, наверное, следует выразиться, — сказал мистер Стивенс. — Если хотите, то я готов вам его дать.

Наше молчание было знаком согласия.

— Я помню, как встретил вас обоих на следующий день после вашего приезда сюда, — начал викарий, — и как вы спрашивали о надгробии на кладбище в память Джорджа Херна. Мне не хотелось тогда о нем говорить, а почему — вы сейчас узнаете. Я сказал, помнится (и на этом оборвал разговор), что похороненный там Джордж Херн — муж миссис Херн. Теперь вы, вероятно, догадываетесь: кое-что я тогда от вас скрыл. Возможно даже, вы сразу об этом догадались.

Он не стал ждать, пока мы подтвердим или опровергнем это предположение. Мы сидели на террасе в глубоких сумерках, и это скрадывало индивидуальность рассказчика. Мы просто слушали голос, никому как будто не принадлежащий, — чтение анонимной летописи.

— Здешнее имение, довольно значительное, досталось Джорджу Херну в наследство всего лишь за два года до смерти. Вскоре затем он женился. И до, и после женитьбы жизнь он вел, как ни суди, порочную. Мне кажется, — Господи, прости, если я неправ, — что он поклонялся злу, любил зло как таковое. Но в пустыне его души распустился цветок: любовь и преданность жене. И способность стыдиться.

За две недели до… смерти Джорджа Херна его

жене стало известно, что́ он собой представляет и какую жизнь ведет. Умолчу о том, что́ она узнала конкретно, скажу одно: это было омерзительно. В то время она находилась здесь, а мистер Херн должен был в тот же день прибыть из Лондона. Приехав, он обнаружил записку от жены. Там говорилось, что жена от него уходит и не вернется никогда. Миссис Херн писала, что муж должен взять на себя вину в бракоразводном процессе, в противном случае она грозила ему разоблачением.

Мы с Херном были друзьями. В тот вечер он пришел ко мне с этой запиской, подтвердил, что сказанное в ней справедливо, но все же просил меня вмешаться. Херн говорил, что только жена может спасти его душу от вечных мук, и, кажется, был искренен. Как духовное лицо, я все же не причислил бы его к кающимся. Он возненавидел не сам грех, а только его последствия. Тем не менее у меня появилась надежда, что, если жена к нему вернется, он, возможно, будет спасен, и назавтра я отправился к ней. Все мои слова ее нисколько не поколебали, и мне пришлось вернуться ни с чем и объявить Херну, что моя миссия закончилась провалом.

По моему убеждению, человек, который питает

к злу такое пристрастие, что сознательно предпочитает его добру, не может считаться умственно здоровым. Я уверен, что, когда жена отреклась от Херна, его хрупкое душевное равновесие было полностью нарушено. Оно поддерживалось только любовью к жене, но та — и я вполне ее понимаю — не желала иметь с ним ничего общего. Если бы вы знали то, что известно мне, вы бы тоже ее не осудили. Однако для Херна это стало окончательным крушением. Спустя три дня я отправил ей письмо. Там было сказано, что погибель мужа будет на ее совести, если она не пожертвует собой и не приедет. Миссис Херн получила это письмо на следующий вечер — слишком поздно.

В тот день, 15 августа, два года назад, в бухте прибило к берегу мертвое тело, и в тот же вечер Джордж Херн взял в огороде лестницу и повесился. Он взобрался на липу, привязал к суку веревку, сделал на конце скользящую петлю и опрокинул лестницу.

Тем временем миссис Херн получила мое письмо. Часа два она боролась с собой и, наконец, приняла решение вернуться. Она позвонила мужу по телефону, но экономка, миссис Криддл, могла сообщить только, что мистер Херн после

обеда вышел. Миссис Херн звонила еще несколько раз на протяжении двух часов, но ничего нового не услышала.

В конце концов, она положила не терять больше времени и приехала сюда на автомобиле из дома своей матери, на севере страны. Луна уже взошла, и, выглянув из окна в спальне мужа, миссис Херн его увидела.

Викарий помолчал.

— На дознании, — продолжил он, — я с чистой совестью засвидетельствовал, что, по моему мнению, Джордж Херн был невменяем. Был вынесен вердикт «самоубийство в припадке умопомешательства», и Херна похоронили на кладбище. Веревку сожгли, лестницу тоже.

Горничная принесла напитки. Пока она не ушла, мы молчали.

— А что вы скажете о телефонных звонках, которые слышал мой друг? — спросил Филип.

На мгновение мистер Стивенс задумался.

— А не кажется ли вам, — задал он вопрос, — что сильные чувства, вроде тех, какие испытывала миссис Херн, сохраняются, как будто в записи на пластинку, а человека с восприимчивой психикой можно сравнить с патефонной иглой? Игла соприкасается с пластинкой, и происходит вос-

произведение. И, может быть, так же обстоят дела и с этим несчастным самоубийцей. Не допустить же мысль, что его душа обречена год за годом возвращаться на то место, где он творил свои безумства и свои преступления?

— Год за годом? — спросил я.

— Да, судя по всему. Год назад я сам его видел, и миссис Криддл тоже.

Мистер Стивенс встал.

— Кто знает? — сказал он. — Быть может, это искупление. Кто знает?

1923

Монтегю Родс Джеймс
1862–1936
Предостережение любопытным

Местечко на восточном побережье, к которому я хочу привлечь внимание читателя, известно под названием Сибург. Оно знакомо мне с детства и с тех пор мало изменилось. К югу — болотистая местность с сетью канав, воскрешающая в памяти первые главы «Больших надежд»; к северу — плоские поля, которые переходят в вересковую пустошь; напротив берега — вереск, хвойные леса и можжевельник. Вдоль длинной прибрежной полосы — улица, за ней большая каменная церковь с внушительной фасадной башней и шестью колоколами. Вспоминаю, как эти колокола звонили в один жаркий августовский воскресный день, а мы медленно взбирались им навстречу по пыльной белой дороге (чтобы подойти к церкви, нужно преодолеть короткий крутой подъем). В те жаркие дни они издавали унылый сухой звук, а когда воздух становился мягче, то и колокола звучали нежнее. Рядом проходила железная дорога, а чуть дальше располагалась крохотная

конечная станция. Не доходя до вокзала, вы натыкались на ярко-белую ветряную мельницу. Была и другая — на южной окраине городка, вблизи усеянного галькой берега, и еще несколько, на возвышенности к северу. Были здесь коттеджи из ярко-красного кирпича с шиферными крышами… Но к чему я обременяю вас всеми этими банальными подробностями? Дело в том, что стоит начать описывать Сибург — и они сами в изобилии стекают с пера. Хотелось бы надеяться, что совсем уж лишние не попали на бумагу. Но прошу прощения, я не окончил еще живописать местность.

Давайте удалимся от побережья и от городка, минуем станцию и свернем направо. Если идти по грунтовой дороге параллельно железнодорожной колее, придется все время взбираться вверх. Слева (а путь наш ведет на север) простирается вересковая пустошь, а справа, со стороны моря, видна полоса старых, потрепанных непогодой елей, с густыми верхушками, скособоченных, как обычно бывает со старыми деревьями, которые выросли на морском берегу; стоит увидеть их очертания из окошка поезда — и сразу станет ясно, если вы раньше об этом не знали, что невдалеке побережье, обдуваемое ветрами. Ну

вот, а на вершине небольшого холма эта череда елей разворачивается и направляется в сторону моря, следуя за вытянутыми очертаниями возвышенности. На краю возвышенности расположен довольно четко различимый курган с несколькими елями на вершине, откуда открывается вид на ровное, поросшее жесткой травой пространство внизу. Здесь хорошо посидеть в жаркий весенний день, с удовольствием обозревая синий морской простор, белые мельницы, красные коттеджи, ярко-зеленый ковер травы, церковную башню и высокую башню мартелло далеко на юге.

Как я уже сказал, Сибург я знаю с детства, но мои ранние впечатления от недавних отделяет промежуток во много лет. Как бы то ни было, я по-прежнему привязан к Сибургу, и мне интересно все, что с ним связано. Имеет к нему отношение и эта история, а услышал я ее совершенно случайно вдали от Сибурга. Поведал ее один человек, которому я как-то оказал услугу, и по этой причине он проникся ко мне доверием.

— Мне знакомы те места, — сказал он. — Я обычно приезжал в Сибург весной, чтобы поиграть в гольф. Останавливался я, как правило, в «Медведе», вместе со своим другом Генри Лонгом, вы его, возможно, знали («Немножко», — сказал я). У

нас была гостиная на двоих, и мы замечательно проводили время. С тех пор как Лонг умер, мне уже не хочется туда возвращаться. Да и в любом случае вряд ли бы меня туда потянуло после того, что произошло в наш последний приезд.

Это было в апреле 19** года. По случайности, кроме нас, в гостинице почти не было постояльцев. Поэтому в общих помещениях царило почти полное безлюдье. Тем более мы были удивлены, когда после обеда дверь нашей гостиной открылась и в комнату заглянул молодой человек. Мы его видели раньше: это был малокровный, хиловатый субъект, светловолосый и светлоглазый, не лишенный, впрочем, приятности. Так что в ответ на вопрос: «Прошу прощения, это ваш номер или общая гостиная?» мы не проворчали, насупившись: «Это наша комната», а кто-то из нас (Лонг или я, уж не помню) произнес: «Входите, будьте любезны». — «О, так мне можно здесь посидеть?» — проговорил молодой человек с явным облегчением. Заметно было, что ему очень хочется побыть в обществе себе подобных, а так как человек он был приличный, не из тех, кто обрушит вам на голову истории всех своих родственников до пятого колена, то мы пригласили его располагаться как дома. «В общих комнатах

сейчас, вероятно, мрачновато», — заметил я. Вот именно, мрачновато; но как же любезно с нашей стороны… и так далее. Покончив с изъявлениями благодарности, молодой человек сделал вид, что погрузился в чтение. Лонг раскладывал пасьянс; я принялся писать. Но вскоре я понял, что нервное, взвинченное состояние, в котором, видимо, находился наш гость, передалось и мне, поэтому я отложил свои бумаги и повернулся к посетителю, приглашая его к беседе.

Мы слегка поболтали о том о сем, и молодой человек постепенно освоился в нашем обществе. «Вам это покажется странным, — так он начал, — но дело в том, что я недавно пережил потрясение». Ну что ж, я тут же предложил выпить, чтобы взбодриться, и мы так и сделали. Приход официанта прервал ламентации нашего юного друга (мне показалось, что тот дернулся, когда открылась дверь), но ненадолго. Он здесь никого не знает, а о нас он слышал (от каких-то общих знакомых в соседнем большом городе), и ему позарез нужен добрый совет, и если мы не против… «Ради бога» и «конечно, не против», — только и оставалось сказать, а Лонг отложил в сторону карты. И мы приготовились выслушать, в чем состоят его затруднения.

«Началось это, — проговорил юноша, — недели полторы назад. Я тогда ездил на велосипеде во Фростон — это всего в пяти или шести милях отсюда, — чтобы осмотреть тамошнюю церковь. Я очень интересуюсь архитектурой, а там чудесный портик, бывают, знаете, такие — с нишами, с гербовыми щитами. Я его сфотографировал, а потом ко мне подошел старик, который присматривает за кладбищем, и спросил, не хочу ли я зайти в церковь. Я ответил, что хочу, он вынул ключ и впустил меня внутрь. Там не было ничего особенного, но я сказал, что церквушка замечательная, что прибрано там очень чисто, но самое лучшее — это, конечно, портик. В ту минуту мы как раз стояли рядом с портиком, и старик заметил: „Да, портик у нас красивый; а знаете ли вы, сэр, что это за герб?“

Он указал на герб с тремя коронами. Я не знаток геральдики, но смог определить, что это, вероятно, старинный герб королевства Восточной Англии.

„Верно, сэр, — подтвердил старик, — а знаете ли вы, что означают эти три короны?“ Я ответил, что это, конечно, какой-то известный символ, но я не помню, приходилось ли мне что-либо о нем слышать.

„Вы, видать, сэр, человек ученый, — продолжал старик, — но я вам расскажу кое-что, чего вы не знаете. Это три святые короны, они зарыты в землю на берегу, чтобы здесь не смогли высадиться германцы, — да вы, я вижу, не верите. Но я вам вот что скажу: если бы не одна из этих корон, что лежит здесь в земле по сию пору, германцы бы нагрянули как пить дать, и не один раз. Сошли бы с кораблей и поубивали всех подряд: и мужчин, и женщин, и младенцев в колыбели. Это чистая правда, как Бог свят, а если вы мне не верите, то спросите у священника, вот он идет, спросите у него сами“.

Я оглянулся и увидел, что по тропинке поднимается священник, красивый старик. Я хотел было заверить своего собеседника, который все больше горячился, что и не думаю сомневаться, но священник вмешался в разговор:

„В чем дело, Джон? Добрый день, сэр. Любуетесь нашей церковью?“

Мы немного побеседовали, давая сторожу время успокоиться, а затем священник снова спросил его, в чем дело.

„Да ничего особенного, — ответил тот. — Просто я говорил этому джентльмену, чтобы он спросил у вас насчет трех святых корон“.

„А, ну да, — произнес священник, — это весьма любопытная история. Но не знаю, будут ли интересны джентльмену наши старинные предания?“

„Еще бы не интересны! — с жаром начал убеждать его Джон. — Ведь вам-то он поверит, сэр; как же, вы ведь знали Уильяма Эйджера — обоих, и отца и сына“.

Тут и я вставил слово и принялся уверять, что горю желанием все услышать. В результате я отправился вместе со священником. Мы прошлись по деревенской улице (священнику нужно было обменяться парой слов с кем-то из прихожан) и наконец оказались в доме священника, в его кабинете. Доро́гой священник расспросил меня и мог убедиться, что я не просто любопытствующий турист, а серьезно интересуюсь фольклором. Поэтому он с большим удовольствием приступил к своему рассказу, а когда закончил, мне оставалось только удивляться, что такая замечательная легенда до сих пор не опубликована.

Вот что он мне поведал: „В здешних краях народ всегда верил в три святые короны. Старожилы говорят, что все они зарыты в разных местах вблизи берега и охраняют местность то ли от датчан, то ли от французов или германцев.

Рассказывают, что одну из этих корон кто-то выкопал еще в стародавние времена, другую поглотило наступавшее на побережье море, осталась только одна, и она по-прежнему делает свое дело — не дает вторгнуться сюда чужеземцам. Так вот, если вы читали путеводители или труды по истории нашего графства, то, возможно, вспомните, что в 1687 году в Рендлсхеме была обнаружена закопанная там корона Редволда, короля восточных англов. Увы, она была пущена в переплавку, прежде чем кто-нибудь успел ее подробно описать или же зарисовать. Правда, Рендлсхем стоит не на самом берегу, но не так уж далеко от берега, и как раз на оживленной дороге, ведущей к побережью. Уверен, это была именно та корона, которую, как люди говорят, кто-то выкопал. Далее, к югу отсюда — не мне вам рассказывать, где именно, — располагался дворец саксонских королей, ныне оказавшийся на морском дне, так ведь? Думаю, как раз там и была вторая корона. А кроме этих двух, где-то, как говорят старики, зарыта и третья“.

Мне ничего не оставалось, кроме как спросить: „А где она зарыта, они не говорят?“

Священник бросил в ответ: „Говорят, конечно, но не каждому“. Он произнес это так, что сле-

дующий напрашивавшийся сам собой вопрос я задать не решился. Вместо этого я чуть помедлил и спросил: „Сторож утверждал, что вы знали Уильяма Эйджера. Он как будто связывал этот факт с тремя коронами“.

„Да, это целая история, — отозвался священник, — и тоже весьма любопытная. Эйджеры — а эта фамилия встречается в наших краях, но, насколько мне известно, среди них не было ни выдающихся людей, ни крупных собственников, — так вот, Эйджеры утверждают или утверждали, что они, то есть представители их ветви рода, являются хранителями последней короны. Самый старший из Эйджеров, кого я знал, был старый Натаниел Эйджер (я родился и вырос поблизости отсюда), и он, мне кажется, безвылазно дежурил здесь на побережье, пока шла война 1870 года.

Уильям, его сын, во время Южноафриканской войны вел себя точно так же. А его сын, молодой Уильям, который умер совсем недавно, поселился в коттедже рядом с тем самым местом. Он страдал чахоткой и, не сомневаюсь, сам приблизил свой конец, обходя побережье ночью, в непогоду. Он был последним в роду. Для него было горем, что он последний, но ничего нельзя было поделать:

немногие его родственники жили в колониях. Я по его просьбе писал им письма, умолял приехать, объяснял, что речь идет о деле, чрезвычайно важном для всего их рода, но ответа не было. Так что последняя из трех святых корон — если, конечно, она существует — лишилась теперь хранителя“.

Вот что рассказал мне священник, и можете себе вообразить, как меня заинтересовал его рассказ. Ни о чем другом я уже не мог думать, только о том, где же она спрятана, эта последняя корона. Нет чтобы выбросить все это из головы!

Но не иначе как меня преследовал рок: когда я ехал обратно на велосипеде мимо кладбища, на глаза мне попалась недавно установленная могильная плита с именем Уильяма Эйджера. Разумеется, я остановился и прочел надпись. Она гласила: „Уильям Эйджер, житель здешнего прихода, умер в Сибурге в 19**, 28 лет от роду“. Вот так находка! А стоит задать несколько толковых вопросов кому нужно — и найдется по крайней мере коттедж, что „рядом с тем самым местом“. Только вот кому бы задать эти вопросы? И снова вмешалась судьба: именно она привела меня в антикварную лавку, в той стороне, — вы там, наверное, бывали. Я рылся в старинных книгах,

и пожалуйста — наткнулся на молитвенник тысяча семьсот сорок какого-то года в довольно красивом переплете. Сейчас я его принесу, он у меня в комнате».

Мы были несколько растеряны, но прежде чем успели обменяться хоть парой слов, наш гость, запыхавшись, влетел в комнату и протянул нам молитвенник, раскрытый на первой странице. Там было нацарапано:

> *Звать Натаниел Эйджер меня, в Англии я возрос,*
>
> *В Сибурге я обитаю, спасенье мое – Христос.*
>
> *Я в могилу сойду, и не вспомнят о мертвых моих костях,*
>
> *Но Господь не оставит меня, когда обращусь я в прах*[48].

Внизу стояла дата: «1754». Были и записи, относившиеся к другим Эйджерам: Натаниелу, Фредерику, Уильяму и так далее. В конце стояло: «Уильям, 19**».

«Вот видите, — сказал наш новый знакомый, — любой бы счел это величайшим везением. Я и сам

---

[48] Примечания: 48
Перевод С. Сухарева.

так считал… тогда. Конечно, я спросил хозяина лавки об Уильяме Эйджере, и он, конечно, припомнил, что тот жил в коттедже в Норт-Филде и там же умер. Стало ясно, что делать дальше. Я догадывался, что это за коттедж: там всего один и есть подходящего размера. Нужно было посмотреть, что за люди там живут, и я отправился туда немедля.

Неоценимую услугу мне оказала собака: она набросилась на меня с такой яростью, что хозяевам пришлось выбежать из дому и отогнать ее. Разумеется, потом они попросили у меня прощения, и завязался разговор. Мне достаточно было вскользь упомянуть Эйджера и сказать: я, мол, кажется, о нем слышал, и женщина тут же посетовала, что он умер таким молодым. Она была уверена: это произошло из-за того, что он провел ночь на улице, а погода стояла холодная. Лишь только я спросил: „Так он прогуливался по ночам по берегу моря?“ — как услышал в ответ: „Не по берегу, а по тому холму с деревьями на верхушке“. Вот и все.

Мне кое-что известно о раскопках на курганах: я сам вскрыл немало курганов в Южной Англии. Но это делалось с разрешения владельца земли, при свете дня, с участием помощников. На

этот раз без тщательной разведки нельзя было браться за лопату: копать ров поперек кургана невозможно, и к тому же будут мешать корни старых елей, которые растут наверху. Правда, грунт здесь рыхлый, песчаный, и имеется что-то вроде кроличьей норы, которую можно расширить и превратить в туннель. Затруднительно будет выходить из гостиницы и входить туда в неурочные часы. Когда я обдумал, как вести раскопки, я объявил, что меня вызвали и ночевать в гостинице я в этот раз не буду. Туннель я вырыл; не стану докучать вам подробным рассказом о том, как я его укреплял и как зарыл, когда дело было сделано; главное одно — я добыл корону».

Разумеется, мы с Лонгом издали возгласы изумления и любопытства. Что касается меня, то я давно знал о короне, найденной в Рендл-схеме, и часто оплакивал ее судьбу. Никому еще не доводилось видеть корону англосаксонских королей — тогда не доводилось. Наш юный друг ответствовал нам унылым взглядом. «Да, — вздохнул он, — а самое ужасное, что я не знаю, как вернуть ее обратно».

«Вернуть? — вскричали мы в один голос. — Но зачем, скажите на милость? Вы сделали одну из величайших находок в истории нашей страны.

Вам следует отправиться прямиком в сокровищницу Тауэра. Что вас смущает? Если нужно разобраться с хозяином земли, с правами на владение кладом и тому подобное, то мы вам поможем, не сомневайтесь. В таких случаях формальности улаживаются легко».

Мы говорили еще что-то в том же роде, но наш гость в ответ только бормотал, пряча лицо в ладонях: «Знать бы мне, как вернуть ее на место».

Наконец Лонг произнес: «Простите за нетактичный вопрос, но вы нашли именно то, что искали? Вы уверены?» Я и сам хотел об этом спросить, потому что вся история сильно смахивала на бред сумасшедшего, но не решался — боялся обидеть беднягу. Однако он отреагировал вполне спокойно — можно сказать, со спокойствием отчаяния. Он выпрямился и заявил: «О, в этом нет сомнения; она сейчас у меня в комнате, лежит запертая в рюкзаке. Если хотите, можно пойти взглянуть; сюда я ее не понесу».

Не упускать же было такой случай! Мы пошли с юношей к нему в комнату; она находилась в нескольких шагах от нашей. Как раз перед этим в коридоре слуга собирал обувь — так, во всяком случае, мы решили тогда. Впоследствии мы в этом засомневались. Наш гость — звали его Пакстон

— совсем скис, его била дрожь. Он проскользнул в комнату и знаком пригласил нас следовать за ним, включил свет и тщательно закрыл за нами дверь. Затем он открыл рюкзак и извлек из него нечто, завернутое в чистые платки. Он положил узел на кровать и развязал его. Теперь я могу утверждать, что видел настоящую корону англосаксонских королей. Она была серебряная — та, другая, из Рендлсхема, тоже, говорят, была из серебра, — простой, можно даже сказать, грубой работы, украшена драгоценными камнями, в основном старинными интальями и камеями. Она походила на те короны, которые можно видеть на монетах или в манускриптах.

Я бы отнес ее к девятому веку, не позже. Разумеется, я изнывал от любопытства и желания подержать корону в руках и рассмотреть ее получше, но Пакстон остановил меня. «Не трогайте, — сказал он. — Я сам». Со вздохом, который невозможно было слышать без содрогания, Пакстон взял в руки корону и стал поворачивать так, чтобы мы смогли разглядеть ее со всех сторон. «Насмотрелись?» — спросил он наконец. Мы кивнули. Пакстон снова завернул корону и спрятал в рюкзак. Он молча смотрел на нас. «Идемте обратно в нашу комнату, — предложил Лонг. — Там вы

расскажете, что вас так встревожило». Пакстон поблагодарил нас и сказал: «Может быть, вы пойдете первыми и убедитесь, что путь свободен?» Мы не совсем поняли, чего он хочет: ведь вряд ли наши действия кому-нибудь показались подозрительными, да и гостиница, как я уже говорил, была почти пуста.

Как бы то ни было, но в нас стало просыпаться… трудно сказать что, но нервы и у нас начали пошаливать. Сперва мы приоткрыли дверь и выглянули наружу, и тут нам почудилось («Уже стало чудиться», — отметил я про себя), что от двери в конец коридора проскользнула какая-то тень — или даже не тень, но, во всяком случае, скользнула она бесшумно. Мы вышли в коридор. «Все в порядке», — шепнули мы Пакстону (нам почему-то не хотелось говорить во весь голос), и все втроем, Пакстон посередине, проследовали обратно в нашу гостиную. Я уже готовился разразиться восторженной речью по поводу уникальной находки, но, взглянув на Пакстона, понял, что это будет совершенно некстати, и дождался, пока он заговорит сам.

«Что же мне делать?» — были его первые слова. Лонг, как он сам объяснил мне позже, решил, что уместнее всего будет прикинуться простачком,

и откликнулся так: «Почему бы не найти сперва владельца земли и не спросить у него...» — «Да нет же, — нетерпеливо прервал его Пакстон. — Я прошу прощения, вы были очень любезны, но неужели вы не понимаете, что ее необходимо вернуть, ночью я боюсь туда идти, а днем это сделать нельзя. Вы, может быть, и в самом деле не понимаете, так я вам скажу как на духу: с тех пор как я к ней прикоснулся, я ни на миг не оставался один». Я уже готовился произнести какую-то глупую фразу, но поймал взгляд Лонга и осекся. Лонг произнес: «Кажется, я догадываюсь, о чем идет речь, но не лучше ли будет, если вы расскажете подробней?»

И вот тайна прояснилась. Пакстон огляделся, знаком подозвал нас поближе и негромким голосом начал свой рассказ. Мы, можете не сомневаться, старались не пропустить ни слова. Позже мы сравнили то, что у нас отложилось в памяти, и я все это записал. Поэтому могу утверждать, что рассказ Пакстона передаю почти слово в слово.

Он заговорил: «Это началось, когда я еще только осматривал курган. Несколько раз это меня отпугивало. Там все время кто-то был — стоял у одной из елок. И при свете дня, заметьте. И он ни разу не оказывался прямо передо мной: я его

видел только краем глаза, слева или справа, а когда поворачивался, его там уже не было. Потом я каждый раз подолгу сидел тихо и внимательно наблюдал, убеждался, что никого нет, но стоило мне подняться и снова приступить к разведке, как он появлялся опять. А он к тому же начал подавать мне знаки: где бы я ни оставил этот самый молитвенник, возвратившись, я всегда находил его на столе. Каждый раз он был открыт на первой странице, там, где сделаны записи, а на нем — одна из моих бритв, чтобы он не захлопнулся. Под конец я уж решил прятать книгу. Наверняка мой рюкзак этому типу не открыть — иначе произошло бы что-нибудь похлеще. Он ведь слабый и хлипкий, но все же я боюсь с ним связываться.

Ну вот, а когда я рыл туннель, мне сделалось совсем невмоготу. Меня так и подмывало бросить все и убежать. Похоже было, что кто-то все время скребет меня по спине. Я думал, что это падают комья земли, но когда был уже рядом с короной, то все стало ясно. А когда я расчистил край короны, схватил ее и потянул, то сзади послышался как будто крик — и сколько же в нем было отчаяния! И угрозы тоже. У меня сразу пропало все удовольствие — как отрезало. Не будь я таким круглым идиотом, я положил бы эту штуку об-

ратно и забыл о ней. Но нет.

Остаток ночи я провел ужасно. Для возвращения в гостиницу время было неподходящее — пришлось выждать несколько часов. Сначала я засыпал туннель, потом маскировал следы, а он все старался мне помешать. Его то видно, то нет — как ему вздумается, наверное; то есть он все время на месте, но что-то такое делает с твоими глазами. Да, мне пришлось там долго торчать — до рассвета, а потом нужно было идти на станцию и возвращаться обратно на поезде. Наконец рассвело, но от этого мне не сделалось много легче.

Края дороги сплошь обсажены живой изгородью или можжевельником, — я хочу сказать, что там есть прикрытие, — и мне все время было неспокойно. А потом, когда начали попадаться люди, шедшие на работу, они все как-то странно заглядывали мне за спину. Может быть, не ожидали встретить здесь кого-нибудь так рано, но казалось, что дело не только в этом, и смотрели они не прямо на меня, а немножко в сторону. Носильщик на станции вел себя точно так же. А когда я вошел в вагон, кондуктор не сразу закрыл дверь — как будто следом за мной шел еще кто-то. И будьте уверены, мне это не почудилось. — Пак-

стон невесело усмехнулся и продолжил: — Даже если я смогу вернуть корону на место, он меня ни за что не простит, я в этом убежден. А ведь две недели назад не было человека счастливее меня». Пакстон без сил опустился в кресло, и мне показалось, что он заплакал.

Мы растерянно молчали, но чувствовали, что просто обязаны прийти ему на помощь. Другого выхода не было: мы сказали, что если ему так приспичило вернуть корону, то пусть рассчитывает на нашу помощь. Да это было и самое разумное решение после того, что мы услышали. Если на несчастного свалились такие беды, то стоило задуматься: может быть, неспроста рассказывают, что эта корона обладает чудесной властью охранять берег? Во всяком случае, такое у меня было ощущение, да и у Лонга, думаю, тоже. Как бы то ни было, наше предложение Пакстон принял с радостью. Когда же мы приступим к делу? Было почти половина одиннадцатого. Не исхитриться ли нам под каким-нибудь предлогом выбраться этой ночью из гостиницы на позднюю прогулку?

Мы выглянули из окна: ослепительно сияла полная — пасхальная — луна. Лонг взял на себя задачу умилостивить коридорного. Нужно было сказать, что мы предполагаем отсутствовать

чуть больше часа, а если увлечемся прогулкой и ему придется ждать нас немного дольше, то он не останется в накладе. Мы были хорошими постояльцами, особых хлопот не доставляли, скупостью не отличались, так что коридорный позволил себя умилостивить, отпустил нас прогуляться к морю и дождался, как мы убедились впоследствии, нашего прихода. Пакстон перекинул через руку широкое пальто, скрывшее сверток с короной.

И вот мы отправились в эту странную экспедицию, не успев даже осознать, в какое необычное дело ввязались. Я был намеренно краток в первой части своего рассказа: мне хотелось дать вам представление о том, с какой поспешностью мы наметили план действий и принялись его осуществлять.

«Ближе всего будет взобраться на холм и пройти через кладбище, — сказал Пакстон, когда мы на минутку остановились перед зданием гостиницы, чтобы хорошенько осмотреться. Вокруг не было ни души. Когда кончается курортный сезон, Сибург рано пустеет по вечерам. — Вдоль дамбы и мимо коттеджа идти нельзя — там собака», — пояснил он, когда я указал на более короткий, как я считал, путь: вдоль берега и через два поля.

Мы согласились.

Взобравшись на холм, мы достигли церкви и свернули на кладбище. Признаюсь, мне думалось: а что, если кто-то из тех, кто там лежит, знает, куда мы направляемся? Но если это и так, то им было также известно, что один из их компании (если можно так сказать) держит нас под наблюдением, и они ничем себя не выдали.

При этом нас не оставляло ощущение, что за нами следят. Не припомню ничего подобного за всю свою жизнь. Особенно усилилось это чувство, когда мы, пройдя кладбище, шагали по узкой тропинке, зажатой между двумя рядами густой и высокой живой изгороди, как Христиан по Долине, — и так, пока не выбрались на открытое место. Дальше наш путь лежал вдоль кустов, хотя я бы предпочел видеть, не крадется ли кто-нибудь сзади. Мы пересекли возвышенность, на краю которой расположен курган.

Вблизи кургана мы оба — и Генри Лонг, и я — ощутили присутствие чего-то множественного и неопределенного, чему я не подберу названия, и это помимо того единичного, но куда более ощутимого, что сопровождало нас до сих пор. Все это время Пакстон был вне себя: он дышал, как загнанный зверь, и мы просто не решались взгля-

нуть ему в лицо. Мы не задавались вопросом, как он будет действовать на месте: уж очень явно он был уверен в том, что трудностей не возникнет. Так оно и оказалось. Он молнией метнулся к известной ему точке на склоне кургана и стал зарываться в землю, так что через несколько минут почти скрылся из виду.

Мы стояли, держа в руках пальто и сверток, и посматривали по сторонам, надо признать, весьма боязливо. И ничего вокруг нас не было, кроме темневшей на фоне неба череды елей позади, деревьев и церковной башни справа, в полумиле, коттеджей и ветряной мельницы на горизонте слева, мертвенно-неподвижного моря впереди, едва слышного собачьего лая у коттеджа, где слабо мерцала плотина, полной луны и лунной дорожки на воде, вечного шепота шотландских елей над головой и вечного рокота моря вдали. И при всем спокойствии, которое нас окружало, — резкое, пронзительное ощущение стремившейся на волю враждебной силы где-то поблизости; как будто рядом была собака, готовая вот-вот сорваться с привязи.

Из норы высунулся Пакстон и не глядя протянул руку. «Разверните ее и дайте мне», — прошептал он. Мы развязали платки, и Пакстон взял корону.

В то же мгновение на нее упал лунный свет. Сами мы к ней не притронулись. Позже я думал, что ничего бы от этого не изменилось. В следующий миг Пакстон появился снова и принялся руками забрасывать землю обратно в нору. Руки у него уже кровоточили, но он не позволил нам помочь ему. На то, чтобы скрыть следы подкопа, ушло гораздо больше времени, чем на сам подкоп; но — уж не знаю почему — удалось это Пакстону как нельзя лучше. Наконец он удовлетворился результатом, и мы отправились восвояси.

Когда мы были уже в двух сотнях ярдов от холма, Лонг внезапно обратился к Пакстону: «Послушайте, вы забыли пальто. Так не годится. Видите его?» И я различил ясно: длинное темное пальто там, где был туннель. Но Пакстон шел не останавливаясь; он только потряс головой и поднял руку, на которой болталось пальто. Мы догнали его, и он сказал — недрогнувшим голосом, как будто больше не о чем было беспокоиться: «Это не оно». И в самом деле, когда мы снова оглянулись, той темной штуки на склоне уже не было.

Мы вышли на дорогу и поспешили обратно в гостиницу. Вернулись мы туда незадолго до полуночи, изобразили святую невинность и стали

расхваливать чудесную ночь и прогулку. Коридорный ждал нас, и в расчете на него мы с Лонгом и затеяли, входя в гостиницу, этот разговор. Коридорный, прежде чем закрыть дверь, выглянул наружу и сказал: «Народу, видно, сейчас на улице немного, сэр?» — «Ни души», — ответил я, а Пакстон, припоминаю, бросил на меня очень странный взгляд. «Я просто видел, как кто-то пошел вслед за вами по дороге к станции, — продолжал коридорный. — Но вас было трое, и я не думаю, чтобы тот человек замыслил дурное». Я растерялся, однако Лонг завершил беседу пожеланием: «Покойной ночи», и мы, уверив слугу, что вмиг выключим свет и ляжем в постель, отправились наверх.

Вернувшись в свою комнату, мы сделали все от нас зависящее, чтобы внушить Пакстону более оптимистический взгляд на вещи. Мы заверяли: «Корону вы вернули на место; возможно, было бы лучше, если бы вы совсем ее не трогали (тут он выразительно кивнул), но большой беды не произошло, а от нас никто ничего не узнает — ни один человек, способный повторить ваш безумный поступок. Ну, теперь-то вам полегчало? Честно признаюсь, — добавил я, — по дороге я готов был с вами согласиться, что… ну что за

нами кто-то следит, но сейчас-то все выглядит уже иначе, не правда ли?» Нет, наши уговоры не подействовали. «Вам тревожиться нечего, — проговорил в ответ Пакстон, — но я… я не прощен. Мне еще предстоит расплата за мое злосчастное святотатство. Знаю, что вы на это скажете. Церковь спасет. Да, но только душу, а не тело. Вы правы, у меня нет ощущения, что он именно сейчас поджидает меня на улице. Но…» Тут Пакстон умолк. Потом он принялся нас благодарить, и мы поспешили от него отделаться. И разумеется, мы весьма настойчиво пригласили его воспользоваться завтра нашей гостиной и сказали, что с удовольствием вместе с ним прогуляемся. А может быть, он играет в гольф? Да, играет, но завтра ему будет не до гольфа.

Ну что ж, мы ему посоветовали поспать подольше, а утром посидеть у нас в гостиной, пока мы будем играть, а потом мы вместе отправимся на прогулку. Он был сама покорность, само смирение: готов делать все, что мы сочтем нужным, но сам-то уверен, что судьбу ни отвратить, ни смягчить не удастся.

Вы спросите, почему мы не настояли на том, чтобы проводить его домой и сдать на попечение братьев или кто там у него еще имелся. Дело в

том, что у него не было родни. Недавно он решил переселиться на время в Швецию, так что его квартира в соседнем городе была пуста: все свое имущество он уже погрузил на корабль. Так или иначе, нам оставалось только лечь и заснуть — или же, как я, лечь и долго не засыпать, — а назавтра посмотреть, как все обернется. И назавтра все обернулось по-другому для нас с Лонгом, потому что утро было самое чудесное, какого только можно пожелать в апреле. Пакстон тоже выглядел иначе, когда мы увидели его за завтраком. «Первая сравнительно приличная ночь за все время», — сказал он. Тем не менее он собирался поступить, как мы договорились: все утро просидеть в гостинице, а позже совершить вместе с нами прогулку. Мы с Лонгом отправились на поле для гольфа, там встретили знакомых, играли с ними в гольф, пообедали пораньше, чтобы не поздно вернуться в гостиницу. И все же Пакстон не избежал силков смерти.

Не знаю, можно ли было это предотвратить. Думаю, это так или иначе случилось бы, что бы мы ни делали. А произошло вот что.

Мы поднялись в нашу комнату. Пакстон был там — мирно сидел за книгой. «Готовы к выходу? — спросил Лонг. — Через полчасика отправ-

ляемся?» — «Конечно». Я сказал, что нам сперва нужно переодеться и, может быть, принять ванну. В спальне я прилег и продремал минут десять. Мы с Лонгом покинули свои комнаты одновременно и вместе пошли в гостиную. Пакстона там не было — осталась только книга. Спальня Пакстона была пуста, и на первом этаже мы его тоже не обнаружили. Мы принялись громко звать его. Вышел слуга и сказал: «А я думал, джентльмены, что вы уже ушли, а тот, другой, джентльмен с вами. Он услышал, как вы его зовете снизу, с тропинки, и припустил со всех ног, а я выглянул из окна столовой, но вас не увидел. Он в ту сторону побежал, вдоль берега».

Мы молча бросились туда, куда указал слуга, — в направлении, противоположном маршруту нашего ночного путешествия. Еще не пробило четырех, погода стояла хорошая, хотя и не такая прекрасная, как с утра, и, казалось, беспокоиться было не о чем. Кругом народ, беды ждать не приходится.

Но, думаю, когда мы сорвались с места, вид у нас был такой, что слуга испугался. Он выскочил на порог, махнул рукой и крикнул: «Да-да, в ту сторону он и побежал». Мы примчались к краю усыпанной галькой отмели и притормозили.

Здесь дорога раздваивалась: можно было продолжать путь либо мимо домов, стоявших вдоль берега, либо по песчаному пляжу. Был отлив, и перед нами лежала широкая полоса песка. Можно было, разумеется, бежать и посередине, по гальке. Тогда бы мы не теряли из виду ни ту, ни другую дорогу, но передвигаться здесь было трудно. Мы выбрали песчаный пляж: он был безлюден — вдруг там действительно кто-нибудь нападет на Пакстона.

Лонг сказал, что видит Пакстона: тот бежал и размахивал тростью, как будто подавая знаки кому-то впереди. Я ничего не смог разобрать: с юга быстро приближалась полоса тумана, как часто бывает на море. Кто-то там был, а кто — не скажу. На песке виднелись следы чьих-то туфель. Были и другие следы, босые, более ранние: туфли местами их затоптали. Я ничего не могу предъявить в доказательство своих слов: Лонг мертв, ни времени, ни возможности сделать зарисовку или слепок у нас не было, а прилив вскоре все смыл. Мы разглядели на ходу эти следы — вот и все, что мы смогли сделать. Они попадались снова и снова, и у нас исчезли все сомнения: это были отпечатки босых ног и скорее костей, чем мышц.

Нам жутко было думать, что Пакстон гонится за

чем-то… чем-то подобным, думая, что следует за своими друзьями. Нетрудно догадаться, что́ нам при этом представилось: существо, за которым он гонится, внезапно останавливается, поворачивается лицом к Пакстону, и каково это лицо… полускрытое вначале туманом, который сгущается и сгущается. У меня не укладывалось в голове, как бедняга мог принять за нас это непонятное создание, а потом я вспомнил слова Пакстона: «Он что-то такое делает с моими глазами». И затем я уже только спрашивал себя, каков же будет конец, а что он неотвратим, в этом я больше не сомневался. И… а впрочем, что толку пересказывать вам все те убийственные, мрачные мысли, которые проносились у меня в голове, пока мы бежали по окутанному туманом берегу.

Жуть усиливалась еще и оттого, что солнце светило, а нам ничего не было видно. Мы различали только, что миновали дома и оказались на пустом пространстве перед старой сторожевой башней. А за ней, как вам известно, нет ничего — ни домов, ни людей, только земля, вернее, сплошная галька; справа — река, слева — море, и так долго-долго.

Но, не доходя до этого места, у самой башни мартелло… там старая батарея, на самом берегу,

помните? Сейчас от нее, должно быть, осталась пара-другая бетонных блоков, все прочее смыло, но в то время кое-что еще сохранялось, хотя и было частично разрушено. Так вот, мы бросились туда и стремглав взбежали наверх, чтобы перевести дыхание и взглянуть на отмель, если туман вдруг позволит это сделать. В любом случае нам нужно было отдышаться. Мы ведь преодолели бегом милю, не меньше. Разглядеть ничего не удалось, мы уже собирались сойти вниз и продолжить безнадежную погоню, как вдруг услышали звук, который я, за неимением другого слова, назову смехом. Если вы сможете представить себе смех без признаков дыхания, без участия легких, то поймете, о чем я говорю; но думаю, не сможете. Звук этот раздался снизу и ушел в сторону, в туман. Этого было довольно. Мы перегнулись через стену и поглядели вниз. Пакстон был там.

Разумеется, он был мертв. Следы показывали, что он пробежал вдоль края батареи, резко завернул за угол и, несомненно, попал прямо в объятия того, кто его поджидал. В рот Пакстону набились песок и камни, зубы и челюсти были раздроблены на кусочки. Мне хватило одного взгляда на его лицо.

Карабкаясь вниз, туда, где лежало тело, мы услышали крик и увидели человека, мчавшегося по берегу со стороны башни. Это был местный сторож. Опытным взглядом он сумел сквозь туман распознать неладное. Он видел, как упал Пакстон и как, мгновением позже, появились мы. Тут счастье было на нашей стороне: если бы не он, то не избежать бы нам самых роковых подозрений. Не напал ли кто-нибудь на нашего друга, спросили мы. Не может сказать — не разглядел.

Мы послали сторожа за помощью, а сами оставались у мертвого тела, пока сторож не вернулся с подмогой и носилками. До его прихода мы нашли следы на узкой полосе песка вплотную к стене батареи. Вокруг всюду галька, и никакой возможности определить, куда делся тот, другой.

Что мы могли сказать при дознании? Мы были убеждены, что в данных обстоятельствах наш долг — сохранить тайну короны от газетчиков. Не знаю, что бы вы сказали на нашем месте, но мы сговорились на следующем: познакомились мы с Пакстоном только вчера, он упоминал, что опасается какого-то человека по имени Уильям Эйджер. Кроме того, когда мы догоняли Пакстона, то видели на берегу рядом с его следами другие. Но, разумеется, к тому времени никаких отпечат-

ков на песке уже не было.

К счастью, оказалось, что никакого Уильяма Эйджера в округе никто не знает. Свидетельство сторожа освободило нас от всяких подозрений. Был вынесен вердикт, что имело место умышленное убийство, совершенное одним или несколькими неизвестными. Этим дело и ограничилось.

Все дальнейшие попытки что-либо разузнать привели в тупик, так как у Пакстона не оказалось ни родных, ни близких — буквально ни души. С тех пор я ни разу не бывал ни в самом Сибурге, ни вообще в тех краях.

1925

Хью Уолпол
1884–1941
Миссис Лант

1

— Вы верите в привидения? — спросил я Рансимана. Я задал ему этот крайне банальный вопрос скорее оттого, что долго поддерживать разговор с таким собеседником довольно трудно, нежели по какой-либо иной причине. Возможно, вам знакомы книги Рансимана — «Бегущий человек», «Вяз», «Кристалл и горящая свеча», — но, вероятнее всего, нет.

Рансиман — один из тех незаметных писателей, которые выказывают достаточное постоянство в наше время перепроизводства книг: каждую осень они публикуют новый роман, вызывающий бурный восторг и похвалы у критиков определенного рода, имеют небольшую, но преданную читательскую аудиторию, очень мало известны, крайне неинтересны в общении и зачастую застенчивы, нервны, унылы и далеки от повседневной жизни. Такие писатели создают порой чудесные произведения, но не получают признания при жизни и еще лет эдак пятьдесят после смерти, — правда, затем бывают извлечены из забвения каким-нибудь дотошным критиком и становятся кумирами нового поколения.

Я задал Рансиману вопрос о привидениях, ибо по какой-то непонятной мне самому причине пригласил этого человека пообедать к себе домой и теперь оказался перед малоприятной перспективой провести в его обществе длинный вечер за самым утомительным из всех возможных разговоров, который каждые две минуты замирает и возобновляется лишь невероятными усилиями собеседников.

Рансиман чувствовал себя тем более неуверенно в моем обществе, что я, как литературный критик, много раз хвалил его работы. Если бы я ругал их, возможно, мой гость нашел бы много тем для разговора; уж такого рода он был человек. Но вопрос мой оказался удачным. Рансиман мгновенно встрепенулся; его длинное костлявое тело начало с новой силой излучать энергию; взгляд, словно обращенный к неким волнующим событиям прошлого, возбужденно загорелся. Мой гость принялся говорить не останавливаясь, и я постарался не перебивать рассказчика. Безусловно, он поведал мне одну из наиболее удивительных историй, какие мне когда-либо доводилось слышать. Правдива она или нет, я, конечно, судить не могу: истории о привидениях мы почти всегда слышим из вторых или третьих

уст. Мне, во всяком случае, посчастливилось в жизни избежать опыта общения с потусторонним миром. Но Рансимана нельзя назвать лжецом: он слишком серьезен для этого. Сам он признал, что по прошествии долгого времени история эта едва ли стала звучать достоверней. Так или иначе, вот рассказ, записанный со слов моего гостя.

— Это случилось около пятнадцати лет назад, — начал он. — Я отправился в Корнуолл погостить у некоего Роберта Ланта. Вы помните это имя? Вероятно, нет. Он написал несколько книг из того неопределенного разряда произведений, который представляет собой нечто среднее между романом и поэмой, пронизан мистическими настроениями, довольно живописен и не приносит автору ровным счетом никакого дохода. «Возвращение» де ла Мара — яркий пример такого рода произведений. Я где-то опубликовал отзыв о последней книге Ланта — отзыв благожелательный — и получил от автора поистине трогательное письмо, из которого становилось ясно, что человек этот страстно нуждается в добром слове и, как мне показалось, в обществе друга. Лант жил в Корнуолле где-то на побережье; жена его умерла год назад. Он писал, что живет там совершенно

один, спрашивал, не найду ли я возможности провести с ним рождественские праздники, и выражал надежду, что я не сочту подобное приглашение бестактным. Он предполагал, что я уже получил к этому времени приглашение на Рождество, однако решил все-таки попытать счастья. Что ж, никакого приглашения на Рождество я еще не получил и получить не рассчитывал. Если Лант так одинок, то я тоже. Если он был неудачником — я тоже. Да, меня чрезвычайно тронуло это письмо, и я принял приглашение. Сидя в поезде, шедшем в Пензанс, я пытался представить себе внешность этого человека. Мне никогда не доводилось видеть его фотографий: он не относился к числу авторов, чьи портреты появляются на страницах газет. Я воображал человека приблизительно моего возраста, возможно, несколько старше. Ведь некоторые одинокие люди вечно ждут появления в своей жизни некоего друга, идеального друга, который поймет все их чувства, одарит любовью, далекой от сентиментальности, и примет живое участие в их делах, не становясь при этом навязчивым, — короче, друга, каких не бывает на свете.

Думаю, еще до прибытия в Пензанс я проникся к Ланту совершенно романтическим чувством.

Мы, он и я, могли бы обсуждать вдвоем все литературные вопросы, занимавшие в то время мое внимание, могли бы проводить много времени вместе и даже совершать те небольшие поездки за границу, которые так неизбывно печальны, когда человек одинок, и так восхитительны, когда рядом с ним находится близкий друг. Я представлял себе Ланта рассеянным, хрупким и утонченным джентльменом, с некоторой склонностью к меланхолии и по-детски живой фантазией. Оба мы не добились успеха в жизни, думалось мне, но вместе мы сможем творить великие дела.

Когда поезд прибыл в Пензанс, уже почти стемнело, и из низких облаков, весь день грозивших просы`паться снегом, на землю начали робко падать первые пушистые снежинки. В письме Лант сообщал, что у станции меня будет ждать наемный экипаж, — и я увидел его там: нелепую старую, видавшую виды повозку с нелепым старым, видавшим виды кучером. Возможно, сейчас, по прошествии долгих лет, многие вещи я додумываю задним числом, но мне кажется, что, едва дверца экипажа захлопнулась за мной, смутный страх и дурные предчувствия зашевелились в моей душе. Мне кажется, у меня вдруг возникло

страстное желание немедленно вылезти вон и вернуться ночным поездом обратно в Лондон — желание, чрезвычайно нехарактерное для меня, ибо я всегда отличался своего рода упрямой решимостью доводить до конца все начатые предприятия. Во всяком случае, я чувствовал себя крайне неуютно в том экипаже; помню, он отвратительно пах внутри плесенью, сырой соломой и тухлыми яйцами и казался закрытым со всех сторон так плотно, словно мне никогда не суждено было выбраться из этой ловушки, раз уж я попался в нее. Кроме того, мне было страшно холодно. Во время той поездки я замерз так сильно, как не замерзал никогда — ни прежде, ни впоследствии. Жгучий мороз пронизывал самый мой мозг, отчего я потерял способность думать о чем-либо ясно и мог лишь снова и снова жалеть о том, что пустился в это путешествие. Конечно, я ничего не видел вокруг, только чувствовал тряску экипажа по неровной дороге и время от времени догадывался, что он движется по каким-то узким темным тропам, ибо слышал, как таинственно стучат по крыше повозки низко свисавшие ветви деревьев, словно срочно пытаются сообщить мне что-то важное.

Впрочем, я не должен делать из этой истории

нечто большее, чем мне позволяют факты, и не должен заранее подготавливать слушателя к последующим важным событиям. Вполне определенно могу сказать одно: по мере приближения экипажа к дому Ланта я все больше впадал в уныние — от жуткого холода, от дурных предчувствий и от сознания своего бесконечного одиночества…

Наконец экипаж остановился. Старое пугало с кряхтеньем и тяжелыми вздохами медленно слезло с козел, подошло к двери повозки и с великим трудом открыло ее, действуя с раздражающей неповоротливостью. Я вышел и тут же увидел, что снег теперь валит вовсю и аллея сплошь залита его мягким и таинственным сиянием. Прямо передо мной чернела неясная громада: дом, который ожидал моего прибытия. Разглядеть его в темноте не представлялось возможным, и я просто стоял, дрожа всем телом, пока старик дергал за шнур колокольчика с такой яростью, словно желал как можно скорей освободиться от своей тягостной обязанности и возвратиться домой. Прошла, казалось, целая вечность, но наконец дверь открылась и из нее выглянул старик, который, несомненно, приходился родным братом кучеру. Старики обменялись несколькими сло-

вами, в результате чего мой багаж был извлечен из повозки и я получил дозволение войти в дом с ледяного мороза.

Следующее свое чувство я никак не могу отнести к разряду воображаемых. Ни к одному дому я еще ни разу не проникался с первого взгляда столь сильным отвращением, как к жилищу Ланта. Ничего особенно отталкивающего не бросилось мне в глаза в просторном темном холле, освещенном двумя тусклыми лампами, холодном и безрадостном. Но я не успел составить о нем более четкое представление, поскольку старый слуга мгновенно провел меня в какой-то коридор и оттуда в комнату, которая была настолько же тепла и уютна, насколько мрачен и безрадостен холл. Действительно, я так сильно обрадовался при виде ярко пылавшего камина, что тут же направился к нему, в первый момент не заметив присутствия хозяина. Увидев же наконец последнего, я сначала не поверил, что это и есть Лант. Я уже говорил, какого рода человека ожидал встретить, — но вместо рассеянного утонченного художника я обнаружил перед собой дородного мужчину ростом, пожалуй, более шести футов, широкоплечего, явно обладавшего огромной физической силой, и с черной остроконечной

бородой, скрывавшей нижнюю часть лица.

Но если меня поразила внешность Ланта, то вдвойне удивился я, когда он заговорил. У него был тонкий писклявый голос, похожий на голос старухи. А мелкие суетливые движения рук делали его еще больше похожим на женщину. Но последнее я отнес на счет волнения, ибо Лант действительно казался чрезвычайно взволнованным. Он подошел ко мне, обеими руками схватил мою руку и долго держал так, словно не собирался выпускать ее вовсе. Позднее тем же вечером хозяин извинился за свое поведение.

— Я так обрадовался вам, — признался он. — Я не смел надеяться, что вы действительно приедете. Вы здесь первый за долгое время гость, которого я могу считать близким по духу человеком. Конечно, мне было неловко приглашать вас, но я решил рискнуть. Ваш приезд значит для меня так много!

Его восторженность внушала мне смутное беспокойство и одновременно вызывала жалость. Лант просто не мог сделать для гостя слишком многого; он провел меня по нелепым старым коридорам, где доски пола скрипели при каждом шаге; по каким-то темным лестницам, где, насколько я мог разглядеть в полумраке, на стенах

висели пожелтевшие от времени фотографии с видами разных городов, и наконец пригласил пройти в мою комнату умоляющим нервным жестом, словно ожидая, что при виде ее я сразу повернусь и брошусь прочь. Комната моя понравилась мне не больше, чем остальной дом, но вины хозяина в этом не было. Он сделал для меня все, что мог: в камине ярко полыхал огонь; в большой кровати под одеялом, как пояснил Лант, лежала бутылка с горячей водой; и старый слуга, который открыл мне дверь, уже извлекал мои вещи из саквояжа и убирал их в шкаф. Возбуждение Ланта носило характер почти сентиментальный. Он положил обе руки мне на плечи и сказал, просительно заглядывая в мои глаза:

— Если бы вы знали, что значит для меня ваше присутствие здесь, возможность побеседовать с вами… Ну вот, сейчас я должен покинуть вас. Вы спуститесь и присоединитесь ко мне, как только освободитесь, не правда ли?

Я остался один и именно тогда во второй раз почувствовал острое желание обратиться в бегство. Четыре свечи в старинных серебряных подсвечниках горели ярко и вместе с пылавшим камином давали достаточно света; однако комната казалась сумрачной, словно наполненной

прозрачным дымом. И помню, я подошел к одному из забранных решеткой окон и распахнул его, как будто мне вдруг стало душно. Две вещи заставили меня тут же закрыть окно: во-первых, в комнату ворвалась струя ледяного ветра вместе с кружащимся роем снежинок, а во-вторых, оглушительный рев моря ударил мне в лицо, словно желая опрокинуть меня навзничь. Я поспешно захлопнул створку, обернулся и увидел у самой двери старую женщину. Вообще, любая история подобного рода интересна именно своим правдоподобием. Конечно, дабы мой рассказ звучал убедительно, мне следует как-то доказать, что я действительно видел ту старую женщину, — но я не могу этого сделать. Вы знаете, я не пью, никогда не пил, и, самое главное, появление подобной фигуры у двери было для меня полной неожиданностью. Но я ни на миг не усомнился в том, что увидел в комнате именно старую женщину, и никого другого. Вы можете говорить об игре теней, о висевшей на двери одежде и тому подобном. Не знаю. У меня нет никаких теорий, объясняющих эту историю: я не спиритуалист и едва ли верю во что-либо, за исключением красоты прекрасных вещей и явлений. Если угодно, можно сказать так: фигура у двери привиделась

мне, но иллюзия эта оказалась настолько полной, что я по сей день весьма подробно могу описать внешность той женщины. Она была в черном шелковом платье с огромной безобразной золотой брошкой на груди. Ее зачесанные назад черные волосы разделял посредине пробор. Шею женщины украшало ожерелье из каких-то белых камней. Лицо ее — неестественно бледное — имело самое злобное и коварное выражение из всех, какие мне приходилось когда-либо видеть. Ныне безнадежно увядшая, дама эта некогда, вероятно, была довольно красива. Она стояла у двери очень тихо, опустив руки вдоль тела. Я подумал, что она экономка или кто-нибудь в этом роде.

— Благодарю вас, у меня есть все необходимое, — сказал я. — Какой замечательный камин!

Я оглянулся на камин, а когда снова повернулся к двери, женщина уже исчезла. Не придав случившемуся никакого значения, я пододвинул к огню старое кресло, обитое выцветшей зеленой тканью, и решил немного почитать привезенную с собой книгу, перед тем как спуститься вниз. Я не спешил оказаться в обществе хозяина, пока меня не вынудят к этому приличия. Лант пришелся мне не по душе. Я уже решил при первом удобном случае уехать обратно в Лондон под каким-ни-

будь благовидным предлогом.

Не могу объяснить, почему Лант так не понравился мне: разве что сам я человек очень сдержанный и, подобно большинству англичан, крайне недоверчиво отношусь к бурным проявлениям чувств, особенно со стороны мужчин. Мне не понравилось, как Лант клал руки мне на плечи, и, возможно, я не чувствовал себя способным оправдать все восторженные надежды хозяина, связанные с моим приездом.

Я опустился в кресло и раскрыл книгу, но не прошло и двух минут, как в нос мне ударил в высшей степени неприятный запах. На свете существуют самые разные запахи — здоровые и нездоровые, — но самым мерзким из всех мне кажется прохладный затхлый душок, которым тянет из непроветренных помещений с испорченным водопроводом и который встречается порой в маленьких деревенских гостиницах и обветшалых меблированных комнатах. Запах был настолько отчетлив, что я практически мог определить, откуда он доносится: он шел от двери. Я поднялся с кресла, направился туда — и тут же у меня возникло такое чувство, будто я приближаюсь к некой особе, не имеющей обыкновения (извините за грубость) часто принимать

ванны. Я отпрянул назад, словно упомянутая особа действительно стояла передо мной. Затем совершенно неожиданно гадкий запах исчез, я почувствовал дуновение свежего воздуха и с удивлением увидел, что одно из окон отворилось и в комнату снова влетает снег. Я закрыл окно и спустился вниз.

За этим последовал довольно странный вечер. Сам по себе мой новый знакомый не производил неприятного впечатления. Лант был человеком утонченной культуры и глубоких познаний, великим знатоком книг. К концу вечера он постепенно развеселился и угостил меня восхитительным обедом в забавной маленькой столовой, на стенах которой висело несколько очаровательных меццо-тинто. За столом нам прислуживал все тот же дворецкий — забавный старик с длинной белой бородой, напоминавшей козлиную, — и, как ни странно, именно он снова пробудил в моей душе прежние дурные предчувствия. Дворецкий только что подал на стол десерт и бросил взгляд в сторону двери. Я обратил на это внимание, поскольку протянутая к тарелке рука старика внезапно задрожала. Слуга явно испугался чего-то. И затем (конечно, это с легкостью можно отнести на счет воображения) я снова по-

чуял в воздухе тот странный, нездоровый запах.

Я забыл об этом незначительном эпизоде, когда мы с хозяином уселись напротив восхитительного, жарко пылавшего камина в библиотеке. У Ланта было чудесное собрание книг, и, подобно любому библиофилу, он находил величайшее удовольствие в беседе с человеком, способным по-настоящему оценить его коллекцию. Мы стояли у книжных полок, разглядывая одну книгу за другой, и оживленно разговаривали о второстепенных английских романистах начала века, которыми я особенно увлекался — Бейдже, Годвине, Генри Маккензи, миссис Шелли, Мэтью Льюисе и прочих, — когда Лант вновь поразил меня самым неприятным образом, положив руки мне на плечи. Всю жизнь я совершенно не мог выносить прикосновений определенных людей. Полагаю, всем нам знакомо подобное чувство. Это одна из особенностей человеческой психики, не имеющая никакого объяснения. И прикосновение этого человека было настолько неприятно мне, что я резко отпрянул в сторону.

В мгновение ока гостеприимный хозяин превратился вдруг в воплощение яростного и необузданного гнева. Мне показалось, он хочет ударить меня. Лант стоял передо мной, трясясь

всем телом, и бессвязные слова потоком лились с его языка, словно он впал в помешательство и совершенно не отдавал себе отчета в своих речах. Он обвинил меня в том, что я оскорбил его, насмеялся над его гостеприимством, презрительно отверг его доброе отношение, и в тысяче других нелепых вещей. И не могу объяснить вам, насколько странно было слышать все эти гневные речи, произносимые пронзительным писклявым голосом, и видеть в то же время перед собой огромное мускулистое тело, непомерно широкие плечи и чернобородое лицо.

Я ничего не сказал. В физическом отношении я трус. Больше всего на свете я не выношу ссор. Наконец я сумел проговорить:

— Мне очень жаль. Я не хотел вас обидеть. Пожалуйста, извините меня, — и повернулся, собираясь покинуть библиотеку.

В тот же миг с Лантом снова произошла разительная перемена: теперь он едва не плакал. Он умолял меня не уходить, обвинял во всем свой ужасный характер, говорил, что глубоко несчастен, покинут всеми, измучен долгим одиночеством и потому совершенно не в силах контролировать свои действия. Он униженно просил меня дать ему возможность оправдать-

ся и выражал надежду, что я отнесусь к нему с бóльшим пониманием, если выслушаю его историю.

Мгновенно (так уж устроен человек!) я переменил свое отношение к Ланту. Мне стало очень жаль его. Я увидел, что он находится на грани нервного срыва, действительно нуждается в помощи и участии и впадет в полное отчаяние, если не получит их. Я положил руку ему на плечо, желая успокоить беднягу и показать, что я не таю против него никакого зла, — и почувствовал, как сотрясается с головы до ног его огромное тело. Мы снова сели в кресла, и хозяин торопливо и бессвязно поведал мне свою историю. Особого интереса она не представляла, и суть ее заключалась в следующем: пятнадцать лет назад Лант — скорее ища спасения от одиночества, нежели следуя порыву страсти, — женился на дочери местного священника. Супруги не обрели счастья в браке, и в конце концов, совершенно искренне признался Лант, он возненавидел жену. Женщина эта была злобным, властным и ограниченным существом; и, по словам рассказчика, он испытал облегчение, когда ровно год назад она неожиданно скончалась от сердечного приступа. Тогда Лант решил, что теперь все образуется, но

этого не случилось, и с той поры жизнь его разладилась окончательно. Он потерял способность работать, многие друзья перестали навещать его, и даже слуг ему не удавалось удерживать в доме; несчастный изнывал от одиночества, плохо спал, почему и находился сейчас на грани нервного расстройства. В доме с ним жили только старый дворецкий, который, к счастью, умел прекрасно готовить, и мальчик-слуга, внук старика.

— О! — воскликнул я. — А я решил, что этот замечательный обед приготовила ваша экономка.

— Экономка? — переспросил Лант. — Но в доме нет женщин.

— Но какая-то женщина заходила сегодня вечером ко мне в комнату, — ответил я. — Такая пожилая особа вполне благопристойного вида, в черном шелковом платье.

— Вам показалось, — произнес хозяин в высшей степени странным, напряженным голосом — голосом человека, который невероятным усилием воли старается сохранять спокойствие и самообладание.

— Я уверен, что видел ее, — настаивал я. — Здесь не может быть никакой ошибки. — И я описал внешность женщины.

— Вам показалось, — повторил Лант. — Разве

может быть иначе, если я ясно сказал: никаких женщин в доме нет.

Я поспешно согласился с ним, опасаясь новой вспышки гнева. Затем хозяин обратился ко мне с чрезвычайно странной просьбой. Самым настойчивым образом — словно речь шла о жизни и смерти — он умолял меня остаться с ним на несколько дней. Лант намекнул (хотя и не вполне определенно), что оказался в страшной беде, но, если я проведу с ним несколько дней, все будет в порядке. Он говорил, что если мне суждено когда-либо в жизни сделать действительно доброе дело, то эта возможность представилась мне именно сейчас. И говорил, что, конечно, он не вправе рассчитывать на мое согласие, но никогда не забудет моей доброты, если я все-таки выполню его просьбу. И такое безысходное отчаяние звучало в молящем голосе Ланта, что я успокоил беднягу, словно ребенка, пообещал остаться, и мы пожали друг другу руки, как если бы скрепляли наш договор торжественной клятвой.

2

Уверен, вы ждете от меня не отступающего от истины описания событий, и если финальная катастрофа будет выглядеть совершенно случайной, могу сказать лишь одно: так оно и было на самом деле. В тот вечер я попытался сделать какие-то выводы из имевшихся в моем распоряжении фактов и не преуспел в этом, полагаю, не только по своей вине: такова уж особенность всех подлинных историй о привидениях.

Но, по правде говоря, после той странной сцены в библиотеке я прекрасно провел ночь и спал как убитый в теплой и уютной постели под убаюкивающий шепот моря за окнами. Следующее утро тоже было веселым и ясным: солнце посылало яркие лучи навстречу снегу, и снег ослепительно сверкал в ответ, словно они радовались при виде друг друга. Утро я провел замечательно: рассматривал книги, беседовал с Лантом и написал одно или два письма. Надо сказать, в конце концов я проникся симпатией к своему хозяину. Высказанная им накануне просьба о помощи по-настоящему тронула меня. Видите ли, так мало людей когда-либо обращались ко мне за под-

держкой. Лант по-прежнему нервничал и явно томился дурными предчувствиями, однако старался не подавать виду и сделал все возможное, чтобы мое настроение было легким и непринужденным, — таким образом он пытался склонить меня к решению остаться и не лишать его дружеского общения, столь остро необходимого ему в тот момент. Впрочем, когда бы книги не заняли полностью мое внимание, едва ли я испытывал бы такое довольство, ибо стоило замолчать и прислушаться, как сразу становилась заметной странная зловещая тишина, царившая в доме. А один раз, помню, я поднял голову от письма, которое писал, сидя за старым бюро, и случайно встретил взгляд Ланта: последний напряженно следил за мной, словно пытаясь угадать, видел ли или слышал я что-нибудь. Тогда я напряг слух, и мне почудилось вдруг, что кто-то стоит за дверью библиотеки, собираясь постучать. Очень странное и совершенно необоснованное предположение, но в тот момент я мог поклясться, что, если быстро подойти к двери и неожиданно распахнуть ее, за ней непременно кто-то окажется.

Однако все утро я пребывал в добром расположении духа, а после ланча почувствовал себя и вовсе счастливым. Лант предложил мне про-

гуляться, я согласился, и по хрустящему снегу, сверкавшему под яркими лучами солнца, мы направились к морю. Не помню, о чем мы говорили; всякая неловкость, казалось, исчезла между нами. Мы пересекли поля, остановились на берегу, посмотрели на море — ровное и гладкое, словно шелковое, — и повернули обратно. Помню, у меня стало вдруг так радостно на душе, что будущее начало рисоваться мне в розовом свете. Я принялся доверительно делиться с Лантом своими маленькими планами, надеждами относительно книги, которую писал в то время, и даже робко заговорил о возможности нашей совместной работы: ведь и мне, и ему одинаково не хватало друга и единомышленника. Я продолжал говорить без умолку, и, помню, мы пересекли узкую деревенскую улочку и уже сворачивали в сторону ведшей к дому темной аллеи, когда в моем спутнике произошла неожиданная перемена.

Сначала я заметил, что он не слушает меня и напряженно всматривается в густые заросли деревьев впереди, черневшие на фоне серебристого снега. Я тоже пригляделся. Там, прямо перед деревьями, стояла, словно ожидая нас, та самая женщина, которая накануне вечером появлялась в моей комнате. Я остановился и воскликнул:

— Но послушайте, вот же она! Та женщина, о которой я говорил вам… Это она заходила ко мне в комнату!

Лант схватил меня за плечо:

— Там никого нет. Разве вы не видите сами? Это просто тень. Что с вами? Разве вы не видите, что там никого нет?

Я шагнул вперед, и действительно, там никого не было, но до сего дня я не могу сказать определенно, привиделась мне та женщина или нет. Уверенно могу утверждать лишь одно: с этого момента сумерки начали быстро спускаться на землю. Едва мы вошли в обсаженную деревьями аллею — в молчании, торопливым шагом, словно кто-то преследовал нас по пятам, — вокруг вдруг сгустилась такая тьма, что я с трудом различал перед собой дорогу. Мы оба задыхались от быстрой ходьбы, когда достигли дома. Лант сразу бросился в кабинет, словно забыв о моем присутствии, но я последовал за ним и, закрыв за собой дверь, сказал со всей настойчивостью, на какую был способен:

— Итак, в чем дело? Что тревожит вас? Вы должны довериться мне! Иначе как я могу помочь вам?

И он ответил странным голосом, похожим на

голос безумца:

— Говорю вам, все в порядке! Почему вы не верите мне? Со мной все нормально… О боже мой! Боже мой!.. Только не покидайте меня… Сегодня тот самый день… та самая ночь, о которой она говорила… Но я ни в чем не виноват! Поверьте, я ни в чем не виноват… Это только ее ужасная злоба…

Голос Ланта прервался. Несчастный по-прежнему крепко держал меня за руку и другой рукой делал странные нервные движения, словно вытирая обильный пот со лба. Он как будто умолял меня о чем-то, потом вдруг снова впал в ярость и затем опять принял вид жалкий и просительный, словно я отказывал ему в какой-то важной просьбе.

Я увидел, что хозяин мой действительно близок к помешательству, и внезапно сам начал испытывать страх перед этим сырым мрачным домом, перед огромным трясшимся человеком и перед чем-то еще, гораздо более ужасным. Но мне было жалко Ланта. Да и разве любой другой на моем месте смог бы остаться равнодушным? Я заставил беднягу сесть в кресло у потухшего камина, в котором теперь тускло мерцало лишь несколько красных угольков, опустился в кресло рядом с Лантом, позволил ему крепко вцепиться

мне в руку и сказал как можно более спокойно:

— Расскажите мне все. Не бойтесь признаться в любом своем поступке. Расскажите, что за опасность внушает вам такой страх, — и тогда мы вместе сможем противостоять ей.

— Страх! Страх! — повторил он и затем с великим усилием, достойным лишь восхищения, взял себя в руки и сказал: — Я схожу с ума от одиночества и тоски. Моя жена скончалась в эту самую ночь ровно год назад. Мы ненавидели друг друга. Я не мог сожалеть о ее смерти, и она знала это. Во время последнего приступа жена, задыхаясь, успела сказать мне, что еще вернется за мной, — и я всегда с ужасом ждал этой ночи. Отчасти поэтому я и попросил вас приехать… чтобы со мной в доме находился кто-то… кто угодно… И вы были очень добры ко мне — гораздо более добры, чем я мог ожидать. Вероятно, вы считаете меня сумасшедшим, но, прошу вас, присмотрите за мной этой ночью — и впоследствии мы сможем замечательно проводить время вместе. Только не оставляйте меня сейчас… именно сейчас!

Я пообещал не оставлять его и, как мог, успокоил несчастного. Не знаю, сколько времени мы сидели так в сгущавшейся тьме; никто из нас не шевелился, огонь в камине потух окончательно,

и комнату заливало таинственное приглушенное сияние, исходившее от снежного пейзажа за незашторенными окнами. Сейчас, по прошествии многих лет, сцена эта представляется нелепой. Мы сидели рядом в тесно сдвинутых креслах, держась за руки, словно пара любовников, но на самом деле — двое насмерть перепуганных мужчин, с ужасом ожидавших опасности и не способных никак противостоять ей.

Пожалуй, самым странным в той ситуации было то, что я вдруг впал в какое-то непонятное оцепенение. Как бы любой другой поступил на моем месте? Вызвал дворецкого? Отправился в деревенскую гостиницу? Обратился к местному доктору? Я же не мог сделать ровным счетом ничего — мог лишь смотреть, как отраженный свет снега стекает дрожащими струями со стен и с мебели, да внимать в гробовой тишине приглушенному уханью совы, доносившемуся из далекого леса.

3

Как ни удивительно, при всем старании я не могу вспомнить, что происходило между часом нашего странного бдения и тем моментом, когда я пробудился от краткого сна, рывком сел в постели и увидел у двери своей комнаты Ланта со свечой в руке. Он был в ночной рубашке и в неверном свете свечи казался просто огромным; борода его густо чернела на белом фоне рубашки. От огня свечи зыбкие тени плясали по комнате. Очень тихо Лант подошел к кровати и заговорил голосом приглушенным и невнятным, почти шепотом:

— Не посидите ли вы со мной полчаса? Всего лишь полчаса? — повторил он, глядя на меня странным, неузнающим взглядом. — Я боюсь оставаться один… очень боюсь…

Потом Лант испуганно покосился через плечо, поднял свечу над головой и начал пристально всматриваться в темные углы комнаты. Я понял: что-то случилось с ним, он еще на один шаг продвинулся в темную область Страха и тем самым отдалился от меня и любого другого человеческого существа.

— Ступайте тихо, когда пойдете, — прошептал он. — Я не хочу, чтобы кто-нибудь слышал нас.

Я сделал все, что мог: вылез из постели, надел халат и ночные тапочки и попытался убедить Ланта остаться со мной. Огонь в камине почти потух, но я предложил снова развести его и посидеть у очага в ожидании утра. Но нет, он продолжал повторять снова и снова:

— Лучше в моей комнате. Там безопасней.

— О какой опасности вы говорите? — спросил я, вынуждая его взглянуть мне в глаза. — Очнитесь, Лант! Вы как будто спите. Нам совершенно нечего бояться. Здесь нет никого, кроме нас. Давайте останемся в этой комнате, побеседуем до утра и положим конец всему этому вздору.

Но Лант, не отвечая, увлекал меня вперед по темному коридору и наконец свернул в свою комнату, знаком попросив меня последовать за ним. Он забрался в постель и сел там, сгорбившись и обхватив колени руками. Он пристально смотрел на дверь, и легкая дрожь время от времени сотрясала его тело. Комнату освещала только одна свеча, постепенно угасавшая, тишину нарушал лишь тихий, ровный гул моря за окнами.

Казалось, Ланту все равно, нахожусь я рядом или нет. Он не смотрел на меня, ибо не отрывал

взгляда от двери, а когда я заговорил с ним, не ответил и, похоже, даже не услышал моих слов. Я опустился в кресло рядом с кроватью и, только чтобы нарушить тягостное молчание, принялся говорить о чем попало, о каких-то пустяках; кажется, я начал постепенно погружаться в какую-то тревожную дремоту, когда вдруг раздался голос Ланта. Очень внятно и отчетливо он произнес:

— Если я и убил ее, то она заслужила это. Она никогда не была мне хорошей женой, с самого начала. Ей не следовало так раздражать меня: она прекрасно знала мой тяжелый нрав. Впрочем, у нее характер был еще хуже. Она не может ничего сделать мне: я не слабее ее.

И именно в этот момент — насколько я помню сейчас — голос говорившего неожиданно упал до мягкого, еле слышного шепота, словно Лант почти обрадовался тому, что страхи его наконец подтвердились.

— Вот она! — прошептал он.

Не могу описать, как при этих словах Страх волной поднялся в моей душе. Я ничего не видел… пламя свечи высоко взметнулось в последние моменты жизни Ланта… Но я ничего не видел. Внезапно Лант испустил страшный пронзи-

тельный вопль, подобный воплю смертельно раненного животного в предсмертной агонии:

— Не подпускайте ее ко мне… Не подпускайте ее ко мне! Не подпускайте… не подпускайте!

Он со страшной силой вцепился в меня, ногти его глубоко вонзились мне в кожу; затем — словно неожиданная ужасная судорога свела напряженные мышцы — руки Ланта медленно опустились; он тяжело откинулся на подушку, будто от сильного толчка в грудь, руки его бессильно упали на одеяло, и страшная конвульсия сотрясла все тело несчастного. Потом он перекатился на бок и затих. Я ничего так и не увидел, лишь совершенно явственно ощутил смрадный запах, памятный мне с предыдущего вечера. Я бросился к двери, выскочил в коридор и кричал до тех пор, пока не прибежал старый слуга. Я послал его за доктором, но не нашел в себе сил вернуться в комнату и стоял, не слыша ничего, кроме громкого тиканья часов в холле.

Я рывком открыл окно в конце коридора; рев моря ударил мне в уши, где-то пробили куранты. Затем, собравшись с духом, я все-таки вернулся в комнату Ланта…

— И что же? — спросил я, когда Рансиман на мгновение умолк. — Он был мертв, конечно?

— Да, умер от сердечного приступа, как впоследствии установил доктор.

— И что же? — повторил я.

— Это все. — Рансиман помолчал. — Не знаю, можно ли вообще назвать это историей о явлении призрака. Та старая женщина вполне могла просто пригрезиться мне. Я даже не знаю, так ли выглядела жена Ланта при жизни. Возможно, она была огромной и толстой. Ланта погубила нечистая совесть.

— Да, — согласился я.

— Единственное только… — добавил Рансиман после продолжительной паузы, — на теле Ланта остались следы — в основном на шее и несколько на груди… Следы от чьих-то пальцев, царапины и темные кровоподтеки. В приступе ужаса Лант мог сам вцепиться себе в горло…

— Да, — повторил я.

— Так или иначе… — Рансиман содрогнулся. — Я не люблю Корнуолл. Отвратительное место. Странные вещи случаются там… что-то витает в воздухе…

— Да, говорят… — откликнулся я.

1927